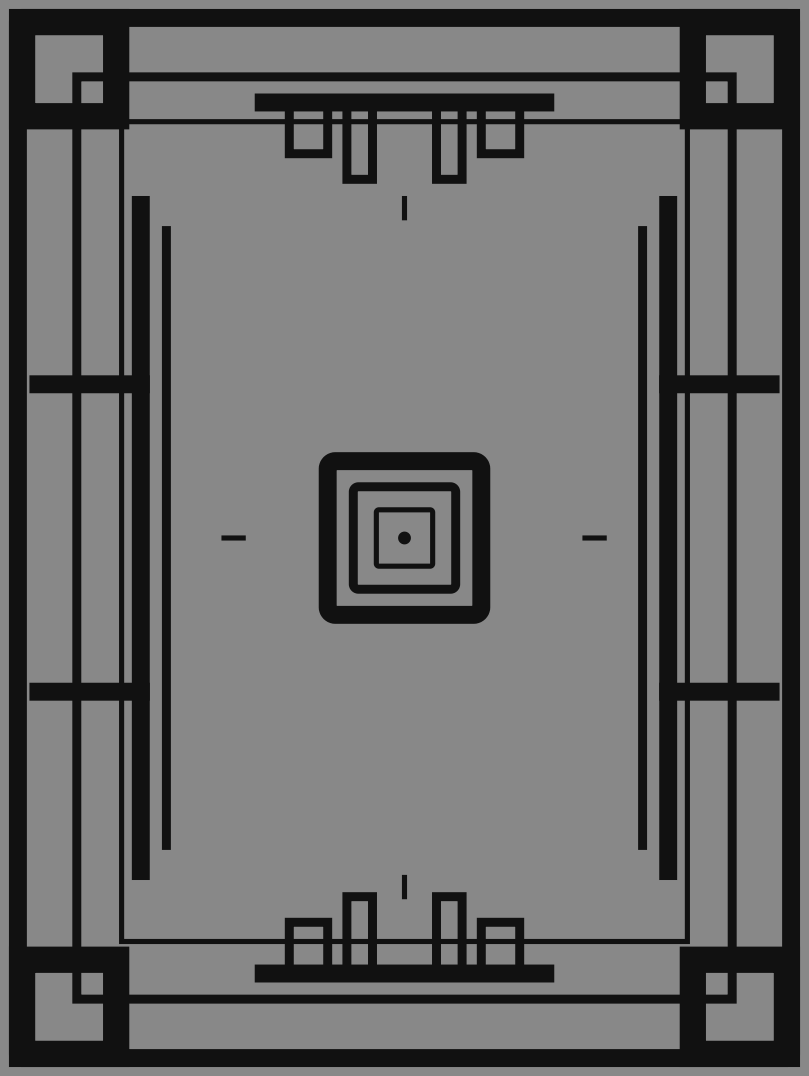


Солярис. Навигатор Пиркс
Станислав Лем

Аннотация
Станислав Лем. Солярис. Навигатор Пиркс
Об авторе
Предисловие автора к русскому изданию
Солярис
  Посланец
  Соляристы
  Гости
  Сарториус
  Хэри
  «Малый Апокриф»
  Конференция
  Чудища
  Жидкий кислород
  Разговор
  Мыслители
  Сновидения
  Удачный результат
  Древний мимоид
Навигатор Пиркс
  Испытание
  Условный рефлекс

Патруль
Альбатрос
Терминус
Охота на Сэтавра
Рассказ Пиркса
Несчастный случай

Аннотация

Введите сюда краткую аннотацию

Станислав Лем
Солярис
Навигатор Пиркс

Об авторе

Станислав Лем (1921–2006) — польский писатель, фантаст, сатирик, философ и футуролог. После Второй мировой войны Лем, бывший студент Львовского медицинского института, продолжил обучение в Польше. Но после окончания Ягеллонского университета сдавать выпускные экзамены отказался, не желая становиться военным врачом: «…Армия забрала всех моих друзей, причем не на год или на два, они остались там навсегда…»

Работая ассистентом в исследовательском институте, Лем — больше для приработка — начал писать рассказы. Скоро увлечение писательством переросло в основное занятие Лема. Он и в литературе проявил «хирургический подход»: ставил диагноз явлению или идее, а затем производил «вскрытие».

Известность пришла быстро. Уже с начала 50-х Лем — профессиональный писатель. За четверть века он создал лучшие свои произведения, настоящий «мир Лема». В своих первых романах — «Астронавты» (1951) и «Магелланово облако»

(1955) он сух, академичен, его талант проходит стадию становления. В конце 50-х Лем создал одного из самых любимых своих героев — рассудочного и уравновешенного космолетчика Пиркса. Роман «Солярис» (1961) считается вершиной его творчества. Станислав Лем, поклонник разума, отлично понимал и ограниченность его возможностей: колоссальное собрание научных знаний оказывается бессильным и бесполезным, когда потребовалась капелька совести и капелька любви.

Научно-фантастические романы Лема можно разбить на две категории: «Эдем» (1959), «Возвращение со Звезд» (1961), «Солярис» (1961), «Непобедимый» (1964), «Глас Господа» (1968), «Рассказы о пилоте Пирксе» (1968) — серьезные новеллы, написанные в традициях жанра. Вторая группа — это гротеск и искрящийся юмор «Звездных Дневников Ийона Тихого» (1957), «Сказок Роботов» (1964), «Кибериады» (1965) и др.

Но Станислав Лем — также и серьезный исследователь. Известны его работы «Сумма технологии» (1964), где фантаст выступил в качестве практикующего футуролога; «Фантастика и футурология» (1970); культурологический труд «Философия случая» (1968).

Предисловие автора к русскому изданию

В принципе, по моему мнению, писатель не должен писать предисловий к своим собственным произведениям. Но принципы для того и существуют, чтобы их время от времени нарушать. Впрочем, могу добавить еще кое-что в свое оправдание. У каждого, кто прочтет «Солярис», сложится какое-то впечатление от этой повести. Но читателя может заинтересовать, зачем автор написал книгу, каков был его замысел. Часто художественная реализация замысла не удается или удается иначе, чем этого хотелось автору. Не знаю, насколько убедительно будет то, что я скажу. Однако я знаю, что я хотел, то есть что пытался выразить в этой повести, иначе говоря, что было в ней для меня наиболее важным.

Сейчас люди отправляются в космос. Мы не знаем, когда встретим разумные существа с иных планет, но когда-нибудь встретим. Обширная фантастическая литература, особенно американская, уже создала в качестве предположительной возможности контакта три стереотипа. Их можно

кратко определить так: «Либо сообща, либо мы — их, либо они — нас». Это значит, что либо мы установим мирное сотрудничество с разумными обитателями космоса, либо, что тоже возможно, дело дойдет до конфликта, может быть, до межпланетной войны, и в результате или земляне победят тех, или те — землян. Я считаю это схематическим, механистическим перенесением земных условий и добавлю, условий нам наиболее понятных, на всю бесконечность Вселенной.

Думаю, что дорога к звездам и их обитателям будет не только долгой и трудной, но и наполненной многочисленными явлениями, которые не имеют никакой аналогии в нашей земной действительности. Космос — это не «увеличенная до размеров Галактики Земля». Это новое качество. Установление взаимопонимания предполагает существование сходства. А если этого сходства не будет? Обычно считается, что разница между земной и неземными цивилизациями должна быть только количественной (те опередили нас в науке, технике и т. п., либо, наоборот, мы их опередили). Но если та цивилизация шла дорогой, отличной от нашей?

Впрочем, я хотел эту проблему трактовать еще шире. Это значит, что для меня важно бы-

ло не столько показать какую-то конкретную цивилизацию, сколько показать Неизвестное как определенное материальное явление, до такой степени организованное и таким способом проявляющееся, чтобы люди поняли, что перед ними нечто большее, чем неизвестная форма материи. Что они стоят перед чем-то, с некоторых точек зрения напоминающим явления биологического, а может быть, даже психического типа, но совершенно непохожим на наши ожидания, предположения, надежды.

Эта встреча с Неизвестным должна породить целый ряд проблем познавательной природы, природы философской, психологической и моральной. Решение этих проблем силой, например какой-то бомбардировкой неизвестной планеты, естественно, ничего не дает. Это просто уничтожение явления, а не концентрация усилий для того, чтобы его понять. Люди, попавшие в это Неизвестное, должны будут постараться понять его. Может быть, это удастся не сразу, может быть, потребуется много труда, жертв, недоразумений, даже поражений. Но это уже особый вопрос.

«Солярис» должен был быть (я воспользуюсь терминологией точных наук) моделью встречи человечества на его дороге к звездам с явлением

неизвестным и непонятным. Я хотел сказать этой повестью, что в космосе нас наверняка подстерегают неожиданности, что невозможно всего предвидеть и запланировать заранее, что этого «звездного пирога» нельзя попробовать иначе, чем откусив от него. И совершенно неизвестно, что из всего этого получится.

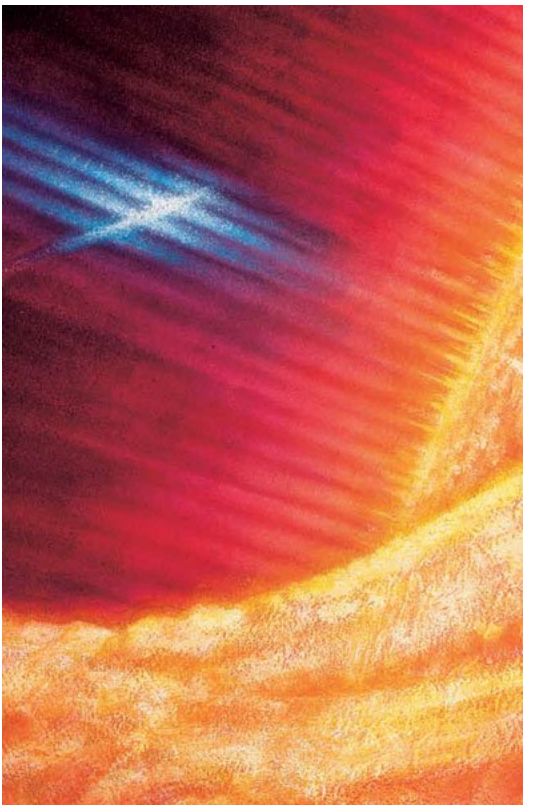
Это не означает, как поймет, конечно, мыслящий читатель, будто я уверен, что нас должны ожидать явления именно такие, какие описаны в «Солярисе». Я не претендую на роль пророка. Но я не писал теоретически-абстрактного трактата и поэтому должен был рассказать совершенно конкретную историю, чтобы посредством ее, через нее выразить одну простую мысль: «Среди звезд нас ждет Неизвестное».

Конечно, можно спросить, почему эту историю я рассказал именно так, почему мир Соляриса именно такой, а не иной. Но это уже совсем другой вопрос, не познавательного, а художественного характера, и на эту тему я мог бы рассуждать долго. Впрочем, не знаю, сумел бы я, рассуждая даже очень долго, объяснить, почему эта фантастическая форма показалась мне наилучшей для осуществления моего замысла.

Ст. Лем

Краков
26 апреля 1962 г.

Солярис



Посланец

В девятнадцать ноль-ноль по бортовому времени я прошел мимо собравшихся вокруг шлюзовой камеры и спустился по металлическому трапу в капсулу Места в ней хватало только на то, чтобы расставить локти. Я присоединил наконечник шланга к патрубку воздухопровода, выступавшему из стены капсулы, скафандр надулся, и теперь я уже не мог пошевелиться. Я стоял, вернее, висел в воздушном ложе, слившись в одно целое с металлической скорлупой. Подняв глаза, я увидел сквозь выпуклое стекло стенки колодца, а выше — склоненное над ним лицо Моддарда. Лицо вдруг исчезло, и стало темно — сверху опустили тяжелый конический обтекатель. Восемь раз взвыли электромоторы, затягивающие болты. Потом раздалось шипение нагнетаемого в амортизаторы воздуха. Глаза привыкали к темноте. Я различал уже светло-зеленые контуры единственного табло.

— Ты готов, Кельвин? — раздалось в наушниках.

— Готов, Моддард, — ответил я.

— Ни о чем не беспокойся. Станция тебя при-

мет, — сказал он. — Счастливого пути!

Прежде чем я успел ответить, вверху что-то заскрежетало, и капсула дрогнула. Я невольно напрягся, но ничего не почувствовал.

— Когда старт? — спросил я и услышал шорох, словно на мембрану сыпался мелкий песок.

— Кельвин, ты летишь. Всего хорошего! — где-то совсем рядом прозвучал голос Моддарда.

Я не поверил, но прямо перед моим лицом открылась смотровая щель, в ней появились звезды. Я напрасно старался найти альфу Водолея, к которой направлялся «Прометей». Небо этих частей Галактики ничего мне не говорило, я не знал ни одного созвездия; в узком просвете клубилась искрящаяся пыль. Я ждал, когда звезды начнут мерцать. Но не заметил. Они просто померкли и стали исчезать, расплываясь в рыжеющем небе. Я понял, что нахожусь уже в верхних слоях атмосферы. Неподвижный, втиснутый в пневматические подушки, я мог смотреть только перед собой. Горизонта пока еще не было видно. Я все летел и летел, совершенно не чувствуя полета, только мое тело медленно и коварно охватывала жара. Снаружи возник противный визг — как будто ножом проводили по тарелке. Если бы не цифры, мелькающие на табло, я не имел бы по-

нятия об огромной скорости падения. Звезд уже не было. Смотровую щель заливал рыжий свет. Я слышал гулкие удары собственного пульса, лицо горело, сзади тянуло холодком из кондиционера; мне было жалко, что не удалось разглядеть «Прометея» — он уже вышел за пределы видимости, когда автоматическое устройство открыло смотровую щель.

Капсула задрожала раз, другой, началась невыносимая вибрация; несмотря на изоляцию, она пронизала меня — светло-зеленый контур табло расплылся. Но я не испугался, не мог же я, прилетев из такой дали, погибнуть у цели.

— Станция Солярис, Станция Солярис, Станция Солярис! Я посланец. Сделайте что-нибудь. Кажется, аппарат теряет стабилизацию. Станция Солярис! Прием.

И снова я пропустил важный момент — появление планеты. Она простиралась огромная, плоская; по величине полос на ее поверхности

я ориентировался, что нахожусь еще далеко, точнее, высоко, так как я уже миновал ту неуловимую границу, на которой расстояние от небесного тела становится высотой. Я падал. Все еще падал. Теперь, даже закрыв глаза, я чувствовал это. Я тут же открыл их, мне хотелось как можно больше увидеть. Спустя несколько секунд я повторил вызов, но и на этот раз ответа не получил. В наушниках трещали залпы атмосферных разрядов. Они звучали на фоне шума, такого глубокого и низкого, словно это был голос самой планеты. Оранжевое небо в смотровой щели затянулось бельмом. Стекло потемнело; я отпрянул, насколько мне позволил скафандр, и тут же понял, что это тучи. Они лавиной пронеслись вверх и исчезли. Я все падал то на свету, то в тени; капсула летела, вращаясь вокруг вертикальной оси, и огромный, распухший солнечный диск размеренно проплывал перед моим лицом, появляясь слева и заходя справа. Вдруг сквозь шум и треск прямо в ухо затараторил далекий голос.

— Посланец, я — Станция Солярис! Посланец, я — Станция Солярис! Все в порядке. Вы под контролем Станции. Посланец, я — Станция Солярис. Приготовиться к по садке в момент ноль, повторяю, приготовиться к посадке в момент ноль,

внимание, начинаю. Двести пятьдесят, двести сорок девять, двести сорок восемь…

Между словами раздавалось отрывистое попискивание — говорил робот. Это было по меньшей мере странно. Обычно, когда прибывает новый, да еще прямо с Земли, все бегут на посадочную площадку. Но думать об этом было некогда. Гигантский круг, описываемый солнцем, и равнина, куда я летел, встали на дыбы; за первым креном последовал второй, в противоположную сторону. Я раскачивался, как диск огромного маятника. Стараясь пересилить дурноту, я заметил на иссеченном грязно-лиловыми и черноватыми полосами фоне планеты маленький квадрат, на котором в шахматном порядке выступали белые и зеленые точки — ориентир Станции. Тут же от верха капсулы что-то с треском оторвалось — длинное ожерелье тормозных парашютов резко захлопало на ветру; в звуках этих было что-то непередаваемо земное — впервые за столько месяцев я услышал шум настоящего ветра.

Дальнейшее произошло очень быстро. До сих пор я просто знал, что падаю. Теперь я это увидел. Бело-зеленая шахматная доска стремительно росла; уже можно было различить, что она нарисована на продолговатом, похожем на кита,

серебристом корпусе с выступающими по бокам иглами радарных установок, с рядами темных иллюминаторов. «Кит» не покоился на поверхности планеты, а висел над ней, отбрасывая на чернильно-черный фон тень — более темное пятно в форме эллипса. Одновременно я разглядел фиолетовые борозды Океана, они еле заметно шевелились. Внезапно тучи, по краям ослепительно пурпурные, поднялись высоко вверх; небо между ними, далекое и плоское, было буро-оранжевым. Потом все расплылось: я вошел в штопор. Не успел я подать сигнал, как короткий удар вернул капсулу в вертикальное положение; в смотровой щели вспыхнули ртутным светом волны Океана, простиравшегося до самого горизонта, затянутого дымкой; гудящие стропы и купола парашютов внезапно отделились и полетели над волнами, уносимые ветром, а капсула мягко закачалась, по-особому, медленно, как всегда бывает в искусственном гравитационном поле, и скользнула вниз. Последнее, что я успел заметить, были решетчатые взлетные установки и два огромных, высотой в несколько этажей, зеркала ажурных радиотелескопов. Что-то с пронзительным стальным лязгом остановило капсулу, что-то открылось подо мной, и с протяжным сопением

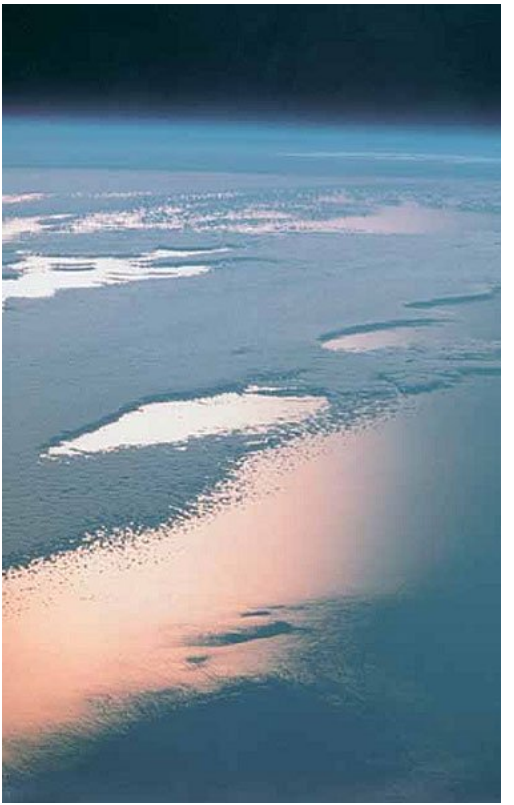
металлическая скорлупа, в которой я находился, закончила 180-километровое путешествие.

— Я — Станция Солярис. Ноль-ноль. Посадка закончена. Конец, — услышал я безжизненный голос робота.

На грудь давило, в животе чувствовалась неприятная тяжесть. Обеими руками я потянул на себя рукоятки, которые находились на уровне плеч, и разомкнул контакты. Засветилась зеленая надпись ЗЕМЛЯ; стена капсулы раскрылась, пневматическое ложе слегка подтолкнуло меня в спину. Чтобы не упасть, я сделал несколько шагов вперед. С тихим шипением, похожим на печальный вздох, воздух вышел из скафандра. Я был свободен.

Я стоял под высокой, как своды храма, серебристой воронкой. По стенам тянулись, исчезая в круглых люках, пучки разноцветных труб. Я обернулся. Вентиляторы гудели, отсасывая остатки ядовитых газов, проникших сюда при посадке. Пустая, как лопнувший кокон, сигарообразная капсула стояла в круглой впадине стального возвышения. Наружная обшивка капсулы обгорела и стала грязно-коричневой. Я сошел по небольшому скату. Дальше на металл был наварен слой шероховатого пластика. В местах, где обычно

катились тележки подъемников ракет, пластик протерся до самой стали.



Вдруг компрессоры замолкли, и стало тихо. Я беспомощно огляделся, ожидая кого-нибудь, но никто не появлялся. Только неоновая стрелка светилась, указывая на бесшумно скользящий эскалатор. Я встал на него. По мере спуска красивые параболические своды зала постепенно переходили в цилиндрический туннель. В нишах грудами валялись баллоны со сжатым газом, контейнеры, кольцевые парашюты, ящики. Это меня тоже удивило. Эскалатор заканчивался у круглой площадки. Здесь царил еще больший беспорядок. Под кучей жестяных банок растеклась маслянистая лужа. В воздухе стоял неприятный резкий запах. В разные стороны тянулись следы, четко отпечатавшиеся в липкой жидкости. Между жестяными банками валялись рулоны белых телеграфных лент — вероятно, их вымели из кабин, — клочки бумаги, мусор. И снова засветился зеленый указатель, направляя меня к средней двери. За ней тянулся такой узкий коридор, что в нем трудно было бы разойтись двоим. Свет проникал сквозь нацеленные в небо двояковыпуклые стекла верхних иллюминаторов. Еще одна дверь, разрисованная бело-зелеными шахматными клетками, была приоткрыта. Я вошел в полукруглую кабину. В единственном обзорном

иллюминаторе горело затянутое туманом небо. Внизу, бесшумно перекатываясь, чернели гребни волн. В стенах множество открытых шкафчиков с инструментами, книгами, немытыми стаканами, пыльными термосами. На грязном полу стояло пять или шесть шагающих столиков, между ними несколько надувных кресел, потерявших всякую форму — воздух из них был частично выпущен.

В единственном исправном кресле с откидной спинкой сидел маленький худенький человек с обожженным солнцем лицом. Нос и скулы у него шелушились. Я знал, что это Снаут, заместитель Гибаряна, кибернетик. Когда-то он поместил в Соляристическом альманахе несколько весьма оригинальных статей. Раньше я никогда не видел Снаута.

На Снауте была сетчатая майка, сквозь которую виднелась впалая грудь с седыми волосами, и полотняные брюки с множеством карманов, как у монтажника, когда-то белые, с пятнами на коленях, сожженные реактивами. В руках он держал пластиковою грушу, из какой обычно пьют на кораблях без искусственной гравитации. Снаут смотрел на меня, сощурившись, будто от яркого света. Груша выпала у него из рук и запрыгала по полу, как мячик. Из нее вылилось

немного прозрачной жидкости. В лице Снаута не было ни кровинки. Я был слишком растерян и не мог произнести ни слова. Молчаливая сцена продолжалась до тех пор, пока его страх каким-то странным образом не передался и мне. Я шагнул. Он съежился в кресле.

— Снаут, — шепнул я.

Он вздрогнул, как от удара, и неожиданно с отвращением прохрипел:

— Я тебя не знаю, не знаю. Чего ты хочешь?..

Пролитая жидкость быстро испарялась. Запахло спиртным. Снаут пил? Он пьян? Чего он так боится? Я по-прежнему стоял посредине кабины. Колени у меня дрожали, уши заложило. Пол уходил из-под ног. За выпуклым стеклом иллюминатора размеренно шевелился Океан. Снаут не спускал с меня налитых кровью глаз; он постепенно успокаивался, но по-прежнему глядел на меня с невыразимым отвращением.

— Что с тобой?.. — вполголоса спросил я. — Ты болен?

— Ты беспокоишься… — глухо сказал он. — Ага. Ты станешь беспокоиться, да? Но почему обо мне? Я тебя не знаю.

— Где Гибарян?

Снаут поперхнулся, глаза у него остекленели, в

них что-то вспыхнуло и погасло.

— Ги… Гиба… — выдавил он, — нет! Нет!!!

Снаут затрясся, беззвучно, бессмысленно хихикая, и вдруг замолк.

— Ты пришел к Гибаряну?.. — произнес он почти спокойно. — К Гибаряну? Что ты собираешься с ним сделать?

Он смотрел на меня, словно я сразу перестал представлять для него опасность; в его словах, вернее, в оскорбительном тоне звучала ненависть.

— Что ты говоришь?.. — выдавил я, оглушенный. — Где же он?

— Ты не знаешь?.. — удивленно пробормотал Снаут.

Он пьян, подумал я. Пьян до потери сознания. Я разозлился. Конечно, следовало уйти, но мое терпение лопнуло.

— Опомнись! — рявкнул я. — Откуда я могу знать, где он, если я только что прилетел! Что с тобой, Снаут?!!

У него отвисла челюсть, и он снова поперхнулся. Но неожиданно глаза у него заблестели, он выглядел теперь совсем иначе. Трясущимися руками Снаут схватился за поручни кресла и встал с таким трудом, что у него хрустнули суставы.

— Как? — сказал он, почти протрезвев. — Прилетел? Откуда ты прилетел?

— С Земли, — ответил я с яростью. — Может, ты слышал о ней? По-моему, нет!

— С Зе… о боже… Такты Кельвин?

— Да. Чего ты так смотришь? Что тут удивительного?

— Ничего, — произнес он моргая, — ничего.

Снаут потер лоб.

— Кельвин, извини, это ничего. Знаешь, так внезапно… Я не ожидал.

— Как не ожидал? Ведь вы получили сообщение несколько месяцев назад, а сегодня Моддард телеграфировал с борта «Прометея».

— Да, да… конечно, только, видишь ли, тут такая неразбериха.

— Пожалуй, — сухо ответил я, — оно и заметно.

Снаут обошел вокруг меня, словно проверяя, как выглядит мой скафандр, самый обычный, со шлангами и проводами на груди. Откашлялся. Потрогал свой острый нос.

— Хочешь искупаться?.. Это тебя взбодрит. Голубая дверь с противоположной стороны.

— Спасибо. Я знаю расположение Станции.

— Может быть, есть хочешь…

— Нет. Где Гибарян?

Снаут подошел к иллюминатору, будто не слыша моего вопроса, и встал ко мне спиной. Сейчас он выглядел значительно старше. Коротко подстриженные седые волосы, глубокие морщины на шее, сожженной солнцем. За стеклом блестели огромные гребни волн, поднимавшихся и опускавшихся так медленно, словно Океан застывал. Казалось, что Станция постепенно соскальзывает с невидимой опоры. Потом возвращается в исходное положение и также лениво наклоняется в другую сторону. Но вероятно, это был оптический обман. Хлопья слизистой кроваво-красной пены скапливались между волнами. Меня затошнило. Я вспомнил строгий порядок на борту «Прометея» как что-то дорогое, безвозвратно потерянное.

— Послушай, — произнес Снаут неожиданно, — пока только я… — Он обернулся, нервно потер руки. — Тебе придется довольствоваться только моим обществом. Пока. Называй меня Мышонок. Ты знаешь меня только по фотографии, но это неважно, меня все так называют. Я привык. Впрочем, мое собственное имя — родители слишком увлекались космосом — звучит не лучше. Мышонок — по крайней мере, что-то земное…

— Где Гибарян? — настойчиво повторил я.

Снаут заморгал.

— Мне очень неприятно, что я так тебя принял. Здесь… не только моя вина. Я совершенно забыл, тут такое делалось, знаешь…

— А, неважно, — прервал я. — Не надо об этом. Что с Гибаряном? Его нет на Станции? Он куда-нибудь полетел?

— Нет. — Снаут смотрел в угол, заставленный катушками кабеля. — Никуда он не полетел. И не полетит. Именно потому… в частности…

— Что? — спросил я. Уши по-прежнему были заложены, и мне казалось, что я плохо слышу. — Что это значит? Где он?

— Ведь ты все понимаешь, — произнес Снаут совсем другим тоном.

Он так холодно посмотрел мне в глаза, что у меня по спине пробежали мурашки. Может, он и был пьян, но знал, что говорит.

— Что-нибудь случилось?

— Случилось.

— Несчастье?

Снаут кивнул. Он не только поддакивал, но одновременно изучал мою реакцию.

— Когда?

— Сегодня утром.

Удивительное дело, я не почувствовал потрясе-

ния. Весь этот обмен односложными вопросами и ответами успокоил меня, пожалуй, своей деловитостью. Мне казалось, что я уже понимаю поведение Снаута.

— Как это случилось?

— Устраивайся, разбери вещи и возвращайся сюда… Ну, скажем, через час.

Мгновение я колебался.

— Хорошо.

— Обожди, — сказал Снаут, когда я повернулся к дверям. Он смотрел на меня как-то по-особенному. Видно было, что он никак не может выдавить из себя то, что хочет сказать.

— Нас было трое, и теперь с тобой снова трое. Ты знаешь Сарториуса?

— Так же, как тебя. По фотографии.

— Он в лаборатории, наверху, и не думаю, чтобы он вышел оттуда до ночи, но… во всяком случае, ты его узнаешь. Если увидишь кого-нибудь другого, понимаешь, не меня и не Сарториуса, понимаешь, то…

— То что?

Мне казалось, что я все вижу во сне. На фоне черных волн, кроваво поблескивающих под низким солнцем, он сидел в кресле с опущенной головой и смотрел в угол смотанного кабеля.

— То… Не делай ничего.

— Кого я могу увидеть? Привидение?! — взорвался я.

— Понимаю. Думаешь, я сошел сума. Еще нет. Не могу тебе сказать по-другому пока… В конце концов, может, ничего и не случится. Во всяком случае помни. Я тебя предостерегаю.

— Отчего? О чем ты говоришь?

— Владей собой, — он упрямо говорил свое. — Поступай так, как будто… Будь готов ко всему. Это невозможно, я знаю. Но ты попробуй. Это единственный выход. Другого я не знаю.

— Но что я увижу? — Я, наверное, крикнул это. Я едва удерживался, чтобы не схватить Снаута за плечи и не встряхнуть его как следует, чтобы он не сидел вот так, уставившись в угол, с измученным, обожженным солнцем лицом, с видимым усилием выдавливая из себя по одному слову.

— Не знаю. В некотором смысле это зависит от тебя.

— Галлюцинации?

— Нет. Это реально. Не… нападай. Помни.

— Что ты говоришь?! — Я не узнавал своего голоса.

— Мы не на Земле.

— Политерии?.. Но ведь это совершенно не

похоже на людей!

Я не знал, как вырвать его из этого кошмара, откуда он, казалось, вычитывал бессмыслицу, леденящую кровь.

— Именно оттого это так страшно, — сказал он тихо. — Помни — будь начеку!

— Что случилось с Гибаряном?

Он не отвечал.

— Что делает Сарториус?

— Приходи через час.

Я отвернулся и вышел. Отворяя двери, я взглянул на Снаута еще раз. Он сидел согнувшись, закрыв лицо руками. Только теперь я увидел, что костяшки пальцев у него покрыты запекшейся кровью.

Соляристы

Круглый коридор был пуст. Мгновение я постоял перед закрытой дверью, прислушиваясь. Стены, наверно, были тонкими, снаружи проникал плач ветра. На двери, немного наискось, висел небрежно прикрепленный прямоугольный кусок пластыря с карандашной надписью «Человек».

Неразборчиво нацарапанное слово вызвало у меня желание вернуться к Снауту, но я понял, что это невозможно.

Нелепое предостережение все еще звучало в ушах. Тихо, как будто бессознательно скрываясь от невидимого наблюдателя, я вернулся в круглое помещение с пятью дверьми. На них были таблички: «Д-р Гибарян», «Д-р Снаут», «Д-р Сарториус». Четвертая дверь — без таблички. Поколебавшись, я легонько нажал на дверную ручку и медленно открыл дверь. Когда она отодвигалась, мне показалось — я был почти уверен, — что там кто-то есть. Я вошел.

Никого. Такой же, только чуть поменьше, выпуклый иллюминатор, нацеленный на Океан; на солнце Океан отливал жирным блеском, словно

по волнам растеклось красноватое оливковое масло. Пурпурный отсвет заполнял всю комнату, похожую на судовую каюту. С одной стороны — полки с книгами; между ними, вертикально по стене, закреплена откидная койка, смонтированная на карданах; с другой — множество шкафчиков; тут же на никелированных рамах — снимки планеты из космоса; в металлических штативах колбы и пробирки, заткнутые ватой; под иллюминатором — два ряда белых эмалированных ящиков, загораживающих проход. Крышки у некоторых откинуты, в ящиках — инструменты и пластиковые штанги; в обоих углах краны, вытяжной шкаф, морозильные установки, на полу — микроскоп (для него не хватило места на большом столе у иллюминатора).

Обернувшись, я заметил у самого входа шкаф до потолка. Он был приоткрыт. В нем висели комбинезоны, рабочие и защитные халаты, на полках лежало белье, между голенищами антирадиационных сапог поблескивали алюминиевые баллоны для портативных кислородных аппаратов. Два аппарата вместе с масками висели на спинках койки. Следы небрежной, торопливой уборки не могли скрыть царившего здесь беспорядка. Я принюхался. Пахло химически-

ми реактивами, чем-то едким — не хлором ли? Я невольно поискал глазами под потолком зарешеченные угловые отдушины вентиляции. Приклеенные к их рамам полоски бумаги чуть шевелились, показывая, что компрессоры поддерживают нормальную циркуляцию воздуха. Я снял с двух стульев книги, аппаратуру и инструменты, рассовал их, как сумел, по углам, чтобы освободить хоть немного места возле койки, между шкафом и полками. Пододвинув вешалку для скафандра, я хотел расстегнуть молнию, но тут же остановился. Я никак не мог решиться сбросить скафандр. Мне казалось, без него я стану беззащитен. Еще раз я обвел взглядом всю комнату, проверил, плотно ли закрыта дверь. Она не запиралась, и я, после минутного колебания, придвинул к ней два самых тяжелых ящика. Соорудив такую баррикаду, я в три приема высвободился из своей тяжелой скрипящей оболочки.

В узком зеркале на внутренней стенке шкафа была видна часть комнаты. Там что-то двигалось, я рванулся с места, но тут же понял — это было мое собственное отражение. Сняв трикотажный костюм, пропотевший под скафандром, я отодвинул шкаф: в нише за ним заблестели стены крошечной душевой. На полу лежала большая

плоская коробка. Я с трудом внес ее в комнату. Когда я клал коробку на пол, крышка отскочила, открылись отделения, заполненные странными предметами: множество искаженных изображений или грубых подобий инструментов из темного металла, часть которых напоминала те, что лежали в шкафчиках. Все они никуда не годились — деформированные, искривленные, оплавленные, словно после пожара. Самое удивительное, что повреждены были и керамитовые, то есть практически неплавкие, рукоятки. Ни в одной лабораторной печи нельзя получить температуру их плавления — разве только в атомном реакторе. Из своего скафандра я достал карманный индикатор излучения, поднес к этим странным инструментам — его черная головка молчала.

Сняв плавки и майку, я швырнул их на пол и встал под душ. Сразу стало легче. Я вертелся под упругими, горячими струями, массировал тело, фыркал — старательно, даже слишком старательно, словно пытаясь смыть с себя какую-то непонятную, отравленную подозрениями неуверенность, заполнявшую Станцию.

Я отыскал в шкафу легкий тренировочный костюм, который годился и под скафандр, перело-

жил в карманы свое скудное имущество; между страницами записной книжки я нащупал что-то твердое — это был неизвестно как попавший туда ключ от моей квартиры на Земле; я повертел его в руках, не зная, что с ним делать. В конце концов, я положил его на стол; потом подумал, что мне может понадобиться какое-нибудь оружие. Универсальный складной нож, конечно, не оружие, но ничего другого у меня не было, а я еще не дошел до такого состояния, чтобы искать лучемет или что-то в этом роде.

Я уселся на металлическом стуле подальше от вещей. Мне хотелось побыть одному. Я с удовлетворением отметил, что у меня есть еще более получаса: ничего не поделаешь, я от природы педантичен и пунктуален во всем, даже в мелочах. Стрелки на двадцатичетырехчасовом циферблате показывали семь. Солнце заходило. Семь часов по местному времени — значит, двадцать по бортовому времени «Прометея». На экранах Моддарда планета Солярис, вероятно, уже стала крошечной искоркой и ничем не отличается от звезд. Но какое отношение имел теперь ко мне «Прометей»? Я закрыл глаза. Было абсолютно тихо, если не считать равномерно повторявшегося мяуканья труб. В душевой тихонько постукивала

о фаянс вода.

Гибаряна нет в живых. Если я правильно понял Снаута, с момента смерти Гибаряна прошло всего несколько часов. Что с телом? Они его похоронили? Но ведь на такой планете похоронить нельзя. Я довольно долго размышлял над этим, словно не было проблемы важнее. Потом, поняв, что мои раздумья ни к чему не приведут, встал и принялся ходить из угла в угол. Я все время задевал разбросанные книги, какой-то маленький пустой планшет; наклонившись, я поднял его. В планшете что-то лежало. Это была бутылка из темного стекла, легкая, как бумага. Я посмотрел сквозь бутылку на мрачно красневший, затянутый грязной мглой закат. Что со мной? Почему я обращаю внимание на всякую чепуху, на любую мелочь, попавшуюся под руку?

Я вздрогнул: зажегся свет. В сумерках сработал фотоэлемент. Я все ждал чего-то, напряжение росло, я уже не мог выносить пустоты за спиной. Надо было побороть это чувство. Пододвинув стул к полкам, я взял хорошо знакомый мне второй том старой монографии Хьюза и Эйгеля «История планеты Солярис» и стал листать его, положив толстую книгу на колено.

Планета Солярис была открыта лет за сто до моего рождения. Она вращается вокруг двух солнц — красного и голубого. В течение сорока с лишним лет к ней не приближался ни один космический корабль. В те времена теория Гэмоу-Шепли о невозможности возникновения жизни на планетах двойных звезд считалась аксиомой. Орбиты таких планет непрерывно изменяются в результате гравитационных возмущений, происходящих при вращении обоих солнц относительно друг друга.

Возникающие пертурбации попеременно сокращают и растягивают орбиту планеты, и зачатки жизни, если они и возникают, уничтожает то жар излучения, то ледяной холод. Эти изменения происходят в течение миллионов лет, то есть с астрономической или биологической точек зрения (ибо эволюция требует сотен миллионов, если не миллиардов лет) в очень короткое время.

Солярис, по первоначальным подсчетам, должна была в течение пятисот тысяч лет приблизиться на расстояние, равное половине парсека, к своему красному солнцу, а еще через миллион лет упасть в его раскаленную бездну.

Но уже через десять с небольшим лет ученые убедились, что траектория планеты вовсе не обнаруживает ожидаемых изменений и является столь же постоянной, как траектории планет нашей Солнечной системы.

Были повторены, на этот раз с максимальной точностью, наблюдения и расчеты, подтвердившие только то, что уже было известно: орбита Солярис непостоянна.

До тех пор Солярис была лишь одной из сотен ежегодно открываемых планет. В больших статистических таблицах такие планеты отмечены

несколькими строками, содержащими основные характеристики их движения. Но теперь Солярис перешла в ранг небесных тел, заслуживающих особого внимания.

Через четыре года планету облетела экспедиция Оттеншельда, исследовавшего Солярис с борта «Лаокоона», сопровождаемого двумя вспомогательными космическими кораблями. Экспедиция носила характер первоначальной рекогносцировки. Она не могла совершить посадку и только вывела на экваториальные и полярные орбиты значительное количество автоматических спутников-наблюдателей, в задачи которых в основном входили замеры гравитационных потенциалов. Кроме того, была исследована поверхность планеты. Она почти полностью покрыта Океаном, лишь немногие плоскогорья возвышаются над его уровнем. Их общая площадь не достигает территории Европы, хотя диаметр Солярис на двадцать процентов больше земного. Эти беспорядочно рассеянные островки скалистой и пустынной суши сосредоточены в основном в южном полушарии. Был изучен также состав атмосферы, не содержащей кислорода, и чрезвычайно тщательно измерена плотность планеты, а также ее освещенность и

другие астрономические характеристики. Как и предполагалось, никаких признаков жизни найти не удалось — ни на суше, ни в океане.

В течение следующих десяти лет Солярис, теперь уже находившаяся в центре внимания всех обсерваторий этой части Вселенной, обнаруживала поразительную тенденцию к сохранению своей, вне всякого сомнения, гравитационно нестационарной орбиты. Некоторое время дело попахивало скандалом, так как вину за такой результат наблюдений пробовали взвалить (ради блага науки) то на отдельных людей, то на счетные машины, которыми эти люди пользовались.

Из-за отсутствия средств научная соляристическая экспедиция задержалась еще на три года, пока Шенаган, собрав экипаж, не получил от Института три корабля тоннажа С, космодромного класса. За полтора года до прибытия экспедиции, стартовавшей в районе альфы Водолея, второй исследовательский флот вывел, по поручению Института, на околосолярийскую орбиту автоматический Сателлоид — Луну 247. Этот Сателлоид после трех очередных реконструкций, отделенных друг от друга десятилетиями, работает и поныне. Собранные им данные окончательно подтвердили наблюдения экспедиции

Оттеншельда относительно активного характера движения Океана.

Один корабль Шенагана остался на высокой орбите, а два других после предварительной подготовки совершили посадку на скалистом участке суши площадью около 600 квадратных миль, у Южного полюса планеты Солярис. Работа экспедиции длилась восемнадцать месяцев и в основном прошла успешно, если не считать одного несчастного случая из-за неисправности в аппаратуре.

Но ученые, входившие в состав этой экспедиции, разделились на два враждебных лагеря. Предметом спора стал Океан. На основании анализов его сочли органическим образованием (назвать его живым тогда еще никто не осмеливался). Биологи видели в нем примитивное образование, некое гигантское скопление, то есть одну чудовищно разросшуюся жидкую клетку (они называли это образование «добиологической формацией»), которая окружила всю планету студенистым покровом, достигающим кое-где нескольких миль глубины. Астрономы и физики утверждали, что это должна быть чрезвычайно высокоорганизованная структура, возможно даже превосходящая по сложности

строения земные организмы, раз она может так активно влиять на формирование планетной орбиты. И никакой другой причины, объясняющей поведение Солярис, открыть не удалось, кроме того, планетологи обнаружили связь между некоторыми процессами в плазматическом Океане и местным гравитационным потенциалом, который менялся в зависимости от океанического «обмена веществ».

Так физики, а не биологи предложили парадоксальное определение — «плазматическая машина», понимая под этим образование, в нашем значении, возможно, и не живое, но способное к целенаправленным действиям, добавим сразу — в астрономическом масштабе.

В этом споре, который, подобно водовороту, захватил в течение нескольких недель все самые выдающиеся авторитеты, впервые за 80 лет пошатнулась доктрина Гэмоу-Шепли.

Кое-кто еще пытался защитить ее, утверждая, что Океан не имеет ничего общего с живой материей, что он представляет собой даже не «вне- или до биологическое» образование, а только геологическую формацию, конечно не обычную, но способную всего лишь стабилизировать орбиту Солярис, изменяя силы тяготения; защитники

ссылались на принцип Ле-Шателье.

Наперекор этому консервативному мнению появились гипотезы, провозглашавшие (как одна из наиболее разработанных — гипотеза Чивита-Витта), что Океан — результат диалектического развития; от своей первоначальной формы, от Праокеана, раствора вяло реагирующих химических веществ, он сумел под влиянием неблагоприятных условий (то есть угрожающих его существованию изменений орбиты) перейти, минуя земные ступени развития — возникновение одноклеточных и многоклеточных организмов, растительную и животную эволюцию, образование нервной системы и мозга, — прямо в стадию «гомеостатического океана». Иными словами, в отличие от земных организмов, сотни миллионов лет приспосабливающихся к окружающей среде и только в конце длительного периода давших начало разумным существам, Океан сразу стал господствовать над окружающими условиями.

Все это было весьма оригинально, но никто попрежнему не знал, каким образом студенистый сироп может стабилизировать орбиту небесного тела. Почти целый век были известны устройства, создающие искусственные силовые гравитационные поля — гравитаторы, но никто понятия не

имел, как аморфная жижа может давать эффект, представлявший собой — в гравитаторах — результат сложных ядерных реакций и высоких температур. В газетах, в то время развлекавших читателей и приводивших в ужас ученых самыми низкопробными выдумками на тему «тайна планеты Солярис», встречались даже утверждения, что Океан — дальний родственник… земных электрических угрей.

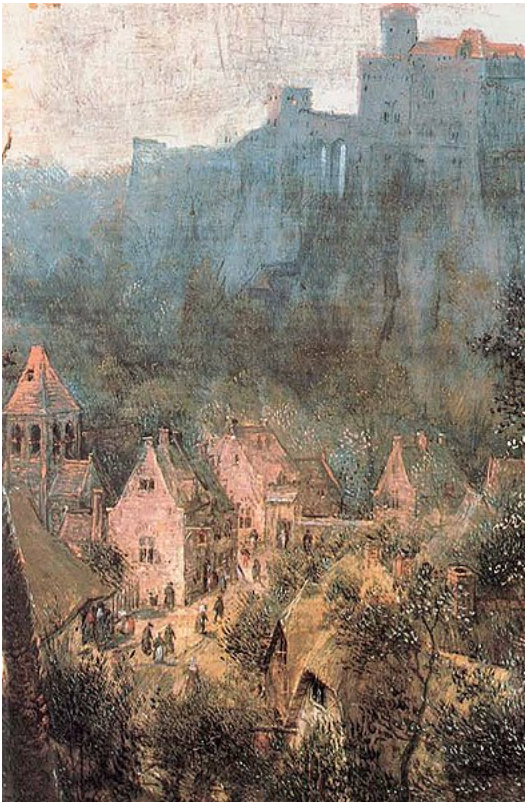
Когда удавалось хоть в какой-то степени разрешить одну проблему, оказывалось — так потом не раз бывало с планетой Солярис, — что вместо одной загадки возникала другая, еще более невероятная.

Исследования показали, что Океан вовсе не действует по принципу наших гравитаторов (что, кстати, невозможно), а обладает способностью непосредственно моделировать метрику времени — пространства, что ведет, в частности, к отклонениям в измерении времени на одном и том же меридиане Солярис. Таким образом, Океан не только в известном смысле знает следствия теории Эйнштейна-Беви, но и может их использовать (чего нельзя сказать о нас).

В научном мире такие выводы произвели настоящий переворот — один из самых гранди-

озных в нашем столетии. Всеми признанные, непреложные теории рухнули, в научной литературе появились самые еретические статьи, всех взбудоражила альтернатива: «гениальный Океан или гравитационный студень».

Это происходило лет за двадцать до моего рождения. Когда я учился в школе, Солярис благодаря установленным к тому времени фактам была уже признана планетой населенной — но всего одним обитателем…



Второй том Хьюза и Эйгеля, который я продолжал листать почти машинально, начинался с систематики, столь же оригинальной, сколь

забавной. В классификационной таблице фигурировали по очереди: тип — политерий (Politeria), порядок — соклетные (Syncytialia), класс — метаморфные (Metamorpha).

Словно нам было известно бог знает сколько представителей данного вида, в то время как представитель был только один — правда, весом 17 биллионов тонн.

Я быстро перелистывал пестрые диаграммы, разноцветные графики, данные спектральных анализов, демонстрирующие тип и темп основного обмена, его химические реакции. Чем дальше углублялся я в объемистый том, тем больше математики было на мелованных страницах; казалось, мы абсолютно все знаем об этом представителе класса метаморфных, который лежал во тьме четырехчасовой ночи в нескольких сотнях метров от стального днища Станции.

В действительности не все еще пришли к единому мнению, «существо» ли это, а тем более — можно ли Океан назвать разумным. Я затолкнул огромный том на полку и вытащил следующий. Он состоял из двух частей. В первой кратко излагались эксперименты, сделанные во время бесчисленных попыток установить контакт с Океаном. Я прекрасно помнил, что в

мои студенческие годы эти попытки вызывали нескончаемые анекдоты, шутки и насмешки. По сравнению с теми дебрями, в которые завел ученых вопрос контакта, даже средневековая схоластика казалась ясным, доступным, не вызывающим трудности академическим курсом. Вторую часть тома, насчитывающую почти тысячу триста страниц, составляла только библиография предмета. Сама же литература по этому вопросу наверняка не поместилась бы в комнате, где я сидел.

Сначала контакт пытались установить при помощи специальных электронных аппаратов, трансформирующих импульсы, посылаемые в обоих направлениях. Сам Океан принимал активное участие в разработке этих аппаратов. Работа шла вслепую. Что означали слова «принимал участие в разработке»? Океан модифицировал некоторые узлы погружаемых в него приборов, в результате чего менялись записываемые ритмы разрядов, регистрирующая аппаратура отмечала мириады сигналов, напоминающих обрывки сложнейших математических операций, но что это было? Может, это были данные о временном возбуждении Океана? А может, импульсы, где-то далеко, за тысячи миль от исследователей,

порождающие его огромные образования? Или переведенные на недоступный электронный язык отражения извечных истин этого Океана? Или его произведения искусства? Кто же мог дать ответ, если невозможно было дважды получить одну и ту же реакцию на раздражитель? Если Океан откликался то взрывом импульсов, чуть не разносившим на куски аппаратуру, то глухим молчанием? Если ни один опыт нельзя было повторить? Все время казалось, что мы вот-вот расшифруем непрестанно растущую лавину записей; для переработки этой информации создавались электронные машины такой мощности, какой не требовало до сих пор решение ни одной проблемы. Действительно, некоторые результаты удалось получить. Океан — источник электрических, магнитных, гравитационных импульсов — говорил как будто бы на математическом языке. Некоторые всплески его разрядов можно было классифицировать, используя наиболее отвлеченные области математики, теорию множеств; там появлялись гомологи структур, известных в той области физики, которая рассматривает вопрос взаимоотношения энергии и материи, конечных и бесконечных величин, частиц и полей. Все это склоняло ученых к убеж-

дению, что перед ними — мыслящее чудовище, скажем, нечто вроде исполински разросшегося, опоясавшего всю планету, протоплазматического моря-мозга, который проводит время в невиданных по своей широте теоретических рассуждениях о сущности мироздания, а наши аппараты улавливают лишь незначительные, случайно подслушанные обрывки этого извечного, глубинного, превосходящего всякую возможность нашего понимания гигантского монолога.

Таково было мнение математиков. Их гипотезы одни рассматривали как пренебрежение к человеческим возможностям, как преклонение перед чем-то, чего мы еще не понимаем, как попытку воскресить древнюю доктрину «Ignoramus et ignorabimus»[1]. Другие же считали, что все это вредные и бесплодные разглагольствования, что в гипотезах математиков отражается мифология наших дней, усматривающая в гигантском мозге — безразлично, электронном или плазматическом — высшую цель существования, сумму бытия.

---

[1] Примечания: 1

«Мы не знаем и не узнаем» (*лат.*) — средневековая формула, выражавшая ограниченность человеческого познания. — Здесь и далее примечания переводчиков.

А некоторые… Впрочем, исследователей и точек зрения было бесконечное множество. А ведь, кроме поисков контакта, существовали и другие области соляристики, где специализация стала такой узкой, особенно за последнюю четверть века, что солярист-кибернетик и солярист-симметриадолог с трудом понимали друг друга. «Как же вы договоритесь с Океаном, если друг с другом договориться не можете?» — в шутку спросил как-то Вейбеке, который в мои студенческие годы был директором Института. В шутке было немало правды.

Океан не случайно был отнесен к классу метаморфных. Его движущаяся поверхность могла давать начало самым различным формам, совершенно не похожим на земные, причем целенаправленность — адаптационная, познавательная или какая-либо другая — этих нередко бурных извержений плазматического «творчества» оставалась абсолютной загадкой.

Ставя обратно на полку том, такой тяжелый, что мне пришлось поддерживать его обеими руками, я подумал, что наши сведения о планете Солярис, заполняющие библиотеки, — бесполезный балласт. Мы увязли в фактах, но знаем не больше, чем семьдесят лет назад, когда начинали

их собирать. Впрочем, мы в худшей ситуации — ведь весь труд этих лет оказался напрасным.

Наши точные сведения состояли из одних только отрицательных суждений. Океан не пользовался машинами и, как известно, не строил их, хотя в определенных условиях казался способным к этому — он иногда копировал части погруженной в него аппаратуры; делал он это лишь на первом и втором году исследовательских работ; потом он упорно игнорировал все повторяемые с бесконечным терпением опыты, словно потерял всякий интерес к нашим приборам и изделиям, а может, и к нам самим… Океан не обладал — я продолжаю перечислять наши «отрицательные» сведения — ни нервной системой, ни клетками, ни структурой, напоминающей белковую; он не всегда реагировал на раздражители, даже на самые сильные (так, он полностью «проигнорировал» катастрофу вспомогательного ракетного корабля второй экспедиции Гизе, упавшего с высоты трехсот километров на поверхность планеты и уничтожившего ядерным взрывом своих атомных реакторов плазму в радиусе полутора миль).

Постепенно в научных кругах «дело Солярис» стало звучать как «безнадежное дело», а среди

ученых, руководивших Институтом, в последние годы раздавались голоса, требовавшие урезать дотации на дальнейшие исследования. Заговорить о ликвидации Станции пока никто не осмеливался; это было бы явным признанием поражения. Впрочем, кое-кто в частных беседах замечал, что самое главное — по возможности «почетно» закончить «аферу Солярис».

Однако для многих, и особенно для молодежи, «афера» постепенно становилась чем-то вроде пробного камня. «В сущности, — говорили они, — дело ведь не в разгадке солярийской цивилизации, а в нас самих, в границах человеческого познания».

Одно время была популярна точка зрения (усердно распространяемая газетами), что мыслящий Океан, омывающий всю планету Солярис, — гигантский мозг, опередивший в своем развитии нашу цивилизацию на миллионы лет, что это какой-то «космический йог», мудрец, воплощенное всеведение, что он уже давно постиг тщетность всякого действия и поэтому встречает нас полным безмолвием. Но это был ложный взгляд. Живой Океан действует, да еще как! Правда, он действует иначе, чем представляют себе люди: он не строит ни городов, ни мостов, ни летательных

аппаратов, не пытается ни победить, ни преодолеть пространство (те, кто старался любой ценой доказать превосходство человека, усматривали в этом наше неоценимое преимущество). Он занят тысячекратными превращениями — «онтологическим аутометаморфозом» (ученых терминов на страницах соляристических трудов было предостаточно!).

Тому, кто станет тщательно изучать всевозможные данные о планете Солярис, трудно избавиться от впечатления, что перед ним обломки интеллектуальных построений, может и гениальных, перемешанные с плодами полнейшей, граничащей с безумием глупости. Поэтому в противоположность концепции «Океана-йога» родилась теория «Океана-дебила».

Эти гипотезы вновь воскресили одну из древнейших философских проблем: проблему взаимоотношения материи и духа, сознания. Тому, кто

первым, как Дю-гаарт, наделил Океан сознанием, требовалось немало мужества. Проблема, которую сразу же признали метафизической, незримо присутствовала почти во всех дискуссиях и спорах. Возможно ли мышление вне сознания? Можно ли процессы, происходящие в Океане, назвать мышлением? Справедливо ли утверждение, что гора не что иное, как очень большой камень, а планета не что иное, как очень большая гора? Можно пользоваться этими терминами, однако новое соотношение величин раскрывает иные закономерности и иные явления.

Проблема эта стала современной квадратурой круга. Каждый самостоятельно мыслящий ученый старался внести в сокровищницу соляристики свой вклад; появлялось множество теорий. Одни из них утверждали, что перед нами продукт вырождения, регресса, наступившего после фазы «интеллектуального расцвета» Океана. Другие объявляли Океан глеевым новообразованием, которое, зародившись в телах прежних жителей планеты, разъело и поглотило их, сплавив останки в вечно существующую, самоомолаживающуюся, внеклеточную стихию.

Лампы излучали белый, похожий на земной, свет. Я снял со стола приборы и книги, разложил

на пластиковой доске карту Солярис и, опираясь руками о металлические края стола, начал рассматривать ее. У живого Океана были свои отмели и глубины, а налет выветривающихся минералов, покрывающий его острова, свидетельствовал, что когда-то эти острова были дном Океана. Регулировал ли он также перемещение на поверхность и в глубину скрывавшихся в нем твердых пород, было совершенно неясно. Я снова, как в детстве, когда впервые услышал в школе о существовании Солярис, был потрясен видом огромных полушарий, раскрашенных в разные тона фиолетового и голубого цветов.

Не знаю почему, но все: и неотступно ждущая разгадки тайна смерти Гибаряна, и даже мое неизвестное будущее — показалось мне вдруг таким незначительным. Я ни о чем не думал, погруженный в созерцание карты, никого не оставлявшей равнодушным.

Отдельные участки «живообразования» были названы именами исследователей, посвятивших себя их изучению. Рассматривая омывающий экваториальные архипелаги глеемассив Тексалла, я вдруг почувствовал чей-то взгляд.

Я все еще стоял над картой, но уже не видел ее, оцепенев от страха. Дверь напротив меня была

забаррикадирована ящиками и придвинутым к ним шкафчиком. Наверное, робот, подумал я, хотя до этого в комнате не было ни одного робота, а войти незаметно он не мог. Кожу на шее и спине начало жечь, ощущение тяжелого неподвижного взгляда становилось невыносимым. Я бессознательно втягивал голову в плечи и все сильнее опирался на стол. Вдруг стол медленно заскользил по полу. Я пришел в себя и резко обернулся.

Комната была пуста. Передо мной зияла чернота большого полукруглого иллюминатора. Странное чувство не исчезало. На меня смотрела темнота — необъятная, безликая, безглазая, безграничная. За стеклами, во мраке, не светилась ни одна звезда. Я задернул светонепроницаемые шторы. Не пробыв на Станции и часа, я уже начинал понимать, почему здесь у некоторых возникает мания преследования. Невольно вспомнилась смерть Гибаряна. Я хорошо знал его и до сих пор был уверен, что он ни при каких обстоятельствах не потерял бы ясности ума. Теперь эта уверенность исчезла.

Я стоял посреди комнаты возле стола. Дыхание стало спокойнее, пот на лбу высыхал. О чем же я только что думал? А, о роботах. Я не видел их ни в коридоре, ни в комнатах. Странно. Куда

они все подевались? Единственный, с которым я имел дело — и то на расстоянии, — обслуживал космодром. А где остальные?

Я посмотрел на часы. Пора было идти к Снауту.

Я вышел. Коридор слабо освещали люминесцентные лампы под потолком. Миновав первые две двери, я дошел до третьей, с табличкой «Д-р Гибарян». Я долго стоял перед ней. На Станции было тихо. Я взялся за дверную ручку. По правде говоря, мне не хотелось туда входить. Ручка повернулась, дверь на дюйм отодвинулась, образовалась щель, сначала черная, потом в комнате зажегся свет. Теперь меня мог увидеть каждый, кто шел по коридору. Я быстро перешагнул порог, бесшумно и плотно задвинул за собой дверь. Потом повернулся.

Я стоял, почти касаясь спиной двери. Комната была больше моей, с таким же обзорным иллюминатором, на три четверти задернутым занавеской с розовыми и голубыми цветочками, несомненно привезенной с Земли. Вдоль стен — книжные полки и шкафчики, выкрашенные в бледно-зеленый цвет, отливавший серебром. Их содержимое свалено прямо на пол, между табуретками и креслами. Передо мной — два шагающих столика, перевернутых и частично

погребенных под кипами журналов в разорванных папках. Раскрытые веером страницы книг залиты жидкостями из разбитых колб и флаконов с притертыми пробками. Колбы и флаконы были из такого толстого стекла, что, просто упав на пол, даже с большой высоты, ни за что не разбились бы. Под окном — перевернутый письменный стол с разбитой настольной лампой на раздвижном кронштейне, ножки табурета всунуты в выдвинутые ящики стола. Весь пол усыпан карточками, исписанными листками, какими-то бумагами. Я узнал почерк Гибаряна. Поднимая разрозненные листки, я заметил, что моя рука отбрасывает не одну, а две тени.

Я обернулся. Розовая занавеска пылала, словно подожженная сверху. Резкая линия ослепительно голубого огня разгоралась с каждой секундой. Я отдернул занавеску — в глаза ударил невиданный пожар. Он охватывал треть горизонта. Длинные, чудовищно вытянутые переплетенные тени бежали между волнами к Станции. Это был восход. В той зоне, где находилась Станция, после ночи, длившейся всего один час, на небо поднималось второе, голубое солнце.

Автоматический выключатель погасил светильники. И я вернулся к разбросанным бумагам.

Среди них я нашел краткое описание опыта, намеченного три недели назад: Гибарян намеревался воздействовать на плазму сверхжестким излучением. По содержанию я понял, что держу в руках копию инструкции для Сарториуса, который должен был провести эксперимент. Белые листы бумаги слепили глаза. Наступивший день отличался от предыдущего. Под оранжевым небом остывавшего солнца Океан — чернильный с кровавыми отблесками — почти всегда покрывала грязно-розовая мгла, в ней сливались небосвод, тучи и волны. Теперь все исчезло. Даже сквозь розовую ткань свет напоминал лучи мощной кварцевой лампы. Загар на моих руках выглядел почти серым. Комната изменилась: предметы красного цвета стали блекло-коричневыми, как сырая печенка, а белый, зеленый и желтый цвета — такими резкими, будто излучали собственное сияние. Прищурившись, я выглянул в иллюминатор: вверху пылало белое море огня, внизу колыхался и дрожал жидкий металл. Я зажмурился: в глазах поплыли красные круги. На умывальнике (край его был разбит) я заметил черные очки и надел их — они закрыли почти пол-лица. Занавеска светилась теперь, как пламя натрия. Я стал читать дальше, подбирая листы и

складывая их на единственном неперевернутом столике. Части текста не хватало.

Дальше шли протоколы уже проведенных опытов. Из них я узнал, что в течение четырех дней в точке, отстоявшей на тысячу четыреста миль к северо-востоку от теперешнего положения Станции, на Океан воздействовали облучением. Для меня это было полной неожиданностью — ведь из-за губительного действия сверхжестких лучей их применение запрещено конвенцией ООН. Я был абсолютно уверен, что никто не запрашивал у Земли разрешения на такие эксперименты. Подняв голову, я заметил в зеркале приоткрытой дверцы шкафа свое отражение: мертвенно-бледное лицо и черные очки. Комната, пылавшая белым и голубым, выглядела совершенно невероятно. Через несколько минут послышался протяжный скрежет, и снаружи иллюминатор закрыла светонепроницаемая заслонка; потемнело, зажегся искусственный свет, казавшийся теперь странно тусклым; становилось все жарче, ритмичные звуки кондиционера стали похожи на отчаянное поскуливание — холодильные установки Станции работали на полную мощность. И все же мертвящий зной нарастал.

Послышались шаги. Кто-то шел по коридору.

Стараясь не шуметь, я в два прыжка очутился у двери. Шаги стали медленнее и смолкли. Тот, кто шел, остановился. Дверная ручка чуть повернулась. Я инстинктивно схватил ее и придержал. Тот, с другой стороны двери, по-прежнему нажимал на ручку, молча, словно захваченный врасплох. Так мы простояли довольно долго. Вдруг ручка подпрыгнула в моей ладони — ее отпустили. Раздался слабый шорох — тот уходил. Я подождал, прислушиваясь, — ни звука.

Гости

Я торопливо сложил вчетверо и спрятал в карман заметки Гибаряна, медленно подошел к шкафу и заглянул в него: комбинезоны и одежда были смяты и сдвинуты в один угол, словно там прятались. Из-под кипы бумаг на полу выглядывал уголок конверта. Я поднял его: на нем стояло мое имя. Спазма перехватила мне горло. Я распечатал конверт и, пересилив себя, развернул небольшой листок бумаги, вложенный в него.

Своим необыкновенно мелким четким почерком Гибарян записал: «Соляристический ежегодник, т. I, прилож., а также особ. мн. Мессенджера о ф.; „Малый Апокриф“ Равинцера». И все. Больше ни слова. Вероятно, писавший торопился. Может, это что-нибудь важное? Когда он писал? Нужно как можно скорее пойти в библиотеку. О приложении к первому тому Соляристического ежегодника я знал, то есть слышал, что оно существует, но никогда не держал его в руках, поскольку оно представляло собой только историческую ценность. Однако я понятия не имел ни о Равинцере, ни о «Малом Апокрифе».

Что делать?

Я уже опаздывал на четверть часа. От двери я еще раз оглядел всю комнату. Только теперь я заметил закрепленную вертикально у стены складную койку — ее заслоняла развернутая карта Солярис. За картой что-то висело. Это был карманный магнитофон в футляре. Я вынул аппарат, футляр повесил на прежнее место, а магнитофон сунул в карман. Судя по счетчику, почти вся кассета была использована.

Зажмурившись, я секунду постоял у двери, напряженно вслушиваясь. Тишина. Я открыл дверь, коридор показался мне черной пропастью; я снял очки и увидел слабый свет ламп. Закрыв за собой дверь, я пошел влево, к радиостанции.

Я приблизился к круглой камере, от которой наподобие колесных спиц расходились коридоры. Минуя какой-то тесный боковой проход, кажется, к душевым, я увидел крупную, неясно очерченную, почти сливающуюся с полумраком фигуру.

Я остановился как вкопанный. Из глубины коридора неторопливой, переваливающейся походкой шла огромная негритянка. Я увидел блеск ее белков и почти одновременно услышал мягкое шлепанье босых ступней. На ней была только набедренная повязка, желтоватая, блестящая, словно сплетенная из соломы; огромные

груди отвисли, а черные руки были толщиной с ляжку обычного человека; она прошла в метре от меня, даже не взглянув в мою сторону, и удалилась, покачивая слоновьим задом, похожая на те древние каменные изображения, которые встречаются иногда в антропологических музеях. Там, где коридор сворачивал, она повернулась и исчезла в кабине Гибаряна. Открывая дверь, она на миг попала в полосу света, падавшего из комнаты. Дверь тихо закрылась, и я остался один. Правой рукой я схватил кисть левой и стиснул изо всех сил, так, что захрустели кости. Потом растерянно огляделся. Что происходит? Что это? Вспомнив предостережение Снаута, я вздрогнул, как от удара. Что оно означало? Кто эта чудовищная Афродита? Откуда она? Я сделал один, только один шаг к кабине Гибаряна и застыл. Я прекрасно понимал, что не войду туда. Я глубоко втянул воздух, что-то было не так… Ах, да! Ведь я подсознательно ждал неприятного, резкого запаха пота, но, даже когда она проходила мимо меня, ничего не почувствовал.

Не знаю, сколько я простоял, опершись о холодный металл стены. На Станции не раздавалось ни звука, кроме далекого монотонного писка кондиционеров.

Я похлопал себя по щекам, чтобы опомниться, и медленно направился к радиостанции. Когда я поворачивал ручку, раздался резкий голос:

— Кто там?

— Это я, Кельвин.

Снаут сидел за столиком между грудой алюминиевых коробок и пультом передатчика и ел прямо из банки мясные консервы. Не знаю, почему он поселился на радиостанции. Ошеломленный, я стоял в дверях, глядя на его нервно жующие челюсти, и вдруг почувствовал, что голоден. Я подошел к полкам, из стопки тарелок выбрал не очень пыльную и сел напротив Снаута. Сначала мы ели молча; потом Снаут встал, вынул из стенного шкафа термос и налил по стакану горячего бульона. Ставя термос на пол (на столике уже не было места), он спросил:

— Ты видел Сарториуса?

— Нет. Где он?

— Наверху.

Наверху помещалась лаборатория. Мы снова замолчали. Банку мы выскоблили дочиста. На радиостанции была ночь. Иллюминатор был плотно закрыт снаружи, на потолке горело четыре круглых светильника. Их отражения дрожали в пластиковом корпусе передатчика.

На обтянутых кожей скулах Снаута проступали красные жилки. Он был теперь в черном просторном обтрепанном свитере.

— Что с тобой? — спросил Снаут.

— Ничего. А что?

— Ты вспотел.

Я вытер рукой лоб. Действительно, я весь обливался потом. Это, вероятно, была реакция. Снаут ждал. Рассказать ему? Я хотел, чтобы Снаут сам проявил ко мне больше доверия. Кто тут вел игру? Против кого? И какую?

— Жарко. Я думал, что кондиционеры у вас лучше работают.

— Через часок температура будет нормальная. А ты только от жары вспотел?

Он уставился на меня. Я старательно жевал, притворяясь, будто не замечаю его взгляда.

— Что ты собираешься делать? — спросил Снаут, когда мы кончили есть.

Он бросил всю посуду и пустые банки в умывальник у стены и опять сел в кресло.

— Присоединюсь к вашей работе, — флегматично ответил я. — У вас ведь есть какой-то план исследований? Какой-то новый раздражитель, кажется рентген, или что-то в этом роде, да?

— Рентген? — удивился Снаут. — От кого ты услышал?

— Не помню. Кто-то мне говорил. Может, на «Прометее». А что? Вы уже его применяете?

— Подробности мне неизвестны. Это была идея Гибаряна. Он начал вместе с Сарториусом. Но

откуда ты об этом знаешь?

Я пожал плечами.

— Тебе не известны подробности? Ты должен присутствовать при опытах, ведь это входит в круг твоих обязанностей… — Я не закончил.

Снаут молчал. Писк кондиционеров затих, температура была сносной. В воздухе висел только беспрерывный высокий звук, напоминающий жужжание мухи в паутине. Снаут встал, подошел к пульту управления и бессмысленно принялся щелкать переключателями — главный рубильник был выключен. Спустя некоторое время он, не поворачивая головы, заметил:

— Надо будет все оформить… знаешь…

— Да?

Он повернулся и посмотрел на меня почти с бешенством. Не могу сказать, что я умышленно старался вывести его из равновесия. Просто, ничего не понимая в игре, которая тут происходила, я предпочитал быть сдержанным. Под воротником черного свитера у него двигался острый кадык.

— Ты был у Гибаряна, — сказал Снаут неожиданно.

Это не был вопрос. Я спокойно смотрел ему в лицо.

— Ты был в его комнате, — повторил он.

Я кивнул, как бы говоря: «Ну, предположим». Мне хотелось, чтобы он продолжал.

— Кто там был? — спросил Снаут.

Он знал о ней!!!

— Никого. А кто там мог быть? — спросил я.

— Тогда почему ты меня не впустил?

Я усмехнулся.

— Испугался. Ты же меня предупреждал. Когда ручка повернулась, я инстинктивно придержал ее. Почему ты не сказал, что это ты? Я бы тебя впустил.

— Я думал, что там Сарториус, — произнес он неуверенно.

— Ну и что?

— Как ты думаешь… Что там произошло? — ответил он вопросом на вопрос.

Я колебался.

— Ты должен знать лучше меня. Где он?

— В холодильнике, — тотчас объяснил Снаут. — Мы перенесли его сразу же утром… из-за жары.

— Где ты его нашел?

— В шкафу.

— В шкафу? Он уже был мертв?

— Сердце еще билось, но он уже не дышал. Это была агония.

— Ты пытался его спасти?

— Нет.

— Почему?

Снаут помедлил.

— Я не успел. Он умер прежде, чем я его положил.

— Он стоял в шкафу? Между комбинезонами?

— Да.

Снаут взял с небольшого письменного стола в углу листок бумаги и положил его передо мной.

— Я набросал предварительный акт, — проговорил он. — Хорошо, что ты осмотрел комнату. Причина смерти… смертельная доза перностала. Там написано.

Я пробежал глазами краткий текст.

— Самоубийство… — повторил я тихо. — А причина?..

— Нервное расстройство… депрессия… или как это называется, в этом ты разбираешься лучше меня.

— Я разбираюсь только в том, что сам вижу, — возразил я и посмотрел ему в глаза.

— И что ты хочешь этим сказать? — спокойно спросил Снаут.

— Он ввел себе перностал и спрятался в шкаф? Если было именно так, то это не депрессия, не нервное расстройство, а острый психоз. Пара-

нойя… Вероятно, ему казалось, будто он что-то видит… — продолжал я все медленней, глядя в упор на Снаута.

Он отошел к радиопульту и снова начал щелкать переключателями.

— Здесь твоя подпись, — заговорил я после минутного молчания. — А Сарториус?

— Он в лаборатории. Я уже сказал тебе. Он не показывается, я думаю…

— Что?

— Что он заперся.

— Заперся? Ах, заперся. Вот как. Может, забаррикадировался?

— Может быть.

— Снаут, — начал я, — на Станции кто-то есть.

— Ты видел?!

Он нагнулся ко мне.

— Ты предостерегал меня. От кого? Это галлюцинация?

— Что ты видел?

— Это человек, да?

Снаут не ответил. Он отвернулся к стене, вероятно желая спрятать от меня лицо. Он барабанил пальцами по металлической перегородке. Я заметил, что на них уже не было крови. И меня осенило.

— Этот человек реален, — проговорил я тихо, почти шепотом, словно нас могли подслушать. — Да? До него можно дотронуться? Его можно… ранить… последний раз ты видел его сегодня.

— Откуда ты знаешь? — Снаут стоял не поворачиваясь, касаясь грудью стены, пригвожденный к ней моими словами.

— Прямо перед моей посадкой. Незадолго до этого?

Снаут весь сжался, как от удара. Я увидел его обезумевшие глаза.

— Ты?!! — выдавил он из себя. — А ты-то сам кто?!

Казалось, он вот-вот бросится на меня. Этого я не ожидал. Все стало с ног на голову. Он не верит, что я тот, за кого себя выдаю? Что это значит?! Он смотрел на меня с непередаваемым ужасом. Сумасшествие? Отравление? Все возможно. Но я видел… Видел это чудовище, а значит, и я сам… тоже?..

— Кто это был? — спросил я.

Мои слова несколько успокоили Снаута, но взгляд его все еще оставался недоверчивым. Прежде чем он заговорил, я уже понимал, что сделал ложный шаг и что он мне не ответит.

Снаут медленно опустился в кресло и обхватил

голову руками.

— Что тут творится?.. — тихо начал он. — Бред…

— Кто это был? — повторил я.

— Если ты не знаешь… — буркнул он.

— То что?

— Ничего.

— Снаут, — проговорил я, — мы не дома. Давай в открытую. Все и так запуталось.

— Что тебе нужно?

— Мне нужно, чтобы ты сказал, кого ты видел.

— А ты?.. — подозрительно произнес он.

— Снаут, ты ходишь по кругу. Я скажу тебе, и ты мне скажи. Можешь не волноваться, я не приму тебя за сумасшедшего, так как знаю…

За сумасшедшего! Господи, боже мой! — Он попытался рассмеяться. — Милый мой, да ты ничего… Совершенно ничего… Безумие было бы спасением. Если бы он хоть на минуту поверил, что сошел с ума, он не поступил бы так, он был бы жив…

— Значит, ты все же солгал, написав в акте о нервном расстройстве?

— Разумеется!

— Почему же не написать правду?

— Почему? — переспросил он.

Наступило молчание. Я снова зашел в тупик, я опять ничего не понимал, ведь мне показалось, что я смогу убедить его и мы сообща попробуем разгадать загадку. Почему, почему он не хочет говорить?!

— Где роботы?

— На складе. Мы заперли всех, кроме тех, кто на космодроме.

— Зачем?

Он не ответил.

— Ты не скажешь?

— Я не могу.

Что за чертовщина? Может, пойти наверх, к Сарториусу? Вдруг я вспомнил ту записку, она показалась мне самым важным.

— Как же мы будем работать в таких условиях?

Снаут презрительно пожал плечами.

— Какое это имеет значение?

— Ах, даже так? Что же ты намерен делать?

Снаут молчал. Где-то вдали зашлепали босые ноги. Среди никеля и пластика, высоких шкафов с электронной аппаратурой, стекла, точных приборов это ленивое шлепанье звучало как дурацкая шутка какого-то безумца. Шаги приближались. Я встал, напряженно следя за Снаутом. Он при-

слушивался сощурившись, но вовсе не выглядел испуганным. Значит, он боялся не ее?

— Откуда она взялась? — спросил я.

Ответа не последовало.

— Ты не хочешь говорить?

— Мне неизвестно.

— Ладно.

Шаги удалились и затихли.

— Не веришь? — проговорил Снаут. — Честное слово, я не знаю.

Я открыл шкаф и стал раздвигать тяжелые неуклюжие скафандры. Как я и предполагал, в глубине, на крюках, висели газовые пистолеты для полета в пространстве без гравитации. Конечно, они не оружие, но лучше хоть газовый пистолет, чем ничего. Я проверил заряд и повесил пистолет в футляре на плечо. Снаут внимательно наблюдал за мной. Когда я подгонял длину ремешка, он язвительно усмехнулся, обнажив желтые зубы.

— Счастливой охоты!

— Спасибо тебе за все, — сказал я, направляясь к двери.

Он вскочил с кресла.

— Кельвин!

Я поглядел на него. Он уже не улыбался. По-

жалуй, я никогда не видел такого измученного лица.

— Кельвин, это не… Я… я действительно не могу, — бормотал Снаут.

Я ждал, скажет ли он что-нибудь еще, но он только беззвучно шевелил губами.

Я повернулся и вышел.

Сарториус

Пустой коридор тянулся сначала прямо, а потом сворачивал вправо. Я никогда не был на Станции, но во время подготовки прожил шесть недель в ее точной копии, находящейся в Институте, на Земле. Я знал, куда ведет алюминиевый трап. Свет в библиотеке не горел. Я ощупью нашел выключатель. Когда я отыскал в картотеке приложение к первому тому «Соляристического ежегодника» и нажал клавишу, в ответ загорелся красный огонек. Я проверил в регистрационном устройстве — и эта книга, и «Малый Апокриф» были у Гибаряна. Погасив свет, я спустился обратно. Мне было страшно идти к Гибаряну, хотя я недавно слышал, как она ушла. Она ведь могла туда вернуться. Я постоял возле двери, потом, стиснув зубы, заставил себя войти.

В освещенной кабине никого не было. Я стал перебирать книги, лежавшие на полу под иллюминатором; потом подошел к шкафу и закрыл его, чтобы не видеть пустое место между комбинезонами. Под иллюминатором приложения не было. Я методически перекладывал том за томом и наконец, дойдя до последней кипы книг,

валявшейся между койкой и шкафом, нашел то, что искал.

Я надеялся обнаружить в книге какой-нибудь след — и действительно, в именном указателе лежала закладка, красным карандашом была отчеркнута фамилия, ничего мне не говорившая, — Андре Бертон. Эта фамилия встречалась на двух страницах. Взглянув на первую, я узнал, что Бертон был запасным пилотом на корабле Шенагана. Следующее упоминание о нем помещалось через сто с лишним страниц.

Сразу же после высадки экспедиция соблюдала чрезвычайную осторожность, но, когда через шестнадцать дней выяснилось, что плазматический Океан не только не обнаруживает никаких признаков агрессивности, но даже отступает перед каждым приближающимся к его поверхности предметом и, как может, избегает непосредственного контакта с аппаратурой и людьми, Шенаган и его заместитель Тимолис отменили часть особых мер, продиктованных осторожностью, так как эти меры невероятно затрудняли и задерживали работы.

Затем экспедиция была разделена на небольшие группы из двух-трех человек, совершавшие над Океаном полеты иногда на расстояние

нескольких сотен миль; лучеметы, ранее прикрывавшие и ограждавшие участок работ, были оставлены на Базе. Четыре дня после этих перемен прошли без каких-либо происшествий, если не считать того, что время от времени выходила из строя кислородная аппаратура скафандров, так как выводные клапаны оказались чувствительными к ядовитой атмосфере планеты. Поэтому чуть ли не ежедневно их приходилось заменять.

На пятый (или двадцать первый, считая с момента высадки) день двое ученых, Каруччи и Фехнер (первый был радиобиологом, а второй — физиком), отправились в исследовательский полет над Океаном на маленьком двухместном аэромобиле. Это была машина на воздушной подушке.

Когда через шесть часов они не вернулись, Тимолис, который руководил Базой в отсутствие Шенагана, объявил тревогу и выслал всех, кто был под рукой, на поиски.

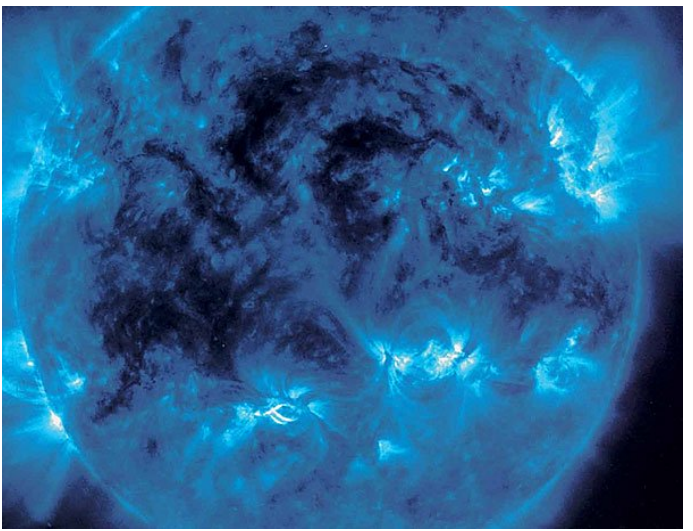
По роковому стечению обстоятельств радиосвязь в тот же день приблизительно через час после выхода поисковых групп внезапно прервалась; это было вызвано большим пятном на красном солнце, выбрасывавшим мощный поток частиц в верхние слои атмосферы. Действовали

только ультракоротковолновые передатчики, позволявшие переговариваться на расстоянии каких-нибудь двадцати миль. К тому же перед заходом солнца сгустился туман, и поиски пришлось прекратить.

Когда спасательные группы уже возвращались на Базу, одна из них всего в восьмидесяти милях от берега обнаружила аэромобиль. Мотор работал, машина, не поврежденная, скользила над волнами. В прозрачной кабине находился только один человек — Каруччи. Он был почти без сознания. Аэромобиль доставили на Базу, а Каруччи отдали на попечение врачей. В тот же вечер он пришел в себя. О судьбе Фехнера он ничего не мог сказать. Каруччи помнил только одно: когда они уже собирались возвращаться, он почувствовал удушье. Выводной клапан его аппарата заедало, и в скафандр при каждом вдохе просачивались ядовитые газы.

Фехнеру, пытавшемуся исправить его аппарат, пришлось отстегнуть ремни и встать. Это было последнее, что помнил Каруччи. События, по заключению специалистов, вероятно, происходили так: исправляя аппарат Каруччи, Фехнер открыл кабину, скорее всего потому, что под низким куполом не мог свободно передвигаться.

Это допускалось: кабины в таких машинах не герметичны, они просто защищают от осадков и ветра. Кислородный аппарат Фехнера, вероятно, испортился, ученый в полуобморочном состоянии вылез наверх через люк и упал в Океан.



Это была первая жертва Океана. Поиски тела — ведь в скафандре оно не могло утонуть — не дали никаких результатов. Впрочем, может, оно и плавало где-нибудь: тщательно обследовать тысячи квадратных миль жидкой пустыни, почти постоянно окутанной клочьями тумана, экспедиция не имела возможности.

До сумерек — я возвращаюсь к событиям того дня — прибыли обратно все спасательные машины, за исключением лишь большого грузового геликоптера, на котором полетел Бертон.

Бертон появился над Базой почти через час после наступления темноты, когда за него уже стали тревожиться. Он был в состоянии нервного шока; он сам выбрался из геликоптера, но тут же бросился бежать. Когда его пытались удержать, он кричал и плакал; для мужчины, за плечами у которого семнадцать лет космических полетов, иногда в самых тяжелых условиях, это было невероятно.

Врачи предполагали, что Бертон тоже отравился. Даже относительно успокоившись, он ни за что не соглашался выйти из внутренних отсеков главной ракеты экспедиции и не решался подойти к иллюминатору, из которого был виден Океан. Через два дня Бертон заявил, что хочет

подать рапорт о своем полете. Он настаивал, утверждал, что это чрезвычайно важно. Совет экспедиции изучил рапорт Бертона и признал его плодом больного мозга, отравленного атмосферными газами. Поэтому рапорт был приобщен не к истории экспедиции, а к истории болезни Бертона. На этом все и кончилось.

Вот что было сказано в приложении. Видимо, в рапорте Бертона излагалась суть дела — что именно довело пилота дальней космической экспедиции до нервного срыва. Я опять принялся перебирать книги, но «Малый Апокриф» мне найти не удалось. Усталость чувствовалась все сильнее, поэтому я отложил дальнейшие поиски на завтра и вышел из кабины. Проходя мимо алюминиевого трапа, я заметил на ступеньках отблески падавшего сверху света. Значит, Сарториус все еще работает! Я решил, что должен его увидеть.

Наверху было немного теплее. В широком низком коридоре дул слабый ветерок. Полоски бумаги бились у вентиляционных отверстий. Дверь главной лаборатории представляла собой толстую плиту из неполированного стекла в металлической раме. Изнутри стекло было закрыто чем-то темным; свет проходил только сквозь

узкие иллюминаторы под потолком. Я пытался открыть дверь, но она, как я и ожидал, не поддалась. В лаборатории было тихо, время от времени что-то слабо посвистывало — наверное, газовая горелка. Я постучал — никакого ответа.

— Сарториус, — позвал я. — Доктор Сарториус! Это я, Кельвин! Мне очень надо с вами поговорить, откройте, пожалуйста!

Слабый шелест, словно кто-то ступал по скомканной бумаге, и опять тишина.

— Это я, Кельвин! Вы же обо мне слышали! Я прилетел с «Прометея» всего несколько часов назад! — кричал я в дверную щель. — Доктор Сарториус! Со мной никого нет, я один! Откройте!

Ни звука. Потом слабый шелест. Звяканье металлических инструментов о лоток. И вдруг… Я оторопел. Раздались мелкие шажки, частый, поспешный топот маленьких ножек, можно было подумать, что вприпрыжку бежал ребенок. Или… или кто-то чрезвычайно умело подражал ему, постукивая пальцами по пустой, хорошо резонирующей коробке.

— Доктор Сарториус! — вскипел я. — Откроете вы или нет?

Ответа не было. И опять — этот детский топот,

и одновременно с ним — несколько быстрых, еле слышных широких шагов, словно человек шел на цыпочках. Но не мог же он одновременно подражать детскому топоту?! «Какое мне до этого дело?» — подумал я и, уже не сдерживая охватившего меня бешенства, рявкнул:

— Доктор Сарториус! Я летел сюда шестнадцать месяцев не за тем, чтобы участвовать в вашей комедии! Считаю до десяти! Потом выломаю дверь!!!

Я сомневался, что мне это удастся.

Реактивная струя газового пистолета не очень сильна, но я твердо решил выполнить свою угрозу, даже если бы мне пришлось отправиться за взрывчаткой, которой на складе наверняка было предостаточно. Только не сдаваться, только не вести игру этими краплеными безумием картами, которые подсовывает мне под руку ситуация!

Раздался шум, за дверью боролись или что-то перетаскивали. Штора в середине раздвинулась на полметра; высокая, узкая тень появилась на фоне матовой, будто заиндевевшей двери, и хрипловатый дискант произнес:

— Я открою, но обещайте, что вы не войдете.

— Тогда зачем открывать?! — заорал я.

— Я к вам выйду.

— Хорошо. Обещаю.

Тихо щелкнул ключ в замке; темный силуэт, заслонивший половину двери, старательно задернул штору; там продолжалась какая-то возня — я слышал треск, словно передвигали деревянный столик, наконец светлая плоскость приоткрылась, и Сарториус проскользнул в коридор. Он стоял передо мной, загораживая собой дверь. Сарториус был чрезвычайно высок и худ — кожа да кости. На нем был кремовый трикотажный костюм, шея закутана черной косынкой; через плечо переброшен сложенный вдвое, прожженный химикатами защитный лабораторный халат. Необыкновенно узкая голова наклонена вбок. Почти пол-лица закрывали защитные очки, и я не мог разглядеть его глаз. Нижняя челюсть выступала вперед, губы были синеватые, огромные уши, тоже синеватые, казались отмороженными. Он был небрит, на запястьях болтались антирадиационные перчатки из красной резины. Мы стояли так, глядя друг на друга с нескрываемой неприязнью. Его редкие волосы (видимо, он сам стриг их машинкой) были свинцового цвета, щетина — совсем седая. Лоб загорел, как у Снаута, но только до половины. Вероятно, на солнце Сарториус всегда ходил в

каком-нибудь колпаке.

— Я к вашим услугам, — сказал Сарториус.

Мне казалось, что он не столько ждет, что я скажу, сколько, прижимаясь спиной к стеклу, напряженно все время прислушивается к тому, что происходит в лаборатории. Я не знал, с чего начать, боясь попасть впросак.

— Моя фамилия — Кельвин, — заговорил я. — Вы, вероятно, обо мне слышали. Я работаю… то есть… работал вместе с Гибаряном…

Его худое лицо, все в вертикальных морщинах (так, вероятно, выглядел Дон-Кихот), ничего не выражало. Опущенное забрало защитных очков Сарториуса мешало мне говорить.

— Я узнал, что Гибаряна… нет в живых.

— Да. Продолжайте, — нетерпеливо проговорил он.

— Гибарян покончил с собой? Кто нашел тело — вы или Снаут?

— Почему вы у меня об этом спрашиваете? Разве доктор Снаут не сказал вам?..

— Я хотел бы услышать, что вы можете сказать об этом…

— Вы психолог, доктор Кельвин?

— Да. А в чем дело?

— Ученый?

— Да. Какое это имеет отношение…

— Я думал, что вы следователь или полицейский. Сейчас два часа сорок минут. А вы пытаетесь насильно ворваться ко мне в лабораторию. Это было бы, в конце концов, понятно, если бы вы хотели ознакомиться с работами, ведущимися на Станции. А вы допрашиваете меня, будто я по меньшей мере нахожусь под подозрением.

Мне стоило такого труда сдержаться, что у меня на лбу выступил пот.

— Вы и находитесь под подозрением, Сарториус! — сказал я сдавленным голосом. Я хотел, во что бы то ни стало, задеть его самолюбие и поэтому добавил с ожесточением: — Вы сами прекрасно это знаете!

— Если вы не возьмете свои слова обратно и не извинитесь, я пожалуюсь на вас в очередной радиограмме, Кельвин!

— Извиниться? С какой стати? Вместо того чтобы принять меня и честно ознакомить с тем, что тут происходит, вы запираетесь и баррикадируетесь в лаборатории. Вы что, с ума сошли? Кто вы? Ученый или мелкий трус? Отвечайте!

Не помню, что я еще кричал, но он даже не шелохнулся. По его бледной, пористой коже катились крупные капли пота. Вдруг я понял: он

вообще меня не слушает. За спиной он обеими руками изо всех сил старался удержать дверь, которая чуть заметно вздрагивала — на нее нажимали с другой стороны.

— Уходите… — простонал вдруг он странным, писклявым голосом. — Ради бога… идите вниз, я приду, приду, я сделаю все, что вы хотите, только уходите, пожалуйста!

В голосе его звучала невыносимая мука; совершенно обескураженный, я невольно поднял руку, чтобы помочь ему удержать дверь, — ведь это сейчас было для него важнее всего. Но тут Сарториус испустил дикий вопль, будто я замахнулся на него ножом. Я попятился, а он все кричал фальцетом: «Уходи! Уходи!» — и потом: «Я сейчас вернусь! Сейчас вернусь! Сейчас вернусь! Не надо! Не надо!!!»

Он приоткрыл дверь и метнулся в лабораторию. Мне показалось, что на уровне его груди мелькнуло что-то золотистое, какой-то блестящий диск; из-за двери доносился глухой шум. Штора полетела в сторону, высокая тень промелькнула на стеклянном экране, штора снова задвинулась, больше ничего не было видно. Что там творится? Раздался топот, затем зазвенело разбитое стекло, сумасшедшая беготня прекратилась, и я услышал

звонкий детский смех…

У меня подгибались ноги. Я огляделся по сторонам. Все смолкло. Я опустился на низкий пластиковый подоконник и просидел там минут пятнадцать. Не знаю, ждал ли я чего-то или просто не мог встать. Голова раскалывалась. Где-то высоко раздался протяжный скрежет, вокруг посветлело.

Я видел только часть коридора, кольцом опоясывавшего лабораторию. Она помещалась на самом верхнем ярусе Станции, прямо под обшивкой, поэтому стены коридора были вогнутыми и наклонными, иллюминаторы, отстоявшие на несколько метров друг от друга, напоминали амбразуры; наружные заслонки на них в это время поднимались. Голубой день подходил к концу. Сквозь толстые стекла хлынуло ослепительное сияние. Каждая никелированная рейка, каждая дверная ручка запылала, как маленькое солнце. Дверь в лабораторию — эта огромная плита из неполированного стекла — вспыхнула голубым пламенем. Я посмотрел на свои руки, сложенные на коленях, — в призрачном свете они казались серыми. В правой руке я держал газовый пистолет — когда и как я вытащил его из футляра, не имею ни малейшего понятия. Пистолет я вложил

обратно. Было ясно, что мне не поможет даже атомный лучемет — да и зачем он? Разнести дверь? Ворваться в лабораторию?

Я встал. Солнечный диск, погружаясь в волны Океана, напоминал водородный взрыв. Горизонтальный пучок лучей, почти материальных, коснулся моей щеки (я уже спускался по ступенькам) и обжег как раскаленным металлом.

На полпути я передумал и вернулся наверх. Обошел лабораторию. Как уже было сказано, коридор огибал ее; пройдя шагов сто, я оказался на другой стороне, напротив точно такой же стеклянной двери. Открыть ее я даже не пытался, твердо зная, что она заперта.

Я искал окошечко или хоть какую-нибудь щель в пластиковой стене; я не считал непорядочным подсматривать за Сарториусом. Мне надоели догадки, я хотел узнать правду, хотя даже не представлял себе, сумею ли понять ее.

Мне пришло в голову, что свет в лабораторные помещения проникает сквозь иллюминаторы в потолке, то есть в верхней обшивке. Если я выберусь наружу, мне, возможно, удастся заглянуть вниз. Для этого нужно было спуститься за скафандром и кислородным аппаратом. Остановившись у трапа, я размышлял, стоит ли игра

свеч. Вполне вероятно, что в верхних иллюминаторах стекло матовое. Но что еще придумать? Я спустился в средний ярус. Мне надо было пройти мимо радиостанции. Дверь ее была широко открыта. Снаут сидел в кресле в той же самой позе, в какой я его оставил. Он спал. При звуке моих шагов Снаут вздрогнул и открыл глаза.

— Алло, Кельвин! — хрипло окликнул он меня.

Я промолчал.

— Ну? Ты узнал что-нибудь? — спросил Снаут.

— Пожалуй, — медленно ответил я. — Он не один.

Снаут состроил гримасу.

— Вот видишь. Это уже кое-что. Так у него кто-то в гостях?

— Не понимаю, почему вы не хотите объяснить, что это такое, — заметил я, притворяясь равнодушным. — Ведь, живя здесь, я рано или поздно все узнаю. Зачем же такая таинственность?

— Поймешь, когда к тебе самому придут гости, — сказал Снаут.

Мне показалось, что он чего-то ждет и ему не очень хочется разговаривать.

— Куда ты идешь? — бросил он, когда я повернулся.

Я не ответил.

Зал космодрома выглядел так же, как перед моим уходом. На возвышении стояла похожая на лопнувший кокон моя закопченная капсула. Я подошел к вешалкам со скафандрами; но мне вдруг расхотелось отправляться в путешествие. Я круто повернулся и спустился по винтовому трапу в складские помещения. Узкий коридор был забит баллонами и штабелями ящиков. Металлические стены синевато поблескивали. Через несколько десятков шагов под сводами появились белые от инея трубы холодильной установки. Я пошел вдоль них. Через муфту заключенную в толстый пластиковый манжет, трубы входили в плотно закрытое помещение. Когда я открыл тяжелую, толщиной в две ладони дверь, обитую по краям резиной, на меня дохнуло пронизывающим холодом. Я поежился. С переплетения заиндевелых змеевиков свисали сосульки. И здесь стояли покрытые слоем снега ящики и контейнеры, полки вдоль стен были заставлены жестянками и желтоватыми глыбами какого-то жира в прозрачном пластике. В глубине сводчатый потолок снижался. Там висела плотная, искрящаяся от изморози штора. Я отогнул ее край. На решетчатом алюминиевом столе лежало что-то большое, продолговатое, покрытое серой

тканью. Приподняв ее, я увидел застывшее лицо Гибаряна. Черные волосы с седой прядкой на лбу были гладко причесаны, кадык торчал, словно шея была сломана. Запавшие глаза устремлены в потолок, в углу глазницы застыла мутная капля. Я так замерз, что с трудом сдерживал дрожь. Не выпуская из руки ткани, я другой рукой коснулся щеки Гибаряна. Ощущение было такое, как если бы я дотронулся до промерзшей древесины. Колючая черная щетина. В складках губ замерло выражение безграничного высокомерного терпения. Опуская край ткани, я заметил, что по другую сторону трупа из-под складок виднеется несколько черных, продолговатых бусин или фасолин, мелких и крупных. Я оцепенел.

Это были пальцы ног, выпуклые подушечки больших пальцев чуть-чуть расставлены. Под смятой тканью распласталась негритянка.

Она лежала ничком и казалась спящей. Постепенно, дюйм за дюймом, я стягивал грубую ткань. Голова, вся в иссиня-черных, мелких завитках, покоилась в изгибе такой же черной, массивной руки. На лоснящейся спине проступали бугорки

позвонков. Исполинское тело было абсолютно неподвижным. Я еще раз взглянул на ее подошвы, меня поразила странная деталь: они не были деформированы, не стерлись и даже не огрубели от ходьбы босиком — кожа выглядела так же, как на спине и руках.

Чтобы убедиться в этом, я дотронулся до негритянки. Мне было гораздо труднее прикоснуться к ней, чем к трупу. И тут произошло нечто невероятное: лежащее на двадцатиградусном морозе тело зашевелилось. Негритянка поджала ногу, как это делает спящая собака, если ее взять за лапу.

Она здесь замерзнет, подумал я. Впрочем, ее тело на ощупь было мягким и не очень холодным. Я попятился, опустил штору и вышел в коридор. Мне показалось, что в нем страшно жарко. Трап вывел меня в зал космодрома. Усевшись на свернутом в рулон кольцевом парашюте, я обхватил голову руками. Меня будто избили. Что со мной творится? Я был раздавлен, мысли лавиной катились к пропасти. Потерю сознания, небытие я считал теперь невероятной, недостижимой милостью.

Зачем идти к Снауту или Сарториусу? Кто сможет свести воедино все то, что я до сих пор

пережил, увидел и ощутил? Безумие — вот единственное объяснение, бегство, избавление. Вероятно, я сошел с ума, причем сразу же после посадки. Океан подействовал на мой мозг; у меня появляется одна галлюцинация за другой, а следовательно, не нужно тратить силы на бесплодные попытки разгадать несуществующие загадки, надо искать врачебную помощь, вызвать по радио «Прометей» или какой-нибудь другой корабль, подать сигнал бедствия.

Совершенно неожиданно мысль о сумасшествии успокоила меня. Теперь я прекрасно понимал слова Снаута — конечно, если вообще существовал какой-то Снаут и если я когда-то с ним разговаривал, ведь галлюцинации могли начаться гораздо раньше. Как знать, может, я все еще на борту «Прометея» и у меня острый приступ душевной болезни? Неужели все пережитое порождено моим возбужденным мозгом? Но если я болен, то могу выздороветь, а это дает мне хотя бы надежду на избавление, которой я не в силах был отыскать в спутанных кошмарах моего краткого, насчитывавшего всего несколько часов солярийского опыта.

Итак, нужно было, прежде всего, провести какой-то продуманный, логичный эксперимент

над самим собой, который показал бы мне, действительно ли я сошел с ума и стал жертвой собственного бреда или же мои переживания, несмотря на их абсурдность и невероятность, совершенно реальны.

Я размышлял об этом, внимательно рассматривая металлическую опору несущих конструкций космодрома. Это была выступавшая из стены, обшитая листовым металлом стальная мачта, покрашенная в бледно-зеленый цвет; в нескольких местах, на высоте приблизительно метра, краска облупилась, вероятно поцарапанная ракетными тележками. Я коснулся стали, согрел ее ладонью, постучал по краю обшивки. Может ли бред быть таким реальным? Может, ответил я сам себе. В таких вещах я разбирался, недаром это была моя специальность. А можно ли придумать решающее испытание? Сначала мне казалось, что нельзя — ведь мой больной мозг (если он действительно поражен болезнью) создаст любую иллюзию, какой я от него потребую. Ведь не только во время болезни, но и просто во сне мы, случается, разговариваем с людьми, которых нет, задаем им вопросы и слышим ответы; и, хотя эти люди на самом деле всего лишь плод нашего воображения, своего рода временно обособленные,

псевдосамостоятельные части нашей психики, мы все-таки не знаем, какие слова они произнесут до тех пор, пока они (во сне) не заговорят с нами. А ведь в действительности эти слова родились в той, изолированной части нашего собственного сознания, то есть мы должны были бы знать их заранее, в тот момент, когда мы сами их придумали, чтобы вложить в уста приснившегося собеседника. Следовательно, что бы я ни запланировал, ни осуществил, я могу считать, что все произошло именно так, как происходит во сне. Ни Снаута, ни Сарториуса в действительности могло не быть, поэтому задавать им какие-либо вопросы бесполезно.

Мне пришло в голову, что можно принять какое-нибудь сильнодействующее средство, например пейотль или другой препарат, вызывающий обман чувств и яркие цветовые видения. Пережитые мною ощущения доказали бы, что принятый препарат существует на самом деле, что он — материальная часть окружающей действительности. Но и это, продолжал я размышлять, не было бы достоверным испытанием, поскольку я знаю, как подействует средство (ведь мне самому придется его выбирать), а следовательно, вполне возможно, что и прием лекарства,

и результаты будут попросту созданы моим воображением.

Казалось, мне уже не вырваться из заколдованного круга безумия — ведь можно мыслить только мозгом, нельзя очутиться вне самого себя, чтобы проверить, нормальны ли процессы, протекающие в организме, — и вдруг меня осенила мысль, простая и удачная.

Я вскочил и побежал на радио станцию. Там никого не было. Мимоходом я взглянул на электрические стенные часы. Было около четырех часов ночи по условному времени Станции, за стенами занимался красный рассвет. Включив дальнюю радиосвязь и дожидаясь, пока она наладится, я еще раз продумал ход эксперимента.

Позывных автоматической станции околосолярийского Сателлоида я не помнил. Отыскав их на табличке над главным пультом, я послал вызов азбукой Морзе и через восемь секунд получил ответ. Сателлоид, точнее, его электронный мозг откликнулся ритмичным сигналом.

Я запросил данные о небесных меридианах, пересекаемых Сателлоидом каждые двадцать секунд при вращении вокруг Солярис, причем с точностью до пятого десятичного знака.

Потом я сел и стал ждать ответа. Он пришел

через десять минут. Я оторвал бумажную ленту с результатом и спрятал ее в ящик стола. При этом я старался даже не смотреть на нее. Затем я принес из библиотеки большие карты неба, логарифмические таблицы, журнал суточного вращения Сателлоида и несколько справочников и стал вычислять те же данные. Почти целый час я составлял уравнения; не помню, когда мне в последний раз приходилось столько считать, — наверное, еще в студенческие годы на экзамене по практической астрономии.

Расчеты я сделал на большом вычислителе Станции. Я рассуждал следующим образом: по картам неба я должен получить цифры, лишь отчасти совпадающие с данными Сателлоида. Отчасти потому, что Сателлоид испытывает весьма сложные пертурбации под влиянием гравитационного поля Солярис, ее обоих солнц, вращающихся относительно друг друга, а также местных изменений притяжения, вызываемых Океаном. Когда у меня будет два ряда цифр, переданных Сателлоидом и рассчитанных теоретически по картам неба, я внесу в свои расчеты поправки; тогда обе группы результатов должны совпасть вплоть до четвертого десятичного знака; лишь в пятом десятичном знаке возможны

расхождения, вызванные не поддающейся расчетам деятельностью Океана.

Если данные Сателлоида не существуют в действительности, а лишь порождены моим больным воображением, они не совпадут со вторым рядом чисел. Мой мозг может быть поражен болезнью, но он не в состоянии — ни при каких условиях — произвести расчеты, выполненные большим вычислителем Станции, потому что они потребовали бы многих месяцев. А из этого следует, что — если цифры совпадут — большой вычислитель Станции существует в действительности и я пользовался им наяву, а не в бреду.

У меня дрожали руки, когда я вынимал из ящика телеграфную ленту и раскладывал ее на столе рядом с такой же, только чуть пошире, лентой вычислителя. Оба ряда цифр совпадали, как я и предполагал, до четвертого знака включительно. Расхождения появлялись только в пятом.

Я убрал все бумаги в ящик. Значит, вычислитель существовал независимо от меня; следовательно, существовали и Станция, и все, что на ней происходило.

Собираясь задвинуть ящик, я заметил в нем целую стопку листов, исчерканных какими-то цифрами. Я вынул их; с первого же взгляда было

видно, что кто-то уже проводил эксперимент, похожий на мой. Только вместо данных о звездной сфере у Сателлоида запросили замеры освещенности планеты Солярис с сорокасекундными интервалами.

Я не сошел с ума. Последняя надежда исчезла. Я выключил передатчик, допил бульон из термоса и пошел спать.

Хэри

Я вычислял с какой-то молчаливой яростью, и только она держала меня на ногах. Отупев от усталости, я не смог даже откинуть койку в кабине: вместо того чтобы отцепить верхние зажимы, я тянул за край, пока вся постель не упала на меня. Наконец я опустил койку, сбросил с себя всю одежду и белье прямо на пол и почти без сознания свалился на подушку, даже не надув ее как следует. Заснул я при свете, когда — не помню. Открыв глаза, я решил, что спал всего несколько минут. Сумеречный красный свет заливал комнату. Было прохладно и приятно. Я лежал голый, ничем не укрывшись. Напротив койки, у наполовину закрытого иллюминатора, в лучах красного солнца кто-то сидел на стуле. Это была Хэри, в летнем платье, босая, нога на ногу, темные волосы зачесаны назад, тонкая ткань подчеркивала фигуру. Хэри опустила загоревшие до локтей руки и в упор глядела на меня из-под черных ресниц. Я долго совершенно спокойно рассматривал ее. Первой моей мыслью было: «Как хорошо, что это такой сон, когда знаешь, что все снится». И все-таки лучше бы она исчезла. За-

крыв глаза, я изо всех сил стал желать себе этого, но, когда открыл их, Хэри сидела в той же позе. Она состроила свою обычную лукавую гримаску, как бы собираясь свистнуть, но в глазах не было и тени улыбки. Я припомнил все, что думал о сновидениях вечером, прежде чем уснуть. Она ничуть не изменилась: точно такая же, как в тот последний раз, когда я видел ее живой. Тогда ей было девятнадцать лет; теперь было бы двадцать девять. Да, она, конечно, не изменилась — умершие не стареют. У нее были те же удивленно смотрящие на мир глаза; по-прежнему она не сводила с меня взгляда. Брошу-ка я в нее чем-нибудь, подумал я. И все-таки, хотя мне это только снилось, я не мог решиться даже во сне швырять вещами в умершую.

— Бедняжка, — сказал я, — ведь ты пришла навестить меня, да?

Я немного испугался — мой голос прозвучал реально, а комната и Хэри выглядели отчетливо, как наяву.

Какой живой сон! Я не только различаю цвета, но и вижу на полу много вещей, на которые вчера, ложась спать, даже не обратил внимания. Когда я проснусь, надо будет проверить, лежат ли они тут или просто снятся мне, как и Хэри.

— Ты долго собираешься так сидеть?.. — спросил я и заметил, что говорю тихо, чтобы никто не услышал, будто можно подслушать сон!

Тем временем солнце немного поднялось. Это уже не так плохо. Когда я лег спать, был красный день, потом должен наступить голубой, а только после него — второй красный. Не мог же я проспать беспробудно пятнадцать часов; значит, мне все снится.

Успокоившись, я хорошенько пригляделся к Хэри. Она сидела спиной к свету; луч, проникавший сквозь занавеску, золотил бархатистый пушок на ее левой щеке, а ресницы отбрасывали на лицо длинную тень. Она была очаровательна. Какой же я дотошный даже во сне: слежу за движением солнца и за тем, чтобы ямочка у Хэри была на своем месте — ниже уголка губ (больше ни у кого я не видел такой ямочки). Но лучше бы все это кончилось; мне же надо браться за дело. Я зажмурился, стараясь проснуться, и вдруг услышал скрип. Я тут же открыл глаза. Хэри сидела рядом со мной и внимательно смотрела на меня. Я улыбнулся ей, и она улыбнулась, наклонилась ко мне; первый поцелуй был мимолетным, совсем детским. Я целовал ее долго. Разве можно так вести себя во сне? — думал я. Но ведь это даже не измена ее

памяти, ведь это она мне снится, именно она. Такого со мной еще никогда не случалось… Мы по-прежнему молчали. Я лежал на спине; когда она поднимала лицо, я мог заглянуть в ее маленькие, пронизанные солнцем ноздри — постоянный барометр ее чувств; кончиками пальцев я обвел ее уши, порозовевшие от поцелуев. Не знаю, что меня так тревожило; это сон, все твердил я себе, но сердце у меня сжималось. Я решил во что бы то ни стало встать, но был готов к тому, что мне это не удастся — во сне очень часто тело не слушается нас, оно словно чужое или его вообще не чувствуешь. Я рассчитывал, что, пытаясь встать, проснусь, но вместо этого сел, спустив ноги на пол. Ничего не поделаешь, придется досмотреть сон до конца, подумал я, но настроение окончательно испортилось. Мне стало страшно.

— Что тебе нужно? — спросил я хрипло и откашлялся.

Машинально я поискал босыми ногами тапочки и, прежде чем вспомнил, что здесь пхнет, так ушиб палец, что даже охнул от боли. Ну теперь-то проснусь, подумал я удовлетворенно.

Но ничего не изменилось. Хэри отодвинулась, когда я сел. Она прислонилась к спинке койки. Видно было, как у нее бьется сердце: платье чуть

вздрагивало на груди. Она рассматривала меня со спокойным любопытством. Хорошо бы принять душ, но разве душ, который снится, может разбудить?

— Как ты сюда попала? — спросил я.

Она подняла мою руку и начала играть ею, знакомым движением подбрасывая и ловя мои пальцы.

— Не знаю, — сказала она. — А ты не рад?

Голос был такой же низкий, и говорила она так же рассеянно, как всегда, словно ее заботили не произнесенные слова, а что-то совсем другое; поэтому иногда казалось, что Хэри ни о чем не думает, а иногда — что она ничего не стыдится. Ко всему она присматривалась с еле заметным удивлением, которое светилось только в ее глазах.

— ... Тебя... кто-нибудь видел?

— Не знаю, я просто пришла... какое это имеет значение, Крис?

Продолжая машинально играть моей рукой, она нахмурилась.

— Хэри?

— Что, милый?

— Откуда ты узнала, где я?

Хэри беспомощно развела руками, улыбнулась. У нее были такие темные губы, что, когда она ела вишни, на них не оставалось следов от ягод.

— Понятия не имею… Странно, правда? Ты спал, когда я вошла, но я тебя не разбудила. Я не хотела тебя будить, ты злюка. Злюка и зануда.

В такт словам она энергично подбрасывала мою ладонь.

— Ты была внизу?

— Ага. Я убежала оттуда. Там холодно.

Она выпустила мою руку. Ложась набок, встряхнула головой, отбрасывая волосы, посмотрела на меня с той едва заметной усмешкой, которую я раньше терпеть не мог, до тех пор, пока не полюбил Хэри.

— Но ведь… Хэри… — бормотал я.

Наклонившись над ней, я поднял короткий рукав ее платья. Над похожей на цветок отметиной от прививки оспы краснел маленький след укола. Правда, я этого и ожидал (я все невольно искал хоть какую-то логику), но мне стало нехорошо. Я тронул пальцем ранку от укола — она мне снилась долгие годы. Как часто я со стоном просыпался на измятой постели, всегда в одном и том же положении, сжавшись в ко мок (так она лежала, когда я нашел ее уже застывшей), словно старался вымолить у ее памяти прощение или хоть быть рядом с ней в последние минуты, когда она, почувствовав действие укола, испугалась.

Ведь она боялась даже простой царапины, не выносила ни боли, ни вида крови, а тут на такое решилась. И оставила мне пять слов на листочке. Записка лежала у меня в бумажнике, я всегда носил ее с собой, измятую, потертую на сгибах; у меня не хватало смелости расстаться с ней. Тысячу раз я возвращался к той минуте, когда Хэри писала ее, и пытался представить себе, что она тогда чувствовала. Я убеждал себя, что она хотела просто пошутить и напугать меня, а доза оказалась — случайно — слишком большой. Все твердили мне, что так и было или что она сделала это под влиянием минутной слабости, внезапной депрессии. Ведь никто не знал, что сказал я ей за пять дней до этого. Я даже забрал свои вещи, чтобы ей было еще больнее. А она, когда я укладывался, проговорила слишком спокойно: «Ты понимаешь, что это значит?..» — ия сделал вид, будто не понимаю, хотя прекрасно понимал. Но я считал ее трусихой и сказал ей об этом.

Сейчас она лежала поперек койки и внимательно смотрела на меня, словно не знала, что я убил ее.

— И это все? — спросила она.

Комната была красной от солнца. Волосы Хэри пламенели. Она посмотрела на свою руку, пыта-

ясь понять, почему я так долго ее разглядываю, потом прижалась прохладной гладкой щекой к моей ладони.

— Хэри, — хрипло сказал я, — не может быть…

— Перестань!

Глаза у нее были закрыты, веки вздрагивали, черные ресницы касались щек.

— Где мы, Хэри?

— У нас.

— А где это?

Она приоткрыла один глаз и тут же закрыла, пощекотала ресницами мою ладонь.

— Крис!

— Что?

— Мне так хорошо.

Склонившись над ней, я сидел неподвижно. Подняв голову, я увидел в зеркале над умывальником часть койки, рассыпанные волосы Хэри и свои голые колени. Ступней я придвинул полуобгоревший инструмент, один из тех, что валялись на полу, поднял его, приложил острым концом к ноге, там, где розовел полукруглый симметричный шрам, и воткнул в тело. Я почувствовал резкую боль, крупные капли крови потекли по ноге, беззвучно падая на пол.

Все напрасно. Ужасные мысли, бродившие у

меня в голове, становились все отчетливее, я больше не твердил «это сон», я давно перестал в него верить, теперь я думал «надо защищаться». Я поглядел на спину Хэри, переходящую под белым платьем в линию бедра, на босые ноги, свешивающиеся с койки. Протянув руку, я осторожно взял ее розовую пятку и провел пальцем по подошве. Она была нежной, как у новорожденного. Теперь я был совершенно убежден: это не Хэри. И почти уверен: она сама об этом не знает.

Ее ступня дернулась в моей ладони, темные губы Хэри дрожали от беззвучного смеха.

— Перестань… — прошептала она.

Я ласково освободил свою руку из-под ее щеки, встал и начал поспешно одеваться. Хэри сидела на койке и разглядывала меня.

— Где твои вещи? — спросил я и тут же пожалел об этом.

— Мои вещи?

— У тебя только одно платье?

Теперь уже я вел игру: стремился держаться буднично, свободно, будто мы расстались вчера, нет, будто мы вообще никогда не разлучались. Хэри встала и знакомым легким и сильным движением расправила юбку. Мои слова заинтриговали Хэри, но она промолчала. Только

сейчас она внимательно все оглядела и, явно удивленная, повернулась ко мне.

— Не знаю, — проговорила она беспомощно, — может быть, в шкафу?.. — добавила она и открыла дверцу шкафа.

— Нет, там только комбинезоны.

Я нашел возле умывальника электробритву и стал бриться. Лицом к Хэри. Я не хотел становиться спиной к девушке, кем бы она ни была. Хэри ходила по кабине, заглядывая во все углы, в иллюминатор, наконец подошла ко мне и проговорила:

— Крис, у меня такое чувство, будто что-то случилось…

Она замолчала. Выключив бритву, я ждал.

— Словно я что-то забыла… словно многое забыла… Знаю… помню только тебя и… и больше ничего.

Я слушал ее, стараясь ничем не выдать себя.

— Я была… больна?

— Ну… можно и так сказать. Да, какое-то время ты болела.

— А, вот в чем дело…

Хэри сразу успокоилась. Я не могу передать свое состояние: когда она молчала, ходила, садилась, улыбалась, уверенность, что передо мной Хэри,

становилась сильнее, чем гнетущая тревога. Потом мне опять начинало казаться, что это не Хэри, а только ее упрощенный образ, сведенный к нескольким характерным словам, жестам, движениям. Она подошла ко мне почти вплотную, уперлась кулачками мне в грудь и спросила:

— Как у нас с тобой? Хорошо или плохо?

— Прекрасно, — ответил я.

Она чуть заметно усмехнулась.

— Раз ты так говоришь, значит, плохо.

— Да что ты, Хэри! Знаешь, дорогая, мне надо сейчас уйти, — быстро проговорил я. — Подожди меня, хорошо? А может… ты голодна? — добавил я и сам вдруг захотел есть.

— Голодна? Нет. — Она покачала головой, волосы ее рассыпались по плечам. — Мне ждать тебя? Долго?

— Часок… — начал я.

— Я пойду с тобой, — перебила Хэри.

— Тебе нельзя идти со мной, мне надо работать.

— Я пойду с тобой.

Это была совершенно другая Хэри: та в таких случаях никогда не настаивала. Никогда.

— Маленькая моя, это невозможно…

Она посмотрела на меня снизу, потом взяла за

руку. Я провел ладонью по ее руке, плечо было упругое и теплое. Совсем не желая этого, я почти ласкал ее. Все мое существо тянулось к ней, желало ее, я жаждал ее вопреки рассудку, вопреки всем аргументам, вопреки страху.

Стараясь изо всех сил сохранить спокойствие, я повторил:

— Хэри, это невозможно, ты должна остаться.

— Нет!

Как это прозвучало!

— Почему?

— Н-не знаю.

Она огляделась вокруг и снова посмотрела на меня.

— Я не могу… — произнесла она совсем тихо.

— Почему?!

— Не знаю. Не могу. Мне кажется… Мне кажется…

Она с трудом искала ответа, а когда его нашла, он для нее самой прозвучал неожиданно:

— Мне кажется, что я должна всегда тебя… видеть.

Спокойная интонация скрывала не чувства, а что-то совсем иное. Я ощутил это. Внешне все оставалось по-прежнему: я обнимал ее, глядя в глаза, но начал заламывать ей руки назад; нере-

шительное движение стало уверенным. Я уже искал взглядом, чем можно было бы связать ее.

Ее локти ударились за спиной друг о друга и одновременно напряглись с такой силой, которая свела на нет все мои старания. Я боролся, может быть, секунду. Она стояла, прогнувшись назад, едва касаясь пола. В таком положении даже атлет не смог бы сопротивляться. А она, неуверенно улыбаясь, высвободилась из моих объятий, выпрямилась и опустила руки. Причем лицо ее даже не дрогнуло.

Глаза Хэри следили за мной так же спокойно, с любопытством, как и вначале, когда я проснулся. Она, вероятно, даже не заметила моего отчаянного усилия, вызванного приступом страха. Теперь она стояла равнодушная, сосредоточенная, немного удивленная, безучастно ожидая чего-то.

Руки у меня упали. Я оставил ее посередине комнаты и подошел к полке около умывальника. Чувствуя, что попал в немыслимую западню, я искал выхода, готовый на все. Если бы кто-нибудь спросил, что со мной случилось и что это значит, я не смог бы выдавить из себя ни слова, но мне понемногу становилось ясно, что происходящее на Станции со всеми нами представляет собой одно неразрывное целое, столь же страшное,

сколь и непонятное. Однако в тот миг меня занимало другое — я пытался найти хоть какой-то ход, какую-то лазейку для спасения. Я все время чувствовал на себе взгляд Хэри.

Над полкой в стене была маленькая аптечка. Я

быстро осмотрел ее содержимое, нашел баночку со снотворным и бросил четыре таблетки — максимальную дозу — в стакан. Я даже не скрывал своих манипуляций от Хэри, трудно сказать почему, я не задумывался. Налив в стакан горячей воды, я подождал, пока таблетки растворятся, и подошел к Хэри, все еще стоявшей посередине комнаты.

— Ты сердишься? — тихо спросила она.

— Нет, не сержусь. Выпей.

Не знаю, почему я считал, что Хэри послушается. Действительно, она молча взяла у меня стакан и выпила его залпом. Я поставил пустой стакан на столики сел в углу между шкафом и книжной полкой. Хэри медленно подошла ко мне, уселась на полу возле кресла, как часто делала раньше, поджала ноги под себя и хорошо знакомым движением отбросила волосы назад. Хотя я уже больше не верил, что это Хэри, все-таки, каждый раз когда я узнавал ее привычки, что-то сжимало мне горло. Это было непонятно и страшно, страшнее всего было то, что я и сам вел себя коварно, делая вид, что принимаю ее за Хэри, но ведь она сама считала себя Хэри, и, по ее понятиям, здесь не было никакой хитрости. Не могу объяснить, как я сообразил, что все именно так, но я был уве-

рен в этом, если вообще могла еще существовать хоть какая-то уверенность!

Я сидел, девушка прислонилась спиной к моим коленям, ее волосы щекотали мою руку. Мы сидели неподвижно. Несколько раз я незаметно посмотрел на часы. Прошло полчаса, снотворное уже должно подействовать. Хэри тихонько пробормотала что-то.

— Что ты сказала? — спросил я.

Она не ответила. Я подумал — она засыпает, хотя, ей-богу, в глубине души сомневался, подействует ли лекарство. Почему? Не знаю. Вероятней всего, потому, что такой выход был бы слишком прост.

Ее голова медленно опустилась на мои колени, темные волосы упали на лицо; Хэри дышала размеренно, как спящий человек. Я наклонился, чтобы отнести ее на койку. Не открывая глаз, она слегка дернула меня за волосы и громко засмеялась. Я похолодел, а она заливалась смехом и, прищурившись, следила за мной. Выражение ее лица было наивным и хитрым. Я сидел неестественно прямо, оглушенный и беспомощный, а Хэри хихикнула еще разок, прижалась щекой к моей руке и замолчала.

— Почему ты смеешься? — глухо спросил я.

Ее лицо опять стало беспокойным, задумчивым. Я видел, что она хочет быть искренней. Хэри приложила палец к носу и сказала со вздохом:

— Сама не знаю. — В ее словах прозвучало неподдельное удивление. — Я веду себя по-идиотски, правда? — продолжала она. — Как-то мне вдруг… но ты тоже хорош… сидишь надутый, как… как Пельвис…

— Как кто? — переспросил я ее. Мне показалось, что я ослышался.

— Как Пельвис, ты же знаешь, тот толстяк…

Вне всякого сомнения, Хэри не могла ни знать, ни слышать о нем от меня: он вернулся из своей экспедиции, по крайней мере, года через три после ее смерти. Я тоже не знал его прежде и понятия не имел, что он, председательствуя на собраниях Института, затягивает обычно заседания до бесконечности. Его звали Пелле Виллис, что в сокращении и образовало прозвище, до его возвращения тоже никому не известное. Хэри облокотилась на мои колени и смотрела мне в лицо. Я провел ладонями по ее рукам, плечам, шее, ощутил пульсирующие жилки. Это можно было принять за ласку. Судя по ее взгляду, она все так и восприняла. А я просто хотел убедиться, что прикасаюсь к обычному теплому человеческому

телу, что под кожей есть мускулы, кости и суставы. Глядя в ее спокойные глаза, я почувствовал непреодолимое желание изо всех сил сдавить ей горло.

Мои пальцы почти сомкнулись, но тут я вспомнил окровавленные руки Снаута и отпустил Хэри.

— Как ты странно смотришь, — спокойно сказала она.

Сердце мое так колотилось, что я не мог говорить. Я закрыл на мгновение глаза.

Неожиданно у меня возник план. Весь, от начала до конца, со всеми подробностями. Не теряя ни секунды, я встал с кресла.

— Я должен идти, Хэри, но, если ты очень хочешь, можешь пойти со мной.

— Хорошо.

Она вскочила.

— Почему ты босиком? — спросил я, подходя к шкафу и выбирая среди разноцветных комбинезонов два — для себя и для нее.

— Не знаю… Вероятно, куда-то зашвырнула свои туфли… — сказала она неуверенно.

Я не обратил на это внимания.

— Сними платье, иначе ты не сможешь надеть этот комбинезон.

— Комбинезон?.. А зачем? — спросила она, начиная сразу раздеваться.

Но тут выяснилась странная вещь: платье нельзя было снять — оно оказалось без застежки. Красные пуговицы посередине — только украшение. Нет ни молнии, ни какой-либо другой застежки. Хэри смущенно улыбалась. Притворяясь, что это самое обыкновенное дело, я поднял с пола инструмент, похожий на скальпель, надрезал им платье, там, где на спине начинался вырез. Теперь она могла снять платье через голову. Комбинезон был ей немного велик.

— Мы полетим?.. Вместе? — допытывалась она, когда мы, уже одетые, выходили из комнаты.

Я кивнул. Я очень боялся, что мы встретим Снаута, но коридор, ведущий к взлетной площадке, был пуст, а двери радиостанции, мимо которых мы прошли, закрыты.

На Станции по-прежнему царила мертвая тишина. Хэри следила за тем, как я на небольшой электрической тележке вывозил из среднего бокса на свободный путь ракету. Я методично проверил состояние микрореактора, телеуправление двигателя, после чего вместе со стартовой тележкой перекатил ракету на круглую роликовую плоскость пускового стола под центром

воронкообразного купола, убрав сперва оттуда пустую капсулу.

Это была небольшая ракета для связи Станции с Сателлоидом; она служила для перевозки грузов, люди в ней летали в исключительных случаях — ракета не открывалась изнутри. Мне нужна была именно такая ракета. Конечно, я не собирался запускать ее, но делал все, как перед настоящим стартом. Хэри не раз сопровождала меня в полетах и немного разбиралась в подготовке к старту. Я проверил также состояние кондиционеров и кислородной аппаратуры, привел их в действие, а когда зажглись контрольные лампочки, я вылез из тесного отсека и обратился к Хэри, стоявшей у трапа:

— Входи.

— А ты?

— Я войду за тобой. Мне надо закрыть люк.

Я не боялся, что она разгадает мою хитрость. Когда она поднялась по трапу в отсек, я тут же просунул голову в люк и спросил, удобно ли ей; услышав глухо прозвучавшее в тесном отсеке «да», попятился и со всего размаха захлопнул крышку. Я до упора задвинул обе задвижки и заранее приготовленным ключом стал затягивать пять болтов, крепящих в пазах крышку люка.

Металлическая сигара стояла вертикально, готовая вот-вот взлететь. Я знал, той, которую я запер, ничто не грозит — в ракете достаточно кислорода, есть даже немного пищи; впрочем, я совсем не собирался держать ее там до бесконечности.

Я стремился любой ценой получить хотя бы несколько часов свободы, чтобы все обдумать, связаться со Снаутом и поговорить с ним теперь уже на равных. Затягивая предпоследний болт, я почувствовал, что металлические крепления, на которых держится ракета, установленная только на выступах с трех сторон, слегка дрожат, но решил, что я сам, неосторожно действуя большим ключом, случайно расшатал стальную глыбу. Отойдя на несколько шагов, я увидел то, чего не хотел бы видеть больше никогда в жизни.

Ракета раскачивалась от серии идущих изнутри ударов. Каких ударов! Будь там вместо черноволосой стройной девушки стальной робот — и он бы не смог так сотрясать восьмитонную ракету.

На полированной поверхности снаряда дрожали и переливались отблески огней космодрома. Я не слышал никаких звуков — внутри было тихо, только широко расставленные опоры пускового стола, на которых стояла ракета, потеряли четкость очертаний. Они вибрировали, как струны, — я даже испугался, как бы все не развалилось. Трясущимися руками я затянул последний болт, бросил ключ и соскочил с трапа. Медленно пятясь, я увидел, как амортизаторы,

рассчитанные только на постоянное давление, подпрыгивают в своих гнездах. Мне показалось, что стальная обшивка меняет свой цвет. Как сумасшедший, подскочил я к пульту дистанционного управления, обеими руками рванул рубильник пуска реактора и включения связи; из репродуктора раздался не то визг, не то свист, совершенно не похожий на человеческий голос, и все же я разобрал: «Крис! Крис! Крис!!!»

Кровь лилась из разбитых пальцев — так я суматошно и поспешно старался привести в движение снаряд. Голубоватый отблеск упал на стены от пускового стола; через газоотражатель повалили клубы дыма, которые превратились в сноп ослепительных искр; все звуки перекрыл высокий, протяжный гул. Ракета поднялась на трех языках пламени, тут же слившихся в один огненный столб, и, оставляя за собой дрожащее марево, вылетела сквозь шлюзовое отверстие. Оно сразу же закрылось. Автоматические вентиляторы стали подавать свежий воздух в зал, где еще клубился едкий дым.

Я ни на что не обращал внимания. Руками я держался за пульт, лицо пылало от ожога, волосы обгорели от теплового излучения; я судорожно хватал воздух, пахнувший гарью и озоном. Хотя

во время старта я инстинктивно закрыл глаза, реактивная струя ослепила меня. Довольно долго перед глазами стояли черные, красные и золотые круги. Постепенно они растаяли. Дым, пыль, туман исчезали в протяжно стонущих трубах вентилятора. Прежде всего, я увидел зеленоватый экран радара. Я стал искать ракету радиолокатором. Когда я наконец поймал ее, она была уже за пределами атмосферы. Никогда в жизни я не запускал снаряд так поспешно, вслепую, не имея понятия, какое придать ему ускорение, куда вообще его направить. Я подумал, что проще всего вывести ракету на орбиту вокруг Солярис с радиусом примерно тысяча километров. Тогда я смог бы выключить двигатели. Если они будут работать, может произойти катастрофа, результаты которой трудно себе представить. Тысячекилометровая орбита — как я убедился по таблице — была стационарной. Но и она, честно говоря, ничего не гарантировала. Просто я не смог придумать ничего другого. У меня не хватило смелости включить радиосвязь, которую я выключил сразу после старта. Я сделал бы все что угодно, лишь бы не слышать больше этого ужасного голоса, в котором уже не осталось ничего человеческого. Все маски были сорваны — в этом

можно уже признаться, — и под личиной Хэри открылось подлинное лицо, такое, что безумие стало действительно казаться избавлением.

Был ровно час, когда я покинул космодром.

«Малый Апокриф»

У меня были обожжены лицо и руки. Я вспомнил, что, когда искал снотворное для Хэри (если бы я мог, то посмеялся бы теперь над своей наивностью), заметил в аптечке баночку мази от ожогов, и пошел к себе. Открыв дверь, я увидел при багровом свете заката, что в кресле, перед которым недавно Хэри стояла на коленях, кто-то сидит. На какую-то долю секунды меня охватил страх, в панике я отскочил, готовый броситься бежать. Сидевший поднял голову. Это был Снаут. Положив ногу на ногу, спиной ко мне (на нем были те же полотняные брюки с пятнами от реактивов), он просматривал какие-то бумаги. Они лежали рядом на столике. Увидев меня, он отложил бумаги и принялся мрачно разглядывать меня поверх спущенных на кончик носа очков.

Не говоря ни слова, я подошел к умывальнику, вынул из аптечки мазь и стал накладывать ее на лоб и щеки — там, где были самые сильные ожоги. К счастью, лицо не очень отекло, глаза остались целы (хорошо, что зажмурился). Несколько больших волдырей на висках и щеках я проткнул стерильной иглой и шприцем вытянул

из них жидкость. Потом я налепил на лицо две пропитанных мазью марлевых салфетки. Снаут продолжал наблюдать за мной. Мне было все равно. Лицо мое горело все сильнее. Я закончил свои процедуры, сел в другое кресло, сняв с него платье Хэри. Самое обыкновенное платье, только без застежки.

Снаут, сложив руки на костлявом колене, критически следил за моими движениями.

— Ну что, побеседуем? — произнес он, когда я сел.

Я не ответил, прижимая марлю, сползавшую со щеки.

— Принимали гостей, да?

— Да, — ответил я сухо.

У меня не было ни малейшего желания подстраиваться под его тон.

— И избавились от них? Ну, ну, горячо ты за это взялся.

Снаут потрогал шелушившуюся кожу на лбу, сквозь нее просвечивала молодая, розовая кожица. Вдруг меня осенило. Почему я решил, что это загар? Ведь на Солярис никто не загорает…

— Начал-то ты с малого? — продолжал Снаут, не замечая моего волнения. — Всевозможные наркотики, яды, американская борьба, не так ли?

— В чем дело? Поговорим серьезно. Не валяй дурака. Или уходи.

— Иногда волей-неволей приходится валять дурака, — сказал он, прищурившись. — Ты же не станешь уверять, что не воспользовался ни веревкой, ни молотком? А чернильницу ты случайно не швырял, как Лютер? Нет? О, — поморщился он, — да ты просто молодец! И умывальник цел, ты даже не пытался размозжить голову, даже не пытался, и в комнате ничего не расколотил. Ты прямо — раз, два, и готово — посадил, запустил на орбиту и конец?!

Снаут посмотрел на часы.

— Значит, часа два, а может, три у нас есть, — договорил он, неприятно усмехаясь. Потом снова начал: — Так, говоришь, я свинья?

— Настоящая свинья, — сказал я твердо.

— Да? А ты поверил бы, расскажи я тебе такое? Поверил бы хоть одному слову?

Я не ответил.

— Сначала это произошло с Гибаряном, — продолжал Снаут с той же неприятной усмешкой. — Он заперся в своей кабине и разговаривал с нами только через дверь. Ты знаешь, что мы решили?

Я знал, но предпочел промолчать.

— Ну конечно. Мы полагали, что он сошел с

ума. Он рассказал нам кое-что через дверь, но не все. Ты, может, даже догадываешься, почему он скрывал, кто у него. Ну да. Ты уже знаешь: suum cuique[2]. Но Гибарян был настоящим исследователем. Он потребовал дать ему возможность…

— Какую?

— Он пытался, по-моему, как-то все классифицировать, разобраться, понять, работал ночами. Знаешь, что он делал? Конечно, знаешь!

— Расчеты. В ящике. На радиостанции. Это его?

— Да. Но тогда я еще ни о чем понятия не имел.

— Сколько это продолжалось?

— Визит? С неделю. Разговоры через дверь. Что там творилось! Мы думали, у него галлюцинации, психомоторное возбуждение. Я давал ему скополамин.

— Как… ему?!

— Да. Он брал, но не для себя. Экспериментировал. Так это и тянулось.

— А вы?..

— Мы? На третий день решили проникнуть к нему, выломать дверь, если не выйдет иначе. Думали, его нужно лечить.

— Так вот почему!.. — вырвалось у меня.

---

[2] Примечания: 2
Каждому свое (*лат.*).

— Да.
— И там… в том шкафу…
— Да, мой дорогой. Да. Он не знал, что тем вре-

менем и нас посетили гости. И мы уже не могли уделять ему внимание. Он не знал об этом. Теперь такие истории стали для нас… привычными.

Снаут говорил так тихо, что я скорее угадал, чем расслышал последние слова.

— Подожди… Я не понимаю. Как же так, ведь вы должны были слышать. Ты сам говорил, что вы подслушивали. Вы должны были слышать два голоса, а следовательно…

— Нет. Слышали только его голос, а если раздавался какой-то странный шум, то, ты понимаешь, мы думали, что это он…

— Только его голос?.. Но… Почему?

— Не знаю. У меня, правда, есть на этот счет своя теория. Но я полагаю, не стоит торопиться. Она хотя кое-что разъясняет, но выхода никакого не указывает. Да. Ты еще вчера, вероятно, что-то заметил, иначе принял бы нас обоих за сумасшедших.

— Я думал, что сам сошел с ума.

— Да? Ах, так? И ты никого не видел?

— Видел.

— Кого?!

Его лицо исказила гримаса. Он уже не усмехался. Я внимательно разглядывал его, потом ответил:

— Эту… чернокожую…

Снаут не ответил. Но его напряженные, сутулые плечи немного расслабились.

— Ты мог меня хотя бы предостеречь, — продолжал я уже не так убежденно.

— Я тебя предостерег.

— Но как!

— Как мог. Пойми, я не знал, кто это будет! Никогда не известно, это нельзя предвидеть…

— Послушай, Снаут, у меня несколько вопросов. Ты сталкивался с такими вещами… Эта… это… что с ней будет?

— Ты хочешь спросить, вернется ли она? Вернется и не вернется.

— То есть?..

— Вернется такой же, как была вначале… При первом посещении. Просто она ничего не будет знать, или, если быть точным, станет вести себя так, будто ты никогда не делал ничего, чтобы от нее избавиться. Она не будет агрессивной, если ты ее не поставишь в такое положение…

— Какое положение?

— Это зависит от обстоятельств.

— Снаут!

— Что?

— Мы не можем позволить себе роскошь что-

либо скрывать друг от друга.

— Это не роскошь, — прервал он меня сухо. — Кельвин, мне кажется, что ты все еще не понимаешь… Подожди-ка! — У него заблестели глаза. — Ты можешь мне сказать, кто у тебя был?

Я проглотил слюну, опустил голову. Мне не хотелось смотреть на него. Я предпочитал, чтобы это был кто угодно, только не он. Но выбора не оставалось. Кусочек марли отклеился и упал мне на руку. Я вздрогнул от скользкого прикосновения.

— Женщина, которую… — я не договорил. — Она погибла. Сделала себе… укол…

Снаут ждал.

— Покончила с собой?.. — уточнил он, видя, что я не договариваю.

— Да.

— И все?

Я замялся.

— Вероятно, не все…

Я вскинул голову. Снаут не смотрел на меня.

— Откуда ты знаешь?

Он не ответил.

— Ладно, — начал я, облизнув губы, — мы поссорились. Впрочем, нет. Это я ей сказал… сам знаешь, что говорят со злости. Собрал свои ве-

щички и ушел. Она дала мне понять, прямо не сказала, но ведь, когда с человеком долго живешь, незачем и говорить… Я был уверен, что она просто так, что она побоится… так ей все и выложил. На следующий день я вспомнил, что оставил в ящике шкафа этот… препарат; она знала о нем — я принес его из лаборатории, он был мне нужен; я объяснил ей тогда, как он действует. Я испугался, хотел пойти за ним, но потом подумал, что это будет выглядеть, словно я принял ее слова всерьез, и… не пошел. На третий день я все-таки отправился… это не давало мне покоя. Она… когда я пришел, ее уже не было в живых.

— Ах ты, невинное дитя…

От его слов меня взорвало. Но, взглянув на Снаута, я понял, что он не шутит. Я словно впервые увидел его. На сером лице в глубоких морщинах застыла непередаваемая усталость, он выглядел как тяжелобольной.

— Почему ты так говоришь? — спросил я его в замешательстве.

— Потому, что история эта трагична. Нет, нет, — быстро добавил он, заметив, что я хочу его прервать, — ты по-прежнему ничего не понимаешь. Конечно, ты можешь мучиться, даже считать себя убийцей, но… это не самое страш-

ное.

— Да что ты! — язвительно воскликнул я.

— Ей-богу, я рад, что ты мне не веришь. То, что произошло, может быть страшным, но страшнее всего то, что… не происходило… Никогда.

— Не понимаю… — неуверенно произнес я.

Действительно я пока ничего не понимал. Снаут покачал головой.

— Нормальный человек… — продолжал он. — Что такое нормальный человек? Человек, который не совершил ничего ужасного? И даже не подумал ни о чем подобном? А что, если он не подумал, а у него только мелькнуло в подсознании десять или тридцать лет назад? Может, он забыл, не боялся, так как знал, что никогда не сделает ничего плохого. Теперь, представь себе, что вдруг, средь бела дня, при других людях, встречаешь ЭТО во плоти, прикованное, к тебе, неистребимое. Что это?

Я молчал.

— Станция, — произнес он тихо. — Станция Солярис.

— Но… что это, в конце концов? — спросил я нерешительно. — Ведь вы с Сарториусом не преступники…

— Ты же психолог, Кельвин! — нетерпеливо

прервал он меня. — Кому хоть раз в жизни не снился такой сон, не являлось такое видение? Возьмем… фетишиста, который влюбился, скажем, в клочок грязного белья. Рискуя жизнью, угрозами и просьбами, он ухитряется раздобыть свой драгоценный, отвратительный лоскут. Забавно, да? Он и брезгует предметом своей страсти, и сходит по нему с ума. И ради него готов пожертвовать своей жизнью, как Ромео ради Джульетты. Такое случается. Но ты, вероятно, понимаешь, что бывают и такие вещи… такие ситуации… которые никто не отважится представить себе наяву, о которых можно только подумать, и то в минуту опьянения, падения, безумия — называй, как хочешь. И слово становится плотию. Вот и все.

— Вот… и все, — бессмысленно повторил я. У меня шумело в голове. — А Станция? При чем здесь Станция?

— Что ты притворяешься, — огрызнулся Снаут, уставившись на меня. — Ведь я все время говорю о Солярис, только о Солярис, ни о чем другом. Я не виноват, что все так резко отличается от твоих ожиданий. Впрочем, ты достаточно пережил, чтобы, по крайней мере, выслушать меня до конца. Мы отправляемся в космос, готовые ко всему, то есть к одиночеству, к борьбе, к страданиям и

смерти. Из скромности мы вслух не говорим, но порою думаем о своем величии. А на самом деле — на самом деле это не всё, и наша готовность — только поза. Мы совсем не хотим завоевывать космос, мы просто хотим расширить Землю до его пределов. На одних планетах должны быть пустыни вроде Сахары, на других — льды, как на полюсе, или джунгли, как в бразильских тропиках. Мы гуманны и благородны, не стремимся завоевывать другие расы, мы стремимся только передать им наши достижения и получить взамен их наследие. Мы считаем себя рыцарями Святого Контакта. Это вторая ложь. Мы не ищем никого, кроме человека. Нам не нужны другие миры. Нам нужно наше отражение. Мы не знаем, что делать с другими мирами. С нас довольно и одного, мы и так в нем задыхаемся. Мы хотим найти свой собственный, идеализированный образ: планеты с цивилизациями, более совершенными, чем наша, или миры нашего примитивного прошлого. Между тем по ту сторону есть нечто, чего мы не приемлем, перед чем защищаемся, а ведь с Земли привезли не только чистую добродетель, не только идеал героического Человека! Мы прилетели сюда такими, каковы мы есть на самом деле; а когда другая сторона показывает

нам нашу реальную сущность, ту часть правды о нас, которую мы скрываем, мы никак не можем с этим смириться!

— Так что же это? — спросил я, терпеливо выслушав его.

— То, чего мы так хотели. Контакт с иной цивилизацией. Вот он, этот Контакт! Увеличенное, как под микроскопом, наше собственное чудовищное безобразие, наше фиглярство и позор!!!

Голос Снаута дрожал от ярости.

— Итак, ты полагаешь, что это… Океан? Что это он? Но за чем? Сейчас меньше всего меня волнует механизм действия, но, помилуй бог, зачем? Ты что, серьезно думаешь, что они грает с нами?! Или карает нас?! Да это прямо чернокнижие! Планета, покоренная каким-то дьяволом-великаном, который из сатанинского чувства юмора подбрасывает членам научной экспедиции адские твари! Полный идиотизм! Ты, вероятно, сам в него не веришь?!

— Этот дьявол не так уж глуп, — процедил Снаут сквозь зубы.

Я удивленно посмотрел на него. В конце концов, у него могли сдать нервы, подумал я, даже если происходящее на Станции нельзя объяснить безумием. Реактивный психоз?.. — промелькнуло

у меня в голове. Снаут беззвучно засмеялся.

— Опять ставишь диагноз? Не спеши. В сущности, ты столкнулся с этим в такой легкой форме, что все еще ничего не понимаешь!

— Ага! Дьявол смилостивился надо мной!

Разговор начал раздражать меня.

— Чего ты, собственно, хочешь? Чтобы я тебе сказал, что замышляют против нас икс биллионов кубометров метаморфической плазмы? Возможно, ничего.

— Ничего? — с недоумением переспросил я. Снаут по-прежнему усмехался.

— Ты же знаешь: наука занимается только тем, как происходит что-то, а не тем, почему происходит. Как? Все началось через восемь или девять дней после эксперимента с жестким облучением. Может, Океан ответил на наше облучение каким-то своим, может, прощупал лучами наш мозг и извлек из него определенные психические процессы, так сказать инкапсулированные?

— Инкапсулированные?

Это меня заинтересовало.

— Ну да, процессы, оторванные от всего остального, замкнутые в себе, подавленные, замурованные, какие-то воспалительные очаги памяти. Он принял их за проект… за рецепт… Ведь ты

знаешь, как сходны между собой асимметричные кристаллы хромосом и тех нуклеиновых соединений цереброзидов, которые составляют основу процессов запоминания… Наследственная плазма — плазма «запоминающая». Итак, он извлек это из нас, зарегистрировал, а потом — сам знаешь, что было потом. Но почему он это сделал? Ха! Во всяком случае, не для того, чтобы нас уничтожить. Уничтожить нас можно гораздо проще. Вообще — при его возможностях, — он мог сделать все что угодно, например, заменить нас двойниками.

— А! — воскликнул я. — Вот почему ты так испугался меня в первый вечер.

— Да. Впрочем, — добавил Снаут, — может, он так и сделал. Откуда ты знаешь, что я действительно тот старый, славный Мышонок, который прилетел сюда два года назад…

Снаут хихикнул, словно наслаждаясь моей растерянностью, но тут же стал серьезным.

— Нет, нет, — проворчал он, — и так всего слишком много… Вероятно, различий гораздо больше, но я знаю одно: и меня, и тебя можно убить.

— А их нельзя?

— И не пытайся! Не советую! Страшная картина!

— Ничем?

— Не знаю. Во всяком случае, их нельзя ни отравить, ни прирезать, ни задушить…

— А если атомным лучеметом?

— Ты смог бы?

— Не знаю. Если считать, что они не люди…

— В каком-то смысле они люди. Субъективно они люди. Они не отдают себе отчета… в своем… происхождении. Ты, вероятно, заметил?

— Да. Так… как же это… выглядит?

— Они регенерируют в невероятном темпе. В немыслимом темпе, прямо на глазах, поверь мне, и снова начинают вести себя, как… как…

— Как?

— Как их образы, живущие в нашей памяти, на основе которой…

— Да. Это правда, — подтвердил я. Мазь таяла на моих обожженных щеках и капала на руки. Я не обращал на это внимания.

— А Гибарян… знал? — неожиданно спросил я.

Снаут задумался.

— Знал ли он то же, что и мы?

— Да.

— Я почти уверен.

— С чего ты взял? Он говорил тебе?

— Нет. Но я нашел у него одну книгу…

— «Малый Апокриф»?! — закричал я, вскакивая с места.

— Да. А ты откуда знаешь? — спросил Снаут, неожиданно забеспокоившись, и уставился на меня. Я покачал головой.

— Не волнуйся. Ты же видишь, что я обожжен и совсем не регенерирую, — успокоил я его. — О книге он оставил мне письмо.

— Правда? Письмо? Что там написано?

— Немного. Это скорее записка, а не письмо. Библиографическая справка к «Соляристическому приложению» и к этому «Апокрифу». Что это такое?

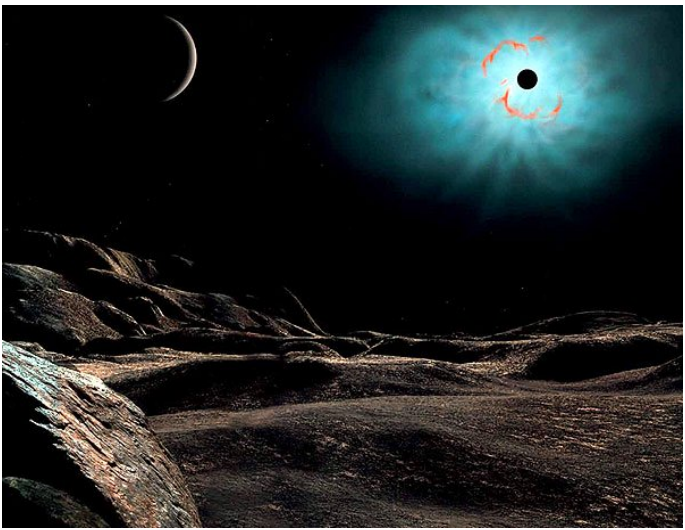
— Старая история. Может быть, она нам что-нибудь даст. Держи.

Снаут достал из кармана тоненькую книгу в кожаном переплете, потертом на углах, и протянул мне.

— А Сарториус?.. — спросил я, пряча книгу.

— Что Сарториус? Каждый ведет себя в такой ситуации, как… умеет. Он старается держаться нормально, для него это значит — официально.

— Ну знаешь ли!



— Тем не менее. Я однажды попал с ним в переплет, подробности не так уж важны, достаточно сказать, что у нас осталось на восемь человек пятьсот килограммов кислорода. Один за другим мы бросали обычные занятия, в конце концов мы все ходили небритые, только он брился, чистил

ботинки. Такой уж он человек. Конечно, что бы Сарториус теперь ни сделал, все будет или притворством, или комедией, или преступлением.

— Преступлением?

— Ну скажем, не преступлением. Можно придумать какое-нибудь новое слово. Например, «реактивный развод». Нравится?

— Ты весьма остроумен.

— А ты хотел бы, чтобы я плакал? Предложи сам что-нибудь.

— Ах, отстань!

— Ладно, я говорю серьезно. Ты теперь знаешь приблизительно столько же, сколько и я. У тебя есть какой-нибудь план?

— Какой там план! Я не представляю, что буду делать, когда… снова явится… Должна явиться?

— Скорее всего, должна.

— Как же они проникают на Станцию, ведь Станция закрыта герметично. Может, обшивка…

Снаут покачал головой.

— Дело не в обшивке. Не имею понятия. Гость чаще всего появляется, когда просыпаешься, а ведь надо же время от времени спать.

— А если запереться?

— Помогает ненадолго. Есть другие способы… сам знаешь какие.

Снаут встал, я тоже поднялся.

— Послушай-ка, Снаут… Ты хотел бы ликвидировать Станцию, но предпочитаешь, чтобы такое предложение исходило от меня?

Снаут задумался.

— Все гораздо сложнее. Конечно, мы можем убежать, хотя бы на Сателлоид, и оттуда подать сигнал бедствия. Нас сочтут, само собой разумеется, безумцами — какой-нибудь санаторий на Земле, до тех пор, пока мы спокойно не откажемся от своих слов — ведь бывают случаи массового психоза на таких изолированных участках… Это было бы не самое худшее. Сад, тишина, белые комнаты, прогулки с санитарами…

Снаут говорил абсолютно серьезно, держа руки в карманах, уставившись невидящими глазами в угол. Красное солнце уже зашло за горизонт, и пенистые волны океана переплавились в чернильную пустыню. Небо горело. Над этим двухцветным, невыразимо мрачным пейзажем плыли облака с лиловыми краями.

— Ты хочешь убежать? Хочешь? Или пока нет?

Снаут усмехнулся.

— Непреклонный завоеватель… ты еще не все отведал, иначе бы так не приставал. Дело не в том, чего я хочу, а в том, какая есть возможность.

— Какая возможность?

— Не знаю.

— Итак, остаемся здесь? Думаешь, мы найдем способ…

Снаут взглянул на меня, худощавый, с шелушащимся, морщинистым лицом.

— Кто знает. Может, все окупится, — сказал я. — Пожалуй, об Океане мы не узнаем ничего, но, может быть, о себе…

Снаут повернулся, взял свои бумаги и вышел. Мне хотелось его остановить, я открыл рот, но не произнес ни слова. Делать было нечего, оставалось только ждать. Я смотрел через иллюминатор на кроваво-черный Океан, почти не видя его. Мне пришла в голову мысль — не спрятаться ли в какой-нибудь ракете на космодроме — мысль несерьезная, более того, глупая: все равно рано или поздно мне пришлось бы выйти оттуда. Я сел возле иллюминатора, достал книгу, которую дал мне Снаут. Было еще достаточно светло. Вся комната горела красным, страницы порозовели. Книга представляла собой составленный неким Отто Равинцером, магистром философии, сборник статей и работ, сказать по правде, весьма сомнительных. Каждой науке всегда сопутствует какая-нибудь псевдонаука — странное

извращение науки в умах определенного толка: астрология — карикатура на астрономию, у химии была когда-то алхимия; понятно, конечно, что зарождение соляристики сопровождалось подлинным взрывом умствования чудаков. В книге Равинцера была именно такая псевдонаучная стряпня, от которой, следует справедливо заметить, сам составитель решительно открещивался в своем предисловии. Он просто считал, не без основания, что такой сборник может служить ценным документом эпохи, как для историков, так и для психологов науки.

Рапорт Бертона занимал в книге немаловажное место. Он состоял из нескольких частей. Сначала шли весьма лаконичные записи в бортовом журнале.

С 14.00 до 16.40 по условному времени экспедиции записи были краткими и однообразными.

Высота 1000 — или 1200 — или 800 метров. Океан пуст.

Запись повторялась несколько раз.

16.40. Поднимается красный туман. Видимость 700 метров. Океан пуст.

17.00. Туман сгущается, штиль, видимость 400 метров, есть просветы. Снижаюсь до 200.

17.20. Нахожусь в тумане. Высота 200. Види-

мость 20–40 метров. Штиль. Поднимаюсь до 400.

17.45. Высота 500. Сплошной туман до самого горизонта. В тумане воронки, сквозь которые смутно видна поверхность Океана. В них что-то происходит. Пытаюсь войти в одну из воронок.

17.52. Вижу подобие водоворота: он выбрасывает желтую пену. Водоворот окружен стеной тумана. Высота 100. Снижаюсь до 20.

На этом кончался бортовой журнал Бертона. Продолжение так называемого рапорта составляли выдержки из истории болезни, а точнее, текст показаний Бертона и вопросы членов комиссии.

«*Бертон.* Когда я снизился до 30 метров, держаться на такой высоте стало трудно, так как в круглом, свободном от тумана просвете дул порывистый ветер. Мне пришлось внимательно следить за управлением, поэтому я некоторое время — минут десять или пятнадцать — не выглядывал из гондолы. В результате я нечаянно вошел в туман, меня загнал в него сильный порыв ветра. Это был не обычный туман, а что-то вроде коллоидной взвеси: все стекла затянуло. Было очень трудно их очистить. Взвесь очень липкая. Тем временем из-за сопротивления того, что я называю туманом, обороты винта упали про-

центов на тридцать, и я стал терять высоту. Летя совсем низко и опасаясь капотировать на волну, я дал полный газ. Машина перестала снижаться, но высоты не набирала. У меня оставалось еще четыре патрона ракетных ускорителей. Я не воспользовался ими, полагая, что ситуация может усложниться и они мне еще понадобятся. На полных оборотах возникла очень сильная вибрация, видимо, странная взвесь облепила винт, однако стрелка высотомера по-прежнему стояла на нуле, и я ничего не мог сделать. Солнца я не видел с той минуты, как вошел в туман, но там, где оно должно было находиться, туман багрово светился. Я описывал круги, надеясь, в конце концов, выйти в просвет, свободный от тумана, и, действительно, примерно через полчаса мне это удалось. Я очутился на чистом участке, имевшем форму почти правильного круга диаметром в несколько сот метров, очерченного туманом. Туман клубился, как при сильных воздушных течениях. Поэтому я старался по мере возможности держаться в центре „дыры“: там было тише. По моим наблюдениям, поверхность Океана изменилась. Волны почти исчезли, а верхний слой жидкости, из которой состоит Океан, стал полупрозрачным, с дымчатыми пятнами. Они

постепенно исчезали. Вскоре верхний слой стал совсем прозрачным, и сквозь его толщу, достигавшую нескольких метров, я смог заглянуть в глубину. Там собиралось что-то вроде желтой грязи, тонкими, вертикальными струйками поднимавшейся вверх; всплывая на поверхность, эта субстанция начинала блестеть, бурлила, пенилась и застывала, напоминая густой, подгоревший сахарный сироп. Это вещество — не то грязь, не то слизь — образовывало утолщения, наросты на поверхности, похожие на цветную капусту, и постепенно принимало самые различные формы. Меня стало сносить в туман, я вынужден был заняться винтом и рулями, а когда, спустя несколько минут, выглянул, то увидел внизу нечто вроде сада. Да, вроде сада. Я видел карликовые деревья, живую изгородь, дорожки — не настоящие, а из того же самого вещества, которое, совсем застыв, напоминало желтоватый гипс. Так это выглядело. Вся поверхность сверкала; я снизился, насколько мог, чтобы тщательно все осмотреть.

Комиссия. Были ли на деревьях и растениях, которые ты видел, листья?

Бертон. Нет. Это было что-то вроде макета. Да,

да, все выглядело, как макет. Но пожалуй, макет в натуральную величину. Потом все полопалось и разломалось, сквозь абсолютно черные трещины на поверхность полезла густая слизь, часть ее стекала, а часть оставалась и застывала, все забурлило, покрылось пеной, я ничего больше не видел, кроме пены. Тут на меня со всех сторон стал наступать туман, я прибавил обороты и поднялся до 300 метров.

Комиссия. Ты твердо уверен, что виденное тобою напоминало именно сад?

Бертон. Да. Я заметил различные детали: например, в одном углу, помню, стояли в ряд квадратные коробочки. Позже мне пришло в голову: вероятно, это пасека.

Комиссия. Позже? Не в тот момент, когда ты увидел?

Бертон. Нет, ведь все было как из гипса. Я видел и другое.

Комиссия. Что именно?

Бертон. Не могу сказать, я не успел как следует рассмотреть. По-моему, под некоторыми кустами лежали какие-то предметы, продолговатые, с зубьями, они были похожи на гипсовые слепки с маленьких садовых машин. Но в этом я не уверен. А в том, что говорил раньше, не сомневаюсь.

Комиссия. Ты не подумал, что у тебя галлюцинации?

Бертон. Нет. Я думал, что это мираж. О галлюцинации не может быть и речи: во-первых, я чувствовал себя нормально, во-вторых, их у меня вообще никогда не было. Когда я поднялся на высоту 300 метров, туман подо мной, продырявленный воронками, выглядел, как сыр. Одни из этих „дыр“ были пусты, в них виднелись волны Океана, в других что-то клубилось. Я снизился в одну из воронок и с высоты сорока метров увидел, что под поверхностью Океана — совсем неглубоко — лежит как бы стена очень большого здания; она четко просматривалась сквозь волны, в ней были ряды правильной формы отверстий, похожих на окна; в некоторых окнах, по-моему, что-то двигалось, но в этом я не совсем уверен. Стена стала понемногу подниматься и выступать из Океана, с нее водопадами стекала слизь и свешивались какие-то прожилки. Вдруг стена распалась на две части и стала быстро опускаться в глубину, а потом исчезла. Я опять набрал высоту и летел прямо над туманом — шасси почти касалось его. Следующий воронкообразный просвет был в несколько раз больше первого. Еще издали я увидел: там плавает что-то светлое, почти белое,

очертания напоминали человеческую фигуру. Я подумал — не скафандр ли это Фехнера. Опасаясь потерять это место, я круто развернул машину. Фигура чуть приподнялась: казалось, она плывет или стоит по пояс в волнах. Второпях я слишком резко убрал высоту и почувствовал, как шасси задело за что-то мягкое — наверное, за гребень волны, довольно высокой в этом месте. Человек — да, да, человек — был без скафандра, и все же он шевелился.

Комиссия. Видел ли ты его лицо?

Бертон. Да.

Комиссия. Кто это был?

Бертон. Ребенок.

Комиссия. Какой ребенок? Ты видел его когда-нибудь раньше?

Бертон. Нет. Никогда. Во всяком случае, я этого не помню. Как только я приблизился — сначала меня отделяло от него метров сорок или немного больше, — я сразу понял, что здесь что-то не так.

Комиссия. Что ты имеешь в виду?

Бертон. Сейчас объясню. Сперва я растерялся, а потом понял: ребенок был необычайно большого роста. Мало сказать, исполинского. Он был ростом метра в четыре. Точно помню: когда шасси ударилось о волну, лицо ребенка находилось

немного выше моего, а я, хоть и сидел в кабине, был, вероятно, метрах в трех от поверхности Океана.

Комиссия. Если он был такой огромный, из чего ты заключил, что это ребенок?

Бертон. Из того, что он был совсем маленький.

Комиссия. Не кажется ли тебе, Бертон, что твой ответ нелогичен?

Бертон. Нет. Не кажется. Я ведь видел его лицо. Да и телосложение было детское. Он показался мне почти… почти грудным. Нет, не то. Ему могло быть два или три года. У него были черные волосы и голубые глаза — громадные! И он был голый, совсем голый, словно только что родился. И мокрый, а точнее, покрытый слизью, кожа у него блестела. Эта картина ужасно подействовала на меня. Больше я не верил ни в какие миражи. Ведь я рассмотрел ребенка слишком хорошо. Волны раскачивали его, и, кроме того, он сам двигался. Отвратительно!

Комиссия. Почему? Что он делал?

Бертон. Он был похож на музейный экспонат, на какую-то куклу, только живую. Открывал и закрывал глаза, производил различные движения — отвратительные движения! Вот именно, отвратительные. Ведь движения были не его.

Комиссия. Как это понять?

Бертон. Я был от него метрах в пятнадцати, ну может, в двадцати. Я уже говорил, какой он огромный, поэтому мне было очень хорошо его видно. Глаза его блестели, он казался живым, но вот движения… Словно кто-то испытывал… проводил испытания…

Комиссия. Что ты имеешь в виду? Постарайся объяснить точнее.

Бертон. Не знаю, удастся ли. Так мне казалось. Интуитивно. Я не старался разобраться в своих впечатлениях. Движения были неестественные.

Комиссия. Ты имеешь в виду, что руки, предположим, двигались так, словно в них совсем не было суставов?

Бертон. Нет. Не то. Просто… движения были бессмысленные… Всякое движение обычно целенаправленно…

Комиссия. Ты так думаешь? Движения грудного младенца не всегда целенаправленны.

Бертон. Знаю. Но движения младенца беспорядочны, у него нет координации. А эти… Да, эти движения были методичны. Они следовали друг за другом, повторялись. Будто кто-то пытался установить, что именно ребенок может сделать руками, а что — туловищем и ртом. Но страшнее

всего выглядело лицо, вероятно потому, что лицо обычно очень выразительно, а тут оно было как… нет, не могу объяснить. Лицо было живое, но не человеческое, понимаете, черты лица, глаза, кожа — все, как у человека, а выражение, мимика — нет.

Комиссия. Может быть, ребенок гримасничал? Знаешь ли ты, как выглядит человеческое лицо во время приступа эпилепсии?

Бертон. Да. Я видел такой приступ. Понимаю вопрос. Нет, здесь было другое. При эпилепсии — судороги и конвульсии, а тут — абсолютно плавные и непрерывные движения, с переливами, если можно так сказать. И лицо… Не бывает так, чтобы одна половина лица была веселой, а другая — грустной, одна часть выражала угрозу или испуг, а другая — торжество или что-нибудь в этом роде, а тут было именно так. Кроме того, и движения, и мимика менялись с необыкновенной быстротой. Я пробыл там очень недолго, секунд десять. Не знаю даже, десять ли.

Комиссия. И ты заявляешь, что все рассмотрел за несколько секунд? Кстати, как ты определил, сколько прошло времени? Ты проверял по часам?

Бертон. Нет. На часы я не смотрел. Но я летаю

уже шестнадцать лет. В моей профессии главное — уметь чувствовать время с точностью до секунды, я имею в виду быстроту реакции. Это необходимо при посадке. Пилот, который не может, независимо от обстоятельств, сориентироваться, сколько прошло секунд — пять или десять, никогда не станет мастером своего дела. Это относится и к наблюдениям. С годами привыкаешь схватывать все на лету.

Комиссия. Это все, что ты видел?

Бертон. Нет. Но остального я точно не помню. Вероятно, все так подействовало на меня, что мой мозг прямо-таки отключился. Туман стал надвигаться, и мне пришлось набирать высоту. Как и когда я ее набрал, не помню. Впервые в жизни я чуть не капотировал. Руки у меня тряслись, я не мог как следует держать рычаг рулевого управления. Кажется, я что-то кричал и вызывал Базу, хотя и знал, что нет связи.

Комиссия. Попытался ли ты тогда вернуться?

Бертон. Нет. Выбравшись наконец из тумана, я подумал, что Фехнер, может быть, в какой-нибудь воронке. Бессмыслица? Конечно. Но я так думал. Раз тут такое творится, решил я, то, может, и Фехнера мне удастся найти. Поэтому я наметил, что осмотрю столько просветов в тумане, сколько

смогу. Но в третий раз я увидел такое, что, набрав высоту, понял: больше мне не выдержать. Не выдержать! Должен сказать… впрочем, это вам известно. Мне стало дурно, меня стошнило. До сих пор я никогда не испытывал ничего подобного, меня никогда не мутило.

Комиссия. Это был симптом отравления, Бертон.

Бертон. Возможно. Но то, что я увидел в третий раз, я не придумал. Это не был симптом отравления.

Комиссия. На каком основании ты так утверждаешь?

Бертон. Это была не галлюцинация. Ведь галлюцинацию создает мой собственный мозг, не правда ли?

Комиссия. Правда.

Бертон. Вот именно. А такого он не мог создать. Я никогда в это не поверю. Мой мозг на такое не способен.

Комиссия. Постарайся рассказать, что это было.

Бертон. Сначала я должен узнать, как отнесется комиссия к уже сказанному мною.

Комиссия. Разве это имеет значение?

Бертон. Для меня имеет. Принципиальное. Как

я говорил, я видел нечто такое, чего никогда не забуду. Если комиссия признает все, сообщенное мною, правдоподобным хоть на один процент и решит, что надо начать соответствующие исследования Океана именно в таком направлении, то я все расскажу. Но если комиссия намерена счесть эти сведения моим бредом, я не скажу больше ничего.

Комиссия. Почему?

Бертон. Потому что мои галлюцинации, пусть самые ужасные, — мое частное дело. А опыт моего пребывания на планете Солярис не может считаться моим частным делом.

Комиссия. Должно ли это означать, что, пока компетентные органы экспедиции не примут решения, ты отказываешься отвечать? Ты понимаешь, конечно, что комиссия не уполномочена принимать решение?

Бертон. Так точно».

На этом заканчивался первый протокол. Был еще фрагмент второго, составленного спустя одиннадцать дней.

«*Председатель.*...принимая во внимание все вышеизложенное, комиссия в составе трех врачей, трех биологов, одного физика, одного

инженера-механика и заместителя начальника экспедиции пришла к заключению, что описанные Бертоном события представляют собой проявления галлюцинаторного синдрома, развившегося под влиянием отравления атмосферой планеты, с симптомами помрачения сознания, которым сопутствовало возбуждение ассоциативных зон коры головного мозга, и что в реальной действительности не было ничего или почти ничего, соответствовавшего этим событиям.

Бертон. Простите. Что значит „ничего или почти ничего“? Как это понять?

Председатель. Я еще не все сказал. В протокол занесено особое мнение физика, доктора Арчибальда Мессенджера, заявившего, что рассказанное Бертоном могло, как он полагает, произойти в действительности, и заслуживает тщательного исследования. Теперь все.

Бертон. Я настаиваю на своем вопросе.

Председатель. Все очень просто: „почти ничего“ означает, что некие реальные явления могли послужить исходным пунктом твоих галлюцинаций. В ветреную ночь самый нормальный человек может принять колышущийся куст за фигуру. А тем более на чужой планете, когда на мозг наблюдателя действует яд. Это сказано не в

упрек тебе, Бертон. Каково твое решение?

Бертон. Сначала я хотел бы узнать, будет ли иметь последствия особое мнение доктора Мессенджера.

Председатель. Практически не будет, то есть исследований в данном направлении никто вести не станет.

Бертон. Нашу беседу заносят в протокол?

Председатель. Да.

Бертон. В таком случае я хотел бы заявить, что комиссия проявила неуважение не ко мне — я здесь не в счет, — а к самому духу экспедиции. Я еще раз хочу подчеркнуть, что отказываюсь отвечать на дальнейшие вопросы.

Председатель. У тебя все?

Бертон. Да. Но я хотел бы встретиться с доктором Мессенджером. Возможно ли это?

Председатель. Разумеется».

Так заканчивался второй протокол. Внизу мелким шрифтом было напечатано примечание, в котором говорилось, что доктор Мессенджер на другой день почти три часа беседовал с Бертоном с глазу на глаз, после чего обратился в Совет экспедиции, добиваясь расследования показаний пилота. Мессенджер утверждал, что в пользу такого расследования говорят дополнительные

данные, полученные от Бертона, которые могут быть обнародованы только в том случае, если Совет примет положительное решение. Совет в лице Шенагана, Тимолиса и Трайе отнесся к заявлению Мессенджера отрицательно, и дело было прекращено.

В книге приводилась также фотокопия одной страницы письма, найденного после смерти Мессенджера в его бумагах. Вероятно, это был черновик. Равинцеру не удалось установить, к чему привело это письмо, и было ли оно вообще отправлено.

«...их потрясающая тупость, — так начинался текст. — Заботясь о своем авторитете, члены Совета — а конкретно Шенаган и Тимолис (голос Трайе не в счет) — отклонили мои требования. Теперь я обращаюсь непосредственно в Институт, но ты сам понимаешь, что это лишь бессильный протест. Связанный словом, я не могу, к сожалению, передать тебе, что рассказал мне Бертон. На решение Совета, разумеется, повлияло то, что с такими потрясающими сведениями пришел человек без ученой степени. А ведь многие исследователи могли бы позавидовать трезвости ума и наблюдательности этого пилота. Пожалуйста, сообщи мне с обратной почтой следующее:

1) биографию Фехнера, начиная с детства;

2) все, что тебе известно о его семье и семейных обстоятельствах; кажется, у него остался маленький ребенок;

3) топографический план населенного пункта, где Фехнер вырос.

Мне хотелось бы еще изложить тебе свое мнение обо всем этом. Ты знаешь, через какое-то время после того, как Фехнер и Каруччи отправились в полет, в центре красного солнца появилось пятно, корпускулярное излучение которого, по данным Сателлоида, прервало радиосвязь в районе южного полушария — там находилась наша База. Из всех исследовательских групп на самое большое расстояние от Базы удалились Фехнер и Каруччи.

Такого плотного и устойчивого тумана при абсолютном штиле мы не наблюдали ни разу за все время пребывания на планете, вплоть до дня катастрофы.

Я считаю, что все, виденное Бертоном, было частью „операции Человек“, выполненной этим клейким чудовищем. Подлинным источником всех образований, замеченных Бертоном, был Фехнер, его мозг, подвергнутый какому-то непонятному для нас „психическому вскрытию“; в

порядке эксперимента воспроизводились, реконструировались некоторые (вероятно, наиболее устойчивые) отпечатки в его памяти.

Знаю, это звучит, как фантастика; знаю, я могу ошибаться. Поэтому я и прошу у тебя помощи. Сейчас я на Аларихе и жду твоего ответа. Твой А».

Стемнело, книжка в моей руке стала серой, я читал с трудом, буквы сливались. На середине страницы текст обрывался — я добрался до конца истории, после моих собственных переживаний показавшейся мне весьма правдоподобной. Я повернулся к иллюминатору. Он стал густо-фиолетовым, на горизонте еще тлели угольками облака. Океан, окутанный тьмой, был невидим. Я слышал слабый шелест бумажных полосок у отверстий вентиляторов. Нагретый воздух, с чуть заметным запахом озона, казался безжизненным. Кругом ни звука. Я подумал, что в нашем решении остаться нет ничего героического. Период беззаветной борьбы, отважных экспедиций, тяжелых потерь, подобных гибели Фехнера — первой жертвы Океана, давно уже прошел. Мне было почти безразлично, кто «в гостях» у Снаута или Сарториуса. Скоро, подумал я, мы перестанем стыдиться и прятаться друг от друга. Если мы не

сможем избавиться от «гостей», то привыкнем к ним и будем жить с ними, а если их создатель изменит правила игры, мы приспособимся и к новым, хотя сначала станем отбрыкиваться, метаться, может быть, кто-нибудь из нас покончит с собой, но, в конце концов, все придет в равновесие.

В комнате сгущалась темнота, напоминавшая земную. Ничего не было видно, кроме светлых контуров умывальника и зеркала. Я встал, ощупью нашел на полке вату, обтер влажным тампоном лицо и лег на койку. Шелест вентилятора надо мной то нарастал, то затихал, словно там билась ночная бабочка. Я не различал даже иллюминатора, все залила чернота, лишь тоненькая полоска неизвестно откуда доходившего слабого света маячила передо мной, не то на стене, не то где-то далеко, в глубине океанской пустыни. Я вспомнил, как напугал меня вчера вечером безжизненный взгляд солярийских просторов, и мне стало смешно. Теперь я его не боялся и вообще ничего не боялся. Я поднес руку к глазам. Фосфорическим блеском светился циферблат. Через час взойдет голубое солнце. Я наслаждался темнотой, глубоко дышал, ни о чем не думая.

Шевельнувшись, я почувствовал на бедре

плоский магнитофон. Ах, да, Гибарян. Его голос, записанный на пленку. Мне даже не пришло в голову воскресить его, выслушать. А ведь это было единственное, что я мог сделать для Гибаряна. Я достал магнитофон и хотел спрятать его под койку. Раздался шорох, слабо скрипнула дверь.

— Крис?.. — послышался тихий голос. — Ты здесь, Крис? Как темно!

— Ничего, — сказал я. — Не бойся. Иди ко мне.

Конференция

Я лежал на спине, голова Хэри покоилась на моем плече, я был не в состоянии ни о чем думать. Темнота в комнате оживала: я слышал какие-то шаги; стены исчезли; надо мной что-то громоздилось, все выше и выше, до бесконечности; меня что-то пронизывало насквозь, обнимало, не прикасаясь; темнота, прозрачная, непереносимая, душила меня. Где-то очень далеко билось мое сердце. Я сосредоточил все свое внимание, собрал последние силы, ожидая агонии. Она никак не наступала. Я только все уменьшался, а невидимое небо, невидимый горизонт — все пространство, лишенное форм, туч, звезд, отступая и увеличиваясь, втягивало меня в свой центр. Я пытался зарыться в свою постель, но подо мной ничего не было. Мрак больше ни от чего не спасал. Стиснув руки, я закрыл ими лицо, но и лица у меня уже не было. Пальцы прошли насквозь, хотелось закричать, завыть…

Серо-голубая комната. Вещи, полки, углы — все матовое, все обозначено только контурами, лишено собственных красок. В иллюминаторе — ярчайшая, перламутровая белизна, безмолвие.

Я обливался потом. Покосившись на Хэри, я увидел: она смотрит на меня.

— У тебя не затекло плечо?

— Что?

Хэри подняла голову. У нее были глаза такого же цвета, как и комната, — серые, лучезарные, под черными ресницами. Я почувствовал тепло ее шепота раньше, чем понял ее слова.

— Нет. Ах да, затекло.

Я положил руку на ее плечо и вздрогнул от прикосновения. Потом я привлек ее к себе.

— Тебе снилось что-то страшное?

— Снилось? Да, снилось. А ты не спала?

— Не знаю. Кажется, не спала. Мне не хочется спать. А ты спи. Почему ты так смотришь?

Закрыв глаза, я чувствовал, как равномерно, спокойно бьется ее сердце там, где гулко стучит мое. Бутафория, подумал я. Но меня больше ничто не удивляло, ничто, даже мое равнодушие. Страх и отчаяние миновали, я ушел от них далеко, — так далеко, как никто на свете. Я прикоснулся губами к ее шее, потом ниже, к маленькой, гладкой, как стенки раковины, впадинке. И здесь тоже бился пульс.

Я приподнялся на локте. Мягкий рассвет сменился резким голубым заревом, весь горизонт

пылал. Первый луч стрелой прошел через комнату, все заблестело, луч радугой преломился в зеркале, на ручках, на никелевых трубках; казалось, что на своем пути свет ударяет в каждую плоскость, желая освободиться, разнести тесное помещение. Смотреть было больно. Я отвернулся. Зрачки у Хэри сузились. Она подняла на меня глаза.

— Это день наступает? — глухо спросила Хэри.

Все было не то во сне, не то наяву.

— Здесь всегда так, дорогая.

— А мы?

— Ты о чем?

— Мы здесь долго пробудем?

Мне стало смешно. Но неясный звук, вырвавшийся из моей груди, был мало похож на смех.

— Я думаю, довольно долго. Тебе не хочется?

Она, не мигая, внимательно глядела на меня. Моргает ли она вообще? Я не знал. Хэри потянула одеяло, и на ее руке зарозовело маленькое треугольное пятнышко.

— Почему ты так смотришь?

— Ты красивая.

Хэри улыбнулась — из вежливости, в ответ на мой комплимент.

— Правда? А ты смотришь так, словно… слов-

но…

— Что?

— Словно ищешь чего-то.

— Ну что ты говоришь!

— Нет, не ищешь, а думаешь, будто со мной что-то произошло или я тебе чего-то не сказала.

— Что ты, Хэри!

— Раз ты отпираешься, значит, так и есть. Как хочешь!

За пылавшими стеклами рождался мертвящий голубой зной. Заслоняя рукой глаза, я поискал очки. Они лежали на столе. Встав на колени, я надел очки и увидел в зеркале отражение Хэри. Она ждала. Когда я снова сел рядом, Хэри улыбнулась.

— А мне?

Я не сразу понял.

— Очки?

Встав, я начал шарить в ящиках, на столике у окна. Я нашел двое очков, и те, и другие были слишком велики, подал очки Хэри. Она надела одни, потом вторые. Очки съезжали ей на нос.

С протяжным скрежетом поползли заслонки, закрывая иллюминаторы. Через минуту на Станции, которая, как черепаха, спряталась в свой панцирь, наступила ночь. На ощупь я снял с Хэри

очки и вместе со своими положил под койку.

— Что мы будем делать? — спросила Хэри.
— То, что делают ночью, — спать.
— Крис!
— Что?
— Может, сделать тебе новый компресс?
— Нет, не надо. Не надо… любимая.

Говоря, я сам не понимал, притворяюсь я или нет. В темноте я обнял ее хрупкие плечи и, чувствуя их дрожь, внезапно поверил, что это Хэри. Впрочем, не знаю. Мне вдруг показалось — обма-

нываю я, а не она. Хэри такая, как есть.

Потом я несколько раз засыпал, вздрагивая, просыпался, бешено колотившееся сердце постепенно успокаивалось. Смертельно измученный, я прижимал к себе Хэри. Она осторожно прикасалась к моему лицу, ко лбу, проверяя, нет ли у меня жара. Это была Хэри, самая настоящая Хэри, никакой другой быть не могло.

От этой мысли что-то во мне изменилось, я успокоился и почти тут же уснул.

Меня разбудило нежное прикосновение. На лбу я почувствовал приятную прохладу. Мое лицо было накрыто чем-то влажным и мягким, потом это мягкое медленно поднялось, я увидел склонившуюся надо мной Хэри. Обеими руками она выжимала над фарфоровой мисочкой марлю. Рядом стоял флакон с жидкостью от ожогов. Хэри улыбнулась мне.

— Ну ты и спишь, — сказала она, снова накладывая марлю. — Тебе больно?

— Нет.

Я сморщил лоб. Действительно, ожога не ощущалось. Хэри сидела на краю койки, завернувшись в мужской купальный халат, белый с оранжевыми полосками; ее черные волосы рассыпались по воротнику. Она высоко, до локтей,

засучила рукава, чтобы они не мешали. Мне страшно захотелось есть, пожалуй, часов двадцать у меня ничего не было во рту. Когда Хэри сняла с моего лица компресс, я встал и увидел два лежащих рядом совершенно одинаковых белых платья с красными пуговицами — одно, которое помог ей снять, разрезав, и второе, в котором она пришла вчера. На сей раз она сама распорола ножницами шов, сказав, что застежка, вероятно, сломалась.

Эти одинаковые платья были самым страшным из всего, что пережил я до сих пор. Хэри возилась в шкафчике с лекарствами, наводя в нем порядок. Я незаметно отвернулся и до крови укусил себе руку. Не сводя глаз с платьев, вернее, с одного и того же, повторенного дважды, я попятился к двери. Вода по-прежнему с шумом текла из крана. Я открыл дверь, тихо выскользнул в коридор и осторожно закрыл ее. До меня доносился приглушенный плеск льющейся воды и звяканье стекла. Неожиданно все смолкло. Коридор освещался продолговатыми лампами на потолке, расплывчатое пятно отраженного света лежало на двери, возле которой я ждал, стиснув зубы. Я схватился за ручку, хотя не надеялся удержать ее. Резкий рывок — я чуть не выпустил ручку, но дверь не

открылась, а только задрожала, раздался оглушительный треск. Пораженный, я выпустил ручку и отступил — с дверью творилось что-то невероятное: ее гладкая пластиковая плита гнулась, словно с моей стороны ее вдавливали внутрь комнаты. Эмаль отскакивала маленькими кусочками, обнажая сталь дверного косяка, который натягивался все сильнее. Я понял: Хэри тянет на себя дверь, которая открывается в коридор. Свет преломился на белой плоскости, как в вогнутом зеркале; раздался сильный хруст, и плита, изогнувшись, треснула. Одновременно ручка, вырванная из гнезда, влетела в комнату. В проломе показались окровавленные руки и, оставляя красные следы на лакированной поверхности двери, тянулись ко мне — дверь разломилась надвое и повисла на скобах. Бело-оранжевый призрак с мертвенно-бледным лицом бросился мне на грудь, захлебываясь от рыданий.

Я был так потрясен, что даже не пытался бежать. Хэри конвульсивно хватала воздух, билась головой о мое плечо, ее волосы растрепались. Обняв Хэри, я почувствовал, что ее тело обмякло в моих руках. Протиснувшись в разбитую дверь, я внес Хэри в комнату, положил ее на койку. Ногти у Хэри были поломаны и окровавлены, кожа на

ладонях содрана. Я поглядел на ее лицо — открытые глаза смотрели сквозь меня.

— Хэри!

Она что-то невнятно пробормотала.

Я поднес палец к ее глазам. Веко закрылось. Я пошел к шкафчику с лекарствами. Койка скрипнула. Я обернулся. Хэри сидела выпрямившись, со страхом глядя на свои окровавленные руки.

— Крис, — простонала она, — я... я... что со мной?

— Ты поранилась, выламывая дверь, — сухо сказал я.

Губы меня не слушались, нижнюю кололо, как иголками.

Я прикусил ее зубами.

Хэри какое-то время рассматривала свисающие с притолоки зазубренные куски пластика, потом перевела глаза на меня. Подбородок у нее задрожал, я заметил, с каким трудом она старается побороть страх.

Я разрезал марлю на куски, вынул из шкафчика лекарство и подошел к койке. Все выпало у меня из рук, стеклянная баночка с коллодием разбилась, но я даже не наклонился. Она была уже не нужна.

Я поднял руку Хэри. Вокруг ногтей запеклась

кровь, но раны исчезли, ладонь затянулась молодой, розовой кожицей, порезы заживали прямо на глазах.

Я сел, погладил Хэри по лицу и попытался улыбнуться ей. Не скажу, что мне удалось это.

— Почему ты так сделала, Хэри?

— Не может быть… Я?..

Она глазами указала на дверь.

— Ты. Разве ты не помнишь?

— Не помню. Я вдруг заметила, что тебя нет, очень испугалась и…

— И что?

— Стала тебя искать, сначала подумала, может быть, ты в душевой…

Только теперь я увидел, что шкаф, закрывающий вход в душевую, отодвинут в сторону.

— А потом?

— Я побежала к двери.

— И что?

— Не помню. Что-то произошло?

— Что?

— Не знаю.

— А что ты помнишь? Что было потом?

— Я сидела здесь, на койке.

— А ты помнишь, как я принес тебя сюда?

Хэри колебалась. Уголки губ у нее опустились,

лицо стало напряженным.

— Кажется… Может быть. Сама не знаю.

Она встала, подошла к разломанной двери.

— Крис!

Я обнял ее сзади за плечи. Хэри дрожала. Вдруг она обернулась, ища моего взгляда.

— Крис, — шептала она, — Крис.

— Успокойся.

— Крис, неужели… Крис, неужели у меня эпилепсия?

Эпилепсия, господи! Мне стало смешно.

— Что ты, дорогая. Просто дверь, знаешь ли, здесь такие двери…

Мы вышли из комнаты, когда заслонки иллюминатора с протяжным визгом поднялись, и показался погружающийся в Океан солнечный диск.

Я направился в небольшую кухню, расположенную в противоположном конце коридора. Мы хозяйничали вместе с Хэри, обшаривая шкафчики и холодильник. Скоро я обнаружил, что Хэри не очень-то умеет готовить, а может только открывать консервные банки. Это умел и я. Я проглотил содержимое двух банок и выпил несчетное количество чашек кофе. Хэри тоже ела, но ела, как едят иногда дети, не желая огор-

чать взрослых, — без аппетита, машинально и безразлично.

Потом мы пошли в маленькую операционную, которая находилась рядом с радиостанцией. У меня созрел план. Хэри я сказал, что хочу ее на всякий случай обследовать. Я расположился на складном кресле и достал из стерилизатора шприц и иглы. Где что находится, я знал почти на память, так вымуштровали нас на Земле, на тренажере. Взяв каплю крови из пальца Хэри, я сделал мазок, высушил его в эксикаторе, обработал ионами серебра в высоком вакууме.

Реальность этой работы успокаивала. Хэри, лежа на кушетке, разглядывала операционную, заставленную различными аппаратами.

Тишину прервало жужжание внутреннего телефона. Я взял трубку.

— Кельвин слушает, — сказали, не сводя глаз с Хэри. Она казалась вялой — видимо, устала от пережитого за последние часы.

— Ты в операционной? Наконец-то! — услышал я вздох облегчения.

Это был Снаут. Я ждал, прижав трубку к уху.

— У тебя «гость», да?

— Да.

— И ты занят?

— Да.

— Кое-какие исследования, а?

— А что? Ты хотел бы сыграть партию в шахматы?

— Не морочь голову, Кельвин. Сарториус хочет с тобой встретиться, вернее, с нами.

— Какая новость, — удивился я. — А что с… — Я не закончил, потом добавил: — Он один?

— Нет. Я неточно выразился. Он хочет с нами поговорить. Соединимся втроем, по видеофону, но только заслоним экран.

— Ах, так? Почему же он не позвонил прямо мне? Ему стыдно?

— Что-то в этом роде, — пробормотал Снаут. — Ну как?

— Значит, нам надо договориться? Давай через час. Хорошо?

— Хорошо.

На маленьком — не больше ладони — экране я видел только его лицо. Снаут испытующе глядел мне в глаза. В трубке потрескивали разряды.

Потом Снаут нерешительно произнес:

— Как ты поживаешь?

— Сносно. А ты?

— Полагаю, немного хуже, чем ты. Я мог бы?..

— Ты хотел бы прийти ко мне? — догадался я.

Я посмотрел через плечо на Хэри. Она свесила голову с подушки и лежала, закинув ногу на ногу, со скуки подбрасывая серебристый шарик, которым заканчивалась цепочка у поручня кресла.

— Брось это, слышишь? Брось! — раздался громкий голос Снаута.

Я увидел на экране его профиль. Больше я ничего не расслышал, он закрыл рукой микрофон, я видел только его шевелившиеся губы.

— Нет, я не могу прийти. Может, потом. Через час, — быстро сказал он, и экран погас.

Я повесил трубку.

— Кто это был? — равнодушно спросила Хэри.

— Да тут, один. Снаут. Кибернетик. Ты его не знаешь.

— Еще долго?

— А что, тебе скучно? — спросил я.

Я вложил первую серию препаратов в кассету нейтринного микроскопа и стал нажимать цветные кнопки выключателей. Силовые поля глухо загудели.

— Развлечений здесь нет, а если моего скромного общества тебе недостаточно, то дело плохо, — говорил я рассеянно, с длинными паузами, опуская обеими руками большую черную головку, в которой светился окуляр микроскопа, и прикладывая мягкую резиновую окантовку к глазам.

Хэри что-то сказала, я не разобрал слов. Я видел, словно с большой высоты, безбрежную пустыню, залитую серебристым блеском. На ней лежали окруженные легкой дымкой, потрескавшиеся, выветрившиеся плоские булыжники. Это были красные кровяные тельца. Не отрывая глаз от стекол, я увеличил резкость и все глубже и глубже погружался в горящее серебром поле. Левой рукой я вращал рукоятку регулятора столика, а когда одинокое, как валун, тельце оказалось

на пересечении черных линий, я усилил увеличение. Казалось, что объектив наезжает на бесформенный, вдавленный посередине эритроцит, который выглядел уже как кратер вулкана, с черными резкими тенями в углублениях кольцеобразной кромки. Эта кромка, покрытая кристаллическим налетом ионов серебра, не умещалась в фокусе. Появились мутные, видимые словно сквозь мерцающую воду, очертания сплавленных, изогнутых цепочек белка; поймав на черном скрещении одно из уплотнений белковых обломков, я медленно поворачивал ручку увеличителя, все поворачивал и поворачивал; вот-вот должен был наступить конец этого путешествия вглубь. Расплющенная тень молекулы заполнила все поле и… расплылась в тумане!

Ничего, однако, не произошло. Я должен был увидеть мерцание студенисто дрожащих атомов, но их не было. Экран отливал незамутненным серебром. Я повернул рукоятку до предела. Гневное гудение микроскопа усилилось, но я по-прежнему ничего не видел. Повторяющийся дребезжащий сигнал предупреждал, что аппаратура перегружена. Я еще раз глянул на серебристую пустыню и выключил ток.

Я посмотрел на Хэри. Она принужденно улыб-

нулась, чтобы скрыть зевок.

— Как там мои дела? — спросила Хэри.

— Очень хорошо, — сказал я. — Думаю, лучше и быть не может.

Я все глядел на нее, опять ощущая покалывание в нижней губе. Что, собственно, случилось? Что это значит? Это тело, на вид такое хрупкое и слабое, нельзя уничтожить? По сути, оно состоит из ничего? Я кулаком ударил по цилиндрическому корпусу микроскопа. Может, какой-нибудь дефект? Может, не фокусирует?.. Нет, я знал, что аппаратура исправна. Я спустился на все уровни: клетка, белковое вещество, молекула — все выглядело так, как на тысячах препаратов, которые я видел. Но последний шаг вниз вел в никуда.

Взяв у Хэри кровь из вены, я разлил ее по пробиркам. Анализы заняли у меня больше времени, чем я предполагал, — я немного потерял сноровку. Реакции были нормальные. Все. Разве что…

Я капнул концентрированной кислотой на красную бусинку. Капля задымилась, стала серой, покрылась налетом грязной пены. Разложение. Денатурация. Дальше, дальше! Я потянулся за новой пробиркой. Когда я взглянул на старую, пробирка чуть не выпала у меня из рук.

Под грязной пеной на самом дне пробирки

снова вырастал темно-красный слой. Кровь, сожженная кислотой, восстанавливалась! Это было бессмысленно! Это было невозможно!

— Крис! — раздалось вдалеке. — Крис, телефон!

— Что? А, телефон? Спасибо.

Телефон жужжал уже давно, но я его только что услышал.

— Кельвин слушает, — сказал я в трубку.

— Говорит Снаут. Я переключил линию, и мы трое одновременно будем слышать друг друга.

— Приветствую вас, доктор Кельвин, — раздался высокий гнусавый голос Сарториуса. Голос звучал так, словно его хозяин вступал на опасно прогибающиеся подмостки, — пронзительно, настороженно, хотя внешне спокойно.

— И я вас приветствую, доктор, — ответил я.

Мне стало смешно, хотя не было никакого повода для смеха. Над кем мне, в конце концов, смеяться? Я что-то держал в руке: пробирку с кровью. Я встряхнул пробирку. Кровь уже свернулась. Может, мне все привиделось? Может, мне просто показалось?

— Я хотел бы представить на ваше рассмотрение некоторые проблемы, связанные с э… фантомами, — слышал и не слышал я Сартори-

уса. Он с трудом пробивался к моему сознанию. Я защищался от его голоса, по-прежнему уставившись на пробирку со сгустком крови.

— Назовем их образованием Ф, — подсказал Снаут.

— Прекрасно.

Посередине экрана темнела вертикальная линия, я принимал одновременно два канала — по обе стороны линии я должен был видеть моих собеседников. Однако экран оставался темным, только узкая светящаяся каемка говорила, что аппаратура работает, а передатчики чем-то заслонены.

— Каждый из нас провел различные исследования… — Снова та же осторожность в гнусавом голосе говорящего. Молчание. — Может, сначала объединим наши наблюдения, а потом я мог бы сообщить то, к чему пришел сам… Может, вы, доктор Кельвин, начнете…

— Я?

Внезапно я почувствовал взгляд Хэри. Я положил пробирку на стол, она покатилась под штатив, и, придвинув ногой треножник, уселся на него. Сначала я хотел отказаться, но неожиданно для самого себя произнес:

— Хорошо. Краткий обмен мнениями? Хорошо!

Я почти ничего не сделал, но сказать могу. Одно микроскопическое исследование и несколько реакций, микрореакций. У меня сложилось впечатление, что…

До этой минуты я не представлял, о чем говорить. Только сейчас меня осенило.

— Все в норме, но это подражание. Имитация в каком-то смысле это суперкопия: воспроизведение, более совершенное, чем оригинал. Это значит, что там, где у человека мы сталкиваемся с пределом структурной делимости, тут мы идем дальше — здесь применен субатомный строительный материал!

— Постойте. Постойте. Как вы это понимаете? — допытывался Сарториус.

Снаут не произносил ни слова. А может, это его учащенное дыхание раздавалось в трубке? Хэри посмотрела в мою сторону. Я был сильно взволнован — последние слова я почти прокричал. Успокоившись, я сгорбился на своем неудобном табурете и закрыл глаза.

— Как бы это выразить? Первичный элемент всех наших организмов — атомы. Предполагаю, что образования Ф состоят из единиц, меньших, чем обычные атомы. Значительно меньших.

— Из мезонов? — подсказал Сарториус.

Он вовсе не удивился.

— Нет, не из мезонов… Мезоны можно было бы увидеть. Ведь разрешающая способность аппаратуры, которая стоит здесь, у меня, внизу, достигает десяти в минус двадцатой степени ангстрем. А все-таки ничего не видно. Итак, не мезоны. Пожалуй, скорее нейтрино.

— Как вы себе это представляете? Ведь нейтринные конгломераты неустойчивы…

— Не знаю. Я не физик. Возможно, их стабилизирует какое-то силовое поле. В этом я не разбираюсь. Во всяком случае, если я прав, то они состоят из частиц меньше атома приблизительно в десять тысяч раз. Впрочем, это еще не все! Если бы молекулы белка и клетки были построены непосредственно из «микроатомов», то они соответственно были бы меньше, и кровяные тельца, и ферменты… Но и это не так. Отсюда следует, что белки, клетки, ядра клеток — только имитация! На самом деле структура, ответственная за функционирование «гостя», скрыта глубже.

— Кельвин! — Снаут почти кричал.

Я удивился и замолк. Я сказал: «гостя»?! Да. Хэри, однако, не слышала. Впрочем, она не поняла бы. Хэри смотрела в иллюминатор, подперев голову рукой, ее маленький чистый профиль

вырисовывался на фоне красной зари. Из трубки доносилось только далекое дыхание.

— Что-то в этом есть, — пробурчал Снаут.

— Да, возможно, — добавил Сарториус, — только есть одна загвоздка — Океан состоит не из гипотетических частиц, о которых говорит Кельвин, а из обыкновенных.

— Вполне вероятно, он может синтезировать и такие, — заметил я.

Меня вдруг охватила апатия. Это был нелепый, никому не нужный разговор.

— Но это объяснило бы и необыкновенную выносливость, — буркнул Снаут, — и темп регенерации. Может, даже энергетический источник находится там, в глубине, им ведь не надо есть…

— Прошу слова, — изрек Сарториус.

Мне он был неприятен. Если бы он, по крайней мере, не выходил из своей роли!

— Давайте рассмотрим вопрос мотивировки. Мотивировки появления образований Ф. Я рассматривал бы вопрос так: что такое образования Ф? Это не личности, не копии определенных личностей, а материализованная проекция тех сведений о данной личности, которые заключены в нашем мозгу.

Меткость определения поразила меня. Сарто-

риус хотя и антипатичен, но не глуп.

— Это правильно, — вставил я. — Это объясняет даже, почему появились личн… образования именно такие, а не иные. Выбраны самые стойкие отпечатки в памяти, наиболее изолированные от других, хотя, конечно, ни один такой отпечаток не может быть полностью обособлен и в ходе его «копирования» были, могли быть захвачены части других отпечатков, случайно находившихся рядом, поэтому прибывший проявляет иногда больше знаний по сравнению с подлинной личностью, чьим повторением…

— Кельвин! — снова прервал меня Снаут.

Меня поразило, что только он возмущался моими неосторожными словами. Сарториус, казалось, их не боится. Возможно, его «гость» по своей природе не такой сообразительный, как «гость» Снаута. На секунду в моем воображении появился какой-то карлик-кретин, неотступно следующий за доктором Сарториусом.

— Да, и мы это заметили, — начал Сарториус. — Теперь, что касается мотивов появления образований Ф… Первая, более или менее естественная мысль — на нас проводят эксперимент. Однако это был бы эксперимент скорее всего… жалкий. Если мы ставим опыт, то учимся на

результатах, прежде всего на ошибках, и при повторении опыта вносим в него поправки… В данном случае об этом не может быть и речи. Те же самые образования Ф появляются заново… неоткорректированные… не вооруженные дополнительно ничем против… наших попыток избавиться от них…

— Одним словом, здесь нет функциональной петли действия с коррегирующей обратной связью, как определил бы это доктор Снаут, — заметил я. — И что из этого следует?

— Только одно: если считать происходящее экспериментом, то это не эксперимент, а… халтура, что, впрочем, неправдоподобно. Океан… точен. Это проявляется хотя бы в двухслойной конструкции образований Ф. До определенной границы они ведут себя так, как вели бы себя… настоящие…

Он запутался.

— Оригиналы, — быстро подсказал ему Снаут.

— Да, оригиналы. Но когда ситуация превышает нормальные возможности заурядного… оригинала, наступает как бы «выключение сознания» образования Ф, и тут же проявляются другие действия, нечеловеческие…

— Верно, — сказал я, — но таким образом мы

только составляем каталог поведения этих… этих образований, и ничего больше. Что совершенно бессмысленно.

— Не уверен, — запротестовал Сарториус.

Тут я понял, чем он меня так раздражает: он не говорил, а произносил речь, как на заседании Института. Вероятно, иначе разговаривать он не умел.

— Здесь возникает проблема индивидуальности. Океан полностью лишен этого понятия. Так и должно быть. Мне кажется, дорогие коллеги, что данная… э… деликатнейшая, неприятная для нас сторона эксперимента совершенно не имеет никакого значения для Океана, она — за пределами его понимания.

— Вы считаете, что это непреднамеренно?.. — спросил я.

Его утверждение немного ошеломило меня, но, подумав, я решил, что и такую точку зрения нельзя не принимать во внимание.

— Да. Я не верю ни в какое вероломство, желание нанести удар по самому больному месту как считает коллега Снаут.

— Я вовсе не приписываю Океану никаких человеческих чувств, — первый раз взял слово Снаут, — но, может, ты скажешь, как объяснить

эти постоянные возвращения?

— Может, включено устройство, которое все вертится и вертится, как граммофонная пластинка, — проговорил я не без желания поддеть Сарториуса.

— Не будем отвлекаться, коллеги, — гнусавым голосом заявил доктор. — Это не все, что я хотел вам сообщить. В нормальных условиях я считал бы представление даже краткого сообщения о состоянии моих работ преждевременным, но, учитывая специфические условия, я делаю исключение. У меня сложилось впечатление, только впечатление, не больше, что в предположениях коллеги Кельвина есть рациональное зерно. Я имею в виду его гипотезу о нейтринной структуре. Такие системы мы знаем лишь теоретически, нам неизвестно, можно ли их стабилизировать. Здесь появляется определенный шанс, ибо уничтожение силового поля, которое придает стабильность системе…

Я заметил, как темный предмет, заслоняющий экран со стороны Сарториуса, отодвигается: на самом верху засветилась щель — там медленно шевелилось что-то розовое. И вдруг темная перегородка упала.

— Прочь! Прочь!!! — раздался в трубке отчаян-

ный крик Сарториуса.

На вспыхнувшем экране мелькнули руки доктора в широких лабораторных нарукавниках и большой, золотистый, похожий на диск предмет, и все исчезло раньше, чем я понял, что золотистый круг — это соломенная шляпа…

— Снаут? — окликнул я, переведя дыхание.

— Слушаю, Кельвин, — ответил мне усталый голос кибернетика.

Вдруг я почувствовал, что Снаут мне очень симпатичен. Я на самом деле предпочитал не знать, кто у него «в гостях».

— С нас, пожалуй, хватит, а?

— Пожалуй, — ответил я. — Послушай, когда сможешь, загляни вниз или ко мне в кабину, ладно? — поспешно добавил я, пока он не положил трубку.

— Договорились, — ответил Снаут. — Когда — не знаю. На этом проблемная дискуссия закончилась.

Чудища

Ночью меня разбудил свет. Я приподнялся на локте, другой рукой прикрывая глаза. Хэри, закутавшись в простыню, сидела у меня в ногах. Она съежилась, волосы упали ей на лицо, плечи дрожали. Хэри беззвучно плакала.

— Хэри!

Она съежилась еще больше.

— Что с тобой?.. Хэри…

Я сел, не совсем еще проснувшись, постепенно приходя в себя — меня только что мучили кошмары.

— Любимая!

— Не говори так!

— Да что случилось, Хэри?

Я увидел ее мокрое, искаженное лицо. Крупные детские слезы текли по щекам, блестели в ямочке на подбородке, капали на простыню.

— Я тебе не нужна.

— Что ты, Хэри!

— Я сама слышала.

Я почувствовал, как у меня немеет лицо.

— Что ты слышала? Ничего ты не поняла, я просто…

— Нет, нет, ты говорил, что это не я… чтобы я уходила. Я ушла бы, боже! Я ушла бы, но не могу. Не знаю, что со мной происходит. Я хотела уйти, но не смогла. Я такая… такая… дрянь!

— Маленькая!!!

Я схватил ее, прижал к себе из всех сил. Все рушилось. Я целовал ее руки, ее мокрые, соленые от слез пальцы, умолял, клялся, просил прощения, говорил, что это был дурацкий, противный сон. Понемногу Хэри успокоилась. Она уже не плакала. Глаза у нее стали огромными, как у лунатика. Слезы высохли. Она отвернулась.

— Нет, — сказала она, — не говори этого, не надо. Ты уже не такой, как раньше.

Я не такой?! — со стоном откликнулся я.

— Да. Я тебе не нужна. Я все время это чувствовала. Только притворялась, что не замечаю. Думала, может, мне кажется. Но нет, не кажется. Ты ведешь себя… иначе. Не принимаешь меня всерьез. Ты видел сон, правда, но ведь это я тебе снилась. Ты называл меня по имени. Тебе было противно. Почему? Почему?!

Я встал перед ней на колени, припал к ее ногам.

— Маленькая…

— Я не хочу, чтобы ты так меня называл. Не

хочу, слышишь? Я не маленькая. Я…

Хэри разрыдалась, уткнувшись лицом в постель. Я встал. Из вентиляционных отверстий с тихим шуршанием шел холодный воздух. Меня познабливало. Я накинул купальный халат, сел рядом с Хэри и коснулся ее руки.

— Хэри, послушай меня. Я что-то тебе скажу… скажу тебе правду…

Она медленно приподнималась. Я видел, как у нее на шее под тонкой кожей бьется жилка. Лицо у меня опять онемело. Меня пронизывал холод. В голове была полная пустота.

— Правду? — переспросила меня Хэри. — Честное святое слово?

Я не мог сразу ответить, к горлу подступил комок. У нас было такое старое заклинание, наше собственное заклинание. После него никто из нас не смел не то что солгать, но даже умолчать о чем-нибудь. Когда-то мы мучали друг друга чрезмерной откровенностью, наивно ища в ней спасения.

— Честное святое слово, — серьезно сказал я. — Хэри…

Она ждала.

— Ты тоже изменилась. Все меняются, но я не то хотел сказать. Действительно, ты не можешь

без меня. Почему — мы пока не знаем… Но это даже к лучшему, ведь я тоже не могу без тебя…

— Крис!

Я поднял Хэри вместе с простыней, в которую она закуталась. Уголок простыни, мокрый от слез, упал мне на плечо. Я ходил по комнате, баюкая Хэри. Она погладила меня по лицу.

— Нет, ты не изменился. Это я, — шепнула она мне на ухо. — Со мной что-то происходит. Может, дело в этом?

Хэри смотрела в черный пустой прямоугольник, оставшийся от разбитой двери, обломки которой я отнес вечером на склад. Надо будет, подумал я, повесить новую. Я посадил Хэри на койку.

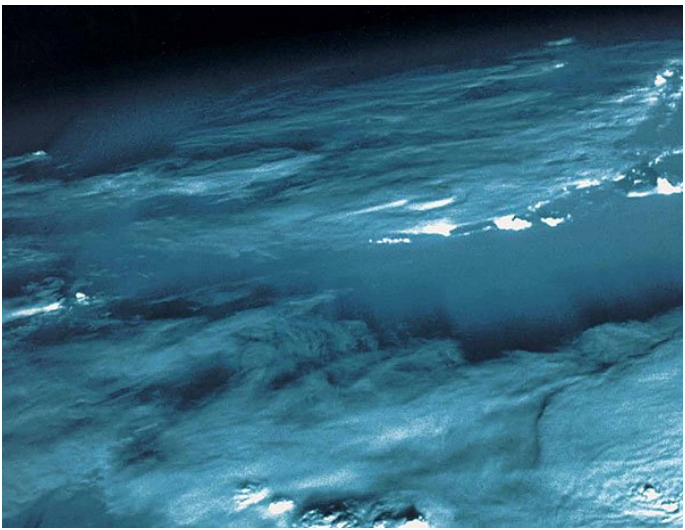
— Ты вообще-то спишь? — Я стоял над ней, опустив руки.

— Не знаю.

— Ты должна знать. Подумай, родная.

— Пожалуй, сплю, но не по-настоящему. Может, я больна. Я просто лежу и думаю, и знаешь…

Хэри вздрогнула.



— Что? — спросил я шепотом, боясь, что мне изменит голос.

— У меня очень странные мысли. Не знаю, откуда они берутся.

— Например?

Надо быть спокойным, думал я, что бы она ни

сказала. К ее словам я приготовился, как к сильному удару Хэри беспомощно покачала головой.

— Все как-то так… вокруг…

— Не понимаю…

— Словно не только во мне, но и дальше, как-то… не знаю, как сказать… Словами не передашь…

— Наверное, это тебе снится, — словно мимоходом заметил я. Мне стало легче дышать. — А теперь давай погасим свет, и до утра у нас не будет никаких огорчений, а утром, если очень захочется, придумаем себе новые, хорошо?

Хэри протянула руку к выключателю. Стало темно, я улегся в остывшую постель и ощутил тепло ее дыхания. Я обнял Хэри.

— Крепче, — прошептала она. И после долгой паузы: — Крис!

— Что?

— Я люблю тебя.

Мне хотелось кричать.

Утро было красное. Воспаленный солнечный диск стоял низко над горизонтом. На пороге лежало письмо. Я надорвал конверт. Хэри была в душевой, я слышал, как она напевала. Время от времени она высовывалась оттуда, поглядывая на меня сквозь мокрые волосы. Я подошел к ил-

люминатору и стал читать.

«Кельвин, дела идут неважно. Сарториус высказывается за решительные меры. Он надеется, что ему удастся дестабилизировать нейтринные системы. Для опытов ему нужно немного плазмы как исходного строительного материала образований Ф. Он предлагает тебе пойти на разведку и добыть некоторое количество плазмы. Поступай по своему усмотрению, но сообщи мне о своем решении. У меня нет никакого мнения. Пожалуй, у меня вообще уже ничего нет. Я предпочел бы, чтобы ты это сделал, хотя бы потому, что мы сдвинемся с места, пусть даже формально. Иначе останется только завидовать Г.

Мышонок.

P.S. Не входи в помещение радиостанции. Это все, что ты для меня еще можешь сделать. Лучше позвони».

С тяжелым сердцем я прочел письмо, внимательно перечитал его еще раз, порвал листок и выбросил клочки в раковину. Потом я стал искать комбинезон для Хэри. Это было ужасно. Точь-в-точь как в прошлый раз. Но Хэри ничего не знала, иначе она такие обрадовалась бы, когда я сказал, что мне надо ненадолго отправиться за пределы

Станции и я прошу ее сопровождать меня. Мы позавтракали в маленькой кухне (Хэри снова почти ничего не ела) и пошли в библиотеку.

Прежде чем выполнить поручение Сарториуса, я хотел посмотреть литературу по проблемам поля и нейтринных систем. Еще не представляя себе, как мне это удастся, я решил контролировать его работу. Мне пришло в голову, что несуществующий пока нейтринный аннигилятор мог бы освободить Снаута и Сарториуса, а я переждал бы вместе с Хэри «операцию» где-нибудь снаружи — в летательном аппарате, например. Я довольно долго корпел над большим электронным каталогом, который в ответ на мои вопросы либо выбрасывал мне карточку с лаконичной надписью «в библиографии не значится», либо предлагал углубиться в такие дебри специальных физических трудов, что я не знал, как к ним подступиться. Мне не хотелось покидать большое круглое помещение с гладкими стенами, в которые были вмонтированы выдвижные ящички с неисчислимым множеством микрофильмов и электронных записей. Расположенная в самом центре станции, без единого иллюминатора, библиотека была самым изолированным помещением в стальной скор-

лупе. Не потому ли мне было здесь так хорошо, хотя поиски явно ни к чему не приводили? Я расхаживал по большому залу, пока не остановился перед огромным, до потолка, книжным шкафом. Это была не столько роскошь (впрочем, довольно сомнительная), сколько символ памяти, дань уважения пионерам солярийских исследований: полки, вмещавшие около шестисот томов, содержали всю классическую литературу предмета, начиная с монументальной, хотя и устаревшей в значительной степени, девятитомной монографии Гизе. Я доставал эти тяжеленные тома и лениво перелистывал их, присев на ручку кресла. Хэри тоже нашла себе какую-то книжку — я прочел несколько строк через ее плечо — одну из немногих, оставшихся от первой экспедиции, кажется чуть ли не от самого Гизе: «Межпланетный повар»... Видя, с каким вниманием Хэри изучает кулинарные рецепты, приспособленные к суровым космическим условиям, я молча вернулся к древнему фолианту, который лежал у меня на коленях. Монография Гизе «Десять лет исследования планеты Солярис» вышла в серии «Труды по соляристике» в выпусках с четвертого по тринадцатый, а теперь очередные выпуски серии нумеруются четырехзначными цифрами.

Гизе обладал не слишком гибким умом, но гибкость ума может только повредить исследователю планеты Солярис. Пожалуй, нигде воображение, способность быстро создавать гипотезы не становятся столь пагубными, как здесь. В конце концов, на этой планете возможно все. Неправдоподобные описания плазматических «узоров», по всей вероятности, соответствуют истине, хотя проверить их обычно невозможно, поскольку Океан очень редко повторяется. Наблюдателя, впервые столкнувшегося с такими океаническими явлениями, поражают их исполинские размеры и совершенно чуждый всему земному характер. Происходи такое в маленькой лужице, все решили бы, что здесь простая «игра природы», еще одно проявление случайности и слепого взаимодействия сил. Перед неисчислимым разнообразием солярийских форм одинаково беспомощны и посредственность, и гений, но от этого ничуть не легче. Гизе не был ни тем, ни другим. Педантичный приверженец систематики, он относился к той породе людей, у которых под внешним бесстрастием кроется всепоглощающее, неистребимое трудолюбие. Гизе пытался все описывать, а когда ему уже не хватало слов, придумывал новые, часто неудачные, не

раскрывавшие сути явлений. Впрочем, ни один термин не передает сущности происходящего на планете Солярис. «Городревы», «долгуны», «грибовики», «мимоиды», «симметриады» и «асимметриады», «хребетники» и «мелькальцы» звучат крайне неестественно, но все-таки дают хоть какое-то представление о Солярис даже тем, кто не видел ничего, кроме нечетких фотографий и весьма несовершенных фильмов. Разумеется, этот добросовестный систематик порой не удерживался в строгих рамках классификаций. Человек всегда выдвигает гипотезы, даже если не стремится к этому, даже бессознательно. Гизе полагал, что «долгуны» представляют собой исходную форму, и сопоставлял ее с многократно увеличенными и нагроможденными в несколько ярусов приливными волнами земных морей. Тот, кто знаком с первым изданием его труда, помнит, что сначала Гизе называл эту форму именно «приливами», под влиянием геоцентризма. Над таким определением можно было бы посмеяться, если бы оно не говорило о беспомощности исследователя. Ведь эти образования размерами своими превосходят — если уж искать земные сравнения — Большой каньон Колорадо, причем их верхний слой — пенисто-студенистый (пена

застывает огромными, ломкими фестонами, гигантскими кружевами — часть исследователей приняла их за «скелетовидные наросты»), а нижележащие слои становятся все более упругими, как сократившийся мускул, и мускул этот на глубине полутора десятков метров — тверже камня, но упругости не теряет. Между стенами, поверхность которых напоминает кожу на спине какого-то чудища и вся покрыта уцепившимися за нее «скелетами», тянется на целые километры сам «долгун», внешне самостоятельное образование, подобное гигантскому питону. Кажется, будто питон поглотил целиком несколько гор и переваривает их в молчании, пошевеливая иногда своим вытянутым рыбьим телом. Но так «долгун» выглядит только сверху, с борта летательного аппарата. Если же опуститься на несколько сот метров, почти к самому дну «ущелья», видно: питон — протянувшаяся до самого горизонта полоса, где плазма движется с невероятной быстротой, отчего и возникает впечатление застывшего цилиндра. Сначала принимаешь это движение за круговращение слизистой, серовато-зеленой массы, сверкающей на солнце, но у самой поверхности (откуда края «ущелья», где покоится «долгун», кажутся гор-

ными хребтами) заметно, что масса движется по гораздо более сложному принципу. Тут есть и концентрические окружности, и перекрестные течения более темных струй, и зеркальные участки верхнего слоя, отражающие небо и тучи. Временами на этих участках грохочут извержения смешанной с газами полужидкой среды. Постепенно понимаешь, что прямо перед тобой — центр действия сил, удерживающих поднявшиеся до небес студенистые стены, лениво застывающие в кристаллы. Но то, что очевидно для наблюдателя, не так-то просто для науки. Сколько лет тянулись непримиримые споры по поводу всего происходящего в «долгунах», миллионы которых бороздят необъятные просторы живого Океана. Их считали какими-то органами, полагая, что в них происходит обмен веществ, процессы дыхания и пищеварения и что-то еще, о чем помнят теперь лишь пыльные библиотечные полки. Каждая из этих гипотез была, в конце концов, опровергнута тысячами труднейших, а подчас и опасных опытов. А ведь речь идет только о «долгунах», о форме, в сущности простейшей, наиболее устойчивой. Каждый из них «живет» в течение нескольких недель — вещь, на планете Солярис вообще исключительная!

Более сложная, капризная и вызывающая самый резкий (бессознательный, разумеется) протест наблюдателя форма — «мимоиды». Их без преувеличения можно назвать излюбленной формой Гизе. До конца своих дней он исследовал и описывал «мимоиды», пытаясь разгадать их сущность. В названии Гизе пытался передать их самое удивительное, с человеческой точки зрения, свойство: определенную склонность подражать окружающим формам, независимо от того, где эти формы расположены — близко или далеко.

В один прекрасный день в глубине Океана начинает постепенно проступать плоский, широкий круг с рваными краями и смолисто-черной поверхностью. Спустя несколько часов на нем уже можно различить отдельные доли, он расчленяется и в то же время пробивается все ближе и ближе к поверхности. Наблюдатель готов поклясться, что там идет бешеная борьба: к мимоиду со всех сторон сбегаются бесконечные ряды кругообразных волн, похожих на жадные рты, на живые, готовые сомкнуться, кратеры; волны громоздятся над расплывчато темнеющим в глубине призраком и, становясь на дыбы, рушатся вниз. Каждый такой обвал тысячетонных громадин

сопровождается длящимся целые секунды хлюпаньем, похожим на грохот, — масштабы всего происходящего чудовищны. Темное образование сползает вниз; очередной удар, кажется, вот-вот расплющит и расщепит его; доли диска повисают, как намокшие крылья, от них отрываются продолговатые гроздья, вытягиваются в длинные ожерелья, сливаются друг с другом и всплывают, увлекая за собой породивший их диск, а тем временем сверху в этот все резче очерченный круг попадают новые и новые кольца волн. И такое длится иногда день, а иногда — месяц. Порой все на этом кончается.

Добросовестный Гизе назвал этот вариант «незрелым мимоидом», словно он откуда-то узнал, что окончательная цель каждого подобного катаклизма — «зрелый мимоид», то есть та колония похожих на полипы блеклых наростов (обычно превосходящая целый земной город), предназначение которой — передразнивать внешние формы. Разумеется, нашелся другой солярист, по фамилии Юйвенс, признавший именно эту, последнюю фазу вырождением, отмиранием, а образуемые формы — несомненным признаком освобождения «отростков» от воздействия исходного образования.

Описывая все остальные солярийские явления, Гизе напоминает муравья, очутившегося на замерзшем водопаде: не отвлекаясь, не обобщая, он кропотливо собирает и сухо излагает мельчайшие подробности. Но, говоря о мимоидах, он настолько уверен в себе и так увлекается, что выстраивает отдельные фазы появления мимоида по признаку все возрастающего совершенства.

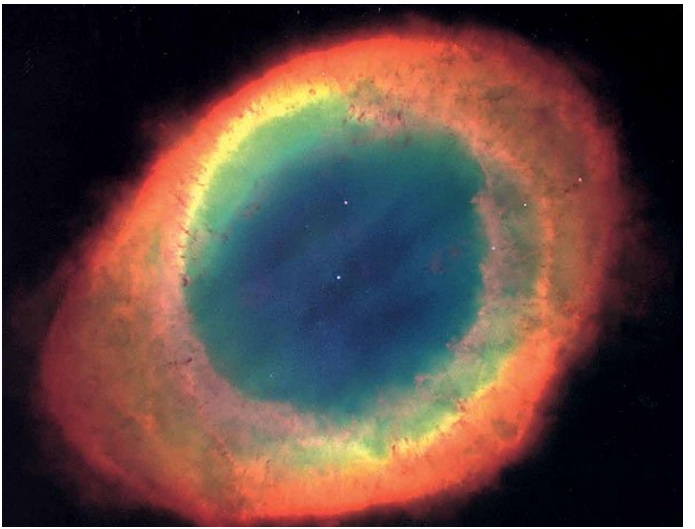
Если смотреть на мимоид сверху, то он напоминает город, но это лишь иллюзия, вызванная поисками хоть какой-то аналогии. Когда небо безоблачно, все многоэтажные выросты и частоколы на их вершинах окружает слой нагретого воздуха, отчего формы, которые и так трудно определить, колеблются и расплываются. Первое же облачко в небесной лазури (я говорю так по привычке: «лазурь» во время красного дня — рыжая, а во время голубого — ослепительно белая) встречает немедленный отклик. Начинается бурное почкование. Вверх устремляется почти полностью отделившаяся от основания, тягучая, гроздевидная оболочка, она сразу же блекнет и спустя несколько минут делается необыкновенно похожей на кучевое облако. Гигантский объект отбрасывает красноватую тень, одни вершины мимоида как бы передают его другим в направ-

лении, противоположном движению настоящей тучи. По-моему, Гизе дал бы себе отрубить руку, чтобы узнать хоть одно: отчего так происходит. Но такие «одиночные» порождения мимоида — ничто по сравнению с бурной деятельностью, которую он развивает, будучи «раздражен» наличием предметов и форм, появляющихся над ним по вине пришельцев с Земли.

Мимоид воспроизводит буквально все, что находится на расстоянии, не превышающем восьми-девяти миль. Обычно мимоид, воспроизводя, увеличивает, а иногда искажает формы, образуя карикатуры или забавные упрощения, особенно если он «имеет дело» с машинами. Разумеется, материалом служит всегда одна и та же быстро блекнущая масса, которая, будучи выброшена в воздух, не падает обратно, а повисает, соединенная легко рвущимися пуповинами с основанием; по основанию она и ползет, то сжимаясь, то набухая или раздуваясь, при этом незаметно появляются невообразимо сложные узоры. Летательный аппарат, решетчатая ферма или мачта воспроизводятся с одинаковой стремительностью; мимоид не реагирует только на людей, а точнее на живые организмы, в том числе и на растения — в экспериментальных

целях неутомимые исследователи и растения доставили на планету Солярис. Зато объемное изображение — например, человека, собаки или дерева, — сделанное из любого материала, копируется немедленно.

И тут, к сожалению, нужно добавить, что столь исключительная на Солярисе «покорность» мимоида экспериментаторам наблюдается не всегда. У самого зрелого мимоида бывают «ленивые дни», когда он только очень медленно пульсирует. Поскольку каждая фаза «пульса» продолжается более двух часов, пульсация на глаз незаметна. Открыть ее удалось лишь благодаря специальной киносъемке.



В такое время мимоид, особенно старый, может быть использован для пеших прогулок: и плавающий в Океане диск, и поднявшиеся из него выросты — надежная опора для пешеходов.

Можно, конечно, находиться на мимоиде и в его «рабочие» дни, но тогда видимость близка к

нулю, так как из пузырчатых ответвлений копирующей оболочки все время сыплется пушистая, беловатая, как мелкий снег, коллоидная взвесь. Впрочем, вблизи воспроизведенные формы невозможно охватить взглядом: по величине они подобны земным горам. К тому же нижняя часть «работающего» мимоида становится вязкой из-за слизистого дождя, лишь через несколько часов слизь застывает и превращается в твердую корку, во много раз легче пемзы. И наконец, без соответствующего снаряжения нетрудно заблудиться в лабиринте пузатых отростков, напоминающих не то сжимающиеся и растягивающиеся колонны, не то полужидкие гейзеры. Заблудиться легко даже при солнечном свете, его лучи не могут пробить пелену, беспрестанно выбрасываемую в атмосферу «имитирующими взрывами».

Наблюдения за мимоидом в его счастливые дни (точнее говоря, в дни, счастливые для исследователя, находящегося над мимоидом) могут оставить неизгладимые впечатления. У мимоида бывает свой «творческий подъем», когда он выдает невиданную сверхпродукцию. Он то копирует внешние формы, то их усложняет или создает их «формальное продолжение» — и так может развлекаться часами, на радость худож-

нику-абстракционисту и к полному отчаянию ученого, который напрасно пытается понять хоть что-нибудь из происходящего. Временами в деятельности мимоида проявляются черты прямо-таки детского примитивизма, порой он впадает в «стиль барокко», тогда на всем, что им порождено, лежит отпечаток неуклюжего величия. Старые мимоиды нередко фабрикуют невероятно смешные формы. Правда, я никогда над ними не смеялся — таинственное зрелище слишком сильно поражало меня. Разумеется, в первые годы исследований все так и набросились на мимоиды. Их приняли за центры солярийского Океана, полагая, что именно тут произойдет долгожданный контакт двух разумов. Однако очень быстро выяснилось: ни о каком контакте не может быть и речи — все начинается с воспроизведения форм и кончается тем же.

Антропоморфизм (или зооморфизм) вновь и вновь проглядывал в отчаянных поисках исследователей, они усматривали в различных видоизменениях живого Океана то «органы чувств», то даже «конечности»; какое-то время ученые (например, Мартене и Экконаи) принимали за «конечности» «хребетники» и «мелькальцы». Но эти протуберанцы живого Океана, вздымающие-

ся иногда на две мили в атмосферу, так же можно назвать «конечностями», как землетрясение — «гимнастикой» земной коры.

Насчитывается около трехсот форм, повторяющихся с относительным постоянством и порождаемых живым Океаном сравнительно часто. За сутки можно обнаружить несколько десятков или сотен их на поверхности. Самые «нечеловеческие», то есть абсолютно не похожие ни на что земное, формы, по утверждению школы Гизе, — это симметриады. Уже было хорошо известно, что Океан не агрессивен и погибнуть в плазматических глубинах может только очень неосторожный или беззаботный человек (конечно, не считая несчастных случаев, вызванных повреждением кислородного аппарата или кондиционера). Даже цилиндрические реки «долгунов» или чудовищные столбы «хребетников», бессмысленно раскачивающихся среди туч, можно насквозь пробить любым летательным аппаратом безо всякой опасности — плазма уступает дорогу, раздвигаясь перед инородным телом, стремительно, со скоростью звука в солярийской атмосфере, открывая, если ее к этому вынудить, глубокие тоннели даже в толще Океана. С этой целью мгновенно затрачивается гигантская энер-

гия (порядка 10^{18} эрг, по подсчетам Скрябина). И все-таки, начиная исследовать симметриады, ученые соблюдали чрезвычайную осторожность, то и дело отступая, придумывая все новые и новые меры безопасности (нередко лишь мнимые), а имена тех, кто первым отправился в бездны симметриад, известны на Земле даже детям.

Хотя от этих исполинов могут сниться кошмары, самое страшное в симметриадах вовсе не их вид. Ужас наводит скорее то, что в границах симметриад нет ничего постоянного и определенного, там не действуют даже физические законы. Именно исследователи симметриад настойчивее всех утверждали, что живой Океан разумен.

Симметриады возникают внезапно. Их порождает нечто вроде извержения. Приблизительно за час до рождения симметриады Океан начинает ослепительно блестеть, словно стекленея, на площади нескольких десятков квадратных километров. Но ни плавность, ни ритм волнообразования не меняются. Иногда симметриада возникает там, где была воронка после ушедшего в глубину «мелькальца», но так бывает далеко не всегда. Приблизительно через час стекловидная оболочка вздувается чудовищным пузырем, в котором отражаются небосклон, солнце, тучи,

горизонт. Пузырь переливается всеми цветами радуги, игра красок напоминает вспышки молний — такого больше нигде не увидишь!

Самые сильные световые эффекты дают симметриады, возникающие во время голубого дня или перед самым заходом солнца. Тогда кажется, что из недр одной планеты рождается вторая, с каждым мгновением удваивающая свой объем. Пылающий ослепительным блеском шар, едва поднявшись из глубины, лопается, расщепляясь в верхней части на вертикальные секторы, но не распадается. Эта стадия, не совсем удачно названная «фазой цветочной чашечки», длится несколько секунд. Устремленные к небу перепончатые дуги поворачиваются, срастаются в невидимом чреве и молниеносно образуют нечто вроде коренастого торса, внутри которого происходят сотни явлений одновременно. В самом центре (впервые его исследовала экспедиция Гамалеи в составе семидесяти человек) складывается из гигантских поликристаллов осевой несущий стержень. Его называют иногда «позвоночником» (этот термин мне не кажется удачным). Головокружительные переплетения центральной опоры поддерживаются в момент образования бьющими из километровых прова-

лов вертикальными столбами жидкого, почти водянистого студня. При этом исполин производит глухой, протяжный гул, а вокруг вздымается вал бешено плещущей, снежной, крупноячеистой пены. Потом начинается необычайно сложное вращение (от центра к внешним границам) утолщенных плоскостей, на них наслаиваются поднимающиеся из глубины отложения тягучей массы, одновременно гейзеры, о которых я только что говорил, застывают, густея, и превращаются в подвижные, похожие на щупальца, колонны, пучки их устремляются в совершенно определенные места, повинуясь динамике всего сооружения, и теперь напоминают вздымающиеся до небес жабры гигантского зародыша, растущего с невероятной быстротой; в «жабрах» струится розовая кровь и темно-зеленая, почти черная, вода. С этого момента симметриады начинают проявлять свое самое необыкновенное свойство — способность преобразовывать или даже приостанавливать действие некоторых физических законов. Отметим прежде всего, что нет двух одинаковых симметриад, и геометрия каждой из них — новое «изобретение» живого Океана. Далее — симметриада производит внутри себя то, что часто называют «машинами

мгновенного действия», хотя эти образования ничуть не похожи на наши машины (имеется в виду довольно узкая, а тем самым как бы «механическая» направленность действия).

Когда бьющие из бездны гейзеры застынут или вздуются, став толстыми стенами галерей и коридоров, идущих во всех направлениях, а «пленки» образуют систему пересекающихся плоскостей, навесов, сводов, симметриада начинает оправдывать свое название: каждому хитросплетению пролетов, ходов и склонов у одного полюса соответствует точно такое же хитросплетение у противоположного.

Минут через двадцать-тридцать гигант начинает медленно погружаться, иногда отклоняясь от вертикальной оси на восемь-двенадцать градусов. Бывают симметриады большие и малые, но даже «карлики» вздымаются метров на восемьсот над уровнем Океана и видны на расстоянии доброго десятка миль. Безопаснее всего пробираться внутрь симметриады сразу же, как только прекратится погружение и восстановится равновесие, а ось симметриады вновь совпадет с вертикалью. Удобнее всего — область чуть пониже вершины. Довольно гладкую полярную «шапку» окружает там пояс, изрешеченный устьями внутренних

камер и проходов. В целом симметриада представляет собой пространственное воплощение некоего необычайно сложного уравнения.

Как известно, каждое уравнение можно выразить геометрическим языком, построив соответствующую этому уравнению пространственную фигуру. В таком понимании симметриада родственна плоскости Лобачевского и отрицательной Римановой кривизне. Но родство это — весьма дальнее из-за неописуемой сложности симметриады. Симметриада представляет собой занимающее несколько кубических миль воплощение целой математической системы, причем воплощение четырехмерное; само время претерпевает изменения в симметриадах.

Проще всего, конечно, предположить, что перед нами не что иное, как «математическая машина» живого Океана, модель расчетов, необходимых ему в каких-то неведомых нам целях, но эту гипотезу Фермона сегодня уже никто не поддерживает. Она весьма соблазнительна, но представление о том, что с помощью таких титанических извержений, где каждая частица подчинена непрерывно усложняющимся формулам математического анализа, живой Океан задается вопросами материи, космоса, бы-

тия, просуществовало недолго. Слишком много явлений, происходящих в симметриаде, противоречит такой простой, в сущности (и даже детски наивной, по словам некоторых), интерпретации.

Были попытки найти какую-нибудь доступную наглядную аналогию. Достаточно популярно объяснение Аверяна, предложившего такое сравнение: представим себе древнейшее земное сооружение времен расцвета Вавилона, воздвигнутое из живого, возбудимого, развивающегося вещества; архитектоника его плавно проходит ряд переходных фаз, принимая у нас на глазах формы греческой и романской архитектуры, затем колонны становятся тонкими, как стебель, свод делается совершенно невесомым, устремляется вверх, арки превращаются в крутые параболы, потом заостряются, как в готике. Готика достигает совершенства, потом устаревает, ее строгость сменяется оргией пышных форм, на наших глазах расцветает причудливое барокко. Постепенно, переходя вместе с нашим живым сооружением от одного стиля к другому, мы придем к архитектуре космической эпохи. Представив себе все это, мы хоть чуть-чуть приблизимся к пониманию того, что такое симметриада.

Но такое сравнение, хотя его развивали и

обогащали, пытаясь даже проиллюстрировать специальными моделями и фильмом, в лучшем случае — доказательство нашего бессилия, в худшем — попытка уйти от проблемы, а может, просто ложь — ведь симметриада не похожа ни на что земное...

Человек может воспринять сразу совсем немногое; мы видим лишь то, что происходит перед нами, здесь, теперь; не в наших силах представить себе множество одновременно происходящих процессов, пусть даже взаимосвязанных и дополняющих друг друга. Это относится даже к сравнительно простым явлениям. История одного человека может иметь очень большое значение, историю нескольких сотен трудно проследить, а истории тысячи или миллиона не значат, в сущности, ничего. Симметриада — миллион или даже миллиард, возведенный в степень бесконечности, симметриада — сама невообразимость. Мы стоим в одном из ее закоулков — в удесятеренном пространстве Кронеккера, — словно муравьи, замершие на живом своде, перед нами — возносящиеся вверх плоскости, тускло мерцающие в лучах наших осветительных ракет, мы наблюдаем их взаимопроникновение, плавность и безупречное совершенство, и все это — лишь момент, ибо главное здесь движение, сосредоточенное и целенаправленное. Мы видим лишь отдельное колебание одной струны в симфоническом оркестре сверхгигантов и знаем — но только знаем, а не понимаем, — что одновременно над нами и под нами, в стрельчатых

безднах, за пределами зрения и воображения происходят тысячи и миллионы преобразований, связанных между собой, как ноты, математическим контрапунктом. Кто-то назвал симметриаду геометрической симфонией, но в таком случае нас надо назвать ее глухими слушателями.

Чтобы разглядеть здесь хоть что-нибудь, надо было бы отойти, отступить в неизмеримую даль, но ведь в симметриаде все — внутренность, размножение, лавины рождений, непрерывное формирование, причем то, что формируется, само формирует. Никакая мимоза не откликнется так чутко на прикосновение, как откликается отстоящая на много миль и на сотни ярусов от нас часть симметриады на перемены, происходящие в том месте, где мы стоим. Каждая существующая одно мгновение конструкция сама конструирует все остальные и дирижирует ими, а они в свою очередь воздействуют на нее. Да, это симфония, но такая, которая сама себя создает и сама себя заглушает.

Конец симметриады ужасен. Когда его видишь, кажется, что становишься свидетелем трагедии, а может, даже убийства. Спустя два-три часа — столько продолжается буйство разрастания, увеличения, самосоздания — живой Океан пере-

ходит в атаку: гладкая поверхность морщится, успокоившийся уже, покрытый засохшей пеной прибой закипает; от горизонта мчатся ряды концентрических волн, таких же мускулистых кратеров, как те, что сопровождают рождение мимоида, но на сей раз они неизмеримо больше. Погруженная часть симметриады вытесняется, колосс медленно поднимается вверх, словно извергаемый за пределы планеты, верхние слои Океана активизируются, взбираются все выше на боковые стены, застывают на них, замуровывают отверстия, но все это — ничто по сравнению с происходящим в глубине симметриады. Сначала формообразовательные процессы — само-создание и само-преобразование архитектоники — застывают ненадолго, а потом бешено ускоряются. Движения, до сих пор плавные, мерные, такие уверенные, словно им предстояло продолжаться веками, приобретают головокружительную быстроту. Возникает гнетущее впечатление, будто колосс перед лицом грозящей ему опасности стремится что-то успеть. Но чем быстрее происходят перемены, тем очевиднее делается ужасное, омерзительное перерождение самого материала и его динамики. Стрельчатые пересечения изумительно гибких плоскостей провисают,

становятся мягкими, дряблыми; появляются незаконченные, уродливые, искалеченные формы; из невидимых глубин доносится, нарастая, шум, рев, выбрасываемый в предсмертных муках воздух извлекает из гигантских глоток, пролетов и сводов, затянутых слизью, чудовищные стоны и хрипы; чувствуется, как вокруг все умирает, несмотря на головокружительное движение. Это движение — уничтожающее. И вот уже только ураган, воющий в бездонных колодцах, поддерживает, раздувая, исполинское сооружение; оно начинает оползать, таять, как охваченные пламенем соты; кое-где еще видны последние содрогания, беспомощный трепет; потом, беспрестанно атакуемый снаружи, подмытый волнами, исполин медленно опрокидывается и исчезает в таком же водовороте пены, из какого он родился.

И как это все объяснить? Вот именно — как объяснить?..

Помню, одна школьная экскурсия осматривала Институт соляристики в Адене. Я был тогда ассистентом Гибаряна. Через боковой зал библиотеки школьников провели в главное помещение, в основном занятое под хранилище микрофильмов. На пленках запечатлены незначительные фрагменты внутренности симметриад, давно

уже не существующих. А всего там — не отдельных кадров, а целых бобин с пленкой — свыше девяноста тысяч. И вот пухленькая девчушка лет пятнадцати, решительно и пытливо глядя сквозь очки, спросила:

— А зачем все это?..

Наступило неловкое молчание. Учительница строго посмотрела на своевольную ученицу, а мы, соляристы-экскурсоводы (я тоже был там), не смогли ответить.

Симметриады неповторимы, и, как правило, не повторяются происходящие в них процессы. Иногда воздух перестает проводить в них звук, порой увеличивается или уменьшается коэффициент преломления. В некоторых местах притяжение ритмично пульсирует, словно у симметриады начинает биться гравитационное сердце. Порой наши гирокомпасы просто безумствуют; в некоторых местах возникает и исчезает повышенная ионизация. Можно назвать еще многое. Впрочем, если даже загадка симметриад будет разрешена, останутся еще асимметриады…

Они возникают таким же образом, но конец у них — иной. В них ничего нельзя различить: все в них дрожит, пылает, мелькает. Мы знаем лишь одно: асимметриады — очаги процессов,

скорость которых лежит на грани физически возможных величин; иногда асимметриады называют «гигантскими квантовыми явлениями». Математическое сходство асимметриад с моделями определенных атомов столь непостоянно и мимолетно, что некоторые считают его второстепенным или даже случайным признаком. Асимметриады живут гораздо меньше, чем симметриады, — не более двадцати минут, а гибель их еще страшнее: вслед за ураганом, который с оглушительным грохотом наполняет и взрывает их, на месте асимметриад с немыслимой скоростью вздымается бурлящая, омерзительная жидкость. Клубясь под слоем грязной пены, она затопляет все, а затем происходит взрыв, похожий на извержение грязевого вулкана: он выбрасывает столб измочаленных останков, которые долго еще падают на неспокойную поверхность Океана. Ветер разносит эти куски, высохшие, желтоватые, плоские, напоминающие окостеневшие перепонки или пленчатые хрящи. Их можно потом найти на волнах за много десятков километров от очага взрыва.

Отдельную группу составляют образования, полностью отделяющиеся от живого Океана на более или менее длительное время. Они встре-

чаются значительно реже, и их гораздо труднее заметить. Когда впервые были обнаружены оставшиеся от них куски, ученые сочли, совершенно ошибочно, как выяснилось значительно позже, что это останки жителей океанских глубин. Иногда кажется: образования пытаются спастись бегством, как странные многокрылые птицы, от преследования «мелькальцев». Но это земное сравнение ничего не раскрывает. Временами — очень редко — на скалистых берегах островов можно заметить странные силуэты, похожие не то на тюленей, не то на пингвинов. Они стадами греются на солнце или лениво сползают в море, чтобы слиться с ним в одно целое.

Исследователи все никак не могли вырваться из заколдованного круга земных понятий, а первый контакт…

Экспедиции преодолели сотни километров в глубины симметриад, расставили регистрирующие приборы, автоматические кинокамеры; телепередатчики искусственных спутников фиксировали почкования мимоидов и «долгунов», их созревание и отмирание. Заполнялись библиотеки, росли архивы. За это не раз приходилось очень дорого платить. Семьсот восемнадцать человек погибло в катаклизмах, не успев вы-

браться из приговоренных к гибели гигантов, причем сто шесть — только в одной катастрофе, широко известной, — в ней погиб и сам Гизе, в то время уже семидесятилетний старик. Гибель, обычно свойственная асимметриадам, постигла образование, представлявшее собой четко выраженную симметриаду. Семьдесят девять человек в бронированных скафандрах, машины и приборы гигантский грязевой фонтан уничтожил в считанные секунды, сбив своими струями и двадцать семь пилотов, круживших на летательных аппаратах над местом исследований. Это место — на пересечении сорок второй параллели с восемьдесят девятым меридианом — отмечено на картах как «Извержение ста шести». Но только на картах — на поверхности Океана не осталось и следа.

Тогда впервые за всю историю соляристики раздались голоса, требовавшие нанести термоядерный удар. В сущности, это было бы безжалостнее всякой мести: хотели уничтожить то, чего не могли понять. Цанкен, заместитель начальника резервной группы Гизе (благодаря ошибке передающего автомата, неверно обозначившего координаты места исследований, он уцелел, заблудившись над Океаном, и прибыл на

место буквально через несколько минут после взрыва — подлетая, он еще увидел черный гриб), когда обсуждался вопрос, пригрозил взорвать Станцию вместе с собой и восемнадцатью оставшимися на ней. Хотя в официальных источниках не сказано, что самоубийственный ультиматум повлиял на результат голосования, вероятно, было именно так.

Но времена столь крупных экспедиций на планету давно миновали. Саму станцию создавали, наблюдая за ее строительством со спутников. Земля могла бы гордиться масштабами инженерного сооружения, если бы Океан не порождал за несколько секунд конструкции, превосходившие по величине станцию в миллионы раз. Станция представляет собой диск диаметров в двести метров, четырехъярусный в центре и двухъярусный по краям. Она парит на высоте от пятисот до тысячи пятисот метров над Океаном благодаря гравитаторам, работающим на энергии аннигиляции, и снабжена, кроме оборудования, какое обычно бывает на Станциях и больших сателлоидах, специальными радарными установками, готовыми при первом изменении океанской глади включить дополнительные мощности, и, как только появляются предвестники рождения

нового живообразования, стальной диск взмывает в стратосферу.

Теперь Станция почти безлюдна. С тех пор как роботы были заперты — по неизвестной мне причине — в нижних трюмах, можно кружить по коридорам, не встречая никого, как на дрейфующем корабле, машины которого пережили погибший экипаж.

Когда я поставил девятый том монографии Гизе на полку, мне показалось, что сталь, покрытая толстым слоем пористого пенопласта, задрожала у меня под ногами. Я насторожился, но вибрация больше не повторилась. Библиотека была прекрасно изолирована от всего корпуса, и вибрация могла возникнуть только по одной причине — со Станции стартовала ракета. Эта мысль вернула меня к действительности. Я еще не знал, полечу ли я, как того хотел Сарториус. Ведя себя так, словно я целиком разделяю его планы, я мог в лучшем случае оттянуть столкновение; я был почти уверен, что дело дойдет до стычки, поскольку решил сделать все, что в моих силах, чтоб спасти Хэри. Самое главное, есть ли у Сарториуса шансы на успех. У него было огромное преимущество — как физик он разбирался в этой проблеме в десять раз лучше меня; я мог, как это ни парадоксально,

рассчитывать лишь на безукоризненность решений, которые преподносил нам Океан.

Потом я час корпел над микрофильмами, пытаясь выловить что-нибудь разумное из моря проклятой математики, на языке которой говорила физика нейтринных процессов. Вначале мне казалось это безнадежным, тем более что неимоверно трудных теорий нейтринного поля было пять — явное доказательство их несовершенства. В конце концов, мне удалось найти кое-что обнадеживающее. Я выписывал формулы, когда в дверь постучали.

Я быстро подошел к двери и открыл ее, загораживая своим телом вход. Показалось блестевшее от пота лицо Снаута. В коридоре больше никого не было.

— А, это ты, — сказал я ему, широко распахивая дверь. — Входи.

— Да, это я, — ответил Снаут.

Голос у него охрип, глаза покраснели, под ними появились мешки. Снаут был в блестящем резиновом антирадиационном фартуке на эластичных подтяжках; из-под фартука виднелись грязные штанины брюк, в которых он всегда ходил. Его глаза, обежав круглый, залитый светом зал, остановились, когда он заметил в глубине

стоящую возле кресла Хэри. Мы быстро обменялись взглядами; я опустил веки; тогда Снаут поклонился, а я любезным тоном произнес:

— Это доктор Снаут, Хэри. Снаут, это… моя жена.

— Я… член экипажа… меня трудно встретить и поэтому… — Пауза опасно затянулась. — У меня не было возможности познакомиться…

Хэри улыбнулась и протянула ему руку он пожал ее, как мне показалось, несколько ошарашенный, поморгал и уставился на Хэри. Я положил руку на его плечо.

— Извините, — сказал Снаут, обращаясь к Хэри. — Я хотел бы поговорить с тобой, Кельвин…

— Пожалуйста, — ответил я с великосветской непринужденностью; все несколько напоминало фарс, но делать было нечего. — Хэри, дорогая, мы тебе не помешаем? Нам с доктором надо обсудить наши скучные дела.

Я за локоть подвел Снаута к маленьким креслам на противоположной стороне зала. Хэри уселась в кресло, на котором я только что сидел, подвинув его так, что, подняв голову от книги, могла нас видеть.

— Как дела? — тихо спросил я.

— Я развелся, — ответил он свистящим ше-

потом.

Если бы мне когда-нибудь рассказали эту историю, передали такое начало разговора, я рассмеялся бы, но на Станции мое чувство юмора атрофировалось.

— Кельвин, со вчерашнего дня я прожил несколько лет. И каких лет! А ты?

— Я — ничего… — помедлив, ответил я, не зная, что говорить.

Я хорошо относился к Снауту, но чувствовал, что сейчас надо остерегаться его, вернее, того, что он собирается сказать.

— Ничего? — переспросил Снаут. — Ах, даже так?

— Что ты имеешь в виду?

Я сделал вид, будто не понимаю его.

Снаут сощурил покрасневшие глаза и, наклонившись ко мне так близко, что я ощутил на своем лице его дыхание, зашептал:

— Мы завязли, Кельвин. С Сарториусом уж нельзя связаться. Я знаю только то, что написал тебе и что он мне сказал после нашей распрекрасной конференции…

— Он отключил видеофон? — спросил я.

— Нет, у него там короткое замыкание. Кажется, он сделал его нарочно, или… — Снаут взмахнул кулаком, будто разбивая что-то.

Я молча смотрел на него. Левый уголок губ приподнялся у него в неприятной усмешке.

— Кельвин, я пришел потому… — Он не договорил. — Что ты собираешься делать?

— Ты имеешь в виду то письмо? — медленно проговорил я. — Сделаю, не вижу причины отказываться, поэтому и сижу здесь, я хочу разобраться…

— Нет, — прервал он меня, — я не о том…

— О чем?.. — спросил я с наигранным удивлением. — Я слушаю.

— Сарториус, — буркнул он, — ему кажется, он нашел путь… знаешь…

Снаут не спускал с меня глаз. Я сидел спокойно, стараясь сохранять равнодушное выражение лица.

— Прежде всего, та история с рентгеном. То, что делал с ним Гибарян, ты помнишь. Возможна определенная модификация…

— Какая?

— В Океан посылали просто пучок лучей и модулировали только их мощность по определенным формулам.

— Да, я знаю об этом. Нилин уже так делал. И многие другие.

— Да, но они использовали мягкое излучение. А тут было жесткое, мы колошматили Океан, как могли, всей мощностью.

— Могут быть неприятности, — заметил я. — Нарушение Конвенции Четырех и ООН.

— Кельвин… Не притворяйся. Какое теперь это имеет значение? Гибаряна нет в живых.

— А, Сарториус хочет свалить все на него?

— Понятия не имею. Я с ним об этом не говорил. Неважно. Сарториус считает, если «гости» всегда появляются, когда мы просыпаемся, значит, океан выуживает из нас рецепт производства во время сна. Океан полагает, что самое важное наше состояние — сон, и именно поэтому так поступает. Сарториус хочет послать ему наши мысли, мысли наяву — понимаешь?

— Каким образом? По почте?

— Шутки ты пошлешь сам, отдельно. Этот пучок лучей будет модулироваться биотоками мозга одного из нас.

Наконец-то я кое-что понял.

— А, — сказал я. — Один из нас — это я! Да?

— Да. Он думал о тебе.

— От души благодарю.

— Что ты на это скажешь?

Я ничего не ответил. Снаут молча посмотрел сначала на поглощенную чтением Хэри, потом на меня. Я почувствовал, как бледнею, но не мог с собой справиться.

— Ну как?.. — спросил Снаут.

Я пожал плечами.

— Эти рентгеновские проповеди о совершенстве человека я считаю глупостью. И ты тоже. Может, не так?

— Так?..

— Так.

— Очень хорошо, — сказал Снаут и улыбнулся, будто я оправдал его ожидания. — Значит, ты против затеи Сарториуса?

Я еще не сообразил, каким образом, но он добился своего — я прочел это в его взгляде. Что я мог теперь сказать?

— Прекрасно, — произнес Снаут. — Но есть и второй проект. Перестроить аппарат Роша.

— Аннигилятор?..

— Да. Предварительные расчеты у Сарториуса уже готовы. Это реально. И даже не потребуется большой мощности. Установка может работать круглосуточно, неограниченное время, создавая антиполе.

— По… постой! Как это, по-твоему, будет выглядеть?

— Очень просто. Это будет нейтринное антиполе. Обыкновенная материя остается без изменения. Уничтожаются только… нейтринные системы. Понимаешь?

Снаут удовлетворенно улыбался. Я сидел оглу-

шенный. Он перестал улыбаться, испытующе смотрел на меня, наморщив лоб, и ждал.

— Первый проект — «Мысль» — отбрасываем. А второй? Сарториус им уже занимается. Проект назовем «Свобода».

Я на минуту закрыл глаза. Неожиданно пришло решение. Снаут — не физик. Сарториус выключил или разбил видеофон. Прекрасно!

— Я бы назвал проект «Бойня»... — медленно проговорил я.

— Не разыгрывай из себя святого. Теперь все будет иначе. Никаких «гостей», никаких образований Ф — ничего. В момент материализации наступает распад.

— Это недоразумение, — улыбнулся я, покачав головой; я надеялся, что моя улыбка выглядит естественно. — Снаут, это не угрызения совести, а только инстинкт самосохранения. Я не хочу умирать.

— Что?..

Снаут растерялся. Он подозрительно глядел на меня. Я достал из кармана помятый листочек с формулами.

— И я думал об этом. Ты удивлен? Ведь я первый выдвинул нейтринную гипотезу. Так? Посмотри. Антиполе можно возбудить. Для обыкновенной

материи оно не опасно. Это правда. Но в момент дестабилизации, когда нейтринная система распадается, освобождается избыточная энергия связи. Если на каждый килограмм покоящейся массы приходится 10^8 эрг, то на каждое образование Ф — от 5×10^8 до 7×10^8 эрг. Ты представляешь себе, что это такое? Небольшой урановый взрыв внутри Станции.

— Что ты говоришь? Но… но Сарториус должен это учитывать…

— Не обязательно, — возразил я с ехидной усмешкой. — Видишь ли, Сарториус принадлежит к школе Фрезера и Кайоллы. По их теории, вся энергия связи в момент распада освобождается в виде светового излучения. Это была бы просто очень яркая вспышка, может, не совсем безопасная, но не разрушительная. Существуют, однако, другие гипотезы, другие теории нейтринного поля. По Кайатту, по Авалову, по Сионе, диапазон излучения значительно шире, а максимум приходится на жесткое гамма-излучение. Хорошо, что Сарториус верит своим учителям и их теориям, но есть и другие теории, Снаут. Послушай, что я тебе скажу… — Я видел, что мои слова производят на него впечатление. — Надо принять во внимание и Океан. Если он сделал

то, что сделал, то, конечно, использовал оптимальный метод. Иначе говоря, его действия мне кажутся аргументами в пользу второй школы, а не в пользу Сарториуса.

— Дай мне твои записи, Кельвин…

Я протянул ему листок. Снаут наклонил голову, пытаясь прочитать мои каракули.

— Что это? — показал он пальцем.

Я взял у него листок.

Это? Тензор трансмутации поля.

— Дай мне листок…

— Зачем? — спросил я, зная, что он ответит.

— Я должен показать его Сарториусу.

— Как хочешь, — равнодушно ответил я. — Могу тебе дать. Только учти, экспериментально этого никто не проверял. Такие системы еще не были известны. Сарториус верит Фрезеру а я рассчитывал по Сионе. Я не физик, и Сиона тоже не физик. По крайней мере, с точки зрения Сарториуса. Но это вопрос дискуссионный. А я не жажду дискуссии, в результате которой я могу испариться во славу Сарториуса. Тебя я могу убедить, его — нет. И не буду стараться.

— Что ты хочешь сделать?.. Он работает над этим, — бесцветным голосом сообщил Снаут.

Он сгорбился, все его оживление исчезло. Я не

знал, доверяет ли он мне, но мне уже было все равно.

— То, что делает человек, когда его пытаются убить, — тихо ответил я.

— Я попробую связаться с ним. Может, он думает о каких-то мерах безопасности, — пробормотал Снаут. Он поднял на меня глаза. — Послушай, а если все же?.. Первый проект, а? Сарториус согласится. Безусловно. Во всяком… во всяком случае… какая-то возможность.

— Ты веришь?

— Нет, — сразу же ответил он. — Но… это ведь не помешает…

Мне не хотелось слишком быстро соглашаться, чтобы не показать, как важно для меня, что Снаут становится моим союзником. Теперь мы могли вместе затягивать дело.

— Надо подумать, — сказал я.

= Я пойду, — буркнул Снаут, вставая.

У него хрустнули суставы, когда он поднимался с кресла.

— Так ты позволишь снять с себя энцефалограмму? — спросил Снаут, вытирая пальцами фартук, словно пытался стереть невидимое пятно.

— Хорошо, — ответил я.

Не обращая внимания на Хэри (она наблюдала

за этой сценой молча, держа книгу на коленях), Снаут подошел к двери. Когда она закрылась за ним, я встал. Я расправил листок, который держал в руке. Формулы были настоящие, я их не подделал. Не знаю только, признал ли бы Сиона правильными мои выводы. Вероятно, нет. Я вздрогнул. Хэри подошла ко мне сзади и коснулась моего плеча.

— Крис!

— Что, дорогая?

— Кто это был?

— Я говорил тебе. Доктор Снаут.

— Что он за человек?

— Я плохо его знаю. Почему ты спрашиваешь?

— Он так смотрел на меня…

— Вероятно, ты ему понравилась.

— Нет, — покачала она головой. — Он смотрел на меня иначе. Так… словно…

Ей было явно не по себе. Она подняла на меня глаза и тут же опустила их.

— Идем отсюда куда-нибудь…

Жидкий кислород

Я лежал в темной комнате, тупо уставившись в светящийся циферблат на запястье. Сколько это тянулось, не знаю. Я прислушивался к собственному дыханию и чему-то удивлялся. Состояние странного безучастия я приписывал усталости. Я повернулся на бок, койка была необычно широкой, мне чего-то не хватало. Я затаил дыхание. Наступила полная тишина. Я замер. Ни малейшего шороха. Хэри? Почему я не слышу ее дыхания? Я провел руками по постели. Хэри не было.

«Хэри», — хотел позвать я, но услышал шаги.

Кто-то шел, высокий и грузный, как…

— Гибарян? — спокойно спросил я.

— Да, это я. Не зажигай света.

— Не зажигать?

— Не надо. Так будет лучше для нас обоих.

— Но ведь тебя нет в живых?

— Это не важно. Ты узнаешь мой голос?

— Да. Почему ты это сделал?

— Так было нужно. Ты опоздал на четыре дня. И если бы ты прилетел раньше, может быть, в этом не было бы никакой необходимости. Не мучайся угрызениями совести. Мне совсем неплохо.

— Ты действительно здесь?

— А ты думаешь, что видишь меня во сне, раз подумал о Хэри?

— Где она?

— Откуда ты взял, что я знаю?

— Я догадался.

— Не стоит говорить об этом. Допустим, что я здесь вместо нее.

— Но я хочу, чтобы она тоже была.

— Это невозможно.

— Почему? Послушай, ты ведь знаешь, что на самом деле это не ты, а я?

— Нет, это на самом деле я. Точнее — я, повторенный еще раз. Но мы попусту тратим время.

— Ты уйдешь?

— Да.

— И тогда она вернется?

— Для тебя это важно? Она для тебя много значит?

— Это мое дело.

— Ты же боишься ее.

— Нет.

— И брезгуешь…

— Что тебе надо от меня?

— Жалеть нужно себя, а не ее. Ей всегда будет двадцать лет, не притворяйся, будто ты не зна-

ешь об этом!

Неожиданно я успокоился. Я слушал Гибаряна без волнения. Мне показалось, что он стоит теперь ближе, в ногах, но я по-прежнему ничего не видел в темноте.

— Что же тебе нужно? — спросил я тихо.

Мой тон, пожалуй, удивил его. Он помолчал.

— Сарториус объяснил Снауту, что ты обманул его. Теперь они тебя обманут. Под видом монтажа рентгеновской установки они строят аннигилятор поля.

— Где она? — спросил я.

— Ты что, не слышишь, что я сейчас сказал? Я ведь предупредил тебя!

— Где она?

— Не знаю. Учти: тебе понадобится оружие. Рассчитывать тебе не на кого.

— Я могу рассчитывать на Хэри, — произнес я.

Раздался тихий смешок Гибаряна.

— Конечно, можешь. До известного предела. В конце концов, ты всегда можешь поступить, как я.

— Ты не Гибарян.

— Извини. А кто же? Может, твое сновидение?

— Нет. Ты кукла. Но ты об этом не знаешь.

— А ты знаешь, кто ты?

Его слова меня озадачили. Я хотел встать, но не смог. Гибарян что-то говорил. Я не разбирал слов, слышал только звук его голоса, отчаянно боролся со слабостью, еще раз рванулся изо всех сил и… проснулся. Я ловил ртом воздух, как рыба на песке. Было очень темно. Это сон. Кошмар. Минутку… «… дилемма, которую мы не сможем разрешить. Мы преследуем самих себя. Политерии применили только подобие избирательного усилителя наших мыслей. Поиски мотивов этого явления — антропоморфизм. Где нет человека, там нет доступных для него мотивов. Чтобы продолжать план исследования, необходимо уничтожить либо собственные мысли, либо их материальную реализацию. Первое — не в наших силах. Второе слишком напоминает убийство».

В темноте я прислушивался к размеренному далекому голосу, интонацию которого я сразу узнал. Говорил Гибарян… Я протянул руки. На постели никого не было.

Мне снится, что я проснулся, подумал я.

— Гибарян?.. — позвал я.

Голос оборвался тут же на полуслове. Что-то щелкнуло, и я ощутил на лице слабое дуновение.

— Ну что же ты, Гибарян, — пробурчал я зевая. — Преследовать в одном сне, в другом — это

уже слишком…

Что-то прошуршало возле меня.

— Гибарян! — повторил я громче.

Пружины койки дрогнули.

— Крис… это я, — раздался шепот возле меня.

— Это ты, Хэри… а Гибарян?

— Крис, Крис… ведь его нет… ты сам говорил, что его нет в живых…

— Во сне все может быть, — сказал я медленно. Теперь я не был уверен, что видел сон. — Он говорил что-то, был здесь, — произнес я.

Мне ужасно хотелось спать. Если так хочется спать, то я сплю, мелькнула дурацкая мысль. Я коснулся губами холодного плеча Хэри и улегся поудобнее. Она что-то ответила мне, но я уже погрузился в забытье.

Утром в залитой красным светом комнате я вспомнил, что произошло ночью. Разговор с Гибаряном приснился мне, а что было потом? Я слышал его голос, в этом я мог бы поклясться, но точно не помню, о чем он говорил. Вернее, не говорил, а читал лекцию. Лекцию?..

Хэри купалась. Слышен был шум воды в душевой. Я заглянул под койку, куда несколько дней назад закинул магнитофон. Его там не было.

— Хэри! — крикнул я.

Ее лицо, залитое водой, показалось из-за шкафа.

— Хэри, ты не видела под койкой магнитофон? Маленький, карманный…

— Там лежало много вещей. Я все сложила туда. — Она показала на полку с лекарствами у аптечки и исчезла в душевой.

Я вскочил с койки и пошарил там, но ничего не нашел.

— Ты не могла его не заметить, — сказал я, когда Хэри вернулась в комнату.

Она молча причесывалась перед зеркалом. Только теперь я заметил, какая она бледная. Ее глаза в зеркале смотрели на меня настороженно.

— Хэри, — упрямо как осел начал я снова, — магнитофона на полке нет.

— Тебе больше нечего мне сказать?..

— Прости, — буркнул я, — ты права, это глупости… не хватало еще, чтобы мы стали ссориться!

Потом мы пошли завтракать. Хэри делала все не так, как обычно, но я не мог уловить, в чем разница. Она присматривалась ко всему, порой не слыша, что я ей говорю, поглощенная своими мыслями. Я заметил, что глаза у нее блестят.

— Что с тобой? — шепотом спросил я. — Ты плачешь?

— Ох, оставь меня в покое. Это ненастоящие слезы, — прошептала Хэри.

Вероятно, надо было выяснить все до конца, но я больше всего на свете боюсь «откровенных разговоров». Меня занимало совсем другое. Хотя я и знал, что интриги Снаута и Сарториуса мне только приснились, я начал размышлять, есть ли вообще на Станции какое-нибудь удобное оружие. Зачем оно мне, я не думал — просто хотелось его найти. Я сказал Хэри, что должен пойти в трюм и на склады. Она молча пошла со

мной. Я рылся в ящиках, обшаривал контейнеры, а когда спустился в самый низ, не смог побороть желания заглянуть в холодную камеру. Мне не хотелось, однако, чтобы Хэри входила туда, поэтому я только приоткрыл дверь и обвел глазами все помещение. Под темным покровом по-прежнему вырисовывались очертания трупа, но с того места, где я стоял, нельзя было рассмотреть, лежит ли еще там чернокожая. Мне показалось, что ее нет.

Я продолжал бродить, так и не обнаружив ничего, что подошло бы мне. Настроение мое все больше и больше портилось. Неожиданно я заметил, что рядом со мной нет Хэри. Впрочем, она тут же пришла — задержалась в коридоре, но уже одно то, что Хэри пыталась отдалиться от меня — а ей стоило такого труда оставить меня хоть на секунду, — должно было насторожить меня. Я по-прежнему разыгрывал из себя обиженного, вел себя самым дурацким образом. У меня разболелась голова, я не мог найти никаких порошков и злой, как сто чертей, перевернул вверх дном всю аптечку. В операционную идти не хотелось, и вообще у меня ничего не клеилось. Хэри как тень все бродила по комнате, иногда на время исчезала. После полудня, когда мы уже пообедали

(впрочем, она вообще не ела, а я ел без аппетита — у меня так разламывалась голова, что я даже не пытался заставить ее поесть), Хэри вдруг села возле меня и принялась теребить мой рукав.

— Ну что там еще, — пробурчал я неохотно.

Мне хотелось пойти наверх; по трубам доносился слабый отголосок стука — видимо, Сарториус возился с аппаратурой высокого напряжения. Но при мысли, что придется взять с собой Хэри, у меня тотчас пропало всякое желание идти. Присутствие Хэри в библиотеке еще как-то объяснимо, но там, среди машин, оно может дать Снауту повод для неуместного замечания.

— Крис, — прошептала Хэри, — а как у нас с тобой?..

Я невольно вздохнул. Нельзя сказать, чтобы это был счастливый день.

— Все прекрасно. А в чем дело?

— Я хочу с тобой поговорить.

— Пожалуйста. Я слушаю.

— Только не так.

— А как? Ты же видишь, у меня дел полно…

— Было бы желание, Крис.

Я выдавил жалкую улыбку.

— Хорошо, дорогая, говори.

— А ты скажешь мне правду?

Я поднял брови. Такое начало мне не нравилось.

— Зачем мне тебя обманывать?

— У тебя могут быть причины. Серьезные. Но если хочешь… чтобы… ну видишь ли… тогда не обманывай меня.

Я промолчал.

— Я тебе что-то скажу, и ты мне скажи. Хорошо? Всю правду.

Несмотря ни на что, я не глядел ей в глаза, она ловила мой взгляд, но я сделал вид, что этого не замечаю.

— Я уже говорила тебе. Я не знаю, откуда я здесь появилась. Но может, ты знаешь. Подожди, дай договорить. Может, и ты не знаешь. А если знаешь и не можешь мне теперь сказать, то… потом… когда-нибудь? Это не самое страшное. Во всяком случае, останется хоть какая-то возможность…

Мне стало холодно.

— Маленькая моя, что ты говоришь? Какая еще возможность? — бормотал я.

— Крис, кем бы я ни была, я не маленькая. Ты мне обещал. Скажи.

От ее слов «кем бы я ни была» я онемел и мог только глядеть на нее, бессмысленно качая головой, словно защищаясь от того, что мне еще

предстояло услышать.

— Послушай, ведь не обязательно говорить сейчас, скажи просто, что не можешь…

— Я ничего не скрываю… — ответил я охрипшим голосом.

— Ну и прекрасно.

Хэри встала. Я хотел что-нибудь сказать. Я чувствовал, что нельзя так заканчивать разговор, но слова застревали в горле.

— Хэри…

Она стояла у окна, спиной ко мне. Темно-синий, пустой Океан распростерся под голым небом.

— Хэри, если ты думаешь, что… Хэри, ведь ты же знаешь, я люблю тебя…

— Меня?

Я подошел к ней. Хотел обнять. Она оттолкнула мою руку.

— Ты такой добрый… — сказал она. — Любишь? Лучше бы ты меня бил!

— Хэри, дорогая!

— Нет! Нет! Замолчи, пожалуйста!

Хэри подошла к столу и стала собирать тарелки. Я глядел в темно-синюю пустоту. Солнце заходило, и огромная тень Станции равномерно покачивалась на волнах. Тарелка выскользнула из рук Хэри и упала на пол. Вода булькала в рако-

вине. Рыжий цвет переходил по краям небосвода в золотисто-бурый. Если бы я знал, что делать. Если бы я знал! Наступила тишина. Хэри стояла за моей спиной.

— Нет. Не смотри на меня, — сказала Хэри, понижая голос до шепота. — Ты ни в чем не виноват, Крис. Я знаю. Не расстраивайся.

Я протянул к ней руку. Хэри убежала в глубь кабины и, поднимая стопку тарелок, сказала:

— Жаль. Если бы их можно было разбить, ох, расколотила бы я, расколотила бы все сразу!!!

Я думал, что она действительно швырнет их на пол, но Хэри, посмотрев на меня, улыбнулась.

— Не бойся, сцен устраивать не буду.

Я проснулся среди ночи и сразу настороженно сел на койке. В комнате было темно; из коридора через приоткрытую дверь проникал слабый свет. Что-то пронзительно шипело, звук этот все нарастал, сопровождаемый глухими ударами, словно что-то большое отчаянно билось за стеной. «Метеор! — пронеслось у меня в голове. — Пробил обшивку. Кто-то остался там!»

Долгий хрип.

Я окончательно проснулся. Я же на Станции, не на ракете, а этот ужасный звук…

Я выскочил в коридор. Дверь малой лабора-

тории была открыта настежь, там горел свет; я вбежал туда.

Меня обдало невыносимым холодом. Кабину наполнял пар, от которого замерзало дыхание. Множество белых снежинок кружилось над телом, завернутым в купальный халат, оно слабо билось об пол. В этом холодном тумане я едва различал Хэри, я бросился к ней, поднял ее, холод обжигал руки, Хэри хрипела; я побежал по коридору мимо дверей, уже не чувствуя холода, пар, вырывавшийся из ее губ, огнем жег мне плечо.

Я уложил Хэри на стол, разорвал на груди халат, взглянул на ее обледеневшее дергающееся лицо: кровь замерзла во рту, черным налетом запеклась на приоткрытых губах, на языке блестели кристаллики льда…

Жидкий кислород. В лаборатории был жидкий кислород, в сосудах Дьюара. Когда я поднимал Хэри, у меня под руками хрустнуло стекло. Сколько она могла выпить? Все равно сожжена трахея, гортань, легкие; жидкий кислород сильнее концентрированной кислоты. Ее скрипучее, сухое, как звук разрываемой бумаги, дыхание замирало. Глаза были закрыты. Агония.

Я посмотрел на огромные застекленные шкафы с лекарствами и инструментами. Трахеотомия?

Интубация? Но ведь уже нет легких! Они сожжены. Лекарство? Столько лекарств! Полки заставлены рядами цветных бутылей, коробок. Хрип заполнял все помещение, из открытого рта Хэри поднимался пар.

Грелки…

Я принялся искать их, кинулся к одному шкафу, к другому, выбрасывал коробочки с ампулами. Шприц? Где? В стерилизаторе? Я не мог собрать шприц — руки замерзли, пальцы одеревенели, не гнулись. Я в бешенстве бил рукой о крышку стерилизатора, ничего не чувствуя. Хрип стал громче. Я бросился к Хэри. Глаза у нее были открыты.

— Хэри!

Голос у меня пропал, губы не слушались.

Ребра ходили ходуном под белой кожей, волосы, влажные от тающего снега, рассыпались. Хэри смотрела на меня.

— Хэри!

Я больше ничего не мог произнести. Я стоял как чурбан, опустив непослушные, окостеневшие руки; ноги, губы, веки начали у меня гореть все сильней. Но я почти не ощущал этого. Капля растаявшей в тепле крови стекала по щеке Хэри, рисуя косую черту; язык задрожал и исчез, Хэри

все еще хрипела.

Я взял ее за запястья — пульс не прощупывался; раздвинув полы халата, я приложил ухо к пронзительно холодному телу около груди. Сквозь шум, напоминавший треск огня, я услышал лихорадочный стук, бешеные удары, такие быстрые, что их нельзя было сосчитать. Я стоял низко наклонившись, с закрытыми глазами. Что-то коснулось моей головы. Хэри дотронулась пальцами до моих волос. Я заглянул в ее глаза.

— Крис, — прохрипела Хэри.

Я схватил ее за руку, Хэри ответила пожатием, которое чуть не раздробило мне кисть. Ужасная гримаса застыла на ее лице, между век сверкали белки, в горле захрипело, тело содрогалось от рвоты. Я едва смог удержать Хэри; она сползала со стола, билась головой о край фаянсовой воронки. Я поддерживал ее, прижимал к столу; после каждой спазмы Хэри вырывалась у меня из рук. Я моментально вспотел, ноги стали ватными. Когда приступы рвоты сделались реже, я попытался положить Хэри. Воздух свистел у нее в груди. Неожиданно на этом страшном окровавленном лице засветились глаза.

— Крис, — захрипела она, — долго… долго ли, Крис?

Она стала задыхаться, пена выступала на губах, снова началась рвота. Я держал ее из последних сил. Хэри так резко упала навзничь, что у нее даже зубы застучали. Она тяжело дышала.

— Нет, нет, нет, — быстро выдыхала она, и каждый выдох казался последним.

Рвота продолжалась; Хэри снова заметалась в моих руках, в короткие перерывы между приступами она втягивала воздух с таким трудом, что проступали ребра. Потом веки наполовину закрыли ее невидящие глаза. Хэри больше не шевелилась. Я решил, что это конец. Даже не пытаясь стереть с ее губ розовую пену, я стоял, склонившись над ней, слыша далекий звон огромного колокола, и ждал ее последнего вздоха, чтобы потом рухнуть на пол, но Хэри дышала уже почти без хрипов, дышала все спокойнее и спокойнее, грудь ее уже не вздрагивала, сердце стучало ровнее. Я стоял сгорбившись. Лицо Хэри начинало розоветь. Я еще ничего не понимал. Ладони у меня вспотели, мне казалось, что я глохну: чем-то мягким, эластичным были забиты уши, однако я еще слышал частый звон, теперь глухой, словно колокол треснул.

Хэри подняла веки, и наши взгляды встретились.

«Хэри», — хотел сказать я, но не смог пошевелить губами, словно на лице у меня была мертвая, тяжелая маска; я мог только смотреть.

Ее глаза оглядели комнату, она повернула голову. Было очень тихо. За мной, в каком-то другом, далеком мире, капала вода из плохо закрытого крана. Хэри приподнялась на локтях. Села. Я попятился. Хэри следила за мной.

— Что? — сказала она. — Что?.. Не… удалось? Почему?.. Почему ты так смотришь?.. — И вдруг она страшно закричала: — Почему ты так смотришь?!!

В наступившей тишине она оглядела свои руки, пошевелила пальцами.

— Это я?..

— Хэри, — произнес я без звука, одними губами.

Хэри подняла голову.

— Хэри?.. — повторила она.

Хэри медленно сползла на пол и встала. Покачнулась, но удержалась на ногах. И сделала несколько шагов. Все это она проделала как загипнотизированная, глядя на меня невидящими глазами.

— Хэри? — медленно повторила она еще раз. — Но… я… не Хэри. Кто я?.. Хэри? А ты, ты?! — неожи-

данно ее глаза расширились, засветились, слабая изумленная улыбка озарила ее лицо. — Может, ты тоже? Крис! Может, ты тоже?!

От страха я прижался спиной к шкафу и молча стоял там. Руки у Хэри опустились.

— Нет, — сказала она. — Нет, ведь ты боишься. Ну послушай, я ведь не могу. Нельзя так. Я ничего не знала. Я и теперь по-прежнему ничего не понимаю. Ведь это немыслимо? Я, — она прижала к груди стиснутые побелевшие руки, — ничего не знаю, ничего, я знаю только одно: я — Хэри! Ты думаешь, я притворяюсь? Нет, не притворяюсь, честное святое слово, не притворяюсь.

Последние слова прозвучали как стон. Хэри, плача, упала на пол. Этот крик сломил во мне что-то, одним прыжком я подскочил к ней, схватил за плечи, Хэри сопротивлялась, отталкивала меня, рыдая без слез, кричала:

— Отпусти! Отпусти! Я тебе противна! Я знаю! Я не хочу так! Не хочу! Ведь знаешь, ты сам знаешь, что это не я, не я…

— Замолчи! — кричал я, тряся ее.

Мы оба кричали как сумасшедшие, стоя друг перед другом на коленях. Голова Хэри билась о мое плечо. Я изо всех сил прижимал Хэри к себе. Вдруг мы затихли, тяжело дыша. Вода равномер-

но капала из крана.

— Крис… — бормотала Хэри, уткнувшись в мое плечо, — скажи, что я должна сделать, чтобы меня не стало, Крис…

— Перестань! — прикрикнул я.

Хэри подняла голову, внимательно посмотрела на меня.

— Как?.. Ты тоже не знаешь? Нельзя ничего сделать? Ничего?

— Хэри… пожалей меня…

— Я хотела… Ты же видел… Нет. Нет. Отпусти, я

не хочу… Не прикасайся ко мне! Тебе противно!

— Неправда!

— Ложь! Противно! Мне… мне… самой… тоже. Если бы я могла. Если бы я только могла…

— Ты покончила бы с собой?

— Да.

— А я не хочу понимаешь? Не хочу! Я хочу, чтобы ты была здесь, со мной, мне больше ничего не надо!

Огромные серые глаза впились в меня.

— Как ты лжешь… — совсем тихо произнесла Хэри.

Я отпустил ее и встал. Хэри села на пол.

— Скажи, что мне сделать, чтобы ты поверила мне? Я говорю то, что думаю. Это правда. Другой правды нет.

— Ты не мог сказать мне правду. Я не Хэри.

— А кто ты?

Она задумалась. Подбородок у нее дрогнул. Раз, другой. Опустив голову, Хэри прошептала:

— Хэри… но… но я знаю, что это неправда. Ты не меня… любил там, давно…

— Да, — сказал я. — То, что было, прошло. Умерло. Но здесь я тебя люблю. Понимаешь?

Хэри покачала головой.

— Ты очень добр. Не думай, что я не могу оце-

нить все, что ты сделал. Ты старался делать как можно лучше, но все напрасно. Три дня назад я утром сидела возле тебя и ждала, пока ты проснешься. Тогда я ничего не знала. Мне кажется, будто это было давно, очень давно. Я была как помешанная. В голове был сплошной туман. Я не помнила, что было раньше, а что — позже, ничему не удивлялась, словно после наркоза или после тяжелой болезни. Я даже думала: может, я болела, а ты не хочешь мне об этом сказать. Но потом различные факты все больше и больше наталкивали меня на мысль. Ты знаешь, какие факты. У меня уже что-то мелькнуло в голове после твоего разговора там, в библиотеке, с этим, как его зовут, со Снаутом. Ты мне ничего не хотел сказать, поэтому я встала ночью и включила магнитофон. Я обманула тебя раз, единственный раз, Крис, магнитофон я потом спрятала. Тот, что говорил, — как его зовут?

— Гибарян.

— Да, Гибарян. Тогда я поняла все, хотя, если быть честной, по-прежнему ничего не понимаю. Я не знала одного: что я не могу… что я… что это так кончится, что этому… нет конца. Об этом он ничего не говорил. Впрочем, может, и говорил, но ты проснулся, и я выключила магнитофон. Но

я и так услышала достаточно, чтобы понять, что я не человек, а лишь инструмент.

— Что ты, Хэри!

— Да, инструмент. Для изучения твоих реакций. Или что-то в этом роде. У каждого из вас есть такой… такая, как я. Все основано на воспоминаниях или на воображении, подавлено… Впрочем, ты знаешь лучше меня. Он говорил такие страшные, неправдоподобные вещи, и, если бы все не совпадало, я бы не поверила!

— Что совпадало?

— Ну, что мне не надо спать и я должна всегда быть около тебя. Вчера утром я думала еще, что ты меня ненавидишь, и поэтому была несчастной. Боже, какой я была дурой! Но скажи, сам скажи, могла ли я себе представить?.. Ведь Гибарян вовсе не ненавидел эту свою, а как он о ней говорил! Только тогда я поняла: что бы я ни делала — все равно, потому что, хочу я или нет, для тебя это все пытка. Нет, даже хуже, ведь орудие пытки неживое, оно ни в чем не повинно, как камень, который может упасть и убить. А что орудие пытки может желать добра и любить, этого я себе представить не могла. Мне хотелось бы по крайней мере рассказать тебе, что во мне происходило потом, когда я поняла, когда слушала

пленку Может, тебе пригодится. Я даже попыталась записать…

— Поэтому ты зажгла свет? — спросил я, с трудом выдавливая слова.

— Да. Но ничего не получилось. Ведь я искала в себе, знаешь… их — что-то совершенно иное, просто сходила с ума, поверь мне! Иногда мне казалось, что под кожей у меня нет тела, что внутри у меня нечто такое… что я… что я только оболочка. Чтобы обмануть тебя. Понимаешь?

— Понимаю.

— Когда ночью лежишь без сна, до чего только не додумаешься! До самых невероятных вещей, ты сам знаешь…

— Знаю…

— Но я чувствовала свое сердце и помнила, что ты делал анализ моей крови. Какая у меня кровь, скажи, скажи правду. Ведь теперь ты можешь.

— Такая же, как у меня.

— Правда?

— Клянусь тебе.

— Что это значит? Я потом думала, что, может, это спрятано где-то во мне, что оно… может, очень маленькое. Но я не знала, где. Сейчас я думаю, может, в конце концов, это была уловка с моей стороны, ведь я очень боялась того, что

хотела сделать, и искала иного выхода. Но, Крис, если у меня та же самая кровь… если все так, как ты говоришь, тогда… нет, это невозможно. Ведь тогда бы я умерла, правда? Значит, все же что-то есть, но где? Может, в голове? Но я же думаю совершенно нормально… и ничего не знаю… если бы я этим думала, то должна была бы сразу все знать и не любить тебя, только делать вид и понимать, что делаю вид… Крис, пожалуйста, скажи мне все, что тебе известно, может, удастся что-нибудь сделать?

— Что именно?

Хэри молчала.

— Ты хочешь умереть?

— Пожалуй, да.

Воцарилась тишина. Хэри сидела, сжавшись в комочек, у моих ног. Я рассматривал зал, белую эмаль оборудования, блестящие рассыпанные инструменты, как будто искал что-то очень нужное и не мог найти.

— Хэри, можно и мне что-то сказать?

Она ждала.

— Да, правда, ты не совсем такая, как я. Но это не значит, что ты хуже меня. Напротив. Можешь думать, что хочешь, но благодаря этому… ты не умерла.

Какая-то детская жалкая улыбка появилась на ее лице.

— Я… бессмертна?

— Не знаю. Во всяком случае, ты не так смертна, как я.

— Как страшно, — прошептала Хэри.

— Может, не так страшно, как тебе кажется.

— Но ты мне не очень-то завидуешь.

— Хэри, это, скорее, вопрос твоего… предназначения, так бы я назвал это. Знаешь, здесь, на Станции, твое предназначение в конечном счете так же неясно, как мое, как каждого из нас. Те будут продолжать эксперимент Гибаряна, и может случиться все…

— Или ничего.

— Или ничего, и поверь, я предпочел бы, чтобы ничего не произошло, даже не потому, что боюсь (хотя и страх, пожалуй, играет какую-то роль), а потому, что это ни к чему не приведет. Вот единственное, в чем я уверен.

— Ни к чему не приведет? Почему? Из-за… Океана?

Хэри вздрогнула от отвращения.

— Да. Из-за контакта. Думаю, что, в сущности, все просто. Контакт означает обмен каким-то опытом, понятиями, результатами, какими-то по-

ложениями, а если нет ничего для обмена? Если слон — не огромная бактерия, то и Океан не может быть огромным мозгом. С обеих сторон могут, конечно, происходить определенные действия. В результате одного из них я сейчас вижу тебя и пытаюсь объяснить тебе, что ты мне дороже, чем двенадцать лет жизни, посвященных планете Солярке, я хочу быть с тобой и дальше. Может, твое появление должно было стать наказанием, может, благодеянием, а может, только микроскопическим исследованием. Доказательством дружбы, коварным ударом, издевательством? Может, всем одновременно или, что наиболее правдоподобно, — чем-то совсем иным. Но в конце концов, нас же не касаются замыслы наших родителей, совсем не похожих друг на друга. Можешь сказать, что от их замыслов зависит наше будущее, и я соглашусь с тобой. Но я не в силах предвидеть будущее. Так же, как и ты. Я не могу даже уверять, что буду всегда любить тебя. Если уже столько случилось, то может произойти все. Может, завтра я превращусь в зеленую медузу? Тут мы бессильны. Но пока можем, мы будем вместе. А это не так уж мало.

— Послушай, — сказала Хэри. — Я хочу спросить. Я… я… очень похожа на нее?

— Была очень похожа, — ответил я, — а теперь не знаю.

— Что?

Хэри встала. Она глядела на меня, широко открыв глаза.

— Ты ее уже заслонила.

— И ты убежден, что ты не ее, а меня? Меня?..

— Да. Именно тебя. Не знаю, боюсь, что, если бы ты действительно была ею, я не смог бы тебя любить.

— Почему?

— Потому что поступил ужасно…

— По отношению к ней?..

— Да. Когда мы были…

— Не надо…

— Почему?

— Я хочу, чтобы ты знал, что я — не она.

Разговор

На следующий день, после обеда, я нашел на столе возле окна записку от Снаута. Он сообщал, что Сарториус пока приостановил работу над аннигилятором, чтобы последний раз испытать воздействие жесткого излучения на Океан.

— Дорогая, — сказал я, — мне нужно пойти к Снауту.

Красная заря горела в стеклах и делила комнату на две части. Мы были в голубой тени. За границей тени все выглядело медным, и казалось, если книга упадет с полки, то зазвенит.

— Речь идет об одном эксперименте. Я только не знаю, как лучше сделать. Мне бы очень хотелось, понимаешь… — Я остановился.

— Не оправдывайся, Крис. Я бы очень хотела… Если только не долго?..

— Это займет какое-то время, — ответил я. — Послушай, а может, ты пойдешь со мной и подождешь меня в коридоре?

— Хорошо. А если я не выдержу?

— Что же, собственно, с тобой происходит? — спросил я Хэри и поспешно добавил: — Я спрашиваю не из любопытства, понимаешь, но, может

быть, разобравшись в этом, ты сама справишься.

— Я боюсь, — ответила Хэри, бледнея. — Я не могу тебе сказать, чего я боюсь, даже не боюсь, а просто растворяюсь. В последний момент я чувствую такой стыд… Как тебе объяснить… А потом уже ничего, пустота. Поэтому я думала, что я больна… — Хэри вздрогнула.

Последние слова она проговорила чуть слышно.

— Может, такое происходит только здесь, на этой чертовой Станции, — проговорил я. — Я постараюсь сделать все, чтобы мы как можно скорее покинули ее.

— Ты думаешь, это возможно? — Хэри широко открыла глаза.

— Вполне. В конце концов, не прикован же я… Впрочем, надо сначала договориться со Снаутом, а там посмотрим. Как ты думаешь, сколько ты сможешь пробыть одна?

— Кто знает… — опустив голову, очень медленно начала Хэри. — Если я буду слышать твой голос, тогда, пожалуй, справлюсь.

— Мне хотелось бы, чтобы ты не слушала, о чем мы говорим. У меня от тебя нет никаких секретов, но я не знаю, не могу знать, что скажет Снаут.

— Не продолжай. Я понимаю. Хорошо. Я буду

стоять так, чтобы слышать лишь твой голос. Мне больше ничего не надо.

— Я сейчас позвоню ему из лаборатории. Дверь закрывать я не стану.

Хэри кивнула. Я прошел сквозь стену красных солнечных лучей в коридор, который, несмотря на искусственное освещение, казался почти черным. Дверь малой лаборатории была открыта. Зеркальные обломки сосуда Дьюара, лежавшие на полу, возле огромных резервуаров с жидким кислородом, все еще напоминали о ночном происшествии. Засветился маленький экран. Когда я снял трубку и набрал номер радиостанции, синеватая завеса, закрывавшая изнутри матовое стекло, раздвинулась, и Снаут, перегнувшись через подлокотник высокого кресла, заглянул мне прямо в глаза.

— Приветствую, — сказал он.

— Я прочитал записку. Хотел бы с тобой поговорить. Можно прийти?

— Приходи. Сейчас?

— Да.

— Пожалуйста. Ты… с кем-нибудь?

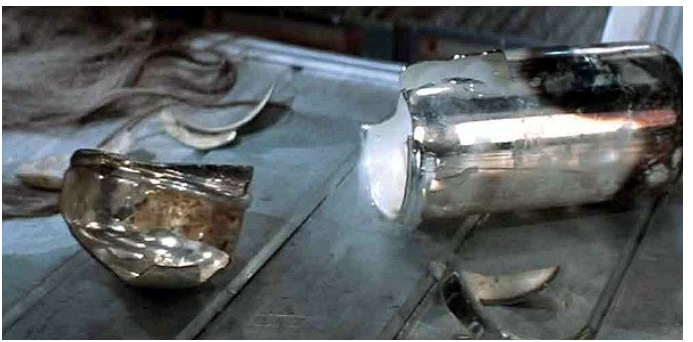
— Нет, один.

Его худое бронзовое от загара лицо с глубокими поперечными морщинами на лбу плыло в выпук-

лом стекле, как удивительная рыба в аквариуме.

— Ну-ну, — сказал он многозначительно. — Я жду.

— Мы можем идти, дорогая.



Я старался говорить оживленно, входя в кабину сквозь красные лучи, за которыми видел только силуэт Хэри, но у меня сорвался голос. Хэри приросла к креслу: просунула руки под подлокотники и сцепила пальцы. Она слишком поздно услышала мои шаги или не смогла быстро изменить свою ужасную позу — не знаю, но я успел

увидеть, как она борется с той непонятной силой, которая скрывается в ней. Мое сердце сдавил слепой, бешеный гнев, смешанный с жалостью.

Мы молча пошли по длинному коридору; разноцветная эмаль на его стенах по замыслу архитектора должна была разнообразить пребывание в металлической скорлупе. Я еще издалека заметил открытую дверь радиостанции. Оттуда в глубь коридора падала длинная красная полоса — и сюда доходило солнце. Я посмотрел на Хэри — она даже не пыталась улыбнуться, сосредоточенно готовясь к борьбе с собой. Приближающееся испытание уже сейчас изменило ее лицо — оно побледнело и осунулось. В нескольких шагах от двери Хэри остановилась, я повернулся к ней, кончиками пальцев она слегка толкнула меня, как бы говоря: «Иди». И тут мои планы, Снаут, эксперимент, вся Станция — все показалось мне таким ничтожным по сравнению с той мукой, на которую она сюда пришла. Я почувствовал себя палачом и хотел было повернуть назад, но широкую солнечную полосу надломленную на стене коридора, заслонила тень человека. Я торопливо вошел в кабину. Снаут ждал меня у дверей. Красное солнце стояло прямо за ним, и пурпурный отблеск горел в его седых волосах. Мы довольно

долго молча глядели друг на друга. Казалось, Снаут изучал меня. Ослепленный солнцем, я плохо видел выражение его лица. Я обошел Снаута и остановился возле высокого пульта, на котором торчали гибкие стебли микрофонов. Снаут медленно повернулся, невозмутимо следя за мной все с той же легкой гримасой, которая то воспринималась как улыбка, то выражала усталость. Не спуская с меня глаз, Снаут подошел к металлическому, занимающему всю стену шкафу, перед которым с обеих сторон громоздились поспешно, кое-как сваленные груды радиодеталей, термические аккумуляторы и разные инструменты, поставил туда стул и сел, опираясь спиной на эмалированные дверцы.

Наше молчание становилось уже по меньшей мере странным. Я сосредоточенно прислушивался к тишине, царившей в коридоре, где осталась Хэри. Оттуда не доносилось ни шороха.

— Когда у вас будет готово? — спросил я.

— Мы могли бы начать хоть сегодня, но запись потребует еще немного времени.

— Запись? Ты говоришь об энцефалограмме?

— Да, ты же согласился. А что?

— Так, ничего.

— Я слушаю тебя, — произнес Снаут через ка-

кое-то время.

— Она все знает… о себе, — чуть слышно сказал я.

Брови Снаута поползли вверх.

— Знает?

Мне показалось, что Снаут только притворяется удивленным. Почему он притворяется? Мне вдруг сразу расхотелось говорить, но я переборол себя. Надо быть хотя бы лояльным, подумал я, если ничего другого не остается.

— Она стала догадываться, пожалуй, после нашего разговора в библиотеке, все наблюдала за мной, сопоставляла факты, а потом нашла магнитофон Гибаряна и прослушала запись…

Снаут сидел, по-прежнему опираясь на шкаф, но в его глазах вспыхнули искорки. Я стоял у пульта напротив двери, приоткрытой в коридор. Я продолжал еще тише:

— Сегодня ночью, когда я спал, она пыталась покончить с собой. Жидкий кислород…

Что-то зашелестело, я замер, прислушиваясь, — звук доносился не из коридора. Где-то совсем близко заскреблась мышь… Мышь? Глупости! Откуда здесь мыши? Я присмотрелся к Снауту.

— Слушаю тебя, — произнес Снаут спокойно.

— Конечно, это ей не удалось… во всяком слу-

чае, она знает, кто она.

— Зачем ты мне это говоришь? — вдруг спросил Снаут.

Я не сразу сообразил, что ему ответить.

— Я хочу, чтобы ты ориентировался… чтобы ты знал, как обстоят дела, — пробормотал я.

— Я предупреждал тебя.

— Иначе говоря, ты знал. — Я невольно повысил голос.

— Нет. Разумеется, нет. Но я же объяснял тебе, как все происходит. Каждый «гость», когда появляется, почти фантом. Несмотря на беспорядочную мешанину воспоминаний и образов, почерпнутых от своего… адама… «гость», в сущности, пуст. Чем дольше «гость» с тобой, тем больше он очеловечивается и становится все самостоятельнее, конечно, до известных пределов. И чем дольше это тянется, тем труднее…

Снаут помолчал, посмотрел на меня исподлобья и равнодушно спросил:

— Она все знает?

— Да, я же сказал тебе.

— Все? И то, что один раз была здесь, а ты…

— Нет!

Снаут усмехнулся.

— Кельвин, послушай, если это так далеко

зашло… что ты собираешься делать? Покинуть Станцию?

— Да.

— С ней?

— Да.

Снаут замолчал, обдумывая мои ответы, но было в его молчании что-то еще… Что? Снова как будто что-то тихо зашелестело совсем близко, за тонкой перегородкой. Снаут заерзал на стуле.

— Прекрасно, — сказал он. — Почему ты так на меня смотришь? Ты предполагал, что я помешаю тебе? Поступай так, как хочешь, дорогой мой. Хороши бы мы были, если бы в довершение всего стали принуждать друг друга! Я не собираюсь тебя уговаривать, скажу одно — ты стараешься в нечеловеческих условиях оставаться человеком. Может, это и красиво, но бессмысленно. Впрочем, я не уверен, красиво ли это. Разве глупость может быть красива? Но не в этом дело. Ты отказываешься продолжать эксперименты, хочешь уйти, забрав ее. Да?

— Да.

— Но это тоже… эксперимент. Ты меня слышишь?

— Что ты имеешь в виду? Сможет ли… она?.. Если вместе со мной, то не вижу…

Я говорил все медленнее, потом умолк. Снаут вздохнул.

— Кельвин, мы все, как страусы, прячем головы в песок, но мы по крайней мере знаем об этом и не разыгрываем благородства.

— Ничего я не разыгрываю.

— Ладно. Я не собирался тебя обижать. Свои слова о благородстве беру обратно, но слова о страусах остаются в силе. Особенно это касается тебя. Ты обманываешь не только ее, но и себя, главным образом себя. Ты знаешь условия стабилизации системы, построенной из нейтринной материи?

— Нет. Ты тоже не знаешь. Никто не знает.

— Безусловно. Но нам известно одно: такие системы неустойчивы и могут существовать только благодаря непрерывному притоку энергии. Я знаю это от Сарториуса. Энергия образует вихревое стабилизирующее поле. Спрашивается: является ли это поле внешним по отношению к «гостю»? Или это поле возникает лишь в его организме? Понимаешь разницу?

— Да, — медленно сказал я. — Если оно внешнее, тогда… она… Тогда… такие…

— Тогда при удалении от Солярис система распадается, — договорил за меня Снаут. — Мы

не можем этого предвидеть, но ты ведь уже поставил опыт. Ракета, которую ты запустил… по-прежнему вращается вокруг планеты. В свободную минуту я даже подсчитал параметры ее движения. Можешь полететь, выйти на орбиту, состыковаться и посмотреть, что стало с… пассажиркой…

— Ты с ума сошел! — прошипел я.

— Ты думаешь? Ну… а если… вернуть ее, твою ракету? Это возможно. У нее дистанционное управление. Мы вернем ракету и…

— Довольно!

— И это тебе не по душе? Есть еще один способ, очень простой. Не надо даже возвращать ее на Станцию. Пусть себе летает. Мы просто-напросто свяжемся с ней по радио; если она жива, то отзовется и…

— Там уже давно закончился кислород! — с трудом выдавил я.

— Может, она обходится без кислорода… Ну как, попробуем?

— Снаут… Снаут…

— Кельвин… Кельвин… — сердито передразнил он меня. — Господи, что ты за человек. Кого ты здесь хочешь осчастливить? Спасти? Себя? Ее? Какую? Эту или ту? На обеих у тебя не хватит

смелости? Сам видишь, к чему это ведет. Говорю тебе последний раз: здесь ситуация — вне всякой морали.

Вдруг я услышал тот же самый шорох, будто кто-то ногтями царапал стену. Мною овладело полное безразличие: все выглядело крошечным, чуточку смешным, малозначительным, как в перевернутом бинокле.

— Ну хорошо, — сказал я. — Что, по-твоему, мне надо сделать? Убрать ее? На следующий день появится такая же, не правда ли? И еще раз? И так ежедневно? До каких пор? Зачем? Что мне это даст? А тебе? Сарториусу? Станции?

— Постой, сначала скажи ты. Ты полетишь вместе с ней и, предположим, сам увидишь, что с ней произойдет. Через несколько минут перед тобой окажется…

— Ну что? — язвительно спросил я его, — Чудовище? Демон, да?

— Нет. Ты станешь свидетелем обыкновенной, самой обыкновенной агонии. Ты и вправду поверил в их бессмертие? Уверяю тебя — они гибнут… Что ты тогда станешь делать? Вернешься за… новой?

— Прекрати!!! — закричал я, сжимая кулаки.

Снаут, прищурившись, глядел на меня и снис-

ходительно усмехался.

— Ах, тебе это не нравится? Знаешь ли, на твоем месте я не затевал бы этого разговора. Лучше займись-ка чем-нибудь другим, например начни сечь розгами — из мести — Океан. Что ты хочешь? Итак, если… — Снаут плутовато помахал рукой и поднял глаза к потолку словно провожая кого-то взглядом, — то станешь мерзавцем? А так ты не мерзавец? Улыбаешься, когда хочется выть, притворяешься радостным и спокойным, когда готов рвать на себе волосы, — и ты не мерзавец? А что, если здесь нельзя не быть мерзавцем? Что тогда? Биться в истерике перед Снаутом, который виноват во всем, так? Ты ко всему прочему еще и идиот, дорогой мой…

— Ты говоришь о себе, — сказал я, опустив голову, — я… люблю ее.

— Кого? Свое воспоминание?

— Нет. Ее. Я рассказал тебе, что она пыталась сделать. Так поступил бы не каждый… живой человек.

— Ты сам признаешь, говоря…

— Не лови меня на слове.

— Хорошо. Значит, она тебя любит. А ты — хочешь любить. Это разные вещи.

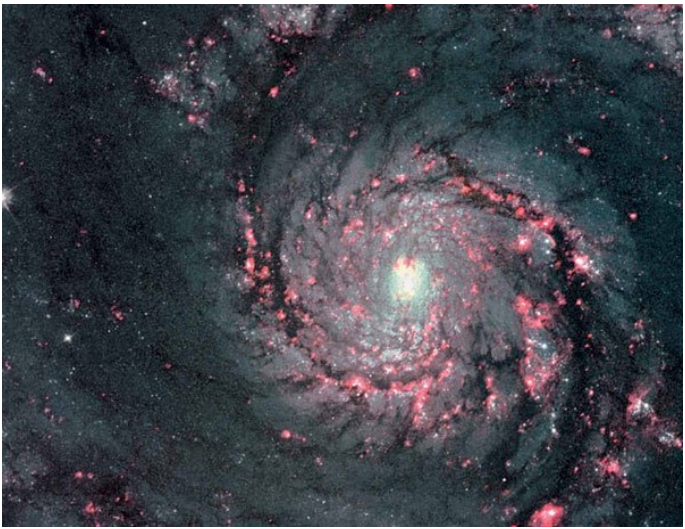
— Ты ошибаешься.

— Кельвин, я сожалею, но ты сам посвятил меня в свои интимные дела. Не любишь. Любишь. Она готова пожертвовать своей жизнью. Ты тоже. Очень трогательно, прекрасно, возвышенно — все что угодно. Но здесь неуместно. Неуместно. Понимаешь? Нет, ты не желаешь понять. Силы, которыми мы не управляем, втянули тебя в круговорот, а она — часть его. Фаза. Повторяющийся цикл. Если бы она была… если бы тебя преследовало страшилище, готовое на все для тебя, ты отделался бы от него без всяких колебаний. Так?

— Так.

— А если… если… именно поэтому она не страшилище? Это связывает тебе руки? А может, надо, чтобы руки у тебя были связаны?

— Это еще одна гипотеза. В библиотеке их уже миллион. Снаут, хватит, она… я не хочу с тобой об этом говорить.



— Ну и не говори. Ты сам начал. Но ты только подумай, что она, в конце концов, лишь зеркало, в котором отражается часть твоего мозга. Она прекрасна потому, что прекрасными были твои воспоминания о ней. Ты дал рецепт. Круговорот, помни!

— Чего ты ждешь от меня? Чтобы я… избавился от нее? Я уже спрашивал у тебя: зачем мне это делать? Ты не ответил.

— Сейчас отвечу. Я не приглашал тебя, не начинал этого разговора, не касался твоих дел. Я ничего тебе не приказываю, ничего не запрещаю, я не стал бы, если бы и мог. Ты, ты пришел сюда и выложил мне все, а знаешь почему? Нет? Ты желаешь свалить с себя все. Свалить. Я хорошо представляю, каково тебе, мой дорогой. Да, да! Не прерывай меня. Я ничего тебе не запрещаю, но ты — ты сам хочешь, чтобы я тебе помешал. Если бы я встал на твоем пути, может, ты бы голову мне разбил — мне, обыкновенному человеку, такому же, как ты, и сам чувствовал бы себя человеком. А так ты не можешь справиться и поэтому заводишь спор со мной… вернее, с самим собой! Ты еще скажи, что не вынесешь, если она вдруг исчезнет… Ладно, ничего не говори.

— Ну, знаешь ли! Я пришел, чтобы рассказать тебе, совершенно лояльно, что я собираюсь покинуть вместе с ней Станцию, — отбивался я, но мои слова прозвучали неубедительно даже для меня самого.

Снаут пожал плечами.

— Весьма вероятно, что ты вынужден настаи-

вать на своем. Я сказал тебе все лишь потому, что ты слишком далеко зашел, а вернуться, сам понимаешь… Приходи завтра утром часов в девять к Сарториусу, наверх… придешь?

— К Сарториусу? — удивился я. — Он же никого не пускает к себе, ты говорил, что ему и позвонить нельзя.

— Он как-то все уладил. Мы это не обсуждаем. Ты… у тебя совсем другое. Неважно. Придешь утром?

— Приду, — буркнул я.

Я смотрел на Снаута. Он как-то неестественно держал левую руку за дверцей шкафа. Когда дверца приоткрылась? Вероятно, довольно давно, но, возбужденный неприятным для меня разговором, я не обратил внимания. До чего странно все выглядело… Будто… он прятал там что-то. Или кто-то держал его за руку. Я облизал губы.

— Снаут, в чем дело?..

— Уходи, — тихо, очень спокойно сказал он. — Уходи.

Я вышел и закрыл за собой дверь в последних лучах багряного зарева. Хэри сидела на полу, шагах в десяти от меня, у самой стены. Заметив меня, она вскочила.

— Смотри! — произнесла она; глаза у нее бле-

стели: — Получилось, Крис. Я так рада. Может… может, будет все лучше и лучше…

— Конечно, — рассеянно ответил я.

Мы возвращались к себе, а я ломал голову: неужели он прячет в этом дурацком шкафу… А весь наш разговор?.. Щеки у меня стали гореть, я невольно потер их. Боже, какое сумасшествие, к чему мы пришли? К чему? Да, завтра утром…

И вдруг мне стало страшно, почти так же, как ночью. Моя энцефалограмма. Полная запись всей деятельности мозга, переложенная в колебания пучка лучей, будет послана вниз. В глубь этого необъятного, безграничного чудовища. Как Снаут сказал… «Ты не вынесешь, если она вдруг исчезнет…» Энцефалограмма — полная запись, запись и бессознательных процессов. А если я хочу, чтобы она исчезла, погибла? Иначе разве я испугался бы так, когда она осталась жива после своей ужасной попытки? Можно ли отвечать за свое подсознание? Если я не отвечаю за него, тогда кто же… Какая ерунда! Черт побери, зачем я согласился, чтобы мою, именно мою… Я могу, конечно, ознакомиться с записью, но я же ее не расшифрую. Никто не сможет ее расшифровать. Специалисты могут лишь в общих чертах сказать, о чем думал испытуемый, например решал ли

он математические задачи, но установить какие, они не в силах. По их словам, это невозможно, так как энцефалограмма отражает множество одновременно происходящих процессов, и только часть из них имеет психологическую «подоплеку»… А подсознательные… О них и говорить никто не хочет, где уж там расшифровать чьи-то воспоминания, то, что живет в памяти или что постарались забыть… Но почему я так боюсь? Ведь утром я сам говорил Хэри, что эксперимент ничего не даст. Если наши нейрофизиологи не могут расшифровать запись, то как же разберется в ней абсолютно чуждый, черный, жидкий исполин?..

Но проник же он в меня неведомо как, переворошил все в моей памяти и отыскал в ней самый болезненный атом! Могу ли я в этом сомневаться! Без чьей-либо помощи, без всякой «передачи лучевой энергии» он вторгся сквозь двойную герметическую обшивку, сквозь тяжелую скорлупу на станцию; внутри ее нашел мое тело и ушел с добычей…

— Крис?.. — тихо произнесла Хэри.

Я стоял у иллюминатора, уставившись невидящими глазами в сгущающуюся темноту. Легкая, нежная на этой географической широте пелена

закрывала звезды. Сплошной, хотя и тонкий, слой облаков стоял очень высоко, из глубины, из-за горизонта солнце окрашивало его чуть заметным серебристо-розовым сиянием.

Если она потом исчезнет, значит, я хотел этого. Значит, я убил ее. Не пойти туда? Они не могут меня заставить. Но что я им скажу? Об этом — нет. Не могу. Да, надо притворяться, надо обманывать всегда и во всем. И все потому, что во мне, вероятно, кроются мысли, планы, надежды — жестокие, великолепные, безжалостные, а я ничего о них не знаю. Человек отправился навстречу иным мирам, новым цивилизациям, до конца не познав собственной души: ее закоулков, тупиков, бездонных колодцев, плотно заколоченных дверей. Выдать им Хэри… от стыда? Выдать лишь потому, что у меня не хватает смелости?

— Крис, — еще тише прошептала Хэри.

Я скорее почувствовал, чем услышал, как она бесшумно подошла ко мне, но сделал вид, что не замечаю ее. Мне хотелось побыть одному, это было необходимо. Я ни на что еще не решился, ни на что. Я стоял неподвижно, глядя на темнеющее небо, на звезды, призрачную тень земных звезд. Обуревавшие меня мысли исчезли, и в пустоте росло мертвящее безразличие, уверенность, что

где-то в недосягаемой глубине я уже сделал выбор и лишь притворяюсь, будто ничего не произошло. У меня не было сил даже презирать себя.

Мыслители

— Крис; ты из-за эксперимента?..

Я съежился от ее голоса. Уже несколько часов я не спал, всматриваясь в темноту. Я лежал, чувствуя себя совершенно одиноким, не слыша даже дыхания Хэри, забыв о ней; в спутанном лабиринте ночных мыслей, призрачных, полубессознательных, все приобретало новый смысл, иное измерение.

— Что?.. Почему ты решила, что я не сплю?.. — испуганно спросил я.

— Я заметила по твоему дыханию, — ответила Хэри, как бы извиняясь. — Я не хотела тебе мешать… Если не можешь, не говори…

— Могу… Да, из-за эксперимента. Ты угадала.

— Чего они ждут от эксперимента?

— Сами не знают. Но ждут чего-то. Чего-нибудь. Эту операцию следовало бы назвать не «Мысль», а «Отчаяние». Сейчас нужен человек, у которого хватило бы смелости взять на себя ответственность за решение. Но такой вид смелости большинство принимает за обычную трусость, ведь подобное решение — отступление, понимаешь, отказ, бегство, недостойное челове-

ка. Можно подумать, что барахтаться и увязать, тонуть в том, чего не понимаешь и никогда не поймешь, — достойно человека.

Я замолчал. Но не успел успокоиться, как меня охватил новый прилив гнева.

— Конечно, всюду найдутся типы практического склада. Они говорят, что если не удастся установить контакт, то, изучая плазму — все эти бредовые живые города, выскакивающие на сутки, чтобы потом исчезнуть, мы хотя бы раскроем тайну материи. Будто неизвестно, что все самообман; мы просто расхаживаем по библиотеке, заполненной книгами на непонятном языке, и глазеем на цветные корешки… Вот и все!

— А есть еще такие планеты?

— Неизвестно. Может, есть. Мы знаем только одну. Во всяком случае, такие планеты встречаются крайне редко, не то что Земля. Мы банальны, мы трава Вселенной — и гордимся нашей банальностью, тем, что она так распространена; мы думали — все возможно подогнать под нашу банальность. С такой схемой мы смело и радостно двинулись в даль — в иные миры! Иные миры — подумаешь! Покорим их или они нас покорят! Ничего другого не умещалось в наших несчастных головах. Ах, хватит об этом. Хватит!

Я встал, ощупью нашел аптечку, взял плоскую баночку со снотворным.

— Я буду спать, дорогая. — Я обернулся; в темноте, где-то высоко, гудел вентилятор. — Я должен спать. Иначе… сам не знаю…

Я сел на койку. Хэри прикоснулась к моей руке. Я обнял ее, невидимую, и держал, не шевелясь, до тех пор, пока сон не сморил меня.

Утром я проснулся свежим и отдохнувшим; эксперимент показался мне таким незначительным; как я мог так волноваться из-за него?! Меня мало беспокоило и то, что Хэри пойдет вместе со мной в лабораторию. Ее усилия выдержать даже мое кратковременное отсутствие были напрасны, и я отказался от дальнейших попыток, хотя она настаивала (даже предлагала мне запереть ее где-нибудь). Я посоветовал ей взять с собой книжку.

Сама процедура меня интересовала меньше, чем то, что я увижу в лаборатории. В бело-голубом зале не было ничего особенного — не хватало только кое-каких предметов на стеллажах и в шкафах (в некоторых из них стекла были разбиты, а дверцы кое-где потрескались — видно, недавно здесь происходила борьба, и ее следы хотя и поспешно, но тщательно ликвидированы). Снаут, возясь с аппаратурой, держался, как все-

гда, корректно, он не удивился появлению Хэри и поклонился ей издали. Когда Снаут протирал мне виски физиологическим раствором, появился Сарториус. Он вышел из темной комнаты через небольшую дверь. На нем был белый халат и черный антирадиационный фартук почти до пола. Деловитый, энергичный Сарториус поздоровался со мной, словно мы были сотрудниками крупного земного института и расстались только вчера. Я лишь теперь заметил, что безжизненное выражение его лицу придавали контактные линзы, которыми он пользовался вместо очков. Скрестив руки на груди, он следил, как Снаут прибинтовывает электроды, сооружая у меня на голове нечто вроде чалмы. Сарториус несколько раз обвел глазами весь зал; Хэри он словно не заметил. Она сидела съежившись, несчастная, на небольшом табурете у стены и делала вид, что читает книгу. Когда Снаут отошел от моего кресла, я повернул голову в тяжелом шлеме из металла и проводов, чтобы увидеть, как он будет включать аппаратуру, но Сарториус неожиданно поднял руку и торжественно произнес:

— Доктор Кельвин! Минутку внимания! Прошу вас сосредоточиться! Я не собираюсь навязывать вам свое мнение, так как это не приведет

к цели, но вы не должны думать о себе, обо мне, о коллеге Снауте, вообще о ком бы то ни было, должны исключить случайные индивидуальности, отдельные личности и сосредоточиться на нашем общем деле. Земля и Солярис, поколения исследователей, составляющие единое целое, хотя каждый человек имеет свое начало и конец, наша последовательность в стремлении установить интеллектуальный контакт, исторический путь, пройденный человечеством, уверенность в дальнейшем его развитии, готовность ко всяким жертвам и трудностям, готовность подчинить нашей Миссии любые личные чувства — вот темы, которые должны целиком заполнить ваше сознание. Ход ассоциаций, правда, не зависит от вашей воли, но ваше присутствие все-таки поможет нам в эксперименте. Если у вас не будет уверенности, что вы справились с заданием, прошу сообщить нам, а коллега Снаут повторит запись. Мы располагаем временем…

Последние слова он произнес с равнодушной улыбкой, все так же холодно.

Меня коробило от его напыщенных, трескучих фраз. К счастью, Снаут прервал затянувшуюся паузу.

— Крис, можно? — спросил он, облокотив-

шись на высокий пульт электроэнцефалографа, небрежно и чуть фамильярно нагнувшись ко мне.

Я был благодарен ему за то, что он назвал меня по имени.

— Можно, — ответил я, закрывая глаза.

Волнение, охватившее меня, когда Снаут, закрепив электроды, взялся за рубильник, теперь исчезло; сквозь ресницы я увидел розоватый свет контрольных лампочек на черной панели аппарата. Влажные и неприятно холодные металлические электроды, которые, как монеты, опоясывали мою голову, потеплели. Мне казалось, что я — серая, неосвещенная арена. Толпа невидимых зрителей амфитеатром окружала пустоту и молчание, в котором таяло мое ироническое презрение к Сарториусу и к Миссии. Напряжение внутренних наблюдателей, жаждущих сыграть импровизированную роль, уменьшалось. «Хэри?» — мысленно, проверяя себя, с тошнотворным страхом произнес я это имя, готовый сразу же отступить. Но моя настороженная слепая аудитория не протестовала. Какое-то мгновение я был сплошной нежностью, искренней тоской, готовый к терпению и бесконечным жертвам. Хэри, без очертаний, без формы, без

лица, заполнила меня. И вскоре ее безликая отчаянная нежность уступила место образу Гизе. Отец соляристики и соляристов появился в серой темноте во всем своем профессорском величии, я думал не о грязевом взрыве, не о вонючей бездне, поглотившей его золотые очки и холеные седые усы, я видел только гравюру на титульном листе монографии — густо заштрихованный фон, на котором его голова выглядела как в ореоле; его лицо не чертами, а выражением добропорядочности, старомодной рассудительности напоминало лицо моего отца, и в конце концов я даже не знал, кто из них смотрит на меня. У обоих не было могилы — в наше время это случается так часто, что не вызывает особых волнений.

Картина исчезла, и на какое-то время (не знаю, на какое) я забыл о станции, об эксперименте, о Хэри, о черном Океане — обо всем; во мне

вспыхнула уверенность, что эти двое — уже не существующие, бесконечно маленькие, ставшие прахом — справились со всем, что выпало на их долю… открытие успокоило меня, и бесформенная немая толпа вокруг серой арены, ожидавшая моего поражения, растворилась. В тот же миг раздалось два щелчка — выключили аппаратуру. Искусственный свет ударил мне в глаза, я зажмурился. Сарториус испытующе смотрел на меня, стоя в той же позе; Снаут, повернувшись к нему спиной, возился у аппарата, нарочно шлепая спадающими с ног тапочками.

— Как вы полагаете, доктор Кельвин, получилось? — раздался гнусавый, неприятный голос Сарториуса.

— Да, — ответил я.

— Вы в этом убеждены? — с ноткой удивления, а может, подозрительности спросил Сарториус.

— Да.

От моего уверенного, резкого тона Сарториус на мгновение потерял свою чопорность.

— Хорошо, — буркнул он и огляделся, не зная, чем же еще заняться.

Снаут подошел ко мне и начал снимать бинты.

Я встал и прошелся по залу, а тем временем Сарториус, который исчез в темной комнате,

вернулся с проявленной и высушенной пленкой. На десятке метров ленты тянулись дрожащие зубчатые линии, похожие на белесую плесень или паутину на черном скользком целлулоиде.

Мне больше нечего было делать, но я не уходил. Те двое вставили в оксидированную головку модулятора пленку, конец которой Сарториус, насупленный, недоверчивый, просмотрел еще раз, как бы пытаясь расшифровать смысл трепещущих линий.

Эксперимент шел теперь за пределами лаборатории. Сарториус и Снаут стояли каждый у своего пульта и возились с аппаратурой. Под током слабо загудели трансформаторы, а потом только огоньки на вертикальных застекленных трубках индикаторов побежали вниз, указывая, что большой тубус рентгеновской установки опускается по отвесной шахте и должен остановиться в ее открытой горловине. Огоньки в это время застыли на самых нижних делениях шкалы. Снаут стал увеличивать напряжение, пока стрелки, вернее, белые полоски, их заменявшие, не сделали полуоборот вправо. Гул тока был едва слышен, ничего не происходило, бобины с пленкой вращались под крышкой — их не было видно, счетчик метража тихонько тикал, как часы.

Хэри смотрела поверх книги то на меня, то на Снаута и Сарториуса. Я подошел к ней. Она повернулась ко мне. Эксперимент закончился, Сарториус медленно приблизился к большой конусообразной головке аппарата.

— Идем?.. — одними губами спросила Хэри.

Я кивнул. Хэри встала. Не прощаясь ни с кем — по-моему, это было бы неуместно, — я прошел мимо Сарториуса.

Удивительно красивый закат освещал иллюминаторы верхнего коридора. Это не был обычный, мрачный, кроваво-красный закат — сейчас он переливался всеми оттенками розового цвета, приглушенного дымкой, осыпанной серебряной пылью. Тяжелая, лениво движущаяся чернота бесконечной равнины Океана, казалось, отвечала на нежное сияние буро-фиолетовым, мягким отблеском. Только в зените небо оставалось еще яростно-рыжим.

Я задержался в нижнем коридоре. Мне страшно было даже подумать, что мы снова будем заточены, как в тюремной камере, в своей кабине, лицом к лицу с Океаном.

— Хэри, — сказал я, — видишь ли… я заглянул бы в библиотеку… Ты не против?

— Хорошо, я поищу что-нибудь почитать, —

ответила она с несколько наигранным оживлением.

Я чувствовал, что со вчерашнего дня между нами образовалась какая-то трещина и что нужно проявить хоть немного сердечности, но мне было все так безразлично. Даже не представляю, что могло бы вывести меня из этой апатии. Мы возвращались коридором, потом по наклону спустились в маленький тамбур с тремя дверьми; между ними за стеклами росли цветы.

Средняя дверь, ведущая в библиотеку, была обита с двух сторон тисненой искусственной кожей; открывая, я каждый раз старался не задеть ее. В круглом большом зале с бледно-серебристым потолком, с символическими изображениями солнечного диска было немного прохладней.

Я провел рукой вдоль корешков собрания классических трудов по соляристике и уже хотел вынуть первый том Гизе, тот, с гравюрой на фронтисписе, прикрытом папиросной бумагой, но тут вдруг увидел не замеченный мною раньше толстый, формата ин-октаво том Гравинского.

Я сел. В полной тишине за моей спиной Хэри листала книгу, я слышал, как шелестят страницы.

Справочник Гравинского, который студенты попросту зазубривали, представлял собой

сборник всех соляристических гипотез, расположенных по алфавиту: от «Абиологической» до «Ядерной». Компилятор, никогда не видевший Солярис, Гравинский копался во всех монографиях, протоколах экспедиций, в записях и донесениях тех времен, даже тщательно изучил выдержки из работ планетологов, занимавшихся другими мирами. Он составил каталог с формулировками, столь краткими, что их лаконичность порой переходила в тривиальность, ибо терялся тонкий, сложный ход мысли исследователей. Впрочем, труд, задуманный как энциклопедический, оказался просто курьезом. Том был издан двадцать лет назад, и за это время выросла целая гора новых гипотез, они не поместились бы ни в какой книге. Я просматривал алфавитный указатель авторов, словно список погибших, — большинство уже умерло, а из живых, пожалуй, уже никто активно не работал в соляристике. Такое богатство мыслей создавало иллюзию, что хоть какая-то гипотеза верна, невозможно было себе представить, что действительность не соответствует мириадам предположений, изложенных здесь.

Гравинский в своем предисловии разделил на периоды известные ему шестьдесят лет соляристики. В первый, начальный период ис-

следования планеты Солярис никто, собственно, не выдвигал гипотез. Тогда интуитивно, как подсказывал «здравый смысл», считалось, что Океан — мертвый химический конгломерат, чудовищная глыба, студенистая масса, омывающая планету и создающая удивительнейшие образования благодаря своей квазивулканической деятельности. Кроме того, спонтанный автоматизм процессов стабилизирует непостоянную орбиту планеты, подобно тому как маятник сохраняет неизменной плоскость своего движения. Правда, спустя три года Маженон выдвинул предположение, что «студенистая машина» по своей природе нечто живое. Но Гравинский датировал период биологических гипотез девятью годами позже, когда большинство ученых стало разделять мнение Маженона.

В последующие годы были распространены теории живого Океана, весьма сложные, детально разработанные, подкрепленные био-математическим анализом. Затем наступил третий период, когда единый фронт ученых распался. Тогда образовалось много школ, нередко яростно боровшихся между собой. Это было время деятельности Панмаллера, Штробля, Фрейгауза, Ле-Грея, Осиповича. Все наследие Гизе подверга-

лось уничтожающей критике, появились первые атласы, каталоги, стереофотографии асимметриад, которые до тех пор считались образованиями, не поддающимися изучению. Перелом наступил благодаря новой аппаратуре с дистанционным управлением, ее направляли в клокочущие глубины исполинов, грозящих взорваться в любую секунду.

В общих шумных спорах стали раздаваться отдельные, робкие голоса минималистов: если даже не удастся установить пресловутый «контакт» с «разумным чудовищем», то исследования застывших городов мимоидов и шарообразных гор, которые Океан извергает, чтобы вновь поглотить, позволят получить, безусловно, ценные химические и физикохимические данные, новые сведения о строении молекул-гигантов. Но никто даже не удостоил вниманием глашатаев этих идей.

Ведь именно в этот период появились актуальные до наших дней каталоги типичных превращений, биоплазматическая теория мимоидов Франка (хотя и отброшенная как неверная, она до сих пор — образец широты мышления и блестящей логики).

«Период Гравинского», насчитывающий в итоге

более тридцати лет, — время наивной молодости, стихийного оптимистического романтизма, наконец, зрелой соляристики, отмеченной первыми скептическими голосами. Уже в конце двадцатилетия возникли гипотезы о непсихологическом характере Океана. Это был возврат к первым коллоидно-механистическим теориям, как бы продолжение их. Тогда поиски проявления сознательной воли, целенаправленности процессов, действий, мотивированных внутренними потребностями Океана, были объявлены заблуждением целого поколения ученых. Со временем эти утверждения были разбиты с публицистической страстностью, что подготовило почву для трезвых, аналитически обоснованных, сосредоточенных на скрупулезной фактографии исследований группы Холдена, Ионидеса, Столиво. Это была эпоха стремительного разбухания архивов, микрофильмов, картотек, огромного числа экспедиций, богато оснащенных всевозможными приборами, самопишущими регистраторами, оптиметрами, зондами — всем, что только могла предоставить Земля. Были годы, когда в исследованиях принимало участие одновременно более тысячи человек. Темп бесконечного нагромождения материалов все еще

возрастал, а воодушевление ученых уже пошло на спад. Еще в оптимистический период начался закат экспериментальной соляристики, временные рамки которого трудно определить.

Этот период характеризовали прежде всего такие яркие, смелые индивидуальности, как Гизе, Штробль или Севада. Севада — последний из великих соляристов — погиб при таинственных обстоятельствах в районе южного полюса планеты. Ошибка, которую он допустил, непростительна даже для новичка. На глазах у сотни наблюдателей он направил летательный аппарат, скользивший низко над Океаном, в глубь «мелькальца», который явно уступал ему дорогу. Говорили о внезапном приступе слабости, обмороке или неисправности рулевого управления, на самом деле, как я теперь думаю, это было первое самоубийство, первый явный взрыв отчаяния.

И не последний. Но у Гравинского ничего об этом не сказано, я сам вспоминал даты, факты и подробности, глядя на пожелтевшие страницы. Впрочем, патетических покушений на самоубийство потом больше не было. Исчезли и яркие индивидуальности.

Никто не исследовал, почему те или иные ученые посвящают себя определенной области

планетологии. Люди огромных способностей и большой силы воли рождаются достаточно часто, но предугадать их жизненный выбор нельзя. Их участие или неучастие в какой-то области исследований зависит, пожалуй, лишь от открывающихся в ней перспектив. По-разному оценивая классиков соляристики, никто не может отказать им в величии, а порой и в гениальности. Самых лучших математиков, физиков, знаменитостей в области биофизики, теории информации, электрофизиологии притягивал к себе целые десятилетия молчаливый гигант. И вдруг армия исследователей из года в год стала терять своих полководцев. Осталась серая, безымянная масса терпеливых собирателей, компиляторов, незаурядных экспериментаторов, но уже не было многочисленных, в масштабе планеты задуманных экспедиций, смелых, обобщающих гипотез.

Соляристика явно приходила в упадок, и, как следствие этого, рождались бесконечные, отличающиеся лишь второстепенными деталями гипотезы о дегенерации, регрессии, инволюции солярийских морей. Время от времени появлялись более смелые, интересные заключения, но во всех высказывалось мнение, будто Океан, признанный конечным продукт развития, давно,

тысячелетия назад, пережил период наивысшей организации, а теперь, объединенный только физически, распадается на многочисленные ненужные, бессмысленные, умирающие образования. Монументальная, веками длившаяся агония — так воспринимали Солярис. Видя в «долгунах» или мимоидах признаки новых образований, искали в процессах, происходящих в жидкой туше, проявления хаоса и анархии. Такое направление стало маниакальным, и вся научная литература последующих семи-восьми лет, хотя, естественно, и не употребляла определений, открыто выражавших чувства авторов, представляла собой град оскорблений — это была месть за осиротевшее, лишенное полководцев, беспросветное дело соляристов, к которому объект их исследований оставался по-прежнему равнодушным, по-прежнему игнорировал их присутствие.

Я знал не включенные в этот каталог соляристической классики (по-моему, несправедливо) оригинальные работы десятка европейских психологов. Они длительное время изучали общественное мнение, коллекционировали самые заурядные, порой некомпетентные высказывания и установили удивительную зависимость

отношения неспециалистов к этому вопросу от процессов, происходящих в кругу ученых.

В сфере координирующей группы Института планетологии, там, где решался вопрос о материальной поддержке исследований, тоже происходили изменения — постоянно, хотя и постепенно, сокращался бюджет соляристических институтов и учреждений, финансирование экспедиций на планету.

Голоса о необходимости сокращения исследований перемежались с требованиями использовать более действенные средства. Наиболее максималистскими были требования административного директора Всеземного космологического института. Директор настойчиво твердил, что живой Океан не игнорирует людей, он просто их не замечает, как слон — муравья, ползущего у него по спине, и, чтобы при влечь внимание и сконцентрировать его на нас, нужны мощные раздражители и машины-гиганты в масштабах всей планеты. Любопытно, ехидно подчеркивала пресса, что на таких дорогостоящих мероприятиях настаивал директор Космологического института, а не Института планетологии, который финансировал соляристические исследования. Это была щедрость за чужой счет.

А потом круговорот гипотез — немного обновленных, несущественно измененных, забвение одних или преувеличенное внимание к другим — заводил соляристику, до сих пор ясную, несмотря на многочисленные ответвления, во все более темные, беспросветные закоулки лабиринта. В атмосфере всеобщего равнодушия, застоя, разочарования второй океан — океан бесплодных публикаций соперничал с солярийским.

Года за два до того, как я, выпускник Института, стал работать в лаборатории Гибаряна, был основан фонд Метта-Ирвинга, предназначенный для поощрения тех, кто найдет способ использовать для нужд человека энергию океанического глея. Это прельщало и раньше, и не раз космические корабли доставляли на Землю грузы плазматического студня. Изучали долго и терпеливо методы его консервирования, применяя высокие или низкие температуры, искусственные микроатмосферу и микроклимат, соответствующие солярийским, фиксировали облучение, использовали тысячу химических реактивов, — и все для того, чтобы наблюдать более или менее вялый процесс распада, конечно, как и все прочие, многократно описанный добросовестнейшим образом в различных стадиях: самоистребления,

высыхания, разжижения, первичного и вторичного, раннего или позднего. К аналогичным результатам приводили все пробы, взятые из разных частей океана и образований плазмы. Отличались только пути, ведущие к конечному результату. Конец был один: легкая, как пепел, металлически поблескивающая, истонченная аутоферментацией субстанция. Ее состав, соотношение элементов и химические формулы мог назвать даже во сне любой солярист.

Вне планеты сохранить жизнь — или хотя бы временную вегетацию (даже при сверхнизких температурах) — большей или меньшей частицы чудовища не удавалось. Эта неудача положила начало теории, разработанной школой Менье и Пророка, провозгласившей, что надо разгадать одну-единственную тайну, подобрать к ней подходящий ключ, и тогда станет ясным все.

В поисках этого ключа, философского камня Солярис напрасно тратили время и энергию люди, часто не имеющие никакого отношения к науке. В четвертом десятилетии существования соляристики развелось огромное количество комбинаторов-маньяков, вышедших из кругов, не связанных с наукой, одержимых своей страстью сильнее, чем их предшественники — пророки

«перпетуум-мобиле» и «квадратуры круга». Это уже носило характер эпидемии и беспокоило психологов. Однако через несколько лет страсти поутихли. Когда я готовился к полету на Солярис, проблема Океана и шумиха, поднятая вокруг нее, уже давно не заполняли газетных страниц, вопросы эти больше не обсуждались.

Книги на полках располагались в алфавитном порядке, и когда я ставил на место том Гравинского, то наткнулся на маленькую брошюрку Граттенстрома, едва заметную среди фолиантов. Работа Граттенстрома — тоже один из курьезов соляристики. Книга направлена — в борьбе за понимание сверхчеловеческого — против самих людей, против человека, это своеобразный пасквиль на род человеческий, злобная, несмотря на математическую сухость, работа самоучки. Вначале он опубликовал ряд необыкновенных дополнений к некоторым весьма специфическим и второстепенным разделам квантовой физики. В своем главном, хотя и насчитывающем всего несколько страниц, из ряда вон выходящем произведении он пытался показать, что наука, даже на первый взгляд наиболее абстрактная, предельно теоретическая, математически обоснованная, в действительности достигла немногого — на

шаг или два отделилась от доисторического, грубо-чувственного, антропоморфического понимания окружающего нас мира. Отыскивая в уравнениях теории относительности, в теоремах силовых полей, парастатике, гипотезе единого космического поля следы плоти, все, что является производным наших органов чувств, строения нашего организма, ограниченности и убожества животной физиологии человека, Граттенстром делал окончательный вывод — ни о каком «контакте» с нечеловекоподобными цивилизациями не может быть и речи, ни сейчас, ни в будущем. В пасквиле на весь род человеческий ни разу не упоминался мыслящий Океан, но его присутствие, в форме презрительно торжествующего умолчания, чувствовалось почти в каждой фразе. Во всяком случае, знакомясь первый раз с брошюрой Граттенстрома, я так ее воспринял. Это была какая-то странная работа, не имеющая отношения к соляристике в обычном понимании. Она находилась в классическом собрании только потому, что туда ее поместил сам Гибарян, он же первый дал мне ее почитать.

С чувством, похожим на уважение, я осторожно поставил на полку тонкий, без обложки оттиск. Я дотронулся рукой до зелено-коричневого «Со-

ляристического альманаха». При всем хаосе, при всей безнадежности, окружавшей нас, нельзя отрицать, что благодаря пережитому в течение нескольких суток мы разобрались в ряде основных проблем, годами служивших темой бесплодных споров, на решение которых было изведено море чернил.

Человек упрямый и склонный к парадоксам мог по-прежнему сомневаться в том, что Океан — существо живое. Но опровергнуть существование его психики — безразлично, что понимать под этим словом, — было уже нельзя. Стало очевидным, что Океан отзывается на наше присутствие. Такое утверждение отвергало целое направление в соляристике, провозглашавшее, что Океан — «мир в себе», «жизнь в себе», что он лишен в результате повторного отмирания существовавших когда-то органов чувств и поэтому никак не реагирует на внешние явления или объекты; что Океан сосредоточен лишь на круговращении гигантских мыслительных течений, источник, творец и создатель которых находится в бездне, бурлящей под двумя солнцами.

Кроме того, мы установили, что Океан умеет то, чего мы сами не умеем: он искусственно синтезирует человеческое тело и даже усовершенствует

его, непостижимым образом изменяя субатомную структуру — вероятно, в зависимости от поставленной цели.

Итак, Океан существовал, жил, думал, действовал. Возможность свести «проблему Солярис» или к бессмыслице, или к нулю, мнение, что Океан — отнюдь не Существо, а поэтому мы ничего или почти ничего не проигрываем, — все зачеркивалось навсегда. Теперь люди, желают они того или нет, должны учитывать такое соседство на пути их экспансии, хотя постичь его труднее, чем всю остальную Вселенную.

Вероятно, мы находимся на поворотном этапе истории, думал я. Решение отступить, отойти могло быть актуальным сейчас или в недалеком будущем, даже ликвидацию самой Станции я считал возможной и вполне реальной. Я только не верил, что это принесет какое-то облегчение. Само существование мыслящего исполина всегда будет волновать человека. Исколеси мы всю Галактику, установи Контакт о другими цивилизациями похожих на нас существ — Солярис всегда будет вызовом, брошенным человеку.

И еще один небольшой том в кожаном переплете затерялся среди выпусков «Альманаха». Я рассмотрел переплет, потемневший от при-

косновения рук, потом открыл старую книгу: это было «Введение в соляристику» Мунциуса. Мне вспомнилась ночь, проведенная за чтением книги, и улыбка Гибаряна, когда он давал мне свой экземпляр, и земной рассвет в окне, когда я дочитал старую книгу «Соляристика, — писал Мунциус, — своего рода религия космического века, вера в облачении науки. Контакт, цель, к которой мы стремимся, так же туманна и нелепа, как житие святых, как приход Мессии. Наши исследования — это литургия в методологических формулах; смиренная работа ученых — ожидание благовещения. Ведь нет и не может быть никакой связи между Солярис и Землей. Эти факты и многие другие — отсутствие общего опыта, единых понятий, которыми можно было бы обменяться, — соляристы отметают, как верующие отметали аргументы, опровергающие их веру. Впрочем, на что люди надеются, чего они ожидают от „установления информационной связи“ с мыслящими морями? Перечня переживаний, связанных с существованием, бесконечным во времени, существованием, столь древним, что, пожалуй, сами моря не помнят собственного начала? Описания желаний, страстей, надежд и страданий, рождающихся в живых горах при

моментальных образованиях, превращения математики — в бытие; одиночества и смирения — в сущность. Но все эти знания невозможно ни передать, ни переложить на какой-либо земной язык. Любые поиски ценностей и значения будут напрасны. Впрочем, не таких, скорее поэтичных, чем научных, откровений ожидают сторонники Контакта. Даже не признаваясь себе в этом, они ожидают откровения, которое раскрыло бы перед ними суть самого человека! Соляристика — возрождение давно умерших мифов, яркое проявление мистической тоски, о которой открыто, в полный голос, человек говорить не решается. А надежда на искупление — глубоко скрытый краеугольный камень всего здания соляристики…

Но неспособные признать эту правду соляристы старательно обходят любое толкование Контакта. Они причислили его к лику святых, с годами он стал для них вечностью и небом, хотя вначале, при трезвом еще подходе, контакт был основой, вступлением, выходом на новую дорогу, одну из многих дорог…»

Прост и горек анализ Мунциуса, этого «еретика» планетологии, блестящего в отрицании, в развенчании солярийского мифа, мифа о миссии человека. Первый голос, который посмел раз-

даться еще в романтический период развития соляристики, в период полного доверия, все проигнорировали, никто на него не откликнулся. Все это понятно, ведь если принять утверждения Мунциуса, то надо было бы перечеркнуть ту соляристику, которая существовала. Новая, иная соляристика, трезвая, бесстрастная, напрасно ждала своего основоположника. Через пять лет после смерти Мунциуса, когда его книга стала библиографической редкостью, ее нельзя было найти в собраниях ни по соляристике, ни по философии, появилась школа его имени, образовался круг норвежских ученых. Среди последователей Мунциуса было несколько ярких индивидуальностей, по-своему разрабатывавших его наследие. Спокойное изложение Мунциуса сменилось у Эрла Эннессона язвительной иронией; у Фаэланги оно превратилось в какую-то опошленную, потребительскую, иначе — утилитарную соляристику. Фаэланга стремился сконцентрировать все внимание на конкретной пользе, какую можно получить из исследований, и отбросить все фантастические надежды на Контакт, на связь двух интеллектов. Рядом с безжалостным, четким анализом Мунциуса работы всех его духовных учеников выглядят, однако, второстепенными,

если не просто популяризаторскими, исключение составляют только произведения Эннессона и, пожалуй, Такаты. Собственно, Мунциус сам довел все до конца, назвав первый период соляристики периодом «пророков» (к ним он причислял Гизе, Голдена, Севаду), второй — «великим расколом» (тогда единая соляристская вера распалась на множество борющихся между собой сект). Мунциус предвидел и третий период — догматизма и схоластического окостенения, который наступит, когда будет изучено все, что только можно изучить. Но этого не произошло.

Гибарян, думал я, был все же прав, считая рассуждения Мунциуса чрезвычайным упрощением, оставляющим в стороне все, что контрастировало в соляристике с элементами веры; в соляристике, утверждал Гибарян, самое важное не вера, а кропотливый, будничный труд, исследования конкретной, материальной планеты, вращающейся вокруг двух солнц.

В книге Мунциуса лежал сложенный вдвое, совсем пожелтевший оттиск из ежеквартального журнала «Дополнения к Соляристике», одна из первых работ Гибаряна, которую он написал, еще не будучи руководителем Института. После названия «Почему я стал соляристом» шло

краткое, почти конспективное, перечисление явлений, доказывающих реальную возможность контакта. Гибарян принадлежал к тому, пожалуй, последнему поколению исследователей, у которого хватило смелости еще в юные годы прикоснуться к святыне и, не переступая границ веры, определенных наукой, оптимистически верить в материальную силу науки, обещающей успех, если усилия достаточно настойчивы и продолжительны.

Гибарян исходил из хорошо известных, классических исследований биоэлектроников евразийской школы: Хо Ен Мина, Нгъяли и Кавакадзе; их работы продемонстрировали, что существует некоторое сходство между электрическими импульсами и определенными разрядами энергии, происходящими в плазме Океана, которые предшествуют возникновению таких образований, как полиморфы (в зачаточных стадиях) и близнецы-соляриды. Гибарян отбросил антропоморфические интерпретации, всяческие мистификации психоаналитических, психиатрических, нейрофизиологических школ, которые пытались перенести на глеевый Океан человеческие заболевания, например эпилепсию (аналогию которой они видели в судорожных

извержениях асимметриад). Он был среди сторонников Контакта одним из наиболее осторожных и трезвых ученых и совершенно не выносил сенсаций, которые, правда, все реже сопутствовали тому или иному открытию. Кстати, такой дешевой сенсацией стала моя дипломная работа. Она находилась где-то здесь, в библиотеке. Работа, конечно, была не опубликована, а просто снята на пленку и хранилась среди микрофильмов. В своей работе я опирался на любопытные исследования Бергмана и Рейнольдса. Им удалось из мозаики разнообразных процессов выделить и «отфильтровать» компоненты, сопровождающие самые сильные эмоции: отчаяние, скорбь, наслаждение. Я же сопоставил эти данные с разрядами океанических токов, определил амплитуду и профили кривых (на определенных участках сводов симметриад, у основания незрелых мимоидов и др.) и обнаружил между ними аналогию, заслуживающую внимания. Тут же в бульварной прессе появились об этом статейки под дурацкими названиями, вроде «Студень в отчаянии» или «Планета в оргазме».

Но все это мне только помогло (так, по крайней мере, я полагал до недавних пор). Гибарян, как любой другой солярист, не читал всех работ по

соляристике (их выходили тысячи), а тем более работ новичков. Но на меня он обратил внимание, и я получил от него письмо. Это письмо завершило одну и начало другую главу моей жизни.

Сновидения

Океан никак не реагировал на наш эксперимент, и через шесть дней мы его повторили. Станция, до сих пор висевшая неподвижно на пересечении сорок третьей параллели со сто шестнадцатым меридианом, поплыла, оставаясь на высоте четырехсот метров над уровнем Океана, в южном направлении, где, по данным радарных датчиков и радиограмм Сателлоида, активность плазмы значительно возросла.

Двое суток модулируемый моей энцефалограммой пучок лучей наносил с интервалами в несколько часов невидимые удары по почти совсем гладкой поверхности Океана.

К исходу вторых суток мы были у самого полюса. Не успевал диск голубого солнца скрыться за горизонтом, как на противоположной стороне тучи наливались пурпуром, предвещая восход красного. Безбрежная чернота океана и пустое небо над ним заполнялись тогда ослепительной игрой красок: резкие, ядовито-зеленые, блещущие расплавленным металлом лучи сталкивались с приглушенными пурпурными сполохами. Океан пересекали отблески двух

противостоящих дисков, двух пылающих очагов — ртутно-синего и багряного. Стоило появиться в зените самому легкому облачку, и блики на тяжелой пене, стекавшей с гребней волн, становились неправдоподобно радужными.

Сразу же после захода голубого солнца на северо-западе показалась симметриада — о ней уже предупредили сигнализаторы. Она почти сливалась с рыжеватым туманом и лишь зеркально поблескивала, словно гигантский стеклянный цветок, выросший там, где небо сливалось с океанской пеной. Станция не изменила курса, и четверть часа спустя мерцавший рубиновым светом колосс опять скрылся за горизонтом. Прошло еще несколько минут, высокий тонкий столб, основание которого было скрыто от нас, беззвучно поднялся в атмосфере на несколько километров, свидетельствуя о гибели симметриады. Одна половина столба пылала кровавым светом, а вторая отливала ртутью; он разросся в двухцветное дерево, потом превратился в грибовидное облако, верхняя часть его в лучах двух солнц исчезала, уносимая ветром, а нижняя, растянувшись гроздьями на треть горизонта, медленно опадала. Через час от этой картины не осталось и следа.

Прошло еще двое суток, эксперимент был по-

вторен в последний раз, рентгеновские лучи искололи уже немалую часть Океана. На юге показались отлично просматривавшиеся с нашей высоты, несмотря на трехсоткилометровое расстояние, Аррениды — цепь из шести скалистых вершин. Пики Арренид казались обледеневшими, но на самом деле их покрывал налет органического происхождения — горная цепь была когда-то дном Океана.

Мы изменили курс, направившись на юго-восток, и некоторое время следовали вдоль горного барьера, сливавшегося с тучами, типичными для красного дня; потом все исчезло. Со времени первого эксперимента прошло десять дней.

За все это время на Станции ничего не случилось. Автоматическая аппаратура повторяла эксперимент по разработанной Сарториусом программе, и я даже не уверен, контролировал ли кто-нибудь действия автоматов. И все-таки на Станции что-то происходило. Впрочем, не между людьми. Я опасался, что Сарториус потребует опять приступить к работе над аннигилятором; кроме того, я ждал, как прореагирует Снаут, узнав от Сарториуса, что я в некотором роде обманул его, преувеличив опасность, которую могло повлечь за собой уничтожение нейтринной

материи. Однако ничего подобного не последовало, и я первое время терялся в догадках, не понимая, в чем дело. Конечно, я предполагал какую-то ловушку, думал, что подготовка и сами работы держатся в тайне, и поэтому ежедневно заглядывал в помещение без окон под главной лабораторией — там находился аннигилятор. Я ни разу никого не застал; судя по слою пыли, покрывавшему защитный кожух и кабели, к аппаратуре много недель никто не прикасался.

Снаут, подобно Сарториусу, пропал из виду, и с ним нельзя было связаться — его видеофон не отвечал на вызовы. Кто-то, должно быть, управлял движением Станции, но кто именно — не могу сказать, меня это, как ни странно, просто не интересовало. Мне было абсолютно безразлично и то, что Океан не реагировал на опыты; через два-три дня я не только перестал ждать или бояться какой-либо реакции, а вообще забыл и о ней, и об эксперименте. Целые дни я проводил в библиотеке или в кабине вместе с Хэри, следовавшей за мной как тень. Я видел, что наши дела неважны и что такое состояние тупой апатии не может тянуться до бесконечности. Надо было как-то преодолеть его, что-то изменить в наших отношениях, но я, не в силах принять никакого

решения, отгонял от себя даже мысль о перемене. Могу объяснить это лишь одним — мне казалось, что все на Станции, а особенно наши отношения с Хэри, пребывает в состоянии чрезвычайно неустойчивого равновесия и от любого толчка рухнет. Почему? Не знаю. Удивительно, что Хэри испытывала такое же чувство. Когда я думаю об этом теперь, мне представляется, что неуверенность, неустойчивость, предчувствие грозящего землетрясения были вызваны пронизывающим всю станцию присутствием, которое ничем иным себя не обнаруживало. Хотя, возможно, на присутствие указывало кое-что еще, а именно сны. Ни раньше, ни потом — никогда у меня не было таких видений, поэтому я решил записывать их. Благодаря записям я теперь могу попытаться рассказать о своих снах, но рассказ мой будет отрывочным и лишенным непередаваемого разнообразия видений. Каким-то непостижимым образом в пространстве, лишенном неба, земли, пола, потолка, стен, я, не то скорчившийся, не то связанный, оказывался в некоей чуждой мне субстанции, врастал в неживую, неподвижную, бесформенную глыбу, а может, я сам становился глыбой, тела у меня не было, меня окружали едва различимые розовые пятна, плававшие в среде,

которая по оптическим свойствам отличалась от воздуха: только на очень близком расстоянии вещи приобретали отчетливые — даже слишком, неестественно отчетливые — очертания. Вообще в моих снах окружающее было гораздо более конкретным и материальным, чем наяву. Просыпаясь, я испытывал странное чувство: реальностью, подлинной реальностью было сновидение, а то, что я видел, открыв глаза, — лишь ее смутной тенью.

Таково было начало, тот клубочек, из которого разматывалась нить сновидений. Вокруг меня что-то ждало разрешения, моего внутреннего согласия, а я ощущал — что-то во мне ощущало — я не должен поддаваться непонятному искушению, ведь чем больше соблазн, тем страшнее

конец. Собственно, я не знал этого. Если бы я знал, то боялся бы, но страха я не испытывал. Я ждал. Из розового тумана вокруг меня рождалось первое прикосновение, я, неподвижный, как колода, увязший в поглощавшей меня массе, не мог ни отодвинуться, ни пошевельнуться, а то ощупывало мою тюрьму незрячими и одновременно видящими прикосновениями и становилось созидающей меня дланью. До этой минуты я был слеп, и вот я начинаю видеть: под пальцами, ощупывающими мое лицо, рождаются из ничего мои губы, щеки, и, по мере того как это разделенное на бесконечно малые доли прикосновение расширяется, у меня появляются и лицо, и дышащая грудь, вызванные из небытия этим актом созидания — взаимным, ибо и я, созидаемый, созидаю, — и возникает лицо, которого я никогда в жизни не видел, чужое и знакомое, я пытаюсь заглянуть ему в глаза, но не могу — все пропорции искажены, нет никаких направлений, просто в молитвенном молчании мы открываем друг друга и становимся друг другом. И вот я уже стал самим собой, но возведенным в степень бесконечности, а то второе существо — женщина? — застыло вместе со мной. В нас бьется один пульс, мы — единое целое, и вот в эту

замедленную сцену, вне которой ничего не существует и не может существовать, закрадывается нечто необыкновенно жестокое, невозможное, противоестественное. Прикосновение, создавшее нас и золотым покровом окутавшее наши тела, превращается в мириады беспощадных жал. Тела наши, нагие и белые, расплываются, чернеют, покрываются полчищами червей… И вот уже я становлюсь — мы становимся — я становлюсь блестящим, свивающимся и расплетающимся вновь, лихорадочно извивающимся клубком, не кончающимся, нескончаемым; и в этой бесконечности я сам, бесконечный, вою без единого звука, моля о конце, и вдруг как раз в это время разбегаюсь сразу, во все стороны, и во мне растет страдание, во сто крат более сильное, чем наяву, сосредоточенное где-то в черных и багряных далях, страдание, то твердое, как скала, то пылающее огнем иного солнца и иных миров.

Это самый простой из снов, остальные рассказать я не сумею — ужас, пережитый в них, нельзя сравнить ни с чем на свете. Во сне я ничего не знал о существовании Хэри, дневные впечатления и переживания вообще не отражались в моих сновидениях.

Были и другие сны, когда в застывшей, мертвой

темноте я чувствовал себя объектом кропотливых, неторопливых исследований, без каких-либо известных нам инструментов; это было проникновение, раздробление, растворение, вплоть до абсолютного исчезновения, а за всем этим — за молчанием, за постепенным уничтожением — стоял страх: наутро при одном воспоминании о нем сердце начинало колотиться.

А дни тянулись — однообразно, сонно, бесцветно, принося с собой тоскливое отвращение ко всему. Боялся я только ночей, но не знал, как спастись от них. Хэри могла совсем не спать, и я тоже старался бодрствовать. Я целовал и ласкал ее, понимая, что дело тут не в ней и не во мне, мне просто страшно заснуть. Хотя я ни слова не говорил Хэри о своих кошмарах, она, вероятно, о чем-то догадывалась: в ее покорности я ощущал невысказанную обиду и чувство унижения, но ничего не мог поделать. Я уже сказал, что за все время не виделся ни со Снаутом, ни с Сарториусом. Однако Снаут раз в несколько дней давал о себе знать — иногда запиской, а чаще вызовом по видеофону. Он спрашивал, не заметил ли я какого-либо нового явления, каких-либо перемен, чего-нибудь, что могло быть реакцией на столько раз повторенный эксперимент. Я отвечал

отрицательно и сам спрашивал о том же. Снаут на экране только качал головой.

На пятнадцатый день после окончания экспериментов я проснулся раньше, чем обычно, настолько измученный кошмарами, что никак не мог прийти в себя, будто после глубокого наркоза. Сквозь незаслоненный иллюминатор падали первые лучи красного солнца. Река пурпурного огня пересекала гладь Океана, и я заметил, что до сих пор безжизненная поверхность его постепенно мутнеет. Она уже не была черной, побелела, словно ее окутала легкая дымка; на самом деле дымка была довольно плотной. То там, то сям возникало волнение, потом неопределенное движение охватило все видимое пространство. Черную поверхность закрыли пленки, светло-розовые на гребнях волн и жемчужно-коричневые во впадинах. Сначала игра красок создавала из этого странного океанского покрова длинные ряды застывших волн, потом все смешалось, весь Океан покрылся пеной, огромные лоскутья пены поднимались вверх — и под Станцией, и вокруг нее. Со всех сторон одновременно взвивались в рыжее, пустое небо перепончатокрылые пенные облака, не похожие на обычные тучи. Края их вздувались, как воздушные шары. Од-

ни, на фоне низко пылавшего над горизонтом солнечного диска, казались угольно-черными, другие, в зависимости от того, под каким углом освещали их лучи восхода, вспыхивали рыжими, вишневыми, малиновыми отблесками. Казалось, Океан шелушится, кровавые хлопья то открывали черную поверхность, то заслоняли ее новым налетом затвердевшей пены. Некоторые образования устремлялись вверх совсем близко, всего в нескольких метрах от иллюминаторов, а одно шелковистым на вид краем даже задело стекло. Те рои, которые взлетели первыми, уже едва виднелись, словно разлетевшиеся птицы, расплывались, таяли в зените.

Станция остановилась и пробыла на одном месте около трех часов, а необычное явление не прекращалось. Солнце уже опустилось за горизонт, океан под нами окутала тьма, а мириады легких, розовеющих силуэтов бесконечными вереницами все уходили и уходили в небо, будто, невесомые, скользили по невидимым струнам. Небывалое вознесение разодранных крыльев продолжалось до полной темноты.

Безмятежно величавое явление потрясло Хэри, но я не мог его объяснить: для меня, соляриста, оно было столь же ново и непонятно, как и для

нее. Впрочем, формы и образования, не отмеченные нигде в систематике, можно наблюдать на Солярке два-три раза в год, а если повезет — то и чаще.

На следующую ночь, приблизительно за час до восхода голубого солнца, мы стали свидетелями еще одного феномена: Океан фосфоресцировал. Сначала на его невидимой во тьме поверхности появились кое-где пятна света, а точнее, слабое свечение, белесое, расплывчатое, двигавшееся вместе с волнам. Пятна сливались, увеличивались, наконец призрачное сияние достигло линии горизонта. Интенсивность свечения нарастала в течение приблизительно пятнадцати минут, потом все закончилось удивительным образом: Океан стал угасать, с запада надвигался фронт темноты шириной в несколько сотен миль, а когда он достиг Станции и миновал ее, еще светившаяся часть Океана стала выглядеть, как отступившее на восток, стоящее высоко в небе зарево. Достигнув самого горизонта, зарево стало похоже на северное сияние и сразу исчезло. Вскоре снова взошло солнце, и опять под ним расстилалась безжизненная пустыня, чуть тронутая морщинами волн, посылавших ртутные отблески в иллюминаторы Станции. Свечение

океана описывалось уже не раз; в ряде случаев его наблюдали перед взрывом асимметриад, вообще же оно было типичным признаком локального усиления активности плазмы. Однако в течение следующих двух недель ни на Станции, ни за ее пределами ничего не произошло. Только раз, среди ночи, я услышал — доносившийся одновременно ниоткуда и отовсюду — далекий крик, необычайно высокий, резкий и протяжный, словно во сто крат усиленный плач младенца. Внезапно очнувшись от кошмара, я долго лежал, вслушиваясь, не совсем уверенный, не снится ли мне и этот крик. Накануне из лаборатории, частично расположенной над нашей кабиной доходили приглушенные отзвуки, словно там передвигали тяжелый груз или аппаратуру; мне показалось, что крик тоже раздается наверху, впрочем, непонятно было, как он проходит сквозь звуконепроницаемый слой, разделяющий оба яруса. Этот предсмертный вопль длился почти полчаса. Обливаясь потом, почти обезумев, я хотел уже броситься наверх — нервы мои не выдержали. Но тут вопль утих, и снова слышно было, как передвигали что-то тяжелое.

Два дня спустя, вечером, когда мы с Хэри сидели в маленькой кухне, неожиданно вошел Снаут.

На нем был костюм, самый настоящий, такой же, какие носят на Земле, в нем Снаут выглядел несколько иначе — выше и старше. Не обращая на нас внимания, он подошел к столу, наклонился над ним и, стоя, начал есть с хлебом холодные мясные консервы прямо из банки. Снаут задевал банку рукавом, на нем оставались жирные пятна.

— Ты весь перемажешься, — сказал я.

— М-мм? — промычал он с набитым ртом.

Снаут ел так, словно у него несколько дней ни крошки во рту не было, потом налил себе полстакана вина, выпил залпом, вытер губы и, переведя дух, посмотрел на нас воспаленными глазами. Повернувшись ко мне, Снаут проворчал:

— Бороду отпускаешь?.. Ну, ну…

Хэри гремела посудой в раковине. Снаут покачивался на каблуках, морщился, громко причмокивал, стараясь избавиться от застрявших в зубах крошек. По-моему, он это делал нарочно.

— Бриться не хочется, да? — спросил Снаут, назойливо разглядывая меня.

Я не ответил.

— Смотри! — добавил он немного погодя. — Советую тебе. Гибарян тоже не хотел бриться.

— Иди спать, — огрызнулся я.

— И не подумаю! Давай-ка потолкуем. Слушай, Кельвин, а может, он к нам хорошо относится? Может, он хочет нас осчастливить, только пока не знает как? Он читает в нашем мозгу желания, а ведь лишь два процента нервных процессов осознаются. Значит, он знает нас лучше, чем мы сами. Поэтому его нужно слушаться. Нужно соглашаться с ним. Понимаешь? Ты не хочешь? Почему, — захныкал Снаут, — почему ты не бреешься?

— Перестань, — пробормотал я, — ты пьян.

— Что? Пьян? Я? А почему бы и нет? Неужели человек, который тащился со всеми своими потрохами из одного конца Галактики в другой, чтобы узнать, чего он стоит, не может напиться? Почему? Ты веришь в особую миссию человека, а, Кельвин? Гибарян, когда еще брился, рассказывал мне про тебя… Ты точь-в-точь такой, как он говорил… Только не ходи в лабораторию, а то еще потеряешь веру… там творит Сарториус, наш Фауст наоборот: он, видишь ли, ищет средство от бессмертия. Последний рыцарь святого Контакта, только такой и мог появиться среди нас… у него уже была неплохая идейка — длительная

агония. Недурно, а? Agonia perpetua[3]… соломка… соломенные шляпы… Как ты можешь не пить, Кельвин?

Его глаза в щелочках опухших век уперлись в Хэри, неподвижно стоявшую у стены.

— О, пенорожденная Афродита… — напыщенно начал он и поперхнулся смехом. — Почти… так… Правда, Кельвин? — едва выговорил он, кашляя.

Я по-прежнему сохранял спокойствие, но оно постепенно переходило в холодное бешенство.

— Брось! — прошипел я. — Уходи отсюда!

— Гонишь меня? Ты тоже? Бороду отпускаешь, меня гонишь? Тебе не надо ни предостережений, ни советов? А ведь я — верный товарищ по звездам. Кельвин, давай откроем донные люки и станем кричать ему туда, вниз, может, он услышит? Но как его зовут? Представляешь себе, мы попридумывали названия всем звездам и планетам, а может, у них уже были свои имена? Мы же узурпаторы! Слушай, пойдем туда! Станем кричать… скажем ему, во что он нас превратил, пусть он испугается… построит нам серебряные симметриады и помолится за нас своей математикой, и пошлет нам окровавленных ангелов, и

---

[3] Примечания: 3
Вечная агония (*лат.*).

его мука будет нашей мукой, его страх — нашим страхом, и нас станет он молить о конце. Ведь все это — и он сам, и то, что он делает, — мольба о конце! Почему ты не смеешься? Я ведь шучу. Если бы у людей было больше чувства юмора, может, до этого не дошло бы. Ты знаешь, чего хочет Сарториус? Он хочет наказать его, этот Океан, хочет заставить его кричать всеми горами сразу… Ты думаешь, у него не хватит смелости представить такой план ареопагу склеротиков, пославшему нас сюда искупать не нашу вину? Ты прав, он струсит… струсит из-за соломенной шляпы. Про нее он никому не проболтается, на это у нашего Фауста не хватит храбрости…

Я молчал. Снаута все сильнее пошатывало. Слезы текли по его лицу, капали на костюм.

— Кто это сделал? Кто это с нами сделал? Гибарян? Гизе? Эйнштейн? Платон? Они же преступники! Подумай, ведь в ракете человек может лопнуть, как мыльный пузырь, или застыть, или изжариться, или так быстро истечет кровью, что не успеет и крикнуть, а потом только косточки будут греметь на орбитах Ньютона с поправкой Эйнштейна. Чем тебе не погремушки прогресса! А мы — браво, вперед по славному пути! И вот пришли и сидим в этих клетушках, над этими

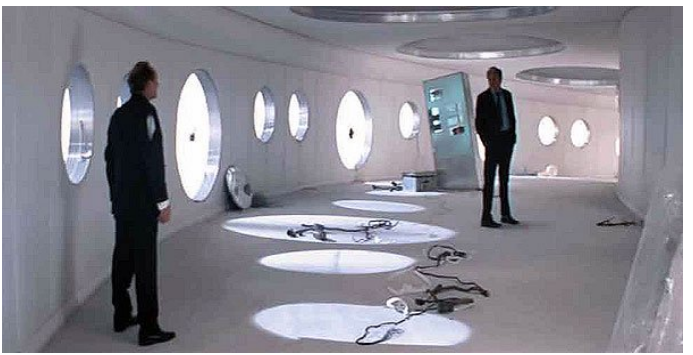
тарелками, среди бессмертных рукомойников, с отрядом верных шкафов и преданных клозетов… Осуществились наши мечты… посмотри, Кельвин. Я болтаю спьяна, но ведь должен кто-то это сказать. Должен же кто-то, в конце концов… Ты, невинное дитя, сидишь здесь, на бойне, щетиной зарос… А кто виноват? Сам ответь…

Он медленно повернулся и вышел, схватившись на пороге за дверь, чтобы не упасть; из коридора доносилось эхо его шагов. Я старался не смотреть на Хэри, но неожиданно глаза наши встретились. Я хотел подойти к ней, обнять ее, погладить по голове, но не смог. Не смог.

Удачный результат

Все дни трех последующих недель были похожи друг на друга — заслонки иллюминаторов опускались и поднимались, ночью один кошмар сменялся другим; утром мы вставали, и начиналась игра. Была ли это игра? Я притворялся спокойным, Хэри тоже; молчаливый уговор, заведомый, взаимный обман стали нашим последним прибежищем. Мы много говорили о том, как будем жить на Земле: поселимся где-нибудь около большого города и больше никогда не расстанемся с голубым небом и зелеными деревьями; вместе придумывали обстановку нашего будущего дома, обсуждали наш сад и даже спорили о деталях… — о живой изгороди, о скамейках… Верил ли я хоть секунду? Нет. Я знал, что это невозможно. Если даже Хэри покинет Станцию живой, то все равно не спустится на Землю: туда может прилететь только человек, а человек — это его документы. При первой же проверке закончилось бы наше путешествие. Они попытаются установить ее личность, разлучат нас, а это сразу же выдаст Хэри. Станция — единственное место, где мы можем жить вместе. Догадывалась ли

Хэри? Несомненно. Сказал ли ей кто-нибудь? В свете того, что произошло, пожалуй, да.



Однажды ночью сквозь сон я услышал, что Хэри тихо встает. Я хотел обнять ее. Только молча, лишь в темноте, мы могли еще чувствовать себя свободными; в отчаянии, которое окружало нас со всех сторон, это забытье было кратковременной отсрочкой пытки. Хэри, по-моему, не заметила, что я очнулся. Не успел я протянуть руку, как она уже встала с постели. В полусне я

услышал шлепанье босых ног. Мне почему-то стало страшно.

— Хэри, — шепнул я. Крикнуть я не решился.

Я сел на койке. Дверь в коридор была приоткрыта. Тоненькая полоска света наискосок пересекала комнату. Послышались приглушенные голоса. Она с кем-то разговаривает? С кем?

Я вскочил с постели, но вдруг снова испугался, ноги подкосились, я прислушался — все тихо. Медленно улегся я в постель. Голова раскалывалась. Я начал считать; дошел до тысячи; дверь бесшумно открылась; Хэри проскользнула в комнату и застыла, прислушиваясь к моему дыханию. Я старался дышать ровно.

— Крис?.. — шепотом позвала Хэри.

Я не откликнулся. Она быстро легла. Я чувствовал, что она боится шевельнуться, и лежал рядом без сил. Не знаю, сколько это длилось. Я попытался придумать какой-нибудь вопрос, но, чем больше проходило времени, тем яснее я сознавал, что не заговорю первым. Примерно через час я заснул.

Утро прошло как всегда. Я подозрительно рассматривал Хэри, когда она не могла этого заметить. После обеда мы сидели рядом, напротив обзорного иллюминатора, за которым

плыли низкие рыжие тучи. Станция скользила в них, как корабль. Хэри читала книгу, а я уставился в Океан. Теперь нередко это бывало моим единственным развлечением и отдыхом. Я обнаружил, что, если определенным образом наклонить голову, можно разглядеть в стекле наши отражения, прозрачные, но четкие. Я убрал руку с подлокотника. Хэри — я видел в стекле, — убедившись, что я засмотрелся в Океан, быстро наклонилась над подлокотником и прикоснулась губами к тому месту где только что лежала моя рука. Я по-прежнему сидел неестественно прямо, Хэри склонилась над книгой.

— Хэри, — сказал я, — куда ты выходила сегодня ночью?

— Ночью?

— Да.

— Что ты… тебе это приснилось, Крис. Я никуда не выходила.

— Не выходила?

— Нет. Тебе приснилось.

— Наверное, — ответил я. — Да, наверное, мне все приснилось…

Вечером, когда мы ложились спать, я снова начал говорить о нашем путешествии, о возвращении на Землю.

— Ах, я не хочу об этом слышать, — проговорила Хэри. — Не надо, Крис. Ведь ты знаешь…

— Что?

— Да так, ничего.

Когда мы уже лежали, Хэри сказала, что ей хочется пить.

— Там на столе стоит стакан сока, принеси мне его, пожалуйста.

Она отпила половину и протянула мне стакан. Мне пить не хотелось.

— За мое здоровье, — улыбнулась Хэри.

Я выпил сок, он показался мне немного солоноватым, но я не придал этому значения.

— О чем же нам говорить, если ты не хочешь говорить о Земле? — спросил я, когда Хэри погасила свет.

— Ты женился бы, если бы меня не было?

— Нет.

— Никогда?

— Никогда.

— Почему?

— Не знаю. Десять лет я прожил один и не женился. Не надо об этом, дорогая…

В голове шумело, словно я выпил бутылку вина.

— Нет, давай поговорим, давай. А если бы я тебя

попросила?

— Чтобы я женился? Глупости, Хэри. Мне никто не нужен, мне нужна только ты.

Хэри склонилась надо мной. Я ощущал ее дыхание на своих губах, она так крепко обняла меня, что невероятная сонливость на мгновение прошла.

— Скажи об этом иначе.

— Я люблю тебя.

Она уткнулась головой в мое плечо, я почувствовал, как дрожат ее веки, Хэри плакала.

— Хэри, что с тобой?

— Ничего. Ничего. Ничего, — повторяла она все тише.

Я пытался открыть глаза, но они сами закрывались. Не знаю, когда я заснул.

Меня разбудил красный рассвет. Голова будто налилась свинцом, шея не гнулась, словно одеревенела. Во рту пересохло, я не мог пошевелить языком. Может, я чем-то отравился, подумал я, с трудом поднимая голову. Я протянул руку в сторону Хэри и наткнулся на остывшую простыню.

Я вскочил.

Койка пуста, в комнате — никого. Солнце красными дисками отражалось в стекле. Я встал. Выглядел я, вероятно, смешно — качался как

пьяный, хватаясь за мебель, я дотащился до шкафа: в душевой — никого. В коридоре — тоже. В лаборатории — никого.

— Хэри!!! — закричал я посреди коридора, бессмысленно размахивая руками. — Хэри… — прохрипел я еще раз, обо всем уже догадавшись.

Не помню точно, что происходило потом. Кажется, я бегал полуголый по всей Станции, припоминаю, что заглядывал даже в трюм, потом в нижний склад и бил кулаками в закрытые двери. Возможно, я был там несколько раз. Трапы гудели, я падал, поднимался, снова мчался куда-то, добрался даже до прозрачного заграждения, за которым был выход наружу — двойные бронированные двери. Я толкал их изо всех сил и умолял, чтобы это оказался сон. Кто-то рядом со мной тормошил меня, тянул куда-то. Потом я очутился в малой лаборатории. На мне была мокрая холодная рубашка, волосы слиплись. Ноздри и язык обжигал спирт. Я полулежал, тяжело дыша, на чем-то металлическом, а Снаут в своих грязных полотняных брюках возился у шкафчика с лекарствами, переворачивая там что-то; инструменты и стекло ужасно гремели.

Вдруг я увидел Снаута около себя; он, наклонившись, внимательно заглядывал мне в глаза.

— Где она?

— Ее нет.

— Но… но Хэри…

— Нет больше Хэри, — медленно, четко произнес он, нагнувшись еще ниже к моему лицу, словно он ударил меня, а теперь хочет посмотреть, что из этого вышло.

— Она вернется, — прошептал я, закрывая глаза. И впервые я больше ничего не боялся, не боялся призрачного возвращения, не понимал, как мог его когда-то бояться.

— Выпей.

Снаут подал мне стакан с какой-то теплой жидкостью. Я пригляделся к ней и вдруг выплеснул ему в лицо. Он отступил, протирая глаза; я подскочил к нему. Он был такой маленький.

— Это ты?!

— Ты о чем?

— Не ври, сам знаешь, о чем. Ты говорил с ней прошлой ночью? И велел ей дать мне вчера снотворное, чтобы… Что ты с ней сделал? Говори!!!

Снаут поискал что-то в нагрудном кармане, вынул помятый конверт. Я вырвал его. Конверт был заклеен, не надписан. Я вскрыл его. Выпал сложенный вчетверо листок. Крупный, немного детский, неровный почерк. Я узнал его.

«Любимый, я его сама попросила. Он добрый. Ужасно, что мне пришлось обмануть тебя, иначе было нельзя. Ты можешь сделать для меня одно — слушайся его и береги себя. Ты замечательный».

Внизу стояло одно зачеркнутое слово, я сумел прочитать его: «Хэри». Она написала, потом замарала; была еще одна буква — не то Х, не то К — не разобрать. Я прочитал раз, другой. Еще раз. Я уже протрезвел, не мог ни кричать, ни стонать.

— Как? — прошептал я. — Как?

— Потом, Кельвин. Держи себя в руках!

— Я держусь. Говори! Как?

— Аннигиляция.

— Как? Ведь аппарат?.. — вырвалось у меня.

— Аппарат Роша не годился. Сарториус сделал другой, специальный дестабилизатор. Малый. Радиус действия — несколько метров.

— Что с ней?..

— Она исчезла. Вспышка и воздушная волна. Слабая волна — и все.

— Малый радиус действия, говоришь?

— Да. На больший не было материалов.

Стены вдруг стали падать на меня. Я закрыл глаза.

— Господи… она… вернется, ведь вернется…

— Нет.

— Почему не вернется?

— Не вернется, Кельвин. Ты помнишь вздымающуюся пену? После этого они не возвращаются.

— Никогда?

— Никогда.

— Ты убил ее, — тихо сказал я.

— Да. А ты бы не поступил так? На моем месте?

Я вскочил, стал метаться от стены до угла и обратно. Девять шагов. Поворот. Девять шагов. Я остановился перед Снаутом.

— Послушай, подадим рапорт. Потребуем прямой связи с Советом. Это можно сделать. Они согласятся. Должны. Планета будет исключена из конвенции Четырех. Все средства допустимы. Используем генератор антиматерии. Думаешь, есть хоть что-то, что может противостоять антиматерии? Нет ничего! Ничего! Ничего! — победоносно кричал я, слепой от слез.

— Хочешь его уничтожить? — спросил Снаут. — Зачем?

— Уходи! Оставь меня!

— Не уйду.

— Снаут!

Я смотрел ему в глаза. Он отрицательно покачал головой.

— Чего ты хочешь? Чего ты от меня добива-

ешься?

Снаут подошел к столу.

— Хорошо. Подадим рапорт.

Я отвернулся и снова заметался по комнате.

— Садись.

— Отстань от меня.

— Есть два вопроса. Первый — факты. Второй — наши желания.

— И об этом надо говорить именно сейчас?

— Да, сейчас.

— Не хочу, понимаешь? Мне на все наплевать!

— Последний раз мы послали сообщение перед смертью Гибаряна. Более двух месяцев назад. Мы обязаны подробно доложить о процессе появления…

— Ты замолчишь? — Я схватил его за руку.

— Бей меня, если хочешь, — сказал Снаут, — но я все равно не замолчу.

Я выпустил его руку.

— Делай что хочешь.

— Видишь ли, Сарториус попытается скрыть определенные факты. Я почти уверен в этом.

— А ты не станешь?

— Нет. Теперь нет. Это не только наше дело. Ты ведь понимаешь, о чем идет речь. Океан проявил способность к разумным действиям, способность

к органическому синтезу наивысшего порядка, которая нам неизвестна. Океан знает строение, микроструктуру, обмен веществ нашего организма…

— Хорошо, — начал я. — Почему ты замолчал? Океан провел на нас серию… серию опытов. Психическая вивисекция. Основанная на знаниях, похищенных у нас. Он не посчитался с тем, к чему мы стремимся.

— Кельвин, это уже не факты, даже не выводы. Это гипотезы. В каком-то смысле он считался с тем, чего хотела некая замкнутая, глубоко спрятанная часть нашего сознания. Это мог быть — подарок…

— Подарок! Господи!

Я засмеялся.

— Прекрати! — крикнул Снаут, хватая меня за руку.

Я стиснул его пальцы. Я стискивал их все сильнее и сильнее, пока не хрустнули суставы. Снаут спокойно, прищурившись, смотрел на меня. Я разжал руку и отошел в угол. Стоя лицом к стене, я произнес:

— Постараюсь без истерики.

— Пустяки. Что мы станем требовать?

— Говори ты. У меня нет сил. Она сказала что-

нибудь перед тем, как?..

— Нет. Ничего. Я считаю, что теперь появилась возможность…

— Возможность? Какая возможность? Какая?.. А-а… — проговорил я тише, глядя ему в глаза, и вдруг все понял. — Контакт? Снова Контакт? Нам все мало? И ты, ты сам, и весь этот сумасшедший дом… Контакт? Нет, нет, нет. Без меня.

— Почему? — спросил Снаут абсолютно спокойно. — Кельвин, ты по-прежнему, а теперь еще больше, чем когда-либо, вопреки разуму принимаешь его за человека. Ты ненавидишь его.

— А ты нет?..

— Нет, Кельвин, он же слеп…

— Слеп? — повторил я, думая, что ослышался.

— Конечно, с нашей точки зрения. Он не воспринимает нас так, как мы воспринимаем друг друга. Мы видим лицо, тело и отличаем друг друга. Для него это — прозрачное стекло. Он проник в глубь нашего сознания.

— Ну хорошо. И что из этого? К чему ты ведешь? Если он сумел оживить, создать человека, который существует лишь в моей памяти, и сделал это так, что ее глаза, движения, ее голос… голос…

— Говори! Говори! Слышишь!!!

— Я говорю… говорю… Да… Итак… голос… отсю-

да следует, что он может читать нас, как книгу. Понимаешь, что я имею в виду?

— Да. Если бы он захотел, то мог бы с нами договориться?

— Конечно. Разве неясно?

— Нет. Безусловно, нет. Ведь он мог взять лишь рецепт производства, который состоит не из слов. Фиксированная запись памяти имеет белковую структуру, как головка сперматозоида или яйцеклетка. Там, в мозгу, ведь нет никаких слов, чувств. Воспоминание человека — образ, записанный языком нуклеиновых кислот на макромолекулярных асинхронных кристаллах. Итак, он взял у нас то, что более всего подавлено, крепко-накрепко закрыто, глубже всего спрятано, понимаешь? Но он мог не знать, что это, какое имеет для нас значение… Видишь ли, если бы мы смогли создать симметриаду и бросили ее в Океан, зная архитектуру, технологию и строительные материалы, но не представляя себе, зачем, для чего она служит, что она для Океана…

— Это возможно, — сказал я. — Да, возможно. В таком случае он, вероятно, вообще не хотел подавить, унизить нас. Вероятно. И только нечаянно…

Губы у меня задрожали.

— Кельвин!

— Да. Да. Хорошо. Теперь хорошо. Ты добр. Он — тоже. Все добры. Но зачем? Объясни мне! Зачем? Зачем ты это сделал? Что ты ей сказал?

— Правду.

— Правду, правду! Что именно?

— Ты же знаешь. Идем ко мне. Будем писать рапорт. Идем.

— Подожди. Чего ты, собственно, хочешь? Ты что, намереваешься остаться на Станции?

— Конечно.

Древний мимоид

Я сидел у огромного иллюминатора и глядел на Океан. Делать мне было нечего. Рапорт, составленный за пять дней, теперь представлял собой пучок волн, мчащийся в пустоте, где-то за созвездием Ориона. Когда пучок достигнет темной, пыльной туманности, распростершейся на территории восьми триллионов кубических миль и поглощающей любой сигнал и луч света, он попадет в первый из цепи передатчиков. Оттуда от одного ретранслятора к другому, прыжками длиной в миллиард километров, он будет нестись по кривой огромного лука, пока последний передатчик, металлическая глыба, до отказа забитая точными приборами, с вытянутой мордочкой направляющих антенн, не соберет лучи еще раз и не направит их дальше в пространство, к Земле.

Потом пройдут месяцы, и такой же пучок энергии, направленный с Земли, протянув за собой борозду импульсных искажений в гравитационном поле Галактики, достигнет космической тучи, проскользнет, усиленный, вдоль цепи свободно дрейфующих ретрансляторов и, не сбавляя скорости, помчится к двойному солнцу Солярис.

Океан под высоким красным солнцем выглядел чернее, чем когда-либо. Рыжий туман растапливал его на горизонте. День был невероятно жарким и, казалось, предвещал одну из тех чудовищных бурь, которые изредка, несколько раз в году, бушуют на планете. Есть основания предполагать, что единственный житель планеты контролирует климат и сам вызывает бури.

Еще несколько месяцев мне предстояло смотреть на него из иллюминатора, с высоты наблюдать за непринужденностью белого золота и усталого багрянца, время от времени переливающихся в каком-то жидком извержении, в серебристом волдыре симметриады, следить за передвижением наклоненных против ветра тонких «мелькальцев», встречаться с полуразвалившимися, осыпающимися мимоидами.

Когда-нибудь все экраны видеофонов заговорят, засветятся, оживет давно умолкшая электронная сигнализация, приведенная в движение импульсом, посланным издалека, с расстояния в сотни тысяч километров. Сигналы возвестят о приближении металлического исполина, который с протяжным ревом гравитаторов опустится над Океаном. Это будет или «Улисс», или «Прометей», или другой громадный крейсер дальнего косми-

ческого плавания. Когда я спущусь по трапу с плоской крыши станции, то увижу на палубах ряды массивных роботов в белых панцирях. Роботы не то что люди — они безгрешны и невинны, они исполняют каждый приказ — вплоть до уничтожения себя или преграды, ставшей на пути, если такая программа заложена в кристаллах их памяти. А потом корабль мягко поднимется, полетит быстрее звука, оставляя за собой достигающий Океана грохот, разбитый на басовые октавы. От мысли о возвращении домой лица людей засияют.

Но у меня не было дома. Земля? Я думал об огромных, шумных, многолюдных городах, в которых я потеряюсь, исчезну, как исчез бы, если бы, как собирался недавно, бросился в Океан, тяжело вздымающийся в темноте. Я утону в толпе. Я буду неразговорчив, внимателен, и поэтому меня станут ценить в обществе, у меня появится много знакомых, даже приятелей, будут женщины, а может, только одна женщина. Какое-то время я стану заставлять себя улыбаться, кланяться, вставать, производить тысячу мелких действий, из которых складывается земная жизнь, пока не привыкну Появятся новые увлечения, новые занятия, но ничто уже не захватит меня целиком.

Никто и ничто. Возможно, ночью я буду смотреть туда, где на небе скопление космической пыли черной завесой скрывает сияние двух солнц, вспоминать все, даже то, о чем я сейчас думаю, вспоминать со снисходительной улыбкой, в которой будет немного горечи и превосходства, мои безумства и надежды. В будущем я не стану хуже того Кельвина, который был готов пожертвовать всем ради дела — ради Контакта. Ни у кого не будет права меня осудить.

В комнату вошел Снаут. Он оглядел все вокруг, потом посмотрел на меня; я встал и подошел к столу.

— Ты чего-то хочешь?

— Мне кажется, тебе нечего делать? — спросил Снаут, моргая. — Я мог бы тебе предложить кое-какие расчеты, правда не очень срочные…

— Спасибо тебе, — улыбнулся я, — но это лишнее.

— Ты уверен? — спросил он, глядя в окно.

— Да. Я тут думал о разных вещах и…

— Мне хотелось бы, чтобы ты поменьше думал.

— Ах, ты совершенно не представляешь, о чем идет речь. Скажи мне… ты… веришь в Бога?

Снаут проницательно посмотрел на меня.

— Что? Кто сейчас верит…

В его глазах светилось беспокойство.

— Это все не так просто, — начал я беспечным тоном. — Ведь меня интересует не традиционный земной Бог. Я не разбираюсь в религиях и, может, ничего нового не придумал. Ты случайно не знаешь, существовала ли когда-нибудь вера в Бога слабого, в Бога-неудачника?

— Неудачника? — удивился Снаут. — Как ты это понимаешь? В каком-то смысле Бог каждой религии был слабым, ведь его наделяли человеческими чертами, только преувеличенными. Бог Ветхого завета, например, был вспыльчивым, жаждал преклонения и жертв, завидовал другим богам… греческие боги из-за своих склок и семейных раздоров тоже были по-человечески неудачниками…

— Нет, — прервал я его, — я имею в виду Бога, несовершенство которого не связано с простодушием людей, сотворивших его, его несовершенство — основная, имманентная черта. Это Бог, ограниченный в своем всевидении, всесилии, он ошибается в предсказаниях будущего своих начинаний, ход которых зависит от обстоятельств и может устрашать. Это Бог… калека, который всегда жаждет большего, чем может, и не сразу

понимает это. Бог, который изобрел часы, а не время, что они отсчитывают, изобрел системы или механизмы, служащие определенным целям, а они переросли эти цели и изменили им. Он создал бесконечность, которая должна была показать его всемогущество, а стала причиной его полного поражения.

— Когда-то манихейство… — неуверенно начал Снаут. Странная сдержанность, с какой он обращался ко мне в последнее время, исчезла.

— Это не имеет ничего общего с добром и злом, — тут же прервал я его. — Этот Бог не существует вне материи и не может от нее избавиться, а лишь этого жаждет…

— Подобной религии я не знаю, — сказал Снаут, помолчав. — Такая никогда не была нужна. Если я правильно тебя понял, а боюсь, что понял правильно, ты думаешь о каком-то эволюционирующем Боге, который развивается во времени и растет, возносясь на все более высокий уровень могущества, дорастая до сознания своего бессилия! Этот твой Бог — существо, для которого его божественность стала безвыходным положением; поняв это, Бог впал в отчаяние. Но ведь отчаявшийся Бог — это же человек, дорогой мой! Ты имеешь в виду человека… Это не только ни-

куда не годная философия, это даже для мистики слабовато.

— Нет, — ответил я упрямо, — я не имею в виду человека. Возможно, некоторые черты моего Бога соответствовали бы такому предварительному определению, но лишь потому, что оно далеко не полно. Нам только кажется, что человек свободен в выборе цели. Ее ему навязывает время, в которое он родился. Человек служит этим целям или восстает против них, но объект служения или бунта задан ему извне. Полная свобода поиска цели возможна, если человек окажется совсем один, но это нереально, ибо человек, который вырос не среди людей, никогда не станет человеком. Этот… мой… Бог — существо, лишенное множественного числа, понимаешь?

— Ах, — сказал Снаут, — как это я сразу…

Он показал рукой на Океан.

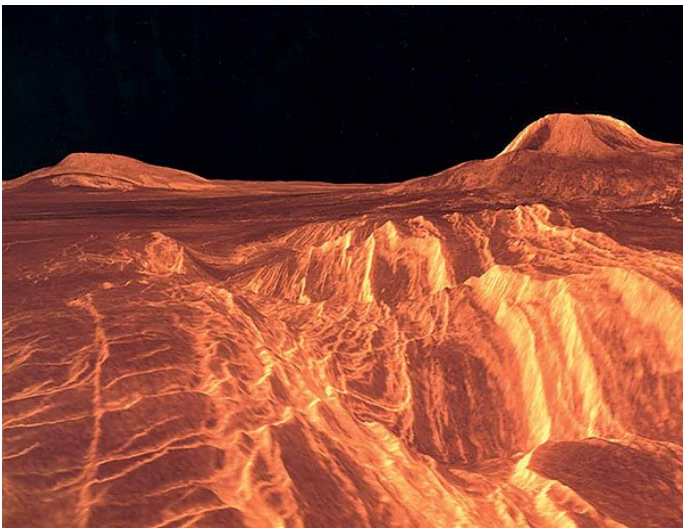
— Нет, — возразил я, — и не он. Слишком рано замкнувшись в себе, он миновал в своем развитии возможность стать божеством. Он скорее отшельник, пустынник космоса, а не его Бог… Он повторяется, Снаут, а тот, о ком я думаю, никогда бы этого не сделал. А вдруг он возникает как раз теперь, где-то, в каком-то уголке Галактики, и вот-вот начнет с юношеским задором гасить одни

звезды и зажигать другие. Мы заметим это спустя некоторое время…

— Мы уже это заметили, — кисло проговорил Снаут. — Новые и сверхновые… по-твоему, это свечи на его алтаре?

— Если ты собираешься так дословно понимать то, что я говорю…

— А может, именно Солярис — колыбель твоего божественного младенца, — заметил Снаут. От улыбки вокруг его глаз пролегли тонкие морщинки. — Может, именно он зародыш Бога отчаявшегося, может, жизненные силы его детства пока превосходят его разум, а все то, что содержится в наших соляристических библиотеках, — просто длинный перечень его младенческих рефлексов…



— А мы какое-то время были его игрушками, — договорил я. — Да, возможно. И знаешь, что тебе удалось? Создать абсолютно новую гипотезу на тему планеты Солярис, а это нешуточное дело! Вот и объяснение, почему невозможно установить Контакт, почему нет ответа, откуда берутся

некоторые — назовем их так — экстравагантности в обращении с нами. Психика маленького ребенка…

— Я отказываюсь от авторства, — буркнул Снаут, останавливаясь у иллюминатора.

Мы долго смотрели на черные волны. На восточной стороне горизонта в тумане проступало бледное продолговатое пятно.

— Откуда ты взял идею несовершенного Бога? — спросил вдруг Снаут, не отводя глаз от залитой светом пустыни.

— Не знаю. Она мне показалась глубоко верной. Это единственный Бог, в которого я мог бы поверить. Его мука — не искупление, она никого не избавляет, ничему не служит, она просто есть.

— Мимоид… — сказал совсем тихо, изменившимся голосом Снаут.

— Что ты сказал? Да, да. Я заметил его еще раньше. Совсем древний.

Мы вглядывались в горизонт, затянутый рыжей дымкой.

— Я полечу, — неожиданно сказал я. — Я еще ни разу не покидал станции, а тут — такая прекрасная возможность. Я вернусь через полчаса…

— Что? — Снаут широко открыл глаза. — Ты полетишь? Куда?

— Туда. — Я показал на маячившее в тумане светлое пятно. — А что тут особенного? Я возьму маленький геликоптер. Смешно, знаешь ли, если на Земле мне придется когда-нибудь сознаться, что я, солярист, ни разу не ступил на солярийскую почву.

Я подошел к шкафу и стал выбирать себе комбинезон. Снаут молча следил за мной, а потом сказал:

— Не нравится мне это.

— Что? — обернулся я с комбинезоном в руках. Меня охватило давно забытое возбуждение. — В чем дело? А ну, выкладывай! Ты боишься, как бы я… Чепуха! Даю тебе честное слово. Я даже не подумал об этом. Нет, честное слово, нет.

— Я полечу с тобой.

— Спасибо, но уж лучше я полечу один. Все-таки кое-что новое, совершенно новое, — торопливо говорил я, натягивая комбинезон.

Снаут что-то еще твердил, но я не обращал на него внимания, разыскивая необходимые вещи.

Он пошел за мной на взлетную площадку, помог мне выкатить машину из бокса на середину пускового стола. Когда я натягивал скафандр, Снаут неожиданно спросил:

— Ты по-прежнему держишь свое слово?

— Господи, Снаут, ты опять? Держу. Я же тебе обещал. Где запасные баллоны?

Снаут больше ничего не говорил. Закрыв прозрачный купол, я подал ему знак рукой. Он включил подъемник, я медленно выехал на верхнюю часть станции. Мотор проснулся, протяжно зарокотал, винт завертелся, и аппарат с удивительной легкостью поднялся вверх, оставив под собой все уменьшавшийся серебристый диск Станции.

Я впервые был один над Океаном. За иллюминатором он производил совершенно другое впечатление. Возможно, это зависело от высоты полета — я скользил всего в нескольких десятках метров от поверхности. Только теперь я не просто знал, а чувствовал, что перемежавшиеся, жирно блестевшие горбы и впадины движутся не как морской прилив или туча, а как животное. Это выглядело как непрерывные, необыкновенно медленные судороги мускулистого туловища. Поворачиваясь, гребень каждой волны пылал красной пеной. Когда я сделал разворот, чтобы идти точно по курсу медленно дрейфующего мимоида, солнце ударило мне прямо в глаза, кровавые отблески засверкали в выпуклых стеклах, а сам Океан стал чернильно-синим с пятнами

темного огня. Я неумело описал круг и вылетел далеко на подветренную сторону, мимоид остался сзади, его неправильные очертания широким светлым пятном выделялись в Океане. Он уже не был розовым, он желтел, как высохшая кость, на секунду я потерял его из виду, вместо него вдали показалась Станция, висевшая прямо над Океаном, как огромный старинный дирижабль. Я повторил маневр, напрягая все свое внимание: прямо по курсу вырастал массив мимоида со своим причудливым крутым рельефом. Казалось, я вот-вот задену за самый высокий из его клубневидных выступов, я так резко набрал высоту, что геликоптер, теряя скорость, закачался. Осторожность была излишней: закругленные вершины причудливых башен проплыли далеко внизу. Выровняв машину, я медленно, метр за метром, стал убирать высоту. Наконец ломкие вершины замелькали над кабиной. Мимоид был невелик. Он насчитывал не более трех четвертей мили в длину, а шириной был всего в полмили. В некоторых местах мимоид сузился: там вскоре должен был произойти разлом. Вероятно, это был осколок значительно более крупного образования. По солярийским масштабам он представлял собой лишь мелкий обломок, остаток, насчитывавший

бог знает сколько времени.

Между возвышениями, похожими на прожилки, я открыл что-то вроде берега, несколько десятков квадратных метров довольно покатой, но почти ровной поверхности, и направил туда машину. Посадка была труднее, чем я предполагал, я чуть не задел винтом за выросшую прямо на глазах стену, но все кончилось благополучно. Я тут же выключил мотор и откинул крышку купола. Стоя на крыле, я проверил, не угрожает ли геликоптеру опасность сползти в Океан; волны лизали зубчатый край берега в нескольких шагах от места посадки, но геликоптер твердо стоял на широко расставленных полозьях. Я спрыгнул на… «землю». То, что я сначала принял за стену, которую я чуть не задел, было огромной, дырявой как решето, тонкой, как пленка костной плитой, стоявшей на боку и проросшей напоминающими маленькие галереи утолщениями. Щель шириной в несколько метров делила наискось всю эту многоэтажную плоскость, показывая перспективу глубины. Та же перспектива видна была сквозь большие, беспорядочно разбросанные отверстия. Я вскарабкался на ближайший выступ стены, отметив, что подошвы скафандра необыкновенно устойчивы, а сам скафандр нисколько

не мешает передвигаться. Очутившись на высоте пяти этажей над Океаном, я повернулся лицом к скелетоподобному пейзажу и только теперь смог как следует рассмотреть его.

Мимоид был удивительно похож на древний полуразрушенный город, на какое-то экзотическое марокканское поселение, много веков назад пострадавшее при землетрясении или другом катаклизме. Я отчетливо видел извилистые, наполовину засыпанные и загроможденные обломками улочки, круто спускавшиеся к берегу, омываемому пенистой мазью, выше вздымались уцелевшие зубцы стен, бастионы, их округлые основания, а в выпуклостях и впадинах стен чернели отверстия наподобие разрушенных окон или крепостных бойниц. Весь этот город-остров, тяжело накренившись, как полузатопленный корабль, бессмысленно, бессознательно двигался вперед, медленно поворачиваясь, тени лениво ползали по закоулкам развалин, иногда сквозь них пробивался солнечный луч, падая на то место, где я стоял. С немалым риском я вскарабкался еще выше, с выступов над моей головой посыпался мелкий сор. Падая, он заполнил клубами пыли извилистые ущелья и улочки. Мимоид, конечно, не скала, сходство с известняком исче-

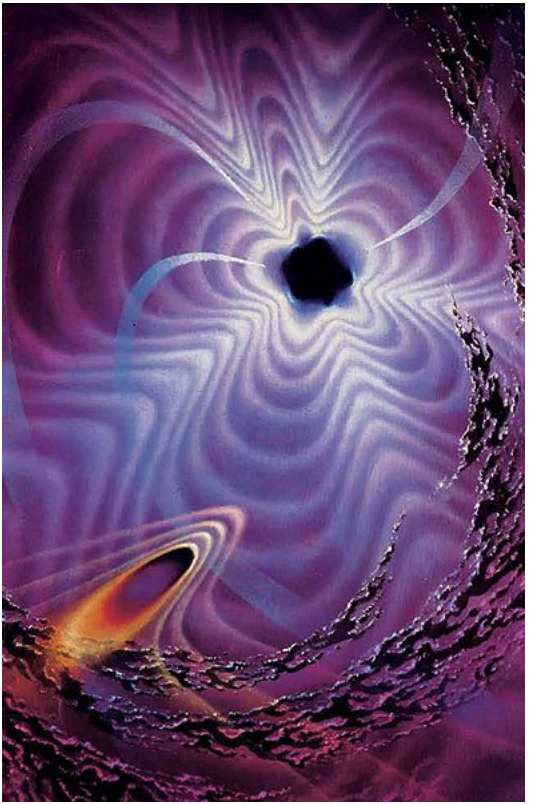
зает, если взять осколок в руку: он гораздо легче пемзы, у него мелкоячеистое строение; поэтому он необыкновенно воздушен.

Я поднялся уже так высоко, что стал ощущать движение мимоида: он не только плыл вперед под ударами черных мускулов Океана, неизвестно откуда и неведомо куда, но еще и наклонялся то в одну, то в другую сторону, необыкновенно медленно, каждый такой крен сопровождался протяжным чмоканьем бурой и желтой пены, стекавшей с обнажавшегося бока. Это колеба-

тельное движение было придано мимоиду очень давно, вероятно, при его рождении, он сохранил его благодаря своей огромной массе. Осмотрев с высоты все, что мог, я осторожно спустился вниз и только тогда, как ни странно, понял, что мимоид меня абсолютно не интересует и что я прилетел сюда, чтобы встретиться не с ним, а с Океаном.

Я сел на твердую потрескавшуюся поверхность в нескольких шагах от геликоптера. Черная волна тяжело вползла на берег, расплющиваясь и одновременно теряя цвет. Когда она отступила, на кромке остались дрожащие нити слизи. Я подвинулся еще ближе и протянул руку к следующей волне. Тогда она верно повторила то, с чем люди впервые столкнулись почти сто лет назад: задержалась, чуть отступила, окружила мою руку, не касаясь ее, так что между рукавицей скафандра и внутренностью углубления, сразу ставшего из жидкого почти мясистым, остался тонкий слой воздуха. Я медленно поднял руку, волна, а точнее, ее узкий отросток пошел за ней вверх, продолжая окружать мою кисть постепенно светлевшим грязновато-зеленым слоем. Я встал, чтобы еще выше поднять руку. Прожилка студенистого вещества натянулась, как дрожащая струна, но не порвалась. Основание совершенно расплющив-

шейся волны, как странное, терпеливо ждавшее конца эксперимента существо, прильнуло к берегу у моих ног, также не касаясь их. Было похоже, что из Океана вырос тягучий цветок, чашечка которого окружила мои пальцы, став их верным негативом, но не коснулась их. Я попятился. Стебель задрожал и неохотно вернулся вниз, эластичный, колеблющийся, неуверенный. Волна поднялась, втянув его в себя, и исчезла за кромкой берега. Я повторял эту игру до тех пор, пока опять, как сто лет назад, одна из очередных волн не отхлынула равнодушно, словно насытившись новыми впечатлениями. Я знал, что мне пришлось бы ждать несколько часов, пока вновь проснется ее «любопытство». Я сел. Так хорошо известное мне из книг явление словно переродило меня: никакая теория не могла передать реальности.



В почковании, росте, распространении этого живообразования, в его движениях — в каждом отдельно и во всех вместе — проявлялась

какая-то, если можно так сказать, осторожная, но не пугливая наивность, когда оно пыталось самозабвенно, торопливо познать, охватить новую, неожиданно встретившуюся форму и на полпути вынуждено было отступить, ибо это грозило нарушением границ, установленных таинственным законом. Какой невыразимый контраст составляло его вкрадчивое любопытство с неизмеримостью, блестевшей от горизонта до горизонта. В мерном дыхании волн я впервые так полно ощущал исполинское присутствие, мощное, неумолимое молчание. Погруженный в созерцание, окаменевший, я опускался в недосягаемые глубины и, теряя самого себя, сливался с жидким, слепым гигантом. Я прощал ему все, без малейшего усилия, без слов, без мыслей.

Всю последнюю неделю я вел себя так благоразумно, что недоверчиво поблескивающие глаза Снаута перестали меня, в конце концов, преследовать. Внешне спокойный, я чего-то безотчетно ждал. Чего? Ее возвращения? Как я мог? Каждый из нас знает, что представляет собой материальное существо, подвластное законам физиологии и физики, и что сила всех наших чувств, разом взятых, не может противостоять этим законам, а может их только ненавидеть. Извечная вера

влюбленных и поэтов во всемогущество любви, побеждающей смерть, преследующие нас веками слова «любовь сильнее смерти» — ложь. Но такая ложь не смешна, она бессмысленна. А вот быть часами, отсчитывающими течение времени, то разбираемыми, то собираемыми снова, в механизме которых, едва конструктор тронет маятник, — начинается отчаяние и любовь, знать, что ты всего лишь репетир мук, тем более сильных, чем смешнее они становятся от их многократности? Повторять человеческое существование, но повторять его так, как пьяница повторяет избитую мелодию, бросая все новые и новые медяки в музыкальный ящик? Я ни на одну секунду не верил, что жидкий гигант, который уготовал в себе смерть сотням людей, к которому десятки лет вся моя раса безуспешно пыталась протянуть хотя бы ниточку понимания, что он, несущий меня бессознательно, как пылинку, будет взволнован трагедией двух людей. Но его действия преследовали какую-то цель. Правда, даже в этом я не был абсолютно уверен. Но уйти — значит зачеркнуть ту, пусть ничтожную, пусть существующую лишь в воображении возможность, которую несет в себе будущее. Так что же — годы среди мебели и вещей, которых мы вместе

касались, в воздухе, еще хранящем ее дыхание? Во имя чего? Во имя надежды на ее возвращение? Надежды не было. Но во мне жило ожидание, последнее, что мне осталось. Какие свершения, насмешки, муки мне еще предстояли? Я ничего не знал, но по-прежнему верил, что еще не кончилось время жестоких чудес.

Июнь 1960 г.

Навигатор Пиркс

Испытание

Закопане.

Июнь 1959 г.

— Курсант Пиркс!

Голос Ослиной Лужайки вернул его к действительности. Пиркс как раз представил себе, что в карманчике его старых штатских брюк, на дне шкафа, лежит монета в две кроны. Серебряная, звенящая, забытая. Еще минуту назад он знал наверняка, что ничего там нет — самое большее старая почтовая квитанция, — но теперь начал убеждать себя, что монета существует, и к моменту, когда Ослиная Лужайка назвал его имя, окончательно в этом убедился. Можно сказать, он отчетливо ощущал ее округлость и видел, как она приютилась в карманчике. Он мог бы пойти в кино, и у него еще останется полкроны. А если пойти только на хронику, так останется полторы, из них одну крону он отложил бы, а остальных хватило бы для игры на автоматах. Если б автомат заело, он начал бы без конца сыпать мелочь — прямо в раскрытую ладонь, и Пиркс едва поспевал бы рассовывать ее по карманам и

снова подставлять руку… ведь случилось же такое со Смигой! Пиркс уже сгибался под тяжестью неожиданно свалившегося богатства, когда голос Ослиной Лужайки развеял его мечты.

Преподаватель обычным жестом заложил руки за спину и, перенеся всю тяжесть тела на здоровую ногу, задал вопрос:

— Что вы сделали бы, встретив во время патрульной службы корабль с чужой планеты?

Курсант Пиркс открыл рот, будто пытаясь вытолкнуть находившийся там ответ. Он выглядел как человек, меньше всех на свете знающий, что следует делать, встретив корабль с чужой планеты.

— Я приблизился бы… — сказал он глухим, странно огрубевшим голосом.

Курс замер. Все учуяли, что предстоит нечто менее скучное, чем лекция.

— Очень хорошо, — отеческим тоном сказал Ослиная Лужайка. — И что же дальше?

— Застопорил бы… — выпалил курсант Пиркс, чувствуя, что уже давно перешагнул рубеж своих познаний. Он лихорадочно отыскивал в опустевшей голове какие-нибудь подходящие параграфы из «Поведения в космосе». Ему казалось, что он никогда в жизни не видел этой книги. Пиркс

скромно потупился и тут заметил, что Смита что-то говорит в его сторону — одними губами. Прежде чем смысл подсказки дошел до его сознания, он громко повторил:

— Я бы им представился.

Весь курс взревел как один человек. Ослиная Лужайка секунду сдерживался, потом тоже расхохотался. Однако серьезность быстро вернулась к нему.

— Завтра явитесь ко мне с бортовым журналом… Курсант Вёрст!

Пиркс уселся так, словно стул был из расплавленного, еще не совсем остывшего стекла. Он даже не особенно обиделся на Смиту — такой уж он был, этот Смита, не мог пропустить удобного случая. Пиркс не слышал ни слова из того, что говорил Вёрст, — тот рисовал на доске кривые, а Ослиная Лужайка по своему обыкновению приглушал ответы электронного вычислителя, так что отвечающий в конце концов запутывался в вычислениях. Устав разрешал прибегать к помощи вычислителя, но Ослиная Лужайка придерживался в данном случае собственной теории: «Вычислитель — тоже человек, — говорил он, — и может испортиться». Пиркс не обиделся и на Ослиную Лужайку. Он вообще ни на кого не

обижался. Почти никогда. Через пять минут он уже воображал, как стоит перед магазином на улице Дайергоффа и смотрит на выставленные в витрине газовые пистолеты, из которых можно стрелять холостыми зарядами, пулевыми либо газовыми — целый комплект с сотней патронов за шесть крон. Конечно, и на улице Дайергоффа он был только в мечтах.

После звонка курсанты покинули зал — без крика и топота, как первый или второй курс, они ведь не дети! Добрая половина курса направилась в столовую — в это время там нечего есть, зато можно встретить новую кельнершу. Говорят, хорошенькая. Пиркс медленно шел мимо стеклянных шкафов, битком набитых звездными глобусами, и с каждым шагом все больше терял надежду найти в кармане две кроны. На последней ступеньке он понял, что монеты там никогда не было.

У ворот стояли Бёрст, Смита и Пайартц, с которым Пиркс полгода сидел за одним столом на лекциях по космодезии. Пайартц замазал черной тушью все звезды в атласе Пиркса.

— Завтра у тебя пробный полет, — сказал Бёрст, когда Пиркс проходил мимо.

— Порядок, — флегматично ответил он. Его не

так-то легко разыграть.

— Не веришь — прочти! — Бёрст стукнул пальцем по стеклу доски приказов.

Пиркс хотел пройти дальше, но голова сама повернулась. В списке стояли только три фамилии. Черным по белому на самом верху значилось: «Курсант Пиркс».

У него потемнело в глазах.

Потом он услышал издалека свой голос:

— Ну и что? Я же сказал — порядок!

Он прошел мимо них и зашагал по аллее между клумбами. В этом году тут была масса незабудок, хитроумно расположенных так, что получалась приземляющаяся ракета. Лютики изображали пламя выхлопа, но они уже отцвели. Пиркс не видел ни клумб, ни дорожки, ни незабудок, ни Ослиной Лужайки, который торопливо вышел из бокового крыла института. В воротах Пиркс едва не налетел на преподавателя и отсалютовал прямо у него под носом.

— А, Пиркс! — сказал Ослиная Лужайка. — Вы завтра летите? Счастливого старта! Может, вам удастся встретить тех — с других планет.

Интернат находился в парке, на противоположной стороне, за большими плакучими ивами. Он стоял на берегу пруда, а боковое крыло высилось

над самой водой, поддерживаемое каменными колоннами. Кто-то распустил слух, будто эти колонны привезены с Луны — чистейший вздор, но первокурсники со священным трепетом вырезали на них свои инициалы. Имя Пиркса тоже там было: он старательно выгравировал его четыре года назад.

Попав в свою комнату — она была такая маленькая, что Пиркс ни с кем ее не делил, — он долго размышлял, стоит ли открывать шкаф. Он точно помнил, где лежат старые брюки. Держать здесь гражданские вещи запрещалось — вот почему он их оставил; на самом-то деле никакого проку от брюк не было. Зажмурился, присел у шкафа, приоткрыл дверцу, просунул руку внутрь и нащупал карманчик. Конечно, как он и предполагал, карман был пуст.

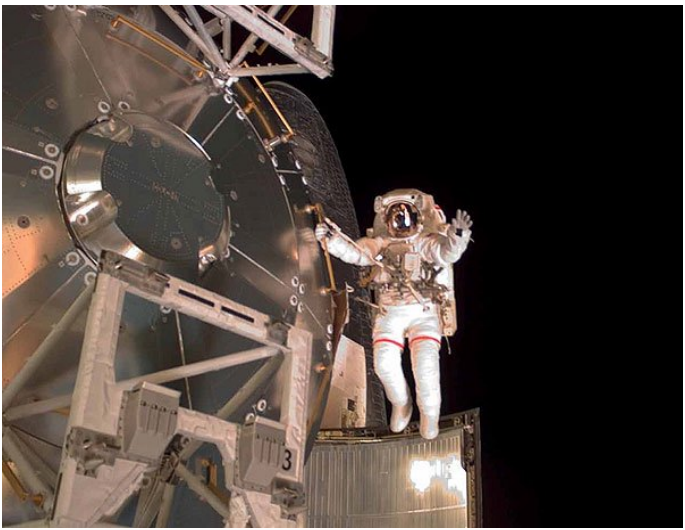
Он стоял в еще не наполненном воздухом комбинезоне, на стальном помосте, под самым сводом ангара, цепляясь локтем за натянутый вместо перил трос, так как руки у него были заняты: в одной он держал бортовой журнал, а в другой — брик. Это была шпаргалка, которую одолжил ему Смига. Говорят, с ней летали все курсанты. Правда, было не ясно, каким образом она возвращалась: ведь после пробного полета

курсанты покидали институт и отправлялись на север, на Базу, где начиналась зубрежка перед выпускными экзаменами. Но, как видно, она все-таки возвращалась, — может, ее сбрасывали на парашюте? Разумеется, это была только шутка.

Он стоял на пружинящем помосте над сорокаметровой пропастью и старался убить время размышлениями о том, будут ли его обыскивать, — к сожалению, это случалось. В пробные полеты курсанты брали с собой самые невероятные и строжайше запрещенные предметы — от плоских фляжек с водкой до жевательного табака и фотографий знакомых девушек. Не говоря уж о шпаргалках. Пиркс долго искал место, где бы скрыть брик. Прятал раз пятнадцать — в сапог под пятку, между двумя носками, за голенище, во внутренний карман комбинезона, в маленький звездный атлас — такие атласы разрешалось брать с собой. Неплохо бы иметь футляр для очков, но, во-первых, тут подошел бы лишь огромный футляр, а во-вторых, Пиркс не носил очков. Несколько позже он сообразил, что если б носил очки, то его не приняли бы в институт.

Итак, он стоял на стальной доске, поджидая инструкторов и шефа, но все трое почему-то запаздывали, хотя старт назначили на девятна-

дцать сорок, а было уже девятнадцать двадцать семь. Он подумал, что, если б нашелся кусок липкого пластыря, можно было бы прилепить брик под мышку. Говорят, так сделал маленький Джеркес, а когда инструктор дотронулся до него, он запищал, что боится щекотки, и все обошлось благополучно. Но Пиркс не походил на человека, боящегося щекотки. Он это знал и не питал никаких иллюзий. Он попросту держал шпаргалку в правой руке и, лишь когда сообразил, что придется здороваться со всеми тремя провожающими, переложил ее в левую руку, а бортовой журнал — из левой в правую. Манипулируя таким образом, он невольно раскачал стальной помост, и тот заколебался, как трамплин. Вдруг на той стороне послышались шаги. Пиркс не сразу увидел инструкторов: под сводом ангара было темно.



Все трое, как всегда, были одеты щеголевато, в мундирах, особенно шеф. А на нем, на курсанте Пирксе, был комбинезон, который и без надувки выглядел, словно целых двадцать одеяний врата-ря-регбиста, надетых одно на другое. К тому же, с обеих сторон высокого ворота свисали длинные

концы интеркома[4] и наружного радиофона, у шеи болтался шланг с маховичком, ведущий к кислородному аппарату, на спину давил запасной резервуар; Пирксу было адски жарко в двойном предохраняющем от пота белье, а больше всего мешало приспособление, которое позволяло во время полета не выходить в случае нужды.

Вдруг весь помост начал подпрыгивать. Кто-то подходил сзади. Это был Бёрст в таком же комбинезоне. Он отсалютовал четким движением руки в огромной перчатке и остановился так, будто очень хотел столкнуть Пиркса вниз.

Когда инструкторы прошли вперед, Пиркс удивленно спросил:

— Ты тоже летишь? Ведь тебя не было в списке.

— Брендан заболел. Я лечу вместо него, — ответил Вёрст.

Пирксу на мгновение стало слегка не по себе. Это, в конце концов, был один-единственный шанс подняться хоть на миллиметр выше к недосягаемым высотам, на которых пребывал Вёрст, казалось бы, не прилагавший для этого ни малейших усилий. Он был не только самым

---

[4] Примечания: 4

Интерком — внутренняя система связи на космических кораблях

способным на курсе, что Пиркс относительно легко ему прощал, питая даже известное уважение к математическим способностям Бёрста с того дня, как стал свидетелем его мужественного состязания с вычислительной машиной — Бёрст замедлил темп лишь при извлечении корней четвертой степени; мало того, что родители его были состоятельными и ему вовсе не приходилось предаваться мечтам о монете в две кроны, завалявшейся в кармане старых штанов, но он к тому же был прекрасным легкоатлетом, прыгал, как дьявол, отлично танцевал и — что уж там говорить! — был очень красив, чего никак не скажешь о Пирксе.

Они шли по длинному помосту между решетчатыми креплениями сводов, мимо выстроившихся рядами ракет, пока их не залило сияние, так как здесь свод был уже раздвинут на протяжении двухсот метров. Над огромными бетонированными воронками, которые втягивали и отводили пламя выхлопа, стояли рядом два конусообразных великана, во всяком случае в глазах Пиркса они были великанами; каждый из них имел сорок восемь метров в высоту и одиннадцать метров в диаметре у нижних ускоряющих двигателей.

К отвинченным люкам уже были перекинуты

небольшие мостики, но проход загораживали установленные посредине свинцовые подставки с маленьким красным флажком на гибком флагштоке. Пиркс знал, что сам отставит в сторону этот флажок, когда на вопрос, готов ли он к выполнению задания, ответит утвердительно, и что сделает это первый раз в жизни. И вдруг он проникся уверенностью, что, когда будет отодвигать флажок, непременно зацепится за трос и растянется на помосте — такие вещи случались. А если с кем-нибудь такое бывало, то с ним уж должно случиться что-нибудь в этом роде — ведь ему всегда не везет. Преподаватели оценивали его иначе: он, мол, ротозей, растяпа и вечно думает о чем угодно, кроме того, о чем как раз и надлежит думать. Правда, Пирксу было гораздо легче действовать, чем говорить. Между его поступками и мыслями, облеченными в слова, зияла, может, и не пропасть… но, во всяком случае, было тут какое-то препятствие, мешающее ему жить. Преподаватели не знали, что Пиркс — мечтатель. Об этом никто не знал. Все полагали, что он вообще ни о чем не думает. А это было неверно.

Он скосил глаза и увидел, что Бёрст уже стал в предписанной позиции, на расстоянии одного шага от мостика, переброшенного к люку раке-

ты, вытянулся и прижал руки к еще не надутым резиновым бандажам комбинезона.

Пиркс подумал, что Бёрсту к лицу даже этот чудной костюм, будто скроенный из сотни футбольных мячей, и что комбинезон Бёрста действительно не надут, в то время как в его собственном оставалось немало воздуха, и потому так неловко ходить в нем — приходится широко расставлять ноги. Он попытался сдвинуть ноги как можно ближе, но каблуки никакие сходились. Почему у Бёрста они сошлись? Это было непонятно. Впрочем, не будь Бёрста, у Пиркса совсем вылетело бы из головы, что надо занять надлежащую позицию, спиной к ракете и лицом к трем людям в мундирах. Сначала они подошли к Бёрсту — допустим, потому, что его имя начиналось на «Б», но и это не было чистой случайностью, или, вернее, было случайностью опять-таки не в пользу Пиркса: ему вечно приходилось подолгу ждать, пока его вызовут, и он нервничал, ибо предпочитал, чтобы плохое приключалось сразу.

Он слышал с пятого на десятое, что говорили Бёрсту, а Бёрст, вытянувшись в струнку, отвечал быстро, так быстро, что Пиркс ничего не понял. Потом подошли к нему, и, когда шеф заговорил, Пиркс вдруг вспомнил, что ведь сегодня лететь

должны были трое, а не двое, так куда же девался этот третий? К счастью, он услышал слова шефа и в последнюю минуту успел выпалить:

— Курсант Пиркс к полету готов!

— Мда… — произнес шеф. — И курсант Пиркс утверждает, что он здоров телом и душой… гм… в пределах своих возможностей?

Шеф любил украшать такими цветами красноречия стереотипные вопросы, и он мог себе это позволить, так как был шефом.

Пиркс ответил, что он здоров.

— На период выполнения полета произвожу вас, курсант Пиркс, в пилоты, — произнес шеф сакраментальную фразу и продолжал:

Задание: стартовать вертикально, при половинной мощности ускорителей. Выйти на эллипс Б-68. На эллипсе сделать поправку на постоянную орбиту с временем обращения 4 часа 26 минут. Ждать на орбите два корабля непосредственной связи типа И 0–2. Предполагаемая зона радарного контакта — сектор III, спутник ПАЛ, с допускаемым отклонением до 6 угловых секунд. Установить радиотелефонную связь с целью согласования маневра. Маневр: сойти с постоянной орбиты по курсу 60 градусов 24 минуты северной широты, 115 градусов 3 минуты 11 секунд

восточной долготы. Начальное ускорение 2,2 g. Конечное ускорение по истечении 83 минут — 0. Не выходить из радиуса действия радиотелефонной связи, пилотировать оба ИО-2 в строю по направлению к Луне, выйти на временную орбиту в ее экваториальной зоне согласно указаниям Луна — ПЕЛЕНГ, убедиться, что оба ведомые корабля находятся на орбите, а сойдя с нее при ускорении, курсом, взятым по собственному усмотрению, вернуться на постоянную орбиту в зоне спутника ПАЛ. Там ожидать дальнейших приказаний.

В институте говорили, что скоро взамен теперешних шпаргалок появятся электронные брики, то есть микромозги величиной с косточку от вишни, их можно будет носить в ухе или под языком, и они подскажут всегда и всюду все, что окажется необходимым. Но Пиркс не верил в это, считая — и не без оснований, — что, когда появится такой аппарат, уже не нужны будут курсанты. А пока он должен был сам повторить всю суть задания и сделал это, допустив лишь одну ошибку, но зато основательную: спутал минуты и секунды времени с минутами и секундами долготы и широты. После чего, мокрый как мышь в предохраняющем от пота белье под толстой оболочкой

комбинезона, ожидал дальнейшего развития событий. Повторить задание он повторил, но смысл его еще не начал проникать в сознание. Единственная мысль беспрерывно кружила в мозгу: «Ну и задали же они мне жару!»

В левой руке он сжимал шпаргалку, правой подал бортовой журнал. Устный пересказ задания был просто придиркой — все равно задание вручалось в письменной форме, с вычерченным первоначальным курсом. Шеф вложил конверт с заданием в кармашек на обложке журнала, вернул журнал Пирксу и спросил:

— Курсант Пиркс, вы готовы к старту?

— Готов! — ответил курсант Пиркс.

В этот момент у него было единственное желание — очутиться в кабине управления. Он мечтал о том, чтобы расстегнуть комбинезон — хотя бы воротник.

Шеф отступил на шаг.

— По-о ракетам! — крикнул он звучным, металлическим голосом, который, подобно колоколу, перекрыл глухой, неумолчный шум, стоявший в грандиозном ангаре.

Пиркс сделал поворот кругом, схватил красный флажок, споткнулся о трос, в последний момент удержал равновесие и, как Голем, затопал по тон-

кому мостику. Когда он дошел до середины, Бёрст (сзади он все же сильно напоминал футбольный мяч) уже входил в свою ракету.

Пиркс спустил ноги внутрь, схватился за массивные крепления люка, съехал по эластичному желобку вниз, не касаясь перекладин («Перекладины — только для умирающих пилотов», — говаривал Ослиная Лужайка), и принялся задраивать люк. Сотни и тысячи раз он упражнялся на макетах и на настоящей крышке, только вынутой из ракеты и укрепленной посреди учебного зала. Тошно становилось от всего этого: левая рукоятка, правая рукоятка до половины оборота, проверить герметизацию, вторая половина оборота обеих рукояток, дожать, проверить герметичность под давлением, задраить люк внутренней покрышкой, задвинуть противометеоритную заслонку, выйти из колодца люка, запереть дверцы кабины, дожать, рукоятка, вторая рукоятка, задвижка — все!

Пиркс подумал, что Бёрст, наверное, давно сидит в своем стеклянном шаре, а он еще только закручивает маховик герметического затвора, но тут ему пришло в голову, что ведь все равно они стартуют не вместе, а с шестиминутным интервалом, значит, нечего спешить. Но все же лучше

сидеть уже на месте с включенным радиофоном, по крайней мере, услышишь команды, которые даются Бёрсту. Любопытно, какое тот получил задание?

Лампочки вспыхнули автоматически, едва он запер наружный люк. Управившись со своим хозяйством, Пиркс по ступеням невысокого ската, устланного очень жестким и в то же время упругим пластиком, перешел на место пилота.

Черт знает, почему в этих маленьких одноместных ракетах пилот сидел в круглой стеклянной банке трехметрового диаметра. Эта банка, хоть и совершенно прозрачная, была, конечно, не из стекла и вдобавок пружинила, как толстая, очень твердая резина. Этот пузырь с раздвижным креслом пилота в центре был вмонтирован в середину конусообразной кабины управления; таким образом, пилот, сидя в своем «зубоврачебном кресле» — так его прозвали — и имея возможность вращаться по его вертикальной оси, видел сквозь прозрачную оболочку, в которую он был заключен, все циферблаты часов, индикаторы, экраны — передние, задние, боковые, диски обоих вычислителей и астрографа, а также святая святых — траектометр, который чертит толстой, ярко светящейся линией по матовому выпуклому

диску путь ракеты по отношению к неподвижным звездам в проекции Гарельсбергера.

Элементы этой проекции надо было знать наизусть и уметь определять их по прибору с любой позиции, даже вися вверх ногами. Когда пилот

уже устраивался в кресле, по обе стороны у него оказывались четыре главные рукоятки реактора и ракетных двигателей рулевого управления, три аварийные рукоятки, шесть рычагов простого пилотажа, маховичок старта и холостого хода, а также регулятор мощности тяги, продувки сопла, а над самым полом — большое спицевое колесо климатизаторной и кислородной аппаратуры, рукоятка противопожарной установки, катапульты реактора (на случай, если в нем начнется неуправляемая цепная реакция), тонкий трос с петлей, прикрепленный к верхушке шкафчика с термосами и едой, а под ногами — мягкие, снабженные петлями в виде стремян педали тормозов и предохранитель катапульты: если на него нажать (сначала требовалось разбить ногой его колпачок и подтолкнуть вперед), он выбрасывал оболочку вместе с креслом и пилотом и вылетающими вслед за ним стропами ленточно-кольцевого парашюта.

Помимо главного — спасения пилота в случае аварии, устранить которую невозможно, — существовало еще восемь чрезвычайно важных доводов в пользу конструирования стеклянного пузыря, и при благоприятных обстоятельствах Пиркс даже сумел бы все эти доводы перечислить,

но ни один из них не был для него убедительным (как, впрочем, и для других курсантов).

Устраиваясь как полагается, с огромным трудом сгибаясь в поясе, чтобы ввинтить все висящие и торчащие из него трубки, кабели, провода в наконечники, закрепленные в кресле (причем каждый раз, когда он наклонялся вперед, комбинезон мягко толкал его в живот), он, само собой разумеется, перепутал кабель радиофона с нагревательным кабелем, — к счастью, у них были различные муфты, но Пиркс обнаружил ошибку лишь после того, как с него сошло семь потов, — и под шум сжатого воздуха, который молниеносно наполнил комбинезон, со вздохом откинулся назад, накладывая на себя левой и правой рукой оба набедренно-наплечных пояса.

Правый застегнулся сразу, а левый что-то заупрямился. Ворот, надутый, как автомобильная шина, мешал оглянуться, и Пиркс мучился, вслепую дергая широкую застежку пояса. Тут в наушниках раздались приглушенные голоса:

— Пилот Бёрст на АМУ-18! Старт согласно радиофону по счету ноль! Внимание — готовы?

— Пилот Бёрст на АМУ-18 готов к старту согласно радиофону по счету ноль! — раздался мгновенный ответ.

Пиркс выругался — застежка защелкнулась. Он упал в мягкое глубокое кресло, так измучившись, словно только что вернулся из очень продолжительного межзвездного рейса.

— Двадцать три — до старта… Двадцать две — до старта… Двад… — бормотал голос в наушниках.

Говорят, однажды, услышав громовое слово «ноль», одновременно стартовали два курсанта — тот, которому следовало, и тот, который лишь ждал своей очереди. Они шли на расстоянии двухсот метров друг от друга по вертикали и в любую секунду могли столкнуться, по крайней мере так рассказывали на курсе. Утверждают, что с тех пор запальный кабель включали в последний момент, делал это сам комендант ракетодрома из своей застекленной кабины управления, и весь этот отсчет секунд был просто блефом. Однако никто не знал, как обстоит дело в действительности.

— Ноль!!! — раздалось в наушниках.

В ту же минуту Пиркс услышал приглушенный, раскатистый грохот, его кресло слегка задрожало, отраженные искорки огней чуть шевельнулись на стеклянном колпаке, под которым он лежал распростертый, глядя на потолок, то есть на астрограф, индикаторы циркуляции охлаждения,

тяги главных и вспомогательных дюз, плотности потоков нейтронов, индикатор загрязнения изотопами и еще на восемнадцать других приборов, половина которых ведала исключительно состоянием ускорителей. Вибрация ослабла, стена глухого шума передвинулась куда-то в сторону и словно расплылась вверху; казалось, какой-то невидимый занавес взвился в небо, гром все удалялся и, как обычно, все более походил на отголосок бури. Наконец наступила тишина.

Что-то зашипело, зажужжало — он даже не успел испугаться. Это автоматическое реле включило бездействовавшие до сих пор экраны: когда кто-нибудь стартовал рядом, они были закрыты снаружи, чтобы ослепительное пламя атомного выхлопа не повредило объективов.

Пиркс подумал, что такие автоматические приспособления очень полезны, и так размышлял о том о сем, но вдруг почувствовал, что волосы встают у него дыбом под выпуклым шлемом.

«Господи боже, я лечу, я, я, я сейчас лечу!» — пронеслось у него в голове.

Он начал лихорадочно подготавливать рычаги к старту, то есть по очереди дотрагиваться до них пальцем и считать: раз… два… три… а где же четвертый? Потом этот… так… этот указатель…

и педаль… нет, не педаль… ага, есть… красная… зеленая рукоятка… потом автомат… так… или сначала зеленая, а потом красная?!

— Пилот Пиркс на АМУ-27! — прервал его размышления громкий голос, бьющий прямо в ухо. — Старт согласно радиофону по счету ноль! Внимание — пилот готов?

«Еще нет!!!» — чуть было не закричал пилот Пиркс, но произнес:

— Пилот Бёр… пилот Пиркс на АМУ-27 готов к старту… э… согласно радиофону по счету ноль!

Он хотел сказать «пилот Бёрст», потому что отлично запомнил, как отвечал Бёрст. «Идиот!» — прикрикнул он сам на себя в наступившей тишине. Автомат (неужели у всех автоматов должен быть голос унтер-офицера?) лаял в ухо:

— До старта шестнадцать… пятнадцать… четырнадцать…

Пилот Пиркс обливался потом. Он силился вспомнить нечто ужасно важное — он знал, что это прямо-таки вопрос жизни и смерти, но никак не мог.

— …шесть, пять, до старта четыре…

Он сжал мокрые пальцы на стартовой рукоятке. К счастью, она была шероховатая. «Неужели все так потеют? По-видимому…» — мелькнуло у

него в голове в тот момент, когда в наушниках прогремело:

— Ноль!!!

Его рука сама — совершенно самостоятельно — потянула рычаг, отодвинула его до половины и остановилась. Раздалось рычание. Казалось, какой-то эластичный пресс надавил ему на грудь и голову. «Ускоритель!» — успел он подумать, и у него потемнело в глазах. Лишь слегка и лишь на мгновение. Когда он смог хорошо видеть, хотя все та же неотступная тяжесть сковывала тело, экраны, во всяком случае те три, что находились прямо перед ним, были белые, как молоко, выливающееся из миллиона кувшинов.

«Ага, пробиваю облака», — подумал он.

Размышлял он теперь свободнее, несколько вяло, зато совершенно спокойно. Через некоторое время Пиркс почувствовал себя так, будто он лишь свидетель всей этой слегка смешной сцены: лежит парень, развалившись в «зубоврачебном кресле», ни рукой, ни ногой не шевельнет. Облака исчезли, небо еще слегка голубоватое, но уже как плохая синька, кажется, и звезды видны — звезды или нет?

Да, это были звезды. Стрелки бегали по потолку, по стенам, каждая на свой лад, каждая

что-то показывала, все надо было видеть, а у него только два глаза. Тем не менее, его левая рука, подчиняясь короткому, повторяющемуся свисту в наушниках, сама — опять сама — потянула рычаг, сбрасывая ускорение. Сразу стало немного легче: скорость 7,1 в секунду, высота 201 километр, заданная кривая старта кончается, ускорение 1,9 — можно садиться, и вообще теперь-то и начнется настоящая работа!

Он медленно сел, нажимая на подлокотники кресла, отчего поднялась спинка, и вдруг весь похолодел.

— Где же шпаргалка?!

Это и была та ужасно важная вещь, которую он никак не мог вспомнить. Пиркс начал осматривать пол, будто на свете и не было целой тучи индикаторов, подмигивающих со всех сторон. Брик лежал под самым креслом. Пиркс наклонился — пояса, разумеется, не пустили, расстегивать их не было времени — и с таким чувством, словно он стоит на верхушке высоченной башни и падает вместе с ней в пропасть, раскрыл бортовой журнал, который лежал в кармане над коленом, вынул из конверта задание и… ничего не понял: где же, черт бы ее побрал, орбита Б-68? Ага, вот эта! Он сверился по траектометру и начал мед-

ленно поворачивать. Он удивлялся — как-то все же получалось.

На эллипсе вычислитель благосклонно сообщил ему данные для поправки, Пиркс снова сманеврировал, сошел с орбиты, слишком резко затормозил — в течение почти 10 секунд ускорение было минус 3 g, но ничего ему не сделалось, он был очень выносливфизически («Если б у тебя были такие же мозги, как бицепсы, — говорил ему Ослиная Лужайка, — то, возможно, из тебя что-нибудь и вышло бы»), исправив ошибку, вышел на постоянную орбиту и передал по радиофону данные вычислителю, но тот ничего не ответил — по его диску пробегали волны холостого хода. Пиркс проревел свои данные еще раз, — конечно, он забыл переключиться, — теперь исправил ошибку, и на диске моментально появилась мерцающая вертикальная линия, а все окошечки единодушно показали единицы. «Я на орбите!» — обрадовался он. Да, но время обращения составляло 4 часа 29 минут, а должно быть 4 часа 26 минут. Теперь он уж окончательно не знал, допустимое это отклонение или нет. Ломал голову, начал уже подумывать, не отстегнуть ли пояса — шпаргалка лежала под самым креслом, — но, черт его знает, написано ли в ней об этом? И вдруг

припомнил, что профессор Кааль говорил: «При расчете орбиты допустима погрешность до 0,3 процента». На всякий случай передал данные вычислителю: он находился в пределах допустимой погрешности. «Ну, как будто порядок», — сказал он себе и лишь теперь как следует осмотрелся.

Тяжесть исчезла, но он был пристегнут к креслу на совесть, только чувствовал себя очень легким. Передний экран — звезды, звезды и светло-бурый рубчик на самом нижнем крае, боковой экран — ничего, лишь чернота и звезды. Нижний экран — ага! Пиркс внимательно всматривался в Землю — он несся над ней на высоте от 700 до 2400 километров в зоне своей орбиты; Земля была огромная, заполняла весь экран, он как раз пролетал над Гренландией — ведь это Гренландия? Пока он решал, что это такое, оказался уже над Северной Канадой. Вокруг полюса искрились снега, океан был черно-фиолетовый, выпуклый, гладкий, словно отлитый из чугуна, удивительно мало туч — будто кто-то разбрызгал по выпуклой поверхности жидкую кашицу. Пиркс взглянул на часы.

Он летел уже семнадцать минут.

Теперь полагалось поймать радиосигналы ПАЛа и следить за радарами при прохождении

его зоны. Как называются эти два корабля? РО? Нет. ИО. А номера? Он заглянул в листок с заданием, засунул его вместе с бортовым журналом в карман и подвигал на груди контрольный регулятор. Раздался писк, треск. ПАЛ… какой у него сигнал? Морзянка… Он напрягал слух, посматривал на экраны, Земля медленно поворачивалась под ним, звезды быстро передвигались на экранах, а ПАЛа нет как нет — ни слуху, ни духу.

Вдруг он услышал жужжание.

«ПАЛ? — подумал Пиркс, но тотчас же отбросил эту мысль. — Идиотизм! Спутники не жужжат! А что жужжит?»

«Ничего не жужжит, — ответил он самому себе. — Так что же это? Авария?»

Он как-то совсем не испугался. Что за авария, если он летит с выключенным двигателем? Жестянка сама по себе рассыпается — так, что ли? А может, короткое замыкание? А, замыкание! Боже милостивый! Противопожарная инструкция ША: «Пожар в космосе на орбите… параграф… черт бы его побрал! Жужжит и жужжит», — он едва слышал попискивание отдаленных сигналов.

«Совсем как муха в стакане», — подумал он, обалдев, лихорадочно переводя взгляд с одного циферблата на другой. И тут он увидел ее.

Это была муха-гигант, зеленовато-черная, той отвратительной породы, которая словно создана лишь затем, чтобы отравлять людям жизнь, наглая, назойливая, идиотская и в то же время хитрая, шустрая муха, которая прямо чудом (а как же иначе?) влезла в ракету и летала теперь за прозрачным колпаком, тычась, как жужжащий шарик, в светящиеся диски циферблатов.

Когда она приближалась к вычислителю, ее жужжание гремело в наушниках, как четырехмоторный самолет: над верхней рамой вычислителя помещался резервный микрофон, чтобы им можно было пользоваться без ларингофона сидя в кресле, если кабели радиофона будут выключены. Зачем? На всякий случай. Подобных приспособлений было немало.

Пиркс проклинал этот микрофон. Он боялся, что не услышит сигналов ПАЛа. В довершение всех бед муха начала предпринимать вылазки

и в другие места. Несколько минут он невольно водил за ней глазами, пока наконец не сказал себе строго, что ему на эту муху наплевать.

Жаль, что нельзя туда насыпать ДДТ.

— Хватит!

Зажужжало так, что он даже поморщился. Муха разгуливала по вычислителю. Стало тихо — она чистила крылышки. Что за отвратительная муха!

В наушниках возник равномерный, далекий писк — три точки, тире, две точки, два тире, три точки, тире — ПАЛ!

— Ну, а теперь надо глядеть в оба! — сказал он себе и приподнял немного кресло: все три экрана были у него перед глазами. Он проверил еще раз, как движется фосфорический управляющий луч радара, и стал ждать. На радаре не было ничего. Но кто-то кричал:

— А-7 Земля-Луна… А-7 Земля-Луна, сектор III, курс III, вызывает ПАЛ ПЕЛЕНГ. Дайте пеленг. Прием.

Вот несчастье, как же я теперь услышу моих ИО! — заволновался Пиркс.

Муха взвыла в наушниках и исчезла. Вскоре сверху его накрыла тень — словно летучая мышь уселась на лампу. Это была муха. Она ползала

по стеклянному пузырю, будто исследуя, что скрывается внутри него. Тем временем в эфире становилось тесно. ПАЛ, который уже виднелся (он действительно выглядел, как гигантская палица: это был восемьсотметровый цилиндр из алюминия, заканчивающийся шаром обсерватории), летел над ним на расстоянии каких-нибудь четырехсот километров, — может, чуть больше — и медленно обгонял его.

— ПАЛ ПЕЛЕНГ к А-7 Земля-Луна, сто восемьдесят запятая четырнадцать, сто шесть запятая шесть. Отклонение растет линейно. Конец.

— Альбатрос-4 Марс-Земля вызывает ПАЛ Главный. ПАЛ Главный, схожу на заправку сектор II, схожу на заправку сектор II, иду на резерве. Прием.

— А-7 Земля-Луна вызывает ПАЛ ПЕЛЕНГ…

Остального он не слышал, все звуки заглушило жужжание мухи. Наконец она утихла.

— Главный к Альбатросу-4 Марс-Земля, заправка сектор VII, Омега Главная, заправка перенесена на Омегу Главную. Конец.

«Они нарочно здесь столпились, чтобы я ничего не слышал», — подумал Пиркс.

Предохраняющее от пота белье прямо плавало на теле. Муха, жужжа, яростно кружилась над

диском вычислителя, словно стараясь во что бы то ни стало догнать собственную тень.

— Альбатрос-4 Марс-Земля, Альбатрос-4 Марс-Земля к ПАЛу Главному, выхожу в сектор VII, выхожу в сектор VII, прошу пилотировать по интеркому. Конец.

Послышался удаляющийся писк интеркома, утонувший в нарастающем жужжании. В этот гул ворвались слова:

— ИО-2 Земля-Луна, ИО-2 Земля-Луна вызывает АМУ-27, АМУ-27. Прием.

«Интересно, кого он вызывает?» — подумал Пиркс и вдруг подпрыгнул в своих поясах.

«АМУ…» — хотел он сказать, но его охрипшая глотка не пропускала ни звука. В наушниках жужжало. Муха. Он закрыл глаза.

— АМУ-27 вызывает ИО-2 Земля-Луна. Нахожусь в квадранте 4, сектор ПАЛ, включаю позиционные огни. Прием.

Пиркс включил свои позиционные огни — два красных по бокам, два зеленых по носу, один голубой сзади — и ждал. Ничего не было слышно, кроме мухи.

— ИО-2 бис Земля-Луна. ИО-2 бис Земля-Луна, вызываю… — Снова жужжание.

«Это, пожалуй, тоже меня?» — подумал он с

отчаянием.

— АМУ-27 к ИО-2 бис Земля-Луна. Нахожусь в квадранте 4, граничный сектор ПАЛ. Все позиционные огни включены. Прием.

Теперь оба ИО отозвались одновременно — он включил селектор очередности, чтобы приглушить того, кто отозвался вторым, но жужжание все продолжалось, — конечно, муха!

«Я, кажется, повешусь!» — подумал Пиркс. Ему не пришло в голову, что из-за невесомости и такой выход невозможен.

Вдруг он увидел на экране радара два корабля — они шли за ним параллельным курсом на расстоянии не более девяти километров друг от друга, следовательно, в зонах взаимно запрещенных. Его обязанностью как пилотирующего было приказать им разойтись на дозволенное расстояние — 14 километров. Он контролировал по радару положение пятнышек, обозначавших корабли, когда муха уселась на одном из них. Он запустил в нее бортовым журналом, тот не долетел до цели, ударился о прозрачную оболочку и, вместо того чтобы соскользнуть с нее, полетел назад, потом вверх, ударился о свод стеклянного пузыря и закружился там — невесомость! Муха даже не соизволила улететь — она медленно

отползла.

— АМУ-27 Земля-Луна к ИО-2, ИО-2 бис. Я вас вижу. У вас бортовое сближение. Перейти на параллельные курсы с поправкой ноль запятая ноль один. Выполнив маневр, перейти на прием. Конец.

Оба пятнышка начали не спеша расходиться, возможно, они говорили ему что-то, но он слышал только муху. А та с жужжанием разгуливала по микрофону вычислителя. Нечем уже было швырнуть в нее. Бортовой журнал плавал над ним, тихо шелестя страницами.

— ПАЛ Главный к АМУ-27 Земля-Луна. Выйти из граничного квадранта, выйти из граничного квадранта, принимаю транссолнечный корабль. Прием.

«Какая наглость! Еще и транссолнечный подвернулся! Какое мне дело до транссолнечного?! Кораблям, идущим в строю, предоставляется первенство!» — подумал Пиркс и начал кричать, изливая в этом крике свою бессильную ненависть к мухе:

— АМУ-27 Земля-Луна к ПАЛу Главному. С квадранта не схожу, мне наплевать на транссолнечный, я иду в треугольном строю: АМУ-27, ИО-2, ИО-2 бис, эскадра Земля-Луна, ведущий

АМУ-27. Конец.

«Не следовало говорить, что мне наплевать на транссолнечный, — подумал он. — Ясно — заработал штрафные очки. Чтоб их всех черти побрали! А за муху кто получит штрафные? Тоже я!»

Он подумал, что такая история с мухой могла приключиться только с ним. Муха! Важное дело! Он представил себе, как Смита с Бёрстом покатываются со смеху, узнав об этой идиотской мухе. Впервые с момента старта он подумал о Бёрсте. Впрочем, у него не было ни минуты, чтобы думать, — ПАЛ все больше отставал. Они летели втроем уже пять минут.

— АМУ-27 к ИО-2, ИО-2 бис Земля-Луна. Двадцать часов ноль семь минут. Маневр выхода на параболический курс Земля-Луна начинаем в двадцать часов ноль десять минут. Курс сто одиннадцать... — прочел он на листке, который ему только что удалось с ловкостью акробата схватить в воздухе у себя над головой. Его корабли ответили. ПАЛ уже скрылся из виду, но Пиркс все еще слышал его — не то его, не то муху. Вдруг жужжание как бы раздвоилось. Ему хотелось протереть глаза. Так и есть. Мух было уже две. Откуда же выползла вторая?

«Теперь они меня прикончат», — подумал он

спокойно, совсем спокойно.

Было даже что-то приятное в такой уверенности: уже не стоило ни с чем возиться, трепать себе нервы — мухи все равно доконают. Это продолжалось секунду, потом Пиркс глянул на часы: наступил момент, который он сам назначил для начала маневра, а он не успел даже руки положить на рычаги!

Муки тысячекратных упражнений, видно, не пропали впустую: он вслепую схватил оба рычага, следя за траектометром, двинул правый, потом левый. Двигатель глухо отозвался, потом что-то зашипело, он получил удар по голове, даже охнул от неожиданности: бортовой журнал хлопнул его корешком по лбу, у самого края шлема! Он закрыл все лицо, Пиркс не мог сбросить его — обе руки были заняты. В наушниках жужжало и бурлило от любовной игры мух на вычислителе. «В полет должны давать револьвер», — подумал он, чувствуя, как бортовой журнал под действием возрастающего ускорения расплющивает ему нос. Пиркс как безумный мотал головой — ведь надо же ему видеть траектометр! Журнал весил примерно три килограмма; вдруг он, хлопнув Пиркса по лицу, свалился на пол — так и есть, было почти 4 g. Пиркс тотчас же уменьшил уско-

рение, поддерживая его в границах маневра, укрепил защелки рычагов — теперь ускорение было 2 g. Неужели мухам это не вредит? Ничего им не делалось. Они чувствовали себя великолепно. Он должен был лететь так целых 83 минуты. Пиркс посмотрел на экран радара: оба ИО шли следом, расстояние между его кормой и ими возросло приблизительно до семидесяти километров; это потому, что несколько секунд ускорение доходило до 4 g и он выскочил вперед. Не беда.

Теперь у него было немного свободного времени — до самого конца полета с ускорением. 2 g — это ничего. Он сейчас весил всего-навсего сто сорок два килограмма. Ему случалось сидеть в лабораторной центрифуге при 4 g и по получасу.

Конечно, это очень неприятно: руки и ноги будто налиты свинцом, головой невозможно даже пошевелить — в глазах темнеет.

Он еще раз проверил положение обоих своих кораблей за кормой и подумал: «А что теперь делает Бёрст?» Он представил себе его лицо — вероятно, оно выглядело совсем как на киноэкране. Вот ведь карточка у парня! Нос прямой, глаза серые — стальные… и, уж конечно, он-то не взял с собой никакого брика! Хотя и Пирксу шпаргалка

пока не понадобилась. Жужжание в наушниках затихло: обе мухи ползали над ним по стеклянной поверхности колпака, их тени пробегали по лицу — в первый раз его даже передернуло. Пиркс посмотрел наверх: их черные лапки кончались приплюснутыми утолщениями, брюшко в свете ламп отливало металлическим блеском. Мерзость!

— Порыв-8 Марс — Земля вызывает тройку Земля-Луна, квадрант 16, курс одиннадцать запятая шесть. Вижу вас на сближающемся курсе одиннадцать минут тридцать две секунды, прошу изменить курс. Прием.

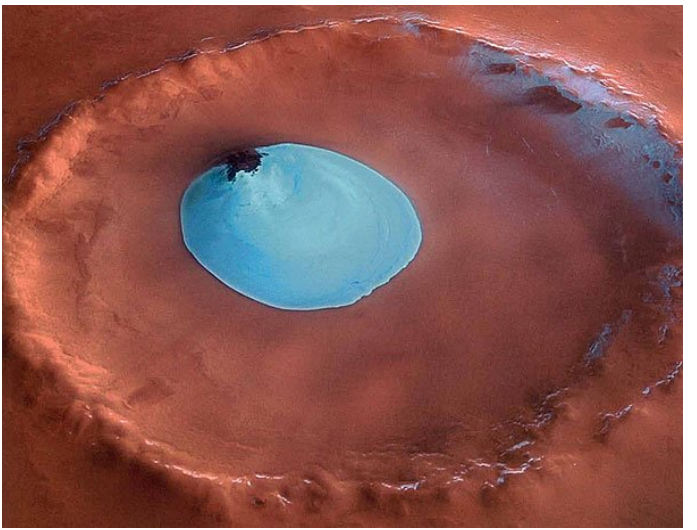
— Ну и везение! — застонал Пиркс. — Болван, прет прямо на меня… ведь видит же, что я иду в строю!

— АМУ-27, ведущий тройку Земля-Луна, ИО-2, ИО-2 бис, вызывает Порыв-8 Марс-Земля. Иду в строю, курс не изменю, выполняйте маневр расхождения. Конец.

Произнося эти слова, он искал на радаре этого наглеца, Порыв-8, и нашел. На расстоянии не более полутора тысяч километров!

— Порыв-8 к АМУ-27 Земля-Луна. У меня пробито гравиметрическое распределение, немедленно выполняйте маневр расхождения, точка пересе-

чения курсов сорок четыре ноль восемь, квадрант Луна четыре, граничная зона. Прием.



— АМУ-27 к Порыву-8 Марс-Земля, ИО-2, ИО-2 бис Земля-Луна, произвожу маневр расхождения в двадцать часов тридцать девять минут, одно-

временный поворот за ведущим на расстоянии видимости, отклонение на север, сектор Луна один ноль запятая шесть, включаю двигатели малой тяги. Прием.

Говоря это, Пиркс одновременно включил оба нижних двигателя рулевого управления. Оба ИО сейчас же ответили, повернули, звезды поплыли на экранах. Порыв-8 поблагодарил, он летел к Луне Главной. Пиркс вдруг воодушевился и пожелал ему счастливого прилунения по всем правилам хорошего тона, тем более что там приключилась авария. Теперь он видел Порыв-8 на расстоянии тысячи километров с горящими позиционными огнями. Затем Пиркс вызвал свои ИО и снова начал ложиться на прежний курс — кошмар! Известно, что нет ничего легче, чем сойти с курса, а отыскать потом тот же самый отрезок параболы кажется просто немыслимым. Новое ускорение — он не успевал передавать координаты вычислителю, по нему ползали мухи, а потом начали гоняться друг за другом — их тени метались на экране. И откуда у этих тварей берется столько сил? Прошло добрых двадцать минут, пока корабли наконец очутились на первоначальном курсе.

«А у Бёрста дорога, наверное, как пылесосом

вычищена! — подумал Пиркс. — Впрочем, что ему! Он одной рукой с чем угодно управится».

Он включил автомат редуктора ускорения, чтобы на 83-й минуте получить ускорение, равное нулю, согласно инструкции, и тут увидел такое, что его мокрое белье, предохраняющее от пота, стало ледяным.

С распределительного щита — миллиметр за миллиметром — сползала белая крышка. Как видно, она была слабо закреплена, и во время толчков ракеты при маневре возврата (а он действительно маневрировал очень резко) задвижки отошли. Между тем ускорение все еще составляло 1,7 у; крышка медленно сползала, словно кто-то тянул ее снизу за невидимую нить, наконец сорвалась и упала. Она ударилась о стекло колпака и соскользнула на пол. Заблестели четыре обнаженных медных провода высокого напряжения, а под ними предохранители.

«Ну… и чего же я, собственно, перетрусил? — подумал Пиркс. — Упала крышка и упала — подумаешь! Не все ли равно, с крышкой или без крышки?»

Однако он беспокоился: такие вещи не должны случаться. Если может упасть крышка с предохранителей, то и корма ракеты может отвалиться.

Оставалось только двадцать семь минут полета с ускорением, когда Пиркс подумал, что после выключения двигателей крышка сделается невесомой и начнет летать. Может, она натворит каких-нибудь бед? Пожалуй, нет. Слишком легка. Даже ни одного стёклышка не разобьет. Э, ничего!

Он поискал глазами мух: гоняясь друг за другом, кружась, жужжа, они летали вокруг кабины и наконец уселись под предохранителями. Пиркс потерял их из виду.

На экране он нашел оба свои ИО — они шли по курсу. На переднем экране виднелся огромный, занимающий половину неба диск Луны. Однажды они проводили селенографические учения в кратере Тихо — тогда еще Бёрст произвел вычисления при помощи самого обычного переносного теодолита… Эх, черт возьми, и чего только он не умеет! Пиркс попытался отыскать Луну Главную на внешнем скате Архимеда. Она едва виднелась, почти вся укрытая в скалах, можно было разглядеть лишь гладкую поверхность ракетодрома с сигнальными огнями — и то, конечно, когда она оказывалась в зоне темноты, а теперь там светило солнце. Правда, сама станция лежала в полосе тени, которую отбрасывал кратер, но кон-

траст с ослепительно сверкающим диском был так резок, что слабенькие огоньки сигнализации вообще не были видны.

Казалось, на Луну никогда не ступала нога человека, от Лунных Альп ложились длинные-длинные тени на равнину Моря Дождей. Пиркс вспомнил, как перед полетом на Луну — тогда они летели целой группой и были еще обыкновенными пассажирами — Ослиная Лужайка попросил его проверить, видны ли с Луны звезды седьмой величины, а он-то, балда, взялся за это с величайшим воодушевлением. Начисто забыл, что днем с Луны вообще не видно никаких звезд — глаза слишком ослеплены блеском солнца, отраженным от ее поверхности. Ослиная Лужайка еще долго припоминал ему эти звезды с Луны.

Диск медленно распухал на экранах — скоро он окончательно вытеснит черное небо с переднего экрана.

Странно — ничто не жужжало. Он взглянул в сторону — и оцепенел от ужаса: одна муха сидела на выпуклой поверхности предохранителя и чистила себе крылышки, а вторая ухаживала за ней. Рядом, в нескольких миллиметрах, блестел кабель. Изоляция кончалась немного выше, все четыре кабеля толщиной почти с карандаш были

обнажены. Напряжение не такое уж высокое, 1000 вольт, и потому промежутки между ними не были большими — всего семь миллиметров. Он случайно знал, что семь. Они однажды разбирали всю электропроводку, и поскольку тогда Пиркс не знал, какие расстояния должны быть между проводами, он всякого наслушался от ассистента. Мухе надоело ухаживать, и теперь она ползала по обнаженному проводу. Ей это, конечно, не вредило. А вот если ей захочется перелезть на другой… видно, ей как раз захотелось этого: она зажужжала и уселась на самой крайней медной жиле. Как будто во всей кабине не нашлось другого места! А вдруг она станет передними лапками на один провод, а задними на другой…

Ну и что ж? В худшем случае произойдет короткое замыкание. Впрочем, муха, пожалуй, не так уж велика. А если даже и произойдет, то на мгновение, автоматический предохранитель выключит ток, муха сгорит, автомат опять включит ток, и все придет в норму — зато от мухи он избавится! Как загипнотизированный, Пиркс смотрел на щит высокого напряжения. Все-таки ему не хотелось, чтобы эта тварь производила опыты. Короткое замыкание — черт его знает, что из этого получится… Может, и ничего, но зачем?

Время: еще восемь минут при постепенно ослабевающей тяге двигателей. Сейчас кончится. Он как раз смотрел на часы, когда что-то сверкнуло, и свет погас. Продолжалось это, вероятно, около трети секунды. Муха! Затаив дыхание, он дожидался, пока автомат включит ток. Включил.

Свет загорелся, но оранжевый, слабый, и тут же снова щелкнул предохранитель. Тьма. Автомат опять включил ток. Выключил. Включил. И так беспрерывно, без конца. Лампы светили вполнакала. В чем дело? С трудом он разглядел при равномерно мигающем свете: от мухи — втиснулась-таки эта тварь между двумя проводами! — остался трупик, продолговатый уголек, который продолжал соединять провода.

Нельзя сказать, чтобы Пиркс уж очень перепугался. Он, конечно, был взволнован, но разве с момента старта он хоть одну минуту чувствовал себя спокойным? Часы были видны плохо. Щиты имели свое собственное освещение, радар тоже. Тока хватало как раз на то, чтобы аварийные огни и резервная цепь не включались, но для полного освещения его недоставало. До момента выключения двигателей оставалось всего четыре минуты.

Об этом ему заботиться не приходилось: авто-

мат должен сам выключить двигатели. Ледяная струйка пробежала вдоль позвоночника — как же сработает автомат, если произошло короткое замыкание?

Какую-то секунду он колебался: та самая это цепь или другая? Потом сообразил, что это главные предохранители. Для всей ракеты и для всех цепей. Но как же котел, ведь он сам по себе?..

Котел — да. Но не автомат. Ведь ты же сам предварительно отрегулировал его. Значит, надо выключить. Или лучше не трогать? Авось, как-нибудь сработает!

Конструкторы не учли, что в кабину управления может попасть муха, что крышка может свалиться и произойдет короткое замыкание — да еще какое!

Свет беспрерывно мигал. Надо было что-то предпринимать. Но что?

Очень просто: надо переключить главный выключатель, который находится под полом, за креслом. Он выключит главную цепь и приведет в действие аварийную. И все будет в порядке. Ракета не так уж плохо сконструирована, все предусмотрено для обеспечения надлежащей безопасности.

Любопытно, а пришло бы это вот так, сразу,

в голову Бёрсту? Пожалуй, пришло бы. Может быть, даже… Но осталось всего две минуты!!! Он не успеет произвести маневр! Пиркс подпрыгнул на месте. Он начисто забыл о Бёрсте!

Несколько секунд он соображал, закрыв глаза.

— АМУ-27, ведущий Земля-Луна, к ИО-2, ИО-2 бис. У меня короткое замыкание в кабине управления. Маневр выхода на временно-постоянную орбиту над экваториальной зоной Луны выполню с опозданием в… э… в неопределенный срок. Выполняйте маневр самостоятельно в установленный момент. Прием.

— ИО-2 бис к ведущему АМУ-27 Земля-Луна. Выполняю маневр одновременно с ИО-2, выхожу на временно-постоянную орбиту над экваториальной зоной. До момента прилунения у тебя остается девятнадцать минут. Желаю успеха. Желаю успеха. Конец.

Едва дослушав, Пиркс отвинтил кабель радиофона, кислородный шланг, второй кабель — пояса он расстегнул заранее. Когда он поднимался с кресла, табло автомата вспыхнуло рубиновым светом. Вся кабина то возникала из тьмы, то погружалась в мутный оранжевый полусвет. Двигатель не выключился. Красный огонек смотрел на него из полутьмы, словно

спрашивая совета. Раздалось равномерное гудение — предостерегающий сигнал. Автомат не смог выключить двигатели. Стараясь сохранить равновесие, Пиркс бросился за кресло.

Выключатель находился в кассете, вделанной в пол. Кассета заперта на ключ. Да, конечно, заперта. Он дернул крышку — не поддается! Где же ключ?

Ключа не было. Дернул еще раз — результат тот же.

Пиркс выпрямился и уставился перед собой невидящими глазами: на передних экранах пылала уже не серебристая, а белая, как горные снега, гигантская Луна. Зубчатые тени кратеров передвигались по ее диску. Отозвался радарный альтиметр — или он давно уже работал? Он мерно тикал, из полумрака выскакивали маленькие зеленые цифры. Расстояние — двадцать одна тысяча километров.

Предохранитель регулярно выключал ток, свет мигал без устали. Но когда он гас, в кабине уже не наступала темнота: призрачное сияние Луны заливало ракету и лишь слегка ослабевало, когда вспыхивал тускловатый свет ламп.

Корабль летел прямо, только прямо и все увеличивал скорость при остаточном ускорении 0,2

g, вдобавок Луна притягивала его все сильнее. Что делать? Что делать? Он рванулся еще раз к кассете, ударил ногой по крышке — сталь и не дрогнула.

Сейчас, сейчас! Боже! Как он мог так потерять голову! Надо… надо просто попасть туда, по ту сторону оболочки! Ведь это возможно! У самого выхода, там, где стеклянная банка, сужаясь в туннель, становится воронкой, кончающейся у затвора, находится специальный рычаг, покрытый красным лаком, с надписью: «Только при аварии в системе управления». Лишь стоит его передвинуть, и стеклянный колпак поднимется почти на метр — тогда можно будет подлезть под него! Каким-нибудь кусочком изоляции очистить провода и…

Одним прыжком он очутился у красного рычага.

«Идиот!» — выругал он себя мысленно, схватился за стальной рычаг и так дернул его, что у него хрустнул плечевой сустав. Рычаг выскочил на всю длину сверкающего машинным маслом стального прута, а пузырь хоть бы дрогнул! Обалдев, Пиркс глядел на пузырь — и видел в глубине экраны, заполненные пылающей Луной. Свет беспрерывно мигал над его головой. Он еще раз

дернул рычаг, хотя тот был уже вытянут до отказа… Ничего.

Ключ! Ключ от кассеты с выключателем! Он бросился плашмя на пол, заглянул под кресло. Там лежал только брик… Свет беспрерывно мигал, предохранители регулярно выключали ток. Когда свет гас, все вокруг становилось белым, будто это были скелеты.

«Конец! — подумал он. — Выброситься вместе с пузырем? Катапультироваться с креслом? Нельзя — парашют не затормозит, ведь на Луне нет атмосферы».

«Спасите!!!» — хотелось ему кричать, но не к кому было взывать, он один. Что делать? Должен быть какой-то выход!!

Пиркс еще раз кинулся к рукоятке, дернул — рука чуть не выскочила из сустава. Он готов был заплакать от отчаяния. Так глупо, так глупо… Где же ключ? Почему механизм заело? Альтиметр… Он быстрым взглядом окинул циферблаты: девять с половиной тысяч километров. На светящемся фоне отчетливо выделялись зубчатые края Тимохариса. Ему казалось, что он уже ясно видит место, где врежется в покрытую пемзой скалу. Будет грохот, огонь и…

Вдруг при очередной вспышке света его ли-

хорадочно блуждающий взгляд упал на четыре медные жилы. Там отчетливо чернел маленький уголек, соединяющий кабели, — останки сгоревшей мухи. Выставив плечо, как вратарь в отчаянном броске, Пиркс прыгнул вперед; удар был страшным, от сотрясения он едва не потерял сознание. Эластичная оболочка отбросила его, как надутая автомобильная шина, он упал на пол. Кабина не дрогнула. Он вскочил на ноги, тяжело дыша, с окровавленными губами, готовый опять броситься на стеклянную стену.

И тут он глянул вниз.

Рычаг простого пилотажа. Для больших кратковременных ускорений, до 10 g, но только на долю секунды. Он действовал непосредственно, на механической тяге. Давал мгновенный аварийный ход.

Но этим путем он мог лишь увеличить скорость, то есть еще быстрее долететь до Луны. Нет, надо тормозить. Эффект был слишком кратковременным. Торможение должно быть непрерывным.

Он бросился на рычаг, падая, схватился за него, рванул — и, лишенный амортизирующей защиты кресла, почувствовал, что буквально разваливается на части — так сильно ударился об пол. Он потянул за рычаг еще раз. Такой же

страшный, мгновенный рывок ракеты! Пиркс стукнулся головой об пол, и, если б не пенопласт, его череп раскололся бы.

Предохранитель звякнул, мигание внезапно прекратилось. Кабину залил нормальный, спокойный свет ламп.

Двойной толчок молниеносных ускорений выбросил обугленный трупик мухи, застрявший между проводами. Короткое замыкание было ликвидировано. Чувствуя на губах соленый вкус крови, Пиркс кинулся в кресло, будто прыгнул с трамплина, но не попал в его объятия, пролетел высоко над спинкой — страшный удар о потолок, чуть ослабленный шлемом.

В тот момент, когда он готовился к прыжку, вступивший в действие автомат выключил двигатели. Корабль, теперь уже только по инерции, камнем падал прямо на скалистые зубцы Тимохариса.

Пиркс оттолкнулся от потолка. Кровавая слюна, которую он выплюнул, плавала вокруг него — красновато-серебристые пузырьки. Он отчаянно извивался в воздухе, протягивая руки к спинке кресла. Вытащил из карманов все, что в них было, и швырнул за спину.

От этого рывка его тело начало медленно и мяг-

ко опускаться все ниже, пальцы, вытянутые так, что жилы лопались, сначала царапнули ногтями по никелированной трубке, потом вцепились в нее. Теперь уж он ее не выпустит. Он подтягивался вниз головой, как акробат, делающий стойку на ручках кресла, поймал пояс, по поясу съехал вниз, обмотал его вокруг тела, застежка… Он не стал тратить время на застегивание, зажал конец пояса зубами — держится! Теперь руки на рукоятки, ноги на педали!

Альтиметр: тысяча восемьсот километров до Луны. Успеет он затормозить? Исключено! Сорок пять километров в секунду! Надо повернуть, провести глубокий выход из пикирующего полета — только так!

Пиркс включил рычаги поворота — 2… 3… 4 g. Мало! Мало!

Он дал полную тягу на поворот. Сверкающий ртутным блеском диск Луны на экране, словно вмурованный в него снаружи, теперь дрогнул и начал все быстрее опускаться вниз. Кресло скрипело под возрастающей тяжестью тела. Корабль входил в дугу с большим радиусом над самой поверхностью Луны — такой радиус был необходимым из-за огромной скорости. Рычаг торчал неподвижно, дожатый до отказа. Тело вдавлива-

лось в губчатую обивку кресла, Пиркс задыхался — комбинезон не был соединен с кислородным аппаратом, он чувствовал, как гнутся его ребра, серые пятна поплыли перед глазами. Он ждал слепоты, не отрываясь от рамки радарного альтиметра, на циферблате которого мелькали маленькие цифры: 990… 840… 760 километров…

Хоть он и знал, что идет на полной мощности, но продолжал нажимать на рычаг. Он делал самый крутой поворот, какой только был возможен, и, несмотря на это, продолжал терять высоту, цифры уменьшались, хотя и медленнее — он все еще находился в нисходящей части большой дуги. Пиркс посмотрел на траектометр — он едва смог повернуть зрачки.

Как обычно в опасной зоне небесных тел, диск аппарата показывал не только кривую, которую чертила ракета, и слабо светящееся воображаемое продолжение траектории, но также профиль поверхности Луны, над которой проводился весь этот маневр.

Обе эти кривые — полета и лунной поверхности — почти сходились. Пересекаются ли они? Нет. Но его дуга была почти касательной. Не известно, проскользнет он над самой поверхностью Луны или врежется в нее. Траектометр работал с точ-

ностью до семи-восьми километров, и Пиркс не мог знать, проходит ли кривая в трех километрах над скалами или под ними.

Темнело в глазах — 5 уделали свое дело. Но сознания он не потерял. Лежал ослепший — руки крепко сжимали рычаги, — чувствуя, как постепенно подаются амортизаторы кресла. Он не верил, что погибнет. Как-то не мог в это поверить. Он был уже не в силах шевелить губами и в окутавшей его тьме лишь медленно считал про себя: 21… 22… 23… 24…

Дойдя до пятидесяти, подумал: сейчас произойдет столкновение, если оно вообще должно произойти. И все-таки не выпускал из рук рычаги. Он понемногу терял сознание: духота, звон в ушах, в горле полно крови, перед глазами — кровавая тьма.

Пальцы разжались сами, рычаг медленно сдвинулся, он уже ничего не слышал, ничего не видел. Постепенно светлело — дышать стало легче. Он хотел открыть глаза, но ведь они были все время открыты, и теперь их жгло: пересохла слизистая оболочка глазного яблока.

Он сел.

На гравиметре — 2 g. Передний экран пуст. Звездное небо. От Луны ни следа. Куда делась Луна?

Она была внизу, под ним. Он вырвался из смертельного пике и теперь удалялся от Луны с сокращающейся скоростью. На какой высоте он проскочил над Луной? Это, конечно, зарегистрировал альтиметр, сейчас Пирксу было не до исследования цифровых данных! Только теперь он осознал, что гудевший беспрерывно сигнал тревоги умолк. Очень нужен такой сигнал! Лучше б уж колокол повесили под потолком. Кладбище так кладбище. Что-то тихонько зажужжало. Муха! Вторая муха! Жива, скотина этакая! Она летала под самым куполом. Во рту у Пиркса было что-то отвратительное, жесткое, с привкусом ткани — конец предохранительного пояса! Он все время безотчетно сжимал его зубами.

Пиркс пристегнул пояса, положил руки на рычаги — надо было вывести ракету на заданную орбиту. Ясное дело — обоих ИО уже и след простыл, но он должен доползти куда следует, и сдать рапорт Луне Навигационной. А может быть, Луне Главной, поскольку у него была авария? Черт его знает! Или промолчать? Нет, это исклю-

чено. Вернется он — увидят кровь, даже потолок в красных брызгах (теперь он это заметил), да и автоматический регистратор записал на ленту все, что здесь творилось: и фортели предохранителя, и борьбу с аварийным рычагом. Хороши же эти АМУ — нечего сказать! Хороши и те, кто подсовывает пилотам такие гробы!

Однако пора было рапортовать, а Пиркс все не знал кому. Он наклонился, отпустил немного плечевой ремень.

Протянул руку к шпаргалке, лежащей под креслом. В конце концов, почему бы и не заглянуть в нее? Хоть теперь пригодится.

И тут что-то скрипнуло — совсем так, будто отворилась какая-то дверь.

Никакой двери за ним не было — он это прекрасно знал. Привязанный поясами к креслу, он не мог обернуться назад. Но на экраны упала полоса света, звезды побледнели, и он услышал приглушенный голос шефа:

— Пилот Пиркс!

Пиркс хотел вскочить, но ремни не пустили, он упал обратно в кресло — ему казалось, что он сошел с ума. В проходе между стенкой кабины и прозрачной оболочкой показалась фигура шефа. Он остановился перед Пирксом в сером

мундире, глядел на него серыми глазами — и улыбался. Пиркс не понимал, что с ним происходит. Прозрачная оболочка поднялась вверх, Пиркс инстинктивно отстегнул пояса, встал. Экраны за спиной шефа внезапно погасли, будто их ветром сдуло.

— Весьма хорошо, пилот Пиркс, — сказал шеф. — Весьма хорошо.

Пиркс все еще не соображал, что с ним делается. Он встал по команде «смирно» перед шефом и сделал нечто страшное — повернул свою голову, насколько позволил надутый воротник.

Весь проход вместе с люком был раскрыт — словно ракета в этом месте лопнула пополам. В лучах вечернего солнца виднелся помост ангара, стоящие на нем люди, тросы, решетчатые фермы. Пиркс поглядел на шефа.

— Иди, мальчуган, — сказал шеф. И медленно протянул ему руку, которую Пиркс взял. Крепко сжав его пальцы, шеф добавил: — Выражаю тебе благодарность от имени Института полетов, а от своего собственного — прошу извинить меня. Это… это необходимо. А теперь идем, зайдешь ко мне. Сможешь умыться.

Он двинулся к выходу. Пиркс пошел за ним, ступая тяжело и неуклюже. Снаружи было холодно,

веял слабый ветер — он врывался в ангар через раздвинутую часть свода. Обе ракеты стояли на тех же местах, что и раньше, лишь несколько длинных, толстых кабелей были подключены к их носам. Прежде этих кабелей не было.

Инструктор, стоявший на помосте, что-то говорил ему. Сквозь шлем он плохо слышал.

— Что? — спросил он машинально.

— Воздух! Выпусти воздух из комбинезона!

— Ага, воздух…

Он нажал клапан — зашипело. Пиркс стоял на помосте. Какие-то два человека в белых халатах ждали у барьера. Похоже было, что у его ракеты лопнул нос. Постепенно Пиркса начало охватывать ощущение странной слабости… изумления… разочарования… которое все явственнее переходило в гнев.

Отвинчивали крышку второй ракеты. Шеф стоял на помосте, люди в белых халатах что-то ему говорили. Внутри ракеты раздался слабый треск…

Какой-то коричневый извивающийся клубок выкатился оттуда, смутным пятном моталась голова без шлема, давилась криком…

У Пиркса подкосились ноги.

Этот человек…

Бёрст врезался в Луну.

Условный рефлекс

Случилось это на четвертом году обучения, как раз перед каникулами.

К тому времени Пиркс уже отработал все практические занятия, остались позади зачеты на симуляторе[5], два настоящих полета, а также «самостоятельное колечко» — полет на Луну с посадкой и обратным рейсом. Он чувствовал себя докой в этих делах, старым космическим волком, для которого любая планета — дом родной, а поношенный скафандр — излюбленная одежда, который первым замечает в космосе мчащийся навстречу метеоритный рой и с сакраментальным возгласом «Внимание! Рой!» совершает молниеносный маневр, спасая от гибели корабль, себя и своих менее расторопных коллег.

Так, по крайней мере, он себе это представлял, с огорчением отмечая во время бритья, что по его виду никак не скажешь, сколько ему довелось пережить… Даже этот паскудный случай при посадке в Центральном Заливе, когда прибор

---

[5] Примечания: 5

Симулятор — учебный стенд, создающий иллюзию космического полета.

Гаррельсбергера взорвался чуть ли не у него в руках, не оставил Пирксу на память ни одного седого волоска! Что говорить — он понимал бесплодность своих мечтаний о седине (а чудесно было бы все же иметь тронутые инеем виски!), но пускай бы хоть собрались у глаз морщинки, с первого взгляда говорящие, что появились они от напряженного наблюдения за звездами, лежащими по курсу корабля! Пиркс как был толстощеким, таки остался. А поэтому он скоблил притупившейся бритвой свою физиономию, которой втайне стыдился, и придумывал каждый раз все более потрясающие ситуации, из которых в конце концов выходил победителем.

Маттерс, который кое-что знал о его огорчениях, а кое о чем догадывался, посоветовал Пирксу отпустить усы. Трудно сказать, шел ли этот совет от души. Во всяком случае, когда Пиркс однажды утром в уединении приложил обрывок черного шнурка к верхней губе и посмотрелся в зеркало, его затрясло — такой у него был идиотский вид. Он усомнился в Маттерсе, хотя тот, возможно, не желал ему зла; и уж наверняка неповинна была в этом хорошенькая сестра Маттерса, которая сказала однажды Пирксу, что он выглядит «ужасно добропорядочно». Ее слова доконали Пиркса.

Правда, в ресторане, где они тогда танцевали, не произошло ни одной из тех неприятностей, которых обычно побаивался Пиркс. Он только однажды перепутал танец, а она была настолько деликатна, что промолчала, и Пиркс нескоро заметил, что все остальные танцуют совсем другой танец. Но потом все пошло как по маслу. Он не наступал ей на ноги, в меру сил своих старался не хохотать (его хохот заставлял оборачиваться всех встречных на улице), а потом проводил ее домой.

От конечной остановки нужно было еще порядочно пройти пешком, а он всю дорогу прикидывал, как дать ей понять, что он вовсе не «ужасно добропорядочен», — слова эти задели его за живое. Когда они уже подходили к дому, Пиркс переполошился. Он так ничего и не придумал, а вдобавок из-за усиленных размышлений молчал как рыба; в голове его царила пустота, отличавшаяся от космической лишь тем, что была пронизана отчаянным напряжением. В последнюю минуту метеорами пронеслись две-три идеи: назначить ей новое свидание, поцеловать ее, пожать ей руку (об этом он где-то читал) многозначительно, нежно и в то же время коварно и страстно. Но ничего не получилось. Он ее не

поцеловал, не назначил свидания, даже руки не подал… И если б на этом все кончилось! Но, когда она своим приятным, воркующим голоском произнесла «Спокойной ночи», повернулась к калитке и взялась за задвижку, в нем проснулся бес. А может, это произошло просто потому, что в ее голосе он ощутил иронию, действительную или воображаемую, бог знает, но совершенно инстинктивно, как раз когда она повернулась к нему спиной, такая самоуверенная, спокойная… это, конечно, из-за красоты, держалась она королевой, красивые девушки всегда так… Ну, короче, он дал ей шлепок по одному месту, и притом довольно сильный. Услышал тихий, сдавленный вскрик. Должно быть, она порядком удивилась! Но Пиркс не стал дожидаться, что будет дальше. Он круто повернулся и убежал, словно боялся, что она погонится за ним… На другой день, завидев Маттерса, он подошел к нему, как к мине с часовым механизмом, но тот ничего не знал о случившемся.

Пиркса беспокоила эта проблема. Ни о чем он тогда не думал (как легко это ему, к сожалению, дается!), а взял да отвесил ей шлепок. Разве так поступают «ужасно добропорядочные» люди?

Он не был вполне уверен, но опасался, что,

пожалуй, так. Во всяком случае, после истории с сестрой Маттерса (с той поры он избегал этой девушки) он перестал по утрам кривляться перед зеркалом. А ведь одно время он пал так низко, что несколько раз с помощью второго зеркала пытался найти такой поворот лица, который хоть частично удовлетворял бы его великие запросы. Разумеется, он не был законченным идиотом и понимал, как смехотворны эти обезьяньи ужимки, но, с другой стороны, ведь искал-то он не признаков красоты, помилуй бог, а черты характера! Ведь он читал Конрада и с пылающим лицом мечтал о великом молчании Галактики, о мужественном одиночестве, а разве можно представить себе героя вечной ночи с такой ряшкой? Сомнения не рассеялись, но с кривлянием перед зеркалом он покончил, доказав себе, какая у него твердая, несгибаемая воля.

Эти волнующие переживания несколько улеглись, потому что подошла пора сдавать экзамен профессору Меринусу, которого за глаза называли Мериносом. По правде сказать, Пиркс почти не боялся этого экзамена. Он всего лишь три раза наведывался в здание Института навигационной астродезии и астрогнозии, где у двери аудитории курсанты караулили выходящих от Мериноса не

столько для того, чтобы отпраздновать их успех, сколько чтобы разузнать, какие новые каверзные вопросики придумал Зловещий Баран. Такова была вторая кличка сурового экзаменатора. Этот старик, который в жизни не ступал ногой не то что на Луну, а даже на порог ракеты! — благодаря теоретической эрудиции знал каждый камень в любом из кратеров Моря Дождей, скалистые хребты астероидов и самые неприступные районы на спутниках Юпитера; говорили, что ему прекрасно известны метеориты и кометы, которые будут открыты спустя тысячелетие, — он уже сейчас математически рассчитал их орбиты, предаваясь своему любимому занятию — анализу возмущения небесных тел. Необъятность собственной эрудиции сделала его придирчивым по отношению к микроскопическому объему знаний курсантов.

Пиркс, однако, не боялся Меринуса, потому что подобрал к нему ключик. Старик ввел свою собственную терминологию, которой в специальной

литературе никто другой не применял. Так вот, Пиркс, движимый врожденной сметливостью, заказал в библиотеке все труды Меринуса и — нет, вовсе он их не читал — попросту перелистал и выписал сотни две мериносовских словесных уродцев. Вызубрил их как следует и был уверен, что не провалится. Так оно и случилось. Профессор, уловив, в каком стиле Пиркс отвечает, встрепенулся, поднял лохматые брови и слушал Пиркса, как соловья. Тучи, обычно не сходившие с его чела, рассеялись. Он словно помолодел — ведь он слушал будто самого себя. А Пиркс, окрыленный этой переменой в профессоре и собственным нахальством, несся на всех парусах, и, хотя полностью засыпался на последнем вопросе (тут нужно было знать формулы и вся мериносовская риторика не могла помочь), профессор вывел жирную четверку и выразил сожаление, что не может поставить пять.

Так Пиркс укротил Мериноса. Взял его за рога. Куда больше страха он испытывал перед «сумасшедшей ванной» — очередным и последним этапом накануне выпускных экзаменов.

Когда дело доходило до «сумасшедшей ванны», тут уж не помогали никакие уловки. Прежде всего, нужно было явиться к Альберту, который

числился обычным служителем при кафедре экспериментальной астропсихологии, но фактически был правой рукой доцента, и слово его стоило больше, нежели мнение любого ассистента. Он был доверенным лицом еще у профессора Балло, вышедшего год назад на пенсию, на радость курсантам и к огорчению служителя (ибо никто так хорошо не понимал его, как отставной профессор). Альберт вел испытуемого в подвал, где в тесной комнатке снимал с его лица парафиновый слепок. Затем полученная маска подвергалась небольшой операции: в носовые отверстия вставлялись две металлические трубки. На этом дело кончалось.

Затем испытуемый отправлялся на второй этаж, в «баню». Конечно, это была вовсе не баня, но, как известно, студенты никогда не называют вещи их подлинными именами. Это было просторное помещение с бассейном, полным воды. Испытуемый — на студенческом жаргоне «пациент» — раздевался и погружался в воду, которую нагревали до тех пор, пока он не переставал ощущать ее температуру. Это было индивидуально: для одних вода «переставала существовать» при двадцати девяти градусах, для других — лишь после тридцати двух. Но когда юноша, лежавший

навзничь в воде, поднимал руку, воду прекращали нагревать и один из ассистентов накладывал ему на лицо парафиновую маску. Затем в воду добавляли какую-то соль (но не цианистый калий, как всерьез уверяли те, кто уже искупался в «сумасшедшей ванне»), — кажется, простую поваренную соль. Ее добавляли до тех пор, пока «пациент» (он же «утопленник») не всплывал так, что тело его свободно держалось в воде, чуть пониже поверхности. Только металлические трубки высовывались наружу, и поэтому он мог свободно дышать.

Вот, собственно, и все. На языке ученых этот опыт назывался «устранение афферентных импульсов». И в самом деле, лишенный зрения, слуха, обоняния, осязания (присутствие воды очень скоро становилось неощутимым), подобно египетской мумии, скрестив руки на груди, «утопленник» покоился в состоянии невесомости. Сколько времени? Сколько мог выдержать.

Как будто ничего особенного. Однако в таких случаях с человеком начинало твориться нечто странное. Конечно, о переживаниях «утопленников» можно было почитать в учебниках по экспериментальной психологии. Но в том-то и дело, что переживания эти были сугубо индивидуаль-

ны. Около трети испытуемых не выдерживали не то что шести или пяти, а даже и трех часов. И все же игра стоила свеч, так как направление на преддипломную практику зависело от оценки за выносливость: занявший первое место получал первоклассную практику; совсем не похожую на малоинтересное, в общем-то даже нудное пребывание на различных околоземных станциях. Невозможно было заранее предсказать, кто из курсантов окажется «железным», а кто сдастся: «ванна» подвергала нешуточному испытанию цельность и твердость характера.

Пиркс начал неплохо, если не считать того, что он без всякой нужды втянул голову под воду еще до того, как ассистент наложил ему маску; при этом он глотнул добрую порцию воды и получил возможность убедиться, что это самая обыкновенная соленая вода.

После того как наложили маску, Пиркс почувствовал легкий шум в ушах. Он находился в абсолютной темноте. Расслабил мускулы, как было предписано, и неподвижно повис в воде. Глаза он не мог открыть, даже если б захотел: мешал парафин, плотно прилегавший к щекам и ко лбу. Сначала зазудело в носу, потом зачесался правый глаз. Сквозь маску, конечно, почесаться

было нельзя. О зуде ничего не говорилось в отчетах других «утопленников»; по-видимому, это был его личный вклад в экспериментальную психологию. Совершенно неподвижный, покоился он в воде, которая не согревала и не охлаждала его нагое тело. Через несколько минут он вообще перестал ее ощущать.

Разумеется, Пиркс мог пошевелить ногами или хоть пальцами и убедиться, что они скользкие и мокрые, но он знал, что с потолка за ним наблюдает глаз регистрирующей камеры; за каждое движение начислялись штрафные очки. Вслушавшись в самого себя, он начал вскоре различать тоны собственного сердца, необычно слабые и будто доносящиеся с огромного расстояния. Чувствовал он себя совсем не плохо. Зуд прекратился. Ничто его не стесняло. Альберт так ловко приладил трубки к маске, что Пиркс и забыл о них. Он вообще ничего не ощущал. Но эта пустота становилась тревожащей. Прежде всего, он перестал ощущать положение собственного тела, рук, ног. Он еще помнил, в какой позе он лежит, но именно помнил, а не ощущал. Пиркс начал соображать, давно ли он находится под водой, с этим белым парафином на лице. И с удивлением понял, что он, обычно умевший без часов

определять время с точностью до одной-двух минут, не имеет ни малейшего представления о том, сколько минут — или, может, десятков минут? — прошло после погружения в «сумасшедшую ванну».

Пока Пиркс удивлялся этому, он обнаружил, что у него уже нет ни туловища, ни головы — вообще ничего. Совсем так, будто его вообще нет. Такое чувство не назовешь приятным. Оно скорее пугало. Пиркс будто растворялся постепенно в этой воде, которую тоже совершенно перестал ощущать. Вот уже и сердца не слышно. Изо всех сил он напрягал слух — безрезультатно. Зато тишина, целиком наполнявшая его, сменилась глухим гулом, непрерывным белым шумом, таким неприятным, что прямо хотелось уши заткнуть. Мелькнула мысль, что прошло, наверное, немало времени и несколько штрафных очков не испортят общей оценки: ему хотелось шевельнуть рукой.

Нечем было шевельнуть: руки исчезли. Он даже не то чтобы испугался — скорее обалдел. Правда, он читал что-то о «потере ощущения тела», но кто мог бы подумать, что дело дойдет до такой крайности?

«По-видимому, так и должно быть, — успока-

ивал он себя. — Главное — не шевелиться; если хочешь занять хорошее место, надо вытерпеть все это». Эта мысль поддерживала его некоторое время. Сколько? Он не знал.

Потом стало еще хуже.

Темнота, в которой он находился, или, точнее, темнота — он сам, заполнилась слабо мерцающими кругами, плавающими где-то на границе поля зрения, — круги эти даже и не светились, а смутно белели. Он повел глазами, почувствовал это движение и обрадовался. Но странно: после нескольких движений и глаза отказались повиноваться…

Но зрительные и слуховые феномены, эти мерцания, мелькания, шумы и гулы, были лишь безобидным прологом, игрушкой по сравнению с тем, что началось потом.

Он распадался. Уже даже и не тело — о теле и речи не было — оно перестало существовать с незапамятных времен, стало давно прошедшим, чем-то утраченным навсегда. А может, его и не было никогда?

Случается, что придавленная, лишенная притока крови рука отмирает на некоторое время, к ней можно прикоснуться другой, живой и чувствующей рукой, словно к обрубку дерева.

Почти каждому знакомо это странное ощущение, неприятное, но, к счастью, быстро проходящее. Но человек при этом остается нормальным, способным ощущать, живым, лишь несколько пальцев или кисть руки омертвели, стали будто посторонней вещью, прикрепленной к его телу. А у Пиркса не осталось ничего, или, вернее, почти ничего, кроме страха.

Он распадался — не на какие-то там отдельные личности, а именно на страхи. Чего Пиркс боялся? Он понятия не имел. Он не жил ни наяву (какая может быть явь без тела?), ни во сне. Не сон же это: он знал, где находится, что с ним делают. Это было нечто третье. И на опьянение абсолютно не похоже.

Они об этом читал. Это называлось так: «Нарушение деятельности коры головного мозга, вызванное лишением внешних импульсов».

Звучало это не так уж плохо. Но на опыте…

Он был немного здесь, немного там, и все расползалось. Верх, низ, стороны — ничего не осталось. Он силился припомнить, где должен быть потолок. Но что думать о потолке, если нет ни тела, ни глаз?

— Сейчас, — сказал он себе, — наведем порядок. Пространство — размеры — направления…

Слова эти ничего не значили. Он подумал о времени, повторял «время, время», будто жевал комок бумаги. Скопление букв без всякого смысла. Уже не он повторял это слово, а некто другой, чужой, вселившийся в него. Нет, это он вселился в кого-то. И этот кто-то раздувался. Распухал. Становился безграничным. Пиркс бродил по каким-то непонятным недрам, сделался громадным, как шар, стал немыслимым слоноподобным пальцем, он весь был пальцем, но не своим, не настоящим, а каким-то вымышленным, неизвестно откуда взявшимся. Этот палец обособлялся. Он становился чем-то угнетающим, неподвижным, согнутым укоризненно и вместе с тем нелепо, а Пиркс, сознание Пиркса возникало то по одну, то по другую сторону этой глыбы, неестественной, теплой, омерзительной, никакой…

Глыба исчезла. Он кружился. Вращался. Падал камнем, хотел крикнуть. Глазные орбиты без лица, округлые, вытаращенные, расплывающиеся, если пробовать им сопротивляться, наступали на него, лезли в него, распирали его изнутри, словно он резервуар из тонкой пленки, готовый вот-вот лопнуть.

И он взорвался…

Он распался на независимые друг от друга доли

темноты, которые парили, как беспорядочно взлетающие клочки обуглившейся бумаги. И в этих мельканиях и взлетах было непонятное напряжение, усилие, будто при смертельной болезни, когда сквозь мглу и пустоту, прежде бывшие здоровым телом и превратившиеся в бесчувственную стынущую пустыню, что-то жаждет в последний раз отозваться, добраться до другого человека, увидеть его, прикоснуться к нему.

— Сейчас, — удивительно четко произнес кто-то, но это шло извне, это был не он. Может, какой-то добрый человек сжалился и заговорил с ним? С кем? Где? Но ведь он слышал. Нет, это был не настоящий голос.

— Сейчас. Другие-то прошли сквозь это. От этого не умирают. Нужно держаться.

Эти слова все повторялись. Пока не утратили смысл. Опять все расползалось, как размокшая серая промокашка. Как снежный сугроб на солнце. Его размывало, он, недвижимый, несся куда-то,

исчезал.

«Сейчас меня не будет», — подумал он вполне серьезно, ибо это походило на смерть, а не на сон. Только одно он знал еще: это не сон. Его окружали со всех сторон. Нет, не его. Их. Их было несколько. Сколько? Он не мог сосчитать.

Что я тут делаю? — спросило что-то в нем. — Где я? В океане? На Луне? Испытание…

Не верилось, что это испытание. Как же так: немного парафина, какая-то подсоленная вода — и человек перестает существовать? Пиркс решил покончить с этим, во что бы ни стало. Он боролся, сам не зная с чем, будто приподнимал придавивший его огромный камень. Но не смог даже шелохнуться. В последнем проблеске сознания он собрал остатки сил и застонал. И услыхал этот стон — приглушенный, отдаленный, словно радиосигнал с другой планеты.

На какое-то мгновение он почти очнулся, сосредоточился — чтобы впасть в очередную агонию, еще более мрачную, все разрушающую.

Никакой боли он не ощущал. О, если бы это была боль! Она сидела бы в теле, напоминала бы о нем, очерчивала бы какие-то границы, терзала бы нервы. Но это была безболезненная агония — мертвящий, нарастающий прилив небытия.

Он почувствовал, как судорожно вдыхаемый воздух входит в него — не в легкие, а в эту массу трепещущих, скомканных обрывков сознания. Застонать, еще раз застонать, услышать себя…

— Если хочешь стонать, не мечтай о звездах, — послышался тот же неизвестный, близкий, но чужой голос.

Он одумался и не застонал. Впрочем, его уже не было. Он сам не знал, во что превратился: в него вливали какие-то липкие, холодные струи, а хуже всего было то — почему ни один болван даже не упомянул об этом? — что все шло через него насквозь. Он стал прозрачным. Он был дырой, решетом, извилистой цепью пещер и подземных переходов.

Потом и это распалось — остался только страх, который не рассеялся даже тогда, когда тьма задрожала, как в ознобе, от бледного мерцания — и исчезла.

Потом стало хуже, намного хуже. Об этом, однако, Пиркс не мог впоследствии ни рассказать, ни даже вспомнить отчетливо и подробно: для таких переживаний еще не найдены слова. Ничего он не смог из себя выдавить. Да, да, «утопленники» обогащались, вот именно обогащались еще одним дьявольским переживанием, которого

профаны даже представить себе не могут. Другое дело, что завидовать тут нечему.

Пиркс прошел еще много состояний. Некоторое время его не было, потом он снова появился, многократно умноженный; потом что-то выедало у него весь мозг, потом были какие-то путаные, невыразимые словами мучения — их объединял страх, переживший и тело, и время, и пространство. Все.

Страха-то он наглотался досыта.

Доктор Гротиус сказал:

— Первый раз вы застонали на сто тридцать восьмой минуте, второй раз — на двести двадцать седьмой. Всего три штрафных очка — и никаких судорог. Положите ногу на ногу. Проверим рефлексы… Как вам удалось продержаться так долго — об этом потом.

Пиркс сидел на сложенном вчетверо полотенце, чертовски шершавом и поэтому очень приятном. Ни дать ни взять — Лазарь. Не в том смысле, что он внешне был чем-то похож на Лазаря, но чувствовал он себя воистину воскресшим. Он выдержал семь часов. Занял первое место. За последние три часа тысячу раз умирал. Но не застонал. Когда его вытащили из воды, обтерли, промассировали, сделали укол, дали

глоток коньяку и повели в лабораторию, где ждал доктор Гротиус, он мельком взглянул в зеркало. Он был совершенно оглушен, одурманен, будто не один месяц пролежал в горячке. Он знал, что все уже позади. И все же взглянул в зеркало. Не потому, что надеялся увидеть седину, а просто так. Увидел свою круглую физиономию, быстро отвернулся и зашагал дальше, оставляя на полу мокрые следы. Доктор Гротиус долго пытался вытянуть из него хоть какие-нибудь описания пережитого. Шутка сказать — семь часов! Доктор Гротиус теперь по-иному смотрел на Пиркса: не то чтобы с симпатией — скорее с любопытством, как энтомолог, открывший новый вид бабочки. Или очень редкую букашку. Возможно, он видел в нем тему будущего научного труда?

Нужно с сожалением признать, что Пиркс оказался не особенно благодарным объектом для исследования. Он сидел и придурковато хлопал глазами: все было плоское, двумерное; когда он тянулся к какому-нибудь предмету, тот оказывался ближе или дальше, чем рассчитывал Пиркс. Это было обычное явление. Но не очень-то обычным был ответ на вопрос ассистента, пытавшегося добиться каких-нибудь подробностей.

— Вы там лежали? — ответил он вопросом на

вопрос.

— Нет, — удивился доктор Гротиус, — а что?

— Так полежите, — предложил ему Пиркс, — тогда сами увидите, каково там.

На следующий день Пиркс чувствовал себя уже настолько хорошо, что мог даже острить по поводу «сумасшедшей ванны». Теперь он стал ежедневно наведываться в главное здание, где под стеклом на доске объявлений вывешивались списки с указанием места практики. Но до конца недели его фамилия так и не появилась.

А в понедельник его вызвал шеф.

Встревожился Пиркс не сразу. Сначала он стал считать свои прегрешения. Речь не могла идти о том, что впустили мышь в ракету «Остенса» — дело давнее, да и мышь была крошечная, и вообще тут говорить не о чем. Потом была эта история с будильником, автоматически включавшим ток в сетку кровати, на которой спал Мебиус. Но и это, собственно, пустяк. И не такое вытворяют в двадцать два года: к тому же шеф был снисходителен. До каких-то пределов. Неужели он знал о «привидении»?

«Привидение» было собственной, оригинальной выдумкой Пиркса. Разумеется, ему помогали коллеги — есть же у него друзья. Но Варна следо-

вало проучить. Операция «Привидение» прошла как по-писаному. Набили порохом бумажный кулек, потом из пороха же сделали дорожку, трижды опоясавшую комнату, и вывели ее под стол. Может, пороху насыпали действительно многовато. Другим концом пороховая дорожка выходила через щель под дверью в коридор. Варна заранее обработали: целую неделю по вечерам только и говорили, что о призраках. Пиркс, не будь прост, расписал роли: одни парни рассказывали всякие страсти, а другие разыгрывали из себя неверующих, чтобы Бари не догадался о подвохе.

Бари не принимал участия в этих метафизических спорах, лишь иногда посмеивался над самыми ярыми апологетами «потустороннего мира». Да, но надо было видеть, как вылетел он в полночь из своей спальни, ревя, словно буйвол, спасающийся от тигра. Огонь ворвался сквозь щель под дверью, трижды обежал вокруг комнаты и так рванул под столом, что книги рассыпались. Пиркс, однако, переборщил — занялся пожар. Несколькими ведрами воды пламя погасили, но осталась выжженная дыра в полу и вонь. В известном смысле номер не удался. Бари не поверил в привидения. Пиркс решил,

что, наверное, все дело в этом «привидении». Утром он встал пораньше, надел свежую сорочку, на всякий случай заглянул в «Книгу полетов», в «Навигацию» и пошел, махнув на все рукой.

Кабинет у шефа был великолепный. Так, по крайней мере, Пирксу казалось. Стены были сплошь увешаны картинами неба, на темно-синем фоне светились желтые, как капельки меда, созвездия. На письменном столе стоял маленький немой лунный глобус, вокруг было полным-полно книг, дипломов, а у самого окна стоял второй, гигантский глобус. Это было подлинное чудо: нажмешь соответствующую кнопку — и сразу вспыхивают и выходят на орбиту любые спутники, — говорят, там были не только нынешние, но и самые старые, включая первые, уже давно ставшие историческими спутники 1957 года.

В этот день, однако, Пирксу было не до глобуса. Когда он вошел в кабинет, шеф писал. Сказал, чтобы Пиркс сел и подождал. Потом снял очки — он начал носить их всего год назад — и посмотрел на Пиркса, будто в первый раз в жизни его увидел. Такая у него была манера. От этого взгляда мог растеряться даже святой, не имевший на совести ни одного грешка. Пиркс не был святым. Он заерзал в кресле. То проваливался в глубину,

принимая позу неподобающе свободную, словно миллионер на палубе собственной яхты, то вдруг сполз вперед, чуть ли не на ковер и на собственные пятки. Выдержав паузу, шеф спросил:

— Ну, как твои дела, парень?

Он обратился на «ты», значит, дела обстоят неплохо. Пиркс понял, что все в порядке.

— Говорят, ты искупался.

Пиркс подтвердил. К чему бы это? Настороженность не покидала его. Может, за невежливость по отношению к ассистенту…

— Есть одно свободное место для практики на станции «Менделеев». Знаешь, где это?

— Астрофизическая станция на «той стороне»… — ответил Пиркс.

Он был несколько разочарован. Была у него тайная надежда, настолько сокровенная, что он из суеверия даже самому себе в ней не признавался. Он мечтал о другом. О полете. Столько ведь ракет, столько планет, а он должен довольствоваться обычной стационарной практикой на «той стороне»… Когда-то считалось особым шиком называть «той стороной» не видимое с Земли полушарие Луны. Но сейчас все так говорят.

— Верно. Ты знаешь, как она выглядит? — спросил шеф.

У него было странное выражение лица — словно он не договаривал чего-то. Пиркс на миг заколебался: врать или нет?

— Нет, — сказал он.

— Если возьмешься за это задание, я передам тебе всю документацию.

Шеф положил руку на кипу бумаг.

— Значит, я имею право не взяться? — с нескрываемым оживлением спросил Пиркс.

— Имеешь. Потому что задание опасное. Точнее, может оказаться опасным…

Шеф собирался сказать еще что-то, но не смог. Он замолчал, чтобы лучше приглядеться к Пирксу; тот уставился на него широко раскрытыми глазами, потом медленно, благоговейно вздохнул — да так и замер, будто забыл, что надо дышать. Зардевшись, как девица, перед которой предстал королевич, он ждал новых упоительных слов. Шеф откашлялся.

— Ну, ну, — произнес он отрезвляюще. — Я преувеличил. Во всяком случае, ты ошибаешься.

— То есть как? — пробормотал Пиркс.

— Я хочу сказать, что ты не единственный на Земле человек, от которого все зависит… Человечество не ждет, что ты его спасешь. Пока еще не ждет.

Пиркс, красный как рак, терзался, не зная, куда девать руки. Шеф, известный мастер на всякие штучки, минуту назад показал ему райское видение: Пиркса-героя, который после совершения подвига проходит по космодрому сквозь застывшую толпу и слышит восторженный шепот: «Это он! Это он!», а сейчас, будто совсем не понимая, что делает, начал принижать задание, сводить масштабы миссии к обыкновенной преддипломной практике и наконец разъяснил:

— Персонал станции комплектуется из астрономов, их отвозят на «ту сторону», чтобы они отсидели положенный им месяц, и только. Нормальная работа там не требует никаких выдающихся качеств. Поэтому кандидатов подвергали обычным испытаниям первой и второй категории трудности. Но сейчас, после того случая, нужны люди, более тщательно проверенные. Лучше всего подошли бы, конечно, пилоты, но, сам понимаешь, нельзя же сажать пилотов на обычную наблюдательную станцию…

Пиркс понимал это. Не только Луна, но вся солнечная система требовала пилотов, навигаторов и других специалистов — их было все еще слишком мало. Но что это за случай, о котором упомянул шеф? Пиркс благоразумно молчал.

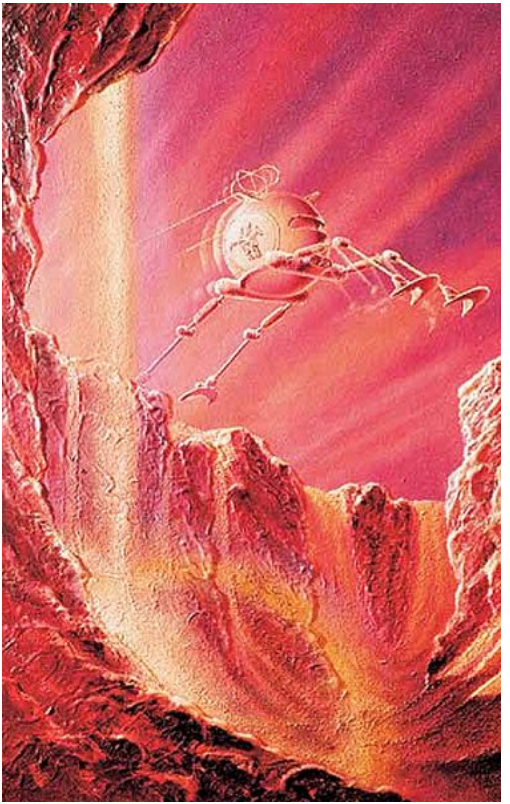
— Станция очень мала. Построили ее по-дурацки: не на дне кратера, а под северной вершиной. С размещением станции была целая история, ради сохранения престижа пожертвовали данными селенодезических исследований. Но со всем этим ты познакомишься позже. Достаточно сказать, что в прошлом году обвалилась часть горы и разрушила единственную дорогу. Теперь добраться туда можно лишь днем, и то с трудом. Начали проектировать подвесную дорогу, но потом работу приостановили, так как уже принято решение перенести в будущем году станцию вниз. Практически станция ночью отрезана от мира. Прекращается радиосвязь. Почему?

— Простите — что?

— Почему, я спрашиваю, прекращается радиосвязь?

Вот такой он был, этот шеф. Облагодетельствовал миссией, завел невинный разговор — и вдруг превратил все это в экзамен. Пиркс начал потеть.

— Поскольку Луна не имеет ни атмосферы, ни ионосферы, радиосвязь там поддерживается с помощью ультракоротких волн… С этой целью там построены радиорелейные линии, сходные с телевизионными…



Шеф, опершись локтями о письменный стол, вертел в пальцах самопишущую ручку, давая понять, что будет терпелив и дослушает до конца.

Пиркс умышленно распространялся о вещах, известных любому младенцу, чтобы отсрочить ту минуту, когда придется вступить в область, где его знания оставляли желать лучшего.

— Такие передаточные линии находятся как на этой, так и на «той стороне», — тут Пиркс набрал скорость, как корабль, входящий в родные воды. — На той стороне их восемь. Они соединяют Луну Главную со станциями «Центральный Залив», «Сонное Болото», «Море Дождей»…

— Это ты можешь опустить, — великодушно разрешил ему шеф. — И гипотезу о возникновении Луны — тоже. Я слушаю…

Пиркс заморгал.

— Помехи в связи возникают тогда, когда линия оказывается в зоне терминатора. Когда некоторые ретрансляторы находятся еще в тени, а над остальными уже восходит Солнце…

— Что такое терминатор, я знаю. Не надо объяснять, — задушевно сказал шеф.

Пиркс закашлялся. Потом высморкался. Но нельзя же тянуть до бесконечности.

— В связи с отсутствием атмосферы корпускулярное излучение Солнца, бомбардируя поверхность Луны, вызывает… э-э-э… помехи в радиосвязи. Именно эти препятствия препят-

ствуют…

— Препятствия препятствуют — совершенно верно, — поддакнул шеф. — Но в чем же они состоят?

— Это вторично возбуждаемое излучение, эффект. Но… Но…

— Но?.. — благосклонно повторил шеф.

— Новинского? — выкрикнул Пиркс. Вспомнил все же. Но и этого было мало.

— В чем заключается этот эффект?

Вот этого Пиркс и не знал. Вернее, раньше знал, но забыл. Вызубренные когда-то сведения он донес до порога экзаменационного зала, как жонглер несет на голове целую пирамиду из самых невероятных предметов, но теперь-то экзамен остался позади… Шеф сочувственно покачал головой, прерывая его бредовые измышления об электронах, вынужденном излучении и резонансе.

— Н-да, — произнес этот безжалостный человек, — профессор Меринус поставил тебе четверку… Неужели он ошибся?

Пирксу показалось, что он сидит вовсе не в кресле, а на вулкане.

— Мне очень не хотелось бы огорчать его, — продолжал шеф, — так что пусть он лучше ничего

не узнает…

Пиркс облегченно вздохнул.

— …но я попрошу профессора Лааба, чтобы на выпускном экзамене…

Шеф многозначительно умолк. Пиркс замер. Не от этой угрозы: рука шефа медленно отодвигала документы, которые Пиркс должен был получить вместе со своей миссией.

— Почему не существует связь посредством кабеля? — спросил шеф, не глядя на него.

— Потому что это дорого. Коаксиальный кабель соединяет пока только Луну Главную с Архимедом. Но в течение ближайших пяти лет намечают всю радиорелейную сеть сделать кабельной.

Не переставая хмуриться, шеф вернулся к первоначальной теме.

— Ну ладно. Практически каждую ночь на Луне станция «Менделеев» отрезана от всего мира на двести часов. До сих пор работа там шла нормально. В прошлом месяце после обычного перерыва в связи станция не откликнулась на позывные «Циолковского». На рассвете со станции «Циолковский» отправили специальную команду. Выяснилось, что главный люк открыт, а в шлюзовой камере лежит человек. Дежурными были канадцы Шалье и Сэвидж. В камере лежал

Сэвидж. Стекло его шлема треснуло. Он умер от удушья. Шалье удалось найти лишь сутки спустя на дне пропасти под Солнечными Воротами. Причина смерти — падение. В остальном на станции был полный порядок: нормально работала аппаратура, сохранились нетронутыми запасы продовольствия, и не удалось обнаружить никаких признаков аварии. Ты читал об этом?

— Читал. Но в газете писали, что произошел несчастный случай. Психоз… двойное самоубийство в припадке помешательства…

— Вздор, — перебил шеф. — Я знал Сэвиджа. Еще по Альпам. Такие люди не меняются. Ну, ладно. В газетах писали чепуху. Прочти-ка доклад смешанной комиссии. Послушай! Такие парни, как ты, в принципе проверены не хуже, чем пилоты, но дипломов у вас нет, значит, летать вы не можете. А преддипломную практику тебе, так или иначе, пройти надо. Если согласишься — завтра полетишь.

— А второй кто?

— Не знаю. Какой-то астрофизик. В общем-то, там нужны астрофизики. Боюсь, что ему от тебя будет мало пользы, но, может, ты подучишься немного астрографии. Ты понял, о чем идет речь? Комиссия пришла к выводу, что произошел

несчастный случай, но остается оттенок сомнения: ну скажем, неясность. Там произошло что-то непонятное. Что именно — неизвестно. Вот и решили, что хорошо бы послать туда в следующую смену хоть одного человека с психической подготовкой пилота. Я не вижу повода отказать им. В то же время, наверно, ничего особенного там не случится. Разумеется, смотри в оба, но никакой детективной миссии мы на тебя не возлагаем, никто не рассчитывает, что ты откроешь какие-то дополнительные подробности, проливающие свет на это происшествие, и это не твоя задача. Тебе что, плохо?

— Что, простите? Нет! — возразил Пиркс.

— А то мне показалось. Ты уверен, что сумеешь вести себя благоразумно? У тебя, я вижу, голова закружилась. Я подумываю…

— Я буду вести себя рассудительно, — заявил Пиркс самым решительным тоном, на какой был способен.

— Сомневаюсь, — сказал шеф. — Я посылаю тебя без особого энтузиазма. Если б ты не вышел на первое место…

— Так это из-за «ванны»! — только сейчас понял Пиркс. Шеф сделал вид, что не слышал. Он подал Пирксу сначала бумаги, потом руку.

— Старт завтра в восемь утра. Вещей бери как можно меньше. Впрочем, ты уже бывал там, сам знаешь. Вот билет на самолет, вот броня на один из кораблей «Трансгалактики». Полетишь на Луну Главную, оттуда тебя перебросят дальше…

Шеф говорил еще что-то. Высказывал пожелания? Прощался? Пиркс не знал. Он ничего не слышал. Не мог слышать, потому что был очень далеко, уже на «той стороне». В ушах у него стоял грохот старта, а в глазах — белый, мертвый огонь лунных скал, и на лице его было написано полнейшее остолбенение. Сделав поворот налево кругом, он наткнулся на большой глобус. Лестницу преодолел в четыре прыжка, словно и вправду был уже на Луне, где притяжение уменьшается в шесть раз. На улице Пиркс чуть не угодил под автомобиль, который затормозил с таким визгом, что прохожие остановились, — но он даже не заметил этого. Шеф, к счастью, не мог наблюдать, как Пиркс начинает вести себя «рассудительно», ибо снова погрузился в свои бумаги.

За последующие двадцать четыре часа с Пирксом, вокруг Пиркса, в связи с Пирксом произошло столько всего, что временами он чуть ли не тосковал по теплой соленой «ванне», в которой абсолютно ничего не происходит.

Как известно, человеку одинаково вредны и нехватка, и избыток впечатлений. Но Пиркс таких выводов не делал. Все старания шефа как-то преуменьшить, ослабить и даже принизить значение миссии не возымели, скажем прямо, никакого действия. В самолет Пиркс вошел с таким выражением лица, что хорошенькая стюардесса невольно отступила на шаг; впрочем, это было явное недоразумение, так как Пиркс вообще ее не заметил. Шагал он так, словно возглавлял железную когорту; уселся в кресло с видом Вильгельма Завоевателя; кроме того, он был еще и Космическим Спасителем Человечества, Благодетелем Луны, Открывателем Страшных Тайн, Победителем Призраков Той Стороны — и все это лишь в будущем, в мечтах, что ничуть не портило ему самочувствия, совсем наоборот, наполняло безграничной доброжелательностью и снисходительностью по отношению к спутникам, которые и понятия не имели о том, кто находится вместе с ними в чреве огромного реактивного самолета! Он смотрел на них, как Эйнштейн в старости смотрел на малышей, играющих в песке.

«Селена», новый корабль компании «Трансгалактика», стартовала с Нубийского космодрома, из сердца Африки. Пиркс был доволен. Он, правда,

не думал, что со временем в этих местах установят мемориальную доску с соответствующей надписью, — нет, так далеко он не заходил в мечтах. Но был довольно близок к этому. Правда, в чашу наслаждений начала понемногу просачиваться горечь. В самолете могли не знать о нем. Но на палубе межпланетного корабля? Оказалось, что сидеть ему придется внизу, в туристском классе, среди каких-то французов, которые были обвешаны фотоаппаратами и перебрасывались чертовски быстрыми и совершенно непонятными репликами. Он — в толпе галдящих туристов?!

Никому не было до него дела. Никто не облачал его в скафандр, не накачивал воздух, не спрашивал при этом, как он себя чувствует, не прилаживал за спину баллоны. Пиркс утешил себя, что так нужно для конспирации. Салон туристского класса выглядел почти так же, как и в реактивном самолете, только кресла были побольше и поглубже да табло, на котором вспыхивали различные надписи, торчало под самым носом. Надписи эти преимущественно запрещали всякие вещи: вставать, ходить, курить. Напрасно пытался Пиркс выделиться из толпы профанов в астронавтике тем, что принял вполне

профессиональную позу, положил ногу на ногу и не пристегнулся ремнем. Второй пилот приказал ему пристегнуться — и это был единственный момент, когда кто-либо из экипажа обратил на него внимание.

Наконец, один из французов, видимо по ошибке, угостил его фруктовой помадкой. Пиркс взял ее, старательно забил рот сладкой клейкой массой и, покорно откинувшись во вздутую глубину кресла, предался размышлениям. Постепенно он снова уверился в том, что миссия его крайне опасна, и медленно смаковал ее ужас, словно закоренелый пьяница, которому попала в руки покрытая плесенью бутылка вина наполеоновских времен.

Ему досталось место у окна. Пиркс решил, разумеется, вообще не глядеть в окно — столько раз он уже это видел!

Однако он не выдержал. Лишь только «Селена» вышла на околоземную орбиту, с которой она должна была взять курс на Луну. Пиркс тут же прилип к окну. Уж очень захватывал момент, когда исчерченная линиями дорог и каналов, испещренная пятнами городов и поселков поверхность Земли словно очищалась от всяких следов человеческого присутствия; а потом под

кораблем извернулась пятнистая, облепленная хлопьями облаков выпуклость планеты, и взгляд, перебегая с черноты океанов на материки, тщетно старался обнаружить хоть что-нибудь созданное человеком. С расстояния в несколько сот километров Земля казалась пустой, ужасающе пустой, словно жизнь на ней еще только начинала зарождаться, слабым налетом зелени отмечая самые теплые места на планете.

Пиркс действительно видел это уже много раз. Но эта перемена всегда заново ошеломляла его: было в ней нечто, с чем он не мог согласиться. Может быть, первое наглядное свидетельство микроскопичности человека по сравнению с космосом? Переход в сферу других масштабов, планетарных? Картина ничтожности многовековых усилий человека? Или, наоборот, торжество ничтожно малой величины, которая преодолела мертвую, ко всему безразличную силу тяготения этой ужасающей глыбы и, оставив за собой дикость горных массивов и щиты полярных льдов, ступила на берега других небесных тел? Эти размышления, вернее, бессловесные чувства, уступили место другим, так как корабль изменил курс, чтобы сквозь «дыру» в радиационных поясах над Северным полюсом рвануться к звездам.

Долго смотреть на звезды ему не пришлось: на корабле зажглись огни. Подали обед, во время которого двигатели работали, чтобы создать искусственное тяготение. После обеда пассажиры опять легли в кресла, свет погас, и теперь можно было разглядывать Луну.

Они приближались к ней с южной стороны. За полтораста-двести километров от полюса полыхал отраженным солнечным светом кратер Тихо — белое пятно с выброшенными во все стороны лучевидными полосами; изумительная правильность этих полос поражала не одно поколение земных астрономов, а потом, когда загадка была решена, стала предметом студенческих шуток. Какому же первокурснику не внушали, что «белая шайба Тихо» — это и есть «дырка для лунной оси», а лучевидные полосы — это попросту слишком толсто нарисованные меридианы!

Чем ближе подлетали они к висящему в черной пустоте шару, тем нагляднее убеждались, что Луна — это застывший, запечатленный в отвердевших массивах лавы облик мира, каким он был миллиарды лет назад, когда раскаленная Земля вместе со своим спутником проносилась сквозь тучи метеоритов, остатков планетообразования, когда град железа и камней неустанно молотил

по тонкой коре Луны, дырявил ее, выпуская на поверхность потоки магмы. И когда через бесконечно долгий срок очистилось и опустело окружающее пространство, шар, лишенный воздушной оболочки, сохранился как омертвелое поле боя, как немой свидетель горообразовательных катаклизмов. А потом его изуродованная бомбардировками каменная маска стала источником вдохновения для поэтов и лирическим фонарем для влюбленных.

«Селена», несшая на своих двух палубах пассажиров и четыреста тонн груза, повернулась кормой к растущему лунному диску, начала медленное, плавное торможение и, наконец, слегка вибрируя, села в одну из больших воронок на космодроме.

Пиркс побывал здесь уже трижды, причем два раза прилетал в одиночку и «собственноручно садился» на учебном поле, удаленном на полкилометра от пассажирской посадочной площадки.

Сейчас он даже и не видел учебного поля, так как гигантский, обшитый керамическими плитами корпус «Селены» передвинули на платформу гидравлического лифта и спустили вниз в герметический ангар, где проходил таможенный досмотр: наркотики? алкоголь? вещества

взрывчатые, отравляющие, разъедающие? Пиркс располагал небольшим количеством отравляющего вещества, а именно плоской фляжкой коньяку, которую дал ему Маттерс. Она была спрятана в заднем кармане брюк. Затем последовала санитарная проверка: свидетельства о прививках, справка о стерилизации багажа — чтобы не затащить на Луну какие-либо микробы; это Пиркс прошел быстро. У барьера он задержался, думая, что, может, кто-нибудь встретит его.

Он стоял на антресоли. Ангар представлял собой огромное, вырубленное в скале и забетонированное помещение с плоским полом и куполообразным сводом. Света здесь было вдоволь, искусственного, дневного, он лился из люминесцентных пластин; множество людей сновали во все стороны; на электрокарах развозили багаж, баллоны со сжатым газом, аккумуляторы, ящики, трубы, катушки кабеля, а в глубине помещения неподвижно темнело то, что вызвало всю эту возню, — корпус «Селены», точнее, только его средняя часть, напоминавшая огромный газгольдер; корма покоилась глубоко под бетонным полом, в просторном колодце, а верхушка толстого тела ушла через круглое отверстие в верхний этаж помещения.

Пиркс постоял, пока не вспомнил, что нужно заняться собственными делами. В управлении космодрома его принял какой-то служащий. Он устроил Пиркса на ночлег и сообщил, что ракета на «ту сторону» отправляется через одиннадцать часов. Он куда-то торопился и больше ничего, собственно, не сказал. Пиркс вышел в коридор, придя к убеждению, что тут форменный кавардак. Он даже не знал толком, по какому маршруту полетит — через Море Смита или напрямик к «Циолковскому»? И где все-таки его неизвестный будущий напарник? А какая-то комиссия? А программа предстоящей работы?

Он думал об этом, пока раздражение не перешло в ощущение более материальное, сосредоточившись в желудке; Пирксу захотелось есть. Он разыскал подходящий лифт и, изучив табличку с надписью на шести языках, которая висела в кабине, спустился в столовую для летного состава, но там узнал, что поскольку он не пилот, питаться ему надлежит в обычном ресторане.

Только этого не хватало. Он направился было в проклятый ресторан и вдруг вспомнил, что не получил свой рюкзак. Поднялся наверх, в ангар. Багаж уже отправили в гостиницу. Пиркс махнул рукой и пошел обедать. Его затерло между двумя

потоками туристов: французы, прилетевшие вместе с ним, направлялись в ресторан, и туда же шли какие-то швейцарцы, голландцы и немцы, только что вернувшиеся с экскурсии селенобусом к подножию кратера Эратосфена. Французы подпрыгивали, как обычно делают люди, впервые испытывающие очарование лунной гравитации, под женский смех и визг взлетали к потолку и наслаждались плавным спуском с трехметровой высоты. Немцы держались более деловито: они вливались в просторные залы ресторана, развешивали на спинках стульев фотоаппараты, бинокли, штативы, чуть ли не телескопы; уже был подан суп, а они еще показывали друг другу осколки горных пород, которые команды селенобусов продавали туристам в качестве сувениров. Пиркс склонился над своей тарелкой, утопая в этой немецко-французско-греческо-голландско… бог знает еще какой суматохе, и среди всеобщего энтузиазма и восхищения он, наверно, оставался единственным мрачным человеком, поглощавшим второй обед за день. Какой-то голландец, решив уделить ему внимание, поинтересовался, не страдает ли Пиркс космической болезнью после ракетного полета («Вы впервые на Луне, да?»), и предложил ему таблетки. Это была капля,

переполнившая чашу. Пиркс не доел второе, купил в буфете четыре пачки сдобного печенья и отправился в гостиницу. Вся его злость вылилась на портье, который хотел продать ему «кусочек Луны», а точнее говоря, осколок остекленевшего базальта.

— Отвяжись, торгаш! Я был тут раньше тебя! — заорал Пиркс и, дрожа от бешенства, прошел мимо портье, пораженного этим взрывом.

В двухместном номере сидел, устроившись под лампой, невысокий мужчина в полинялой куртке, рыжеватый, седеющий, с загорелым лицом, на лоб его спадала прядь волос. При появлении Пиркса он снял очки. Звали его Лангнер, доктор Лангнер, он был астрофизиком и вместе с Пирксом направлялся на станцию «Менделеев». Это и был его неведомый лунный компаньон. Пиркс, заранее готовый к самому плохому, тоже назвался, пробурчал что-то себе под нос и сел. Лангнеру было около сорока; по мнению Пиркса, этот старик неплохо сохранился. Он не курил, вероятно, не пил и вроде даже не разговаривал. Читал он три книги сразу: первая представляла собой логарифмическую таблицу, страницы второй были сплошь усеяны формулами, а в третьей не было ничего, кроме спектрограмм. В кармане

он носил портативный арифмограф, которым очень ловко пользовался при вычислениях. Время от времени он, не отрываясь от своих формул, задавал Пирксу какой-нибудь вопрос; тот отвечал, продолжая жевать печенье. В крошечном номере стояли двухъярусные койки, в душевую не пролез бы человек солидной комплекции, всюду висели таблички, заклинавшие на многих языках экономить воду и электричество. Хорошо еще, что не запрещают глубокие вздохи: ведь кислород здесь тоже привозной! Пиркс запил печенье водой из-под крана и убедился, что от нее ломит зубы, — очевидно, резервуары с водой находились близко к поверхности базальта. Часы Пиркса показывали без малого одиннадцать, на электрических часах, висевших в номере, было семь вечера, а на часах Лангнера стрелки перевалили за полночь.

Они переставили свои часы на лунное время, однако и это было ненадолго; ведь на станции «Менделеев» было другое, свое время, как повсюду на «той стороне».

До старта ракеты оставалось девять часов. Лангнер, ничего не сказав, ушел. Пиркс расположился в кресле, потом пересел под лампу, попытался читать какие-то старые, потрепан-

ные журналы, лежавшие на столике, но не смог усидеть и тоже вышел из комнаты. За поворотом коридор переходил в небольшой холл, где напротив телевизора, вмонтированного в стену, были расставлены кресла. Австралия передавала программу для Луны Главной — какие-то соревнования легкоатлетов. Пирксу не было никакого дела до этих соревнований, но он сидел и смотрел на экран, пока его не начало клонить ко сну. Вставая с кресла, он взлетел на полметра, так как забыл о слабом притяжении. Все стало ему как-то безразлично. Когда он сможет снять это штатское тряпье? Кто выдаст ему скафандр? Где можно получить инструкции? И вообще, что все это значит?

Он, может, и пошел бы куда-нибудь допытываться, даже скандалить, но его компаньон, этот самый доктор Лангнер, по-видимому, находит их положение совершенно нормальным, так не лучше ли держать язык за зубами?

Передача кончилась. Пиркс выключил телевизор и вернулся в номер. Не так он представлял себе это пребывание на Луне! Пиркс принял душ. Сквозь тонкую стенку были слышны разговоры в соседнем номере. Конечно, это знакомые по ресторану туристы, которых Луна доводит до

блаженного исступления. Он сменил сорочку (нужно же чем-нибудь заняться), а когда улегся на койку — вернулся Лангнер. С четырьмя новыми книгами.

Пиркса дрожь пробрала. Он начал понимать, что Лангнер — фанатик науки, нечто вроде второго издания профессора Меринуса.

Астрофизик разложил на столе новые спектрограммы и, разглядывая их в лупу с такой сосредоточенностью, с какой Пиркс не рассматривал даже фотографии своей любимой актрисы, вдруг спросил, сколько Пирксу лет.

— Сто одиннадцать, — сказал Пиркс, а когда тот поднял голову, добавил: — по двоичной системе.

Лангнер впервые улыбнулся и стал похож на человека. У него были крепкие белые зубы.

— Русские пришлют за нами ракету, — проговорил он. — Полетим к ним.

— На станцию «Циолковский»?

— Да.

Эта станция находилась уже на «той стороне». Значит, еще одна пересадка. Пиркс раздумывал, как они проделают оставшуюся тысячу километров. Наверно, не в сухопутном экипаже, а в ракете? Однако он ни о чем не спросил. Не хотелось выдавать свое невежество. Лангнер, ка-

жется, говорил еще что-то, но Пиркс уже заснул, так и не раздевшись. Проснулся он внезапно: Лангнер, склонившись над койкой, тронул его за плечо.

— Пора, — только и сказал он.

Пиркс сел. Похоже было на то, что Лангнер все время читал да писал: стопка бумаг с расчетами выросла. В первую минуту Пиркс подумал, что Лангнер говорит об ужине, но речь шла о ракете. Пиркс навьючил на себя набитый рюкзак, а лангнеровский был еще больше и тяжелый, будто камнями набитый; потом выяснилось, что, кроме сорочек, мыла да зубной щетки, там были только книги.

Уже без таможенного досмотра, без всякой проверки они поднялись на верхний этаж, где их ждала лунная ракета, некогда серебристая, а

теперь скорее серая, пузатая, на трех растопыренных, коленчато-изогнутых ногах двадцатиметровой высоты. Не аэродинамическая, так как на Луне нет атмосферы. На таких Пиркс еще не летал. К ним должен был присоединиться какой-то астрохимик, но он опоздал. Стартовали вовремя; полетели они вдвоем.

Отсутствие атмосферы на Луне порождало множество хлопот: невозможно было пользоваться ни самолетами, ни вертолетами — ничем, кроме ракет. Даже машинами на воздушной подушке, такими удобными для передвижения по пересеченной местности: ведь им пришлось бы тащить на себе весь запас воздуха. Ракета движется быстро, но не везде может сесть; ракета не любит ни гор, ни скал.

Это их пузатое, трехногое насекомое загудело, загремело и пошло свечой вверх. Кабина была лишь раза в два больше гостиничной комнатушки. В стенах — иллюминаторы, в своде — круглое окно, рубка пилота расположена не наверху, а внизу, чуть ли не между выхлопными дюзами, что бы пилот как следует видел, куда садиться. Пиркс ощущал себя чем-то вроде посылки: куда-то его посылают, неизвестно толком куда и зачем, неизвестно, что будет потом… Вечная история.

Они вышли на эллиптическую орбиту. Кабина и длинные «ноги» ракеты приняли наклонное положение. Луна проплывала под ними, огромная, выпуклая, — казалось, на нее никогда не ступала нога человека. Есть такая зона в пространстве между Землей и Луной, откуда величина обоих тел кажется примерно одинаковой. Пиркс хорошо запомнил впечатление от первого полета. Земля, голубоватая, затуманенная, с размытыми очертаниями континентов, казалась менее реальной, чем каменная Луна с четко проступающим скалистым рельефом — ее неподвижная тяжесть была почти осязаемой.

Они летели над Морем Облаков, кратер Буллиальд остался уже позади, на юго-востоке виднелся Тихо в ореоле своих блестящих лучей, пересекших полюс и протянувшихся на «ту сторону»; на большой высоте, как обычно, возникало трудно определимое представление о высшей точности, по законам которой все это создавалось. Залитый солнечным светом Тихо был как бы центром конструкции: белесыми своими «руками» он охватывал и прорезал Море Влажности и Море Облаков, а северный его луч, самый большой, исчезал за горизонтом, в направлении к Морю Ясности. Но, когда они, обогнув с запада цирк Кла-

вий, начали снижаться над полюсом и полетели уже по «той стороне» над Морем Мечты, обманчивое впечатление правильности исчезало по мере снижения, будто бы гладкая, темная поверхность «моря» теперь обнажала свои неровности, расселины. На северо-востоке засверкало зубцы кратера Берне. Они все теряли высоту, и теперь, вблизи, Луна предстала перед ними в своем настоящем виде: плоскогорья, равнины, впадины кратеров и кольцеобразных горных цепей — все было в одинаковой степени изрыто воронками — следами космической бомбардировки. Кольца каменных обломков и лавы пересекались, переплетались, будто тех, кто вел этот титанический обстрел, все еще не удовлетворяли произведенные разрушения. Не успел Пиркс разглядеть массив Циолковского, как ракету подтолкнули ненадолго включенные двигатели, она приняла вертикальное положение, и Пиркс увидел уже лишь океан темноты, поглотивший все западное полушарие, а за линией терминатора возвышалась, сверкая своей макушкой, вершина Лобачевского. Звезды в верхнем окне ракеты замерли неподвижно. Спускались они как в лифте, и это несколько напоминало вхождение в атмосферу, так как ракета погружалась в столб

огня от собственных двигателей, общавшегося за кормой, и газы завывали, обтекая выпуклости наружной брони. Автоматически откинулись спинки кресел, через верхний иллюминатор Пиркс видел все те же звезды; они теперь стремительно летели вниз, однако ощущалось мягкое, но довольно упорное сопротивление гремящих двигателей, которые толкали ракету в обратном направлении. Вдруг двигатели загрохотали во всю мощь. «Ага, становимся на огонь!» — подумал Пиркс, чтобы не забыть, что он все же настоящий астронавт, хотя еще и без диплома.

Удар. Что-то задребезжало, бахнуло, будто огромный молот бил по камням. Кабина мягко скользнула вниз, вернулась вверх, вниз и опять вверх; так она довольно долго сновала на яростно булькавших амортизаторах, пока три двадцатиметровые, судорожно растопыренные «ноги» не вцепились как следует в груды скальных обломков. Наконец пилот погасил это скольжение кабины, несколько повысив давление в маслопроводе; послышалось легкое шипение, и кабина повисла неподвижно.

Пилот вылез к ним через люк в середине пола и открыл стенной шкаф, в котором — наконец-то! — оказались скафандры.

Пиркс несколько воспрянул духом, однако ненадолго. В шкафу было четыре скафандра: один для пилота, а кроме того, большой, средний и маленький. Пилот моментально влез в свой скафандр, только шлем не надел и ждал своих спутников. Лангнер тоже управился быстро. Один Пиркс, красный, вспотевший и злой, не знал, что делать. Скафандр среднего размера был ему мал, а большой — чересчур велик. В среднем он упирался головой в донышко шлема, а в большом болтался, как кокосовое ядро в высохшей скорлупе. Конечно, ему давали добрые советы. Пилот заметил, что просторный скафандр всегда лучше тесного, и посоветовал заполнить пустые места бельем из рюкзака. Он даже предлагал одолжить свое одеяло. Но Пирксу сама мысль напихать что-то в скафандр представлялась кощунственной, вся его душа астронавта становилась от этого на дыбы. Завернуться в какие-то тряпки?!

Он надел тот скафандр, что поменьше. Спутники ничего не сказали. Пилот открыл отверстие шлюзовой камеры, и они вошли туда; пилот повернул винтовое колесо и открыл выходной люк.

Не будь рядом Лангнера, Пиркс сразу прыгнул бы и, возможно, ухитрился бы при первом же

шаге вывихнуть себе ногу: до поверхности было метров двадцать, и если учесть вес скафандра, то даже при здешнем малом притяжении это было все равно, что прыгнуть со второго этажа на рассыпанную груду камней.

Пилот спустил за борт складную лестницу, и они сошли по ней на Луну.

И тут никто их не встречал цветами, и не было триумфальных арок. Кругом — ни души. На расстоянии менее километра от них возвышался бронированный купол стации «Циолковский», освещенный косыми лучами жуткого лунного солнца. За станцией виднелась вырубленная в скалах небольшая посадочная площадка, но она была занята: на ней в два ряда стояли транспортные ракеты; они были куда больше, чем та, на которой прилетели Пиркс и Лангнер.

Их ракета, чуть-чуть скособочившись, покоилась на своей треноге; камни под ее дюзами почернели, опаленные выхлопным огнем. К западу местность была почти плоской, если можно назвать плоской ту безбрежную каменную россыпь, из которой там и сям торчали обломки величиной с городской дом. К востоку равнина поднималась — сначала отлого, а потом вереницей почти вертикальных уступов переходила

в главный массив Циолковского; его стена, обманчиво близкая, лежала в тени и была черна как уголь. Градусов на десять выше хребта пылало солнце; оно так слепило, что в ту сторону невозможно было смотреть. Пиркс тотчас же опустил дымчатый фильтр над стеклом шлема, но это мало помогло — разве что не пришлось щурить глаза.

Осторожно ступая по неустойчивым глыбам, они двинулись к станции. Свою ракету они сразу же потеряли из виду, так как пришлось пересечь неглубокую котловину. Станция господствовала над этой котловиной и над всей округой; ее здание на три четверти углублялось в монолитную каменную стену, которая была похожа на взорванную крепость, хранившую в своей памяти еще мезозойские времена. Сходство остро срезанных углов с оборонительными башнями крепости было поразительно, но лишь издалека: чем ближе они подходили, тем заметнее «башни» теряли правильность формы, расплывались, а черные полосы, бегущие по ним, оказывались глубокими трещинами. По лунным понятиям местность тут была все же относительно ровная, и двигались они быстро. Каждый шаг вздымал облачко пыли, этой знаменитой лунной пыли,

которая подымалась выше пояса, окутывала людей молочно-белым облаком и никакие оседала. Шли они поэтому не гуськом, а в ряд, и когда уже у самой станции Пиркс оглянулся, то увидел весь пройденный путь: его отмечали три толстые змеистые линии, три извилистые косы пыли, более светлой, чем любая земная.

Пиркс знал о ней много любопытного. Первые покорители Луны были поражены этим явлением: насчет пыли они знали, но ведь даже самая мелкая пыль должна была немедленно оседать в безвоздушном пространстве. А лунная пыль почему-то не оседала. И, что особенно интересно, только днем. Под солнцем. Оказалось, что электрические явления здесь протекают не так, как на Земле. Там существуют атмосферные разряды, молнии, громы, огни святого Эльма. На Луне, конечно, этого нет. Но камни, бомбардируемые излучением частиц, заряжаются тем же зарядом, что и покрывающая их пыль. А поскольку одноименные заряды отталкиваются, то и поднятая пыль из-за электростатического отталкивания не садится иногда по целому часу. Когда на солнце много пятен, Луна «пылит» больше. Во время спада солнечной активности — меньше. Это явление исчезает лишь через несколько часов после

наступления ночи, здешней ужасной ночи, которую можно выдержать только в специальных двухслойных скафандрах, сконструированных по принципу термоса и тяжелых, даже здесь чертовски тяжелых.

Эти ученые размышления Пиркса прервались, когда они подошли к главному входу станции. Приняли их радушно. Увидев научного руководителя станции профессора Ганшина, Пиркс несколько растерялся. Он был весьма доволен своим высоким ростом, так как полагал, что это в какой-то мере скрадывает его толстощекую физиономию. Но Ганшин смотрел на Пиркса сверху вниз — не в переносном, а прямом смысле слова. А его коллега, физик Пнин, был еще выше — пожалуй, метра два.

Было там еще трое русских, а может, и больше, но они не показывались: наверно, несли вахту. На верхнем этаже разместились астрономическая обсерватория и радиостанция. Наклонный туннель, вырубленный в скале и забетонированный, вел в отдельное помещение, над куполом которого неустанно вращались огромные решетки радарных установок; через иллюминаторы просматривалось на самой вершине хребта нечто вроде ослепительно-серебристой, симметрично

сплетенной паутины — это был главный радиотелескоп, самый крупный на Луне. К нему можно было добраться за полчаса по канатной подвесной дороге.

Потом выяснилось, что станция куда больше, чем кажется вначале. В ее подземельях в огромных резервуарах хранились запасы воды, воздуха и продуктов. В крыле станции встроенные в расщелину среди скал и совершенно незаметные из котловины находились преобразователи лучистой энергии Солнца в электричество. А еще было здесь совершенно изумительное сооружение — огромная гидропонная оранжерея под куполом из кварца, армированного сталью; кроме массы цветов и больших резервуаров с какими-то водорослями, поставлявшими витамины и белки, в самой середине росла банановая пальма. Пиркс и Лангнер съели по банану, выращенному на Луне. Пнин, посмеиваясь, объяснил, что бананы не входят в ежедневный рацион сотрудников станции и предназначены главным образом для гостей.

Лангнер, немного разбиравшийся в лунном строительстве, начал расспрашивать о конструкции кварцевого купола, который поразил его больше, чем бананы; это была действительно уникальная постройка. Поскольку ее окружало

безвоздушное пространство, купол должен был выдерживать постоянное давление в девять тонн на квадратный метр, что при размерах оранжереи давало внушительную сумму — две тысячи восемьсот тонн. Именно с такой силой давил во всех направлениях заключенный здесь воздух, пытаясь взорвать изнутри кварцевую оболочку. Конструкторы, вынужденные отказаться от использования железобетона, погрузили в кварц сварные ребра, которые всю мощь давления, без малого три миллиона килограммов, передавали вверх на диск, изготовленный из иридия; снаружи этот диск удерживался прочными стальными тросами, глубоко заякоренными в окружающие базальтовые скалы. Так что это был единственный в своем роде «кварцевый воздушный шар на привязи».

Из оранжереи они направились прямо в столовую. На станции как раз наступило время обеда. Для Пиркса это уже третий обед: первый он съел в ракете, второй — на Луне Главной. Похоже было, что на Луне только обедают.

Столовая, она же кают-компания, оказалась небольшой; стены были обшиты деревом — не панелью, а сосновыми брусьями. Даже смолой пахло. После ослепительных лунных пейзажей

эта подчеркнуто «земная» обстановка была особенно приятна. Впрочем, профессор Ганшин признался, что лишь верхний, тонкий слой стен сделали из дерева — чтобы меньше тосковать по Земле.

Ни за обедом, ни после не говорилось о станции «Менделеев», о происшествии, о несчастных канадцах, о предстоящем отлете — будто Пиркс и Лангнер приехали погостить и бог знает сколько здесь пробудут.

Русские держались так, словно им нечем было заниматься, кроме беседы с гостями: расспрашивали, что нового на Земле, как дела на Луне Главной; в порыве откровенности Пиркс признался в своей стихийной неприязни к лунным туристам, их манерам — похоже, его слушали с одобрением. Лишь спустя некоторое время можно было заметить, что то один, то другой из хозяев покидает компанию, а потом вновь возвращается. Выяснилось, что они ходят в обсерваторию, так как на Солнце появился удивительно красивый протуберанец. Стоило произнести это слово, как для Лангнера перестало существовать все остальное. Свойственное ученым бессознательное самозабвение овладело всеми сидевшими за столом. Принесли фотографии, потом продемон-

стрировали фильм, отснятый через коронограф. Протуберанец был и впрямь исключительный: он протянулся на три четверти миллиона километров и напоминал допотопное чудовище с огнедышащей пастью.

Когда зажгли свет, Ганшин, Пнин, третий русский астроном и Лангнер начали переговариваться; глаза у них блестели, они были глухи ко всему постороннему. Кто-то вспомнил о прерванном обеде; вернулись в столовую, но и тут, отодвинув в сторону тарелки, все принялись что-то подсчитывать на бумажных салфетках. Наконец Пнин сжалился над Пирксом, для которого эти споры были китайской грамотой, и увел его в свою комнату, маленькую, но привлекательную тем, что из ее широкого окна открывался вид на восточную вершину хребта Циолковского. Солнце, низкое, зияющее как врата ада, бросало в хаос скальных нагромождений другой хаос — теней, которые чернотой своей поглощали контуры предметов, словно за каждой гранью освещенного камня открывалась дьявольская пропасть, ведущая к самому центру Луны. Каменные вершины, наклонные башни, шпили, обелиски будто растворялись там, в этой пустоте, а потом где-то взметывались из чернильной тьмы, слов-

но окаменевшие языки пламени. Взгляд терялся среди этого нагромождения совершенно не совместимых форм и находил облегчение лишь в круглых черных ямах, напоминавших глазницы: это были воронки маленьких кратеров, до краев наполненные тенью.

Пейзаж был единственным в своем роде. Пиркс уже бывал на Луне (об этом он раз шесть упомянул в беседе), но не в такую пору, за девять часов до захода солнца. Они долго сидели у окна. Пнин называл Пиркса коллегой, а тот не знал, как ему отвечать, и мудрил с грамматикой изо всех сил. У русского была фантастическая коллекция фотоснимков, сделанных во время горных восхождений: он, Ганшин и еще один их товарищ, который ненадолго улетел на Землю, в свободное время занимались альпинизмом.

Кое-кто пытался ввести в обиход новое слово «лунизм», но термин этот не привился, тем более что существуют ведь Лунные Альпы.

Пиркс, который ходил в горы еще до того, как стал курсантом, обрадовался, что встретил своего брата-альпиниста, и начал расспрашивать Пнина, чем отличается лунная техника восхождения от земной.

— Коллега, надо помнить об одном, — отвечал

Пнин, — только об одном. Делайте все, «как дома», пока возможно. Льда здесь нет — разве что в очень глубоких расщелинах, да и там попадается чрезвычайно редко; снега, разумеется, тоже, так что вроде тут очень легко, тем более что можно упасть с высоты тридцати метров и ничего с тобой не случится, но об этом лучше не думать.

— Почему? — очень удивился Пиркс.

— Потому что здесь нет воздуха, — объяснил астрофизик. — И сколько бы вы ни ходили, все

равно не научитесь правильно определять расстояние. Тут и дальномер не очень-то поможет, да и кто ходит с дальномером? Взойдешь на вершину, глянешь в пропасть — и кажется тебе, что в ней пятьдесят метров. А в ней, может, действительно пятьдесят, а может, триста или все пятьсот. Случилось мне однажды… Впрочем, вы знаете, как это происходит. Стоит человеку раз внушить себе, что можно сорваться, так он обязательно рано или поздно упадет. На Земле голову разобьешь — заживет со временем, а здесь один хороший удар по шлему, стекло треснет — и все. Так что держитесь, как в земных горах. Что там позволяете себе, то и здесь можно. Кроме прыжков через расщелины. Поищите сначала камешек, швырните его на ту сторону и проследите за полетом. По правде говоря, я, положа руку на сердце, не советовал бы вообще прыгать. Ведь как обычно бывает: прыгнешь раз-другой на двадцать метров, так тебе уж и пропасти не страшны, и горы по колено — вот тут и жди несчастья. Горноспасательной службы здесь нет… так что — сами понимаете…

Пиркс начал расспрашивать о станции «Менделеев». Почему она построена почти на вершине, а не внизу? Трудная ли там дорога? Говорят, при-

ходится карабкаться?

— Карабкаться почти не приходится, но путь довольно опасный. Это потому, что прошла каменная лавина. Из-под Солнечных Ворот. Она снесла дорогу… Что касается расположения станции — мне об этом неловко говорить. Особенно сейчас, после такого несчастья. Но вы, наверно, читали о нем, коллега?..

Пиркс, ужасно сконфузившись, промямлил, что как раз в то время у него была экзаменационная сессия, тот усмехнулся, но тотчас же посерьезнел.

— Так вот… Луна является международным владением, но каждое государство имеет здесь свою зону научных исследований — нам досталось это полушарие. Когда стало известно, что радиационные пояса препятствуют прохождению космических лучей на том полушарии, которое обращено к Земле, англичане попросили у нас разрешения построить станцию на нашей стороне. Мы не возражали. Как раз в это время у нас самих велась подготовка к строительству на хребте Менделеева, вот мы и предложили англичанам этот район, с тем, что они возьмут завезенные нами туда строительные материалы, а рассчитываться будем потом. Англичане согласи-

лись, а затем передали все канадцам, поскольку Канада входит в Британское сотрудничество. Нам, разумеется, было все равно.

Поскольку мы уже произвели предварительную разведку района, один из наших ученых, профессор Анимцев, вошел в состав группы канадских проектировщиков с совещательным голосом как консультант, хорошо знающий местные условия. И вдруг мы узнали, что англичане все же принимают участие в этом деле. Они прислали Шэннера, и тот заявил, что на дне кратера могут возникнуть потоки вторичной радиации, которые будут искажать результаты исследований. Наши специалисты считали, что это невозможно, но решали все англичане: ведь это их станция. Они постановили перенести станцию наверх.

Конечно, стоимость строительства возросла ужасающе. И всю разницу в стоимости покрывали канадцы. Но дело не в этом. Мы денег в чужом кармане не считаем. Они выбрали место для станции, начали проектировать дорогу. Анимцев сообщил: «Англичане хотели сначала перебросить через две пропасти мосты из железобетона, но канадцы возражают, потому что стоимость из-за этого возрастет чуть ли не вдвое;

они хотят вгрызться в хребет Менделеева и направленными взрывами пробить два скальных выступа. Я им не советую: это может нарушить равновесие кристаллического базальтового основания. Они не слушают. Что делать?» Что же мы могли сделать? Они ведь не дети. У нас опыт селенологических исследований побогаче, но, раз они не хотят прислушаться к совету, не будем навязываться. Анимцев записал особое мнение, и на этом все кончилось. Начали взрывать скалу. Так первая бессмыслица — неправильный выбор места — повлекла за собой вторую. А результаты, к сожалению, не заставили себя долго ждать. Англичане построили три противолавинные стены, сдали станцию в эксплуатацию, по дороге пошли гусеничные транспортеры, — пожалуйста, полная удача. Станция работала уже три месяца, когда у основания каменного навеса, под Солнечными Воротами, под этой большой зазубриной на западной грани хребта, показались трещины…

Пнин встал, вынул из шкафа несколько больших снимков и показал их Пирксу.

— Вот в этом месте. Здесь лежит, вернее, лежала полуторакилометровая плита, местами нависшая над пропастью. Дорога пролегала примерно на одной трети высоты, по этой красной линии.

Канадцы встревожились. Анимцев (он все еще находился там) объяснил им: разница между дневной и ночной температурами составляет триста градусов, трещины будут расширяться, и тут ничего не поделаешь. Разве подопрешь чем-нибудь плиту в полтора километра?! Путь нужно немедленно перекрыть, а к станции, раз уж она построена, провести подвесную канатную дорогу. Они же вызывают эксперта за экспертом из Англии, из Канады, и разыгрывается форменная комедия: экспертов, которые говорят то же, что наш Анимцев, немедленно отправляют домой. Остаются только те, которые пытаются как-то управиться с трещинами. Начинают пломбировать трещины цементом. Применяют глубокое нагнетание раствора, подкосы, цементируют и цементируют, а конца не видно: что зацементировано днем, лопается в первую же ночь. Уже бегут по расселинам небольшие лавины, но их задерживают каменные стены. Возводят систему клиньев, чтобы рассеивать более крупные лавины. Анимцев втолковывает, что дело не в лавинах: вся плита может рухнуть! Я просто смотреть на него не мог, когда он к нам приезжал. Он ведь из кожи вон лез: видел надвигающуюся беду и ничего не мог поделать.

Скажу вам беспристрастно: у англичан есть прекрасные специалисты, но тут дело было не в специальных селенологических проблемах, а в престиже: построили дорогу и не могут отступиться. Анимцев в который уж раз заявил протест и уехал. Потом дошло до нас известие, что начались споры и трения между англичанами и канадцами — все из-за плиты, из-за этого краешка, так называемого Орлиного Крыла. Канадцы хотели взорвать ее — пусть разрушит всю дорогу, но зато можно будет проложить новый, безопасный путь. Англичане возражали. Впрочем, это была утопия. Анимцев подсчитал, что для взрыва понадобился бы водородный заряд в шесть мегатонн, а конвенция ООН запрещает применять радиоактивные материалы в качестве взрывчатых веществ. Так они спорили и ссорились, пока плита не рухнула… Англичане писали потом, что во всем были виноваты канадцы, отвергшие первоначальный проект — эти самые виадуки из железобетона.

Пнин с минуту смотрел на другой снимок, изображавший зазубрину хребта почти в двойном увеличении; черными точками было обозначено место обвала, который обрушился на дорогу и уничтожил ее вместе со всеми укреплениями.

— В результате станция временами недоступна. Днем туда можно легко добраться — несколько небольших переходов по гребням, но, как я уже говорил, дорога очень опасная. Зато ночью идти практически невозможно. У нас тут Земли нет, сами знаете…

Пиркс понял, о чем говорит русский: на этой стороне долгие лунные ночи не освещает огромный фонарь Земли.

— А инфракрасные здесь не помогут? — спросил он.

Пнин усмехнулся.

— Инфракрасные очки? Какой в них толк, коллега, если через час после захода солнца поверхность камней остывает до ста шестидесяти градусов ниже нуля… Теоретически можно бы идти с радароскопом, но вы пробовали когда-нибудь ходить в горы с таким снаряжением?

Пиркс признался, что не пробовал.

— И не советую. Это самый сложный способ самоубийства. Радар хорош на равнине, но не в горах…

В комнату вошли Лангнер и Ганшин: пора уже было отправляться. До станции «Менделеев» — полчаса в ракете, еще два часа отнимет пеший путь, а через семь часов зайдет солнце. Семь ча-

сов — запас немалый. Тут выяснилось, что с ними полетит Пнин. Пиркс и Лангнер объясняли, что это не нужно, но хозяева и слушать не хотели.

В последнюю минуту Ганшин спросил, не хотят ли они передать что-нибудь на Землю — теперь случай представится не скоро. Правда, между станциями «Менделеев» и «Циолковский» налажена радиосвязь, но через семь часов они пересекут терминатор и возникнут сильные помехи.

Пиркс подумал, что недурно было бы послать сестре Маттерса привет с «той стороны», но не отважился на это. Так что они поблагодарили и пошли вниз, но опять-таки выяснилось, что русские проводят их до ракеты. Тут Пиркс не выдержал и пожаловался на свой скафандр. Ему подобрали другой, а тот остался в шлюзовой камере станции «Циолковский».

Русский скафандр заметно отличался своим устройством от тех, с которыми был знаком Пиркс. Так, шлем имел не два фильтра, а три: один предохранял от солнца в зените, другой — от низкого солнца, а третий, темно-оранжевый, — от пыли. По-иному были расположены и воздушные клапаны, и очень забавное устройство имелось в ботинках: можно накачать подошвы воздухом

— и ходи как на подушках. Камней вообще не чувствуешь, а внешний слой подошвы идеально прилегает даже к самой гладкой поверхности. Это была «высокогорная» модель. Кроме того, скафандр был наполовину серебряный, наполовину черный. Повернешься черной стороной к солнцу — начинаешь потеть, повернешься серебряной — по телу пробегает приятная прохлада. Пирксу это показалось не слишком-то удачной выдумкой: ведь не всегда можно повернуться к солнцу как захочешь. Задом наперед идти, что ли?

Русские ученые расхохотались. Они показали переключатель на груди: он перемещал цвета. Можно было сделать скафандр черным спереди, а серебряным сзади, и наоборот. Интересен был и способ, каким перемещались цвета. Узкое пространство между прозрачной внешней оболочкой из твердого пластика и собственно корпусом скафандра заполнялось двумя разными видами красителей или, скорее, полужидких веществ, приготовленных на алюминии и на угле. А перемещались они просто под давлением кислорода, поступавшего из аппарата для дыхания.

Пора было идти к ракете. В первый раз Пиркс вошел в шлюзовую камеру станции с солнечной стороны и был так ослеплен, что ничего не видел.

Лишь теперь он обратил внимание, что камера была сконструирована особым образом: вся ее наружная стена двигалась вверх и вниз, как поршень. Пнин объяснил, что благодаря этому можно одновременно впускать или выпускать сколько угодно людей и не расходовать воздух попусту. Пиркс ощутил нечто вроде зависти, потому что камеры Института были почтеннейшими ящиками, устаревшими, по меньшей мере, на пять лет; а пять лет технического прогресса — это целая эпоха.

Солнце как будто вовсе не снизилось. Странно было шагать в надувных башмаках — словно и не касаешься почвы, но Пиркс освоился с этим, прежде чем дошел до ракеты.

Профессор Ганшин придвинул свой шлем к шлему Пиркса и прокричал несколько прощальных слов, потом они пожали друг другу руки в тяжелых перчатках, и вслед за пилотом отлетающие влезли внутрь ракеты, которая чуть осела под увеличившейся тяжестью.

Пилот подождал, пока провожающие отойдут на безопасное расстояние, и запустил двигатели. Внутри скафандра угрюмый грохот нарастающей тяги звучал, как за толстой стеной. Нагрузка возросла, но они даже не почувствовали, как ракета

оторвалась от площадки. Только звезды заколебались в верхних иллюминаторах, а гористая пустыня в нижних провалилась и исчезла.

Они летели теперь совсем низко и поэтому ничего не видели, только пилот наблюдал за проплывавшим внизу призрачным ландшафтом. Ракета висела почти вертикально, как вертолет. Нарастание скорости угадывалось по усилившемуся грохоту двигателей и легкой вибрации всего корпуса.

— Внимание, снижаемся! — послышалось в шлемофоне.

Пиркс не знал, говорит это пилот по бортовому радио или Пнин. Откинулись спинки кресел. Пиркс глубоко вздохнул, он стал легким — таким, что того гляди полетит; он инстинктивно ухватился за подлокотники. Пилот резко затормозил, дюзы запылали, завыли, языки пламени с невыносимым шумом устремились в обратную сторону, вдоль обшивки корабля, перегрузка возросла, опять упала, и наконец до ушей Пиркса донесся двойной сухой стук — они сели. А дальше началось нечто неожиданное. Ракета, которая уже начала свои странные колебания и качалась вверх-вниз, будто подражая мерным приседаниям длинноногих насекомых, вдруг накренилась и

под нарастающий грохот камней стала сползать с места.

— Катастрофа! — мелькнуло в уме у Пиркса.

Он не испугался, но непроизвольно напряг все мышцы. Его попутчики лежали неподвижно. Двигатели молчали. Пиркс отлично понимал пилота: корабль, кренясь и колеблясь, сползает вниз вместе с каменной осыпью, и если включить двигатели, то при резком крене одной из «ног» они, не успев взлететь, либо опрокинутся, либо ударятся о скалы.

Скрежет и грохот каменных глыб, катящихся под стальными лапами ракеты, все слабел и наконец утих. Еще несколько струек гравия звонко пробарабанили по металлу, еще какой-то обломок подался вглубь под нажимом шарнирной «ноги» — и кабина медленно осела с креном градусов в десять.

Пилот выбрался из своего колодца слегка сконфуженный и начал объяснять, что изменился рельеф местности: видимо, по северному склону прошла новая лавина. Он садился на осыпь под самой стеной, чтобы доставить их поближе к цели.

Пнин ответил, что это не слишком-то удачный способ сокращать дорогу: каменная осыпь — не

космодром, и без необходимости рисковать не следует. На этом короткий диалог кончился, пилот пропустил пассажиров в шлюзовую камеру, и они по лесенке спустились на осыпь.

Пилот остался в ракете — он должен был ожидать возвращения Пнина, а Лангнер и Пиркс пошли с Ганшиным.

Пиркс считал, что хорошо знает Луну. Однако он ошибался. Район станции «Циолковский» был просто прогулочной площадкой по сравнению с местом, где они оказались сейчас. Ракета, накренившись на раздвинутых до предела «ногах», ушедших в каменную осыпь, стояла всего в трехстах шагах от границы тени, отбрасываемой главным массивом хребта Менделеева. Пылающее в черном небе солнечное жерло почти коснулось зубцов цепи, и казалось, зубцы в этом месте плавятся, но это был обман зрения. Однако отвесные стены, возникшие из тьмы в километре-двух, не были иллюзией. К изрезанной глубокими рытвинами равнине, представляющей собой дно кратера, сбегали из расселин немыслимо белые треугольники осыпей; места свежих обвалов легко распознавались по размытым очертаниям камней, окутанных медленно оседающей пылью. Потрескавшуюся лаву на дне кратера тоже

покрывал слой светлой пыли; вся Луна была припудрена микроскопическими частицами метеоров — этого мертвого дождя, миллионы лет падавшего на нее со звезд. По обе стороны тропы — она, в сущности, была нагромождением глыб и обломков, таким же диким, как все вокруг, и называлась так лишь потому, что была обозначена вцементированными в камень алюминиевыми вехами, каждая из которых увенчивалась чем-то вроде рубинового шарика, — по обе стороны этого пути, нацеленного вверх по осыпи, стояли наполовину залитые светом, наполовину черные, как галактическая ночь, стены, с которыми не могли сравниться даже громады Гималаев.

Слабое лунное притяжение позволяло камням на века застывать в формах, будто рожденных в кошмарном сне. Даже привыкшие к виду пропастей люди рано или поздно терялись при восхождении к вершинам. Впечатление нереальности, фантастичности окружающего ландшафта усиливалось и тем, что белые глыбы пемзы от пинка ногой взлетали вверх, как пузыри, а самый тяжелый обломок базальта, брошенный вниз по склону, летел неестественно медленно, долго и падал беззвучно, будто во сне.

Когда они поднялись на сотню-другую шагов,

цвет скал изменился. Реки розоватого порфира с двух сторон окаймляли расселину, в которой шли Пнин, Лангнер и Пиркс. Глыбы, громоздящиеся подчас в несколько этажей, сцепившись заостренными краями, будто ждали легкого прикосновения, чтобы ринуться вниз неудержимой лавиной.

Пнин вел их через этот лес окаменевших взрывов, шагая не очень быстро, но безошибочно. Иногда камень, на который он ставил свою ногу в огромном башмаке скафандра, шатался. Тогда Пнин замирал на мгновение и либо шел дальше, либо обходил это место, по известным лишь ему приметам угадывая, выдержит этот камень тяжесть человека или нет. К тому же звук, так много открывающий альпинисту, здесь не существовал. Одна из базальтовых глыб оторвалась без видимых причин и покатилась вниз — замедленно, словно во сне, потом увлекла за собой массу других камней, которые яростными скачками мчались все быстрее, и наконец белая, как молоко, пыль скрыла дальнейший путь лавины. Это было совсем как в бреду: огромные глыбы сталкивались совершенно беззвучно, и даже подрагивание почвы не ощущалось сквозь надувные подошвы. За крутым поворотом Пиркс

увидел след лавины, а сама она уже казалась волнистым, спокойно стелющимся облаком. С невольным беспокойством он начал искать взглядом ракету, но она была в безопасности, стояла на прежнем месте, километрах в двух отсюда, и Пиркс видел ее блестящее брюшко и три черточки-ножки. Будто странное лунное насекомое присело на старой осыпи, которая раньше казалась Пирксу крутой, а отсюда выглядела плоской, как стол.

Когда они приблизились к полосе тени, Пнин ускорил шаг. Пиркс был так поглощен зрелищем дикой и грозной природы, что ему просто некогда было взглянуть на Лангнера. Только сейчас он заметил, что маленький астрофизик ступает уверенно и совсем не спотыкается.

Пришлось прыгать через четырехметровую расщелину. Пиркс вложил в прыжок слишком много сил; он взмыл вверх и, бесцельно перебирая ногами, опустился в добрых восьми метрах за противоположным краем пропасти. Такой лунный прыжок мог обогатить человека опытом, не имевшим ничего общего с паясничанием туристов в гостинице на Луне.

Они вошли в тень. Пока они находились сравнительно недалеко от залитых солнцем скал, их

отблески слегка освещали тьму, играли на выпуклостях скафандров. Но вскоре мрак настолько сгустился, что путники потеряли друг друга из виду В тени была ночь. Сквозь все антитермические слои скафандра Пиркс ощутил ее ледяной холод; он не добирался до тела, не жег кожу, но будто напоминал о своем молчаливом, холодном присутствии: некоторые части бронированного скафандра явственно задрожали, охладившись на двести с лишним градусов. Когда глаза привыкли к темноте, Пиркс заметил, что красные шары на верхушках алюминиевых мачт довольно ярко светятся; бусинки этого рубинового ожерелья уходили вверх и исчезали в свете Солнца — там растрескавшийся горный хребет устремлялся в долину, создавая три гигантских крутых уступа, громоздившихся друг на друга; их разделяли узкие горизонтальные выходы горных пластов, образуя нечто вроде острых карнизов. Пирксу показалось, что исчезающая вдали шеренга мачт ведет к одной из этих каменных палок, но он подумал, что это, пожалуй, невозможно. У самого верха сквозь гребень, словно расколотый ударом молнии, прорывался почти горизонтальный сноп солнечного света. Он напоминал возникший в глухом молчании взрыв, брызгающий

раскаленной белизной на скальные выступы и расщелины.

— Вон там станция, — донесся через шлемофон близкий голос Пнина.

Русский остановился на границе ночи и дня, мороза и зноя, показывая рукой куда-то вверх, но Пиркс не мог различать ничего, кроме чернеющих обрывов, не посветлевших даже под Солнцем.

— Видите Орла?.. Так мы назвали этот хребет. Это голова, вон клюв, а это крыло!..

Пиркс видел только нагромождение света и теней. Над восточной, искрящейся гранью хребта торчала наклонная вершина; из-за отсутствия воздушной дымки, размывающей очертания, она казалась совсем близкой. И вдруг Пиркс увидел всего Орла. Крыло — это и была та стена, к которой они направлялись; выше, на фоне звезд, выделялась голова птицы, наклонная вершина была клювом.

Пиркс посмотрел на часы. Прошло уже сорок минут. Значит, остается идти, по меньшей мере, еще столько же.

Перед очередной полосой тени Пнин остановился, чтобы переключить свой климатизатор. Пиркс воспользовался этим и спросил, куда ведет

дорога.

— Туда, — Пнин показал рукой вниз.

Пиркс видел лишь пропасть, а на дне ее — конус осыпи, из которой торчали огромные обломки скал.

Оттуда откололась плита, — объяснил Пнин, указывая теперь на просвет в гребне. — Это Солнечные Ворота. Сейсмографы на «Циолковском» зарегистрировали сотрясение почвы; по нашим подсчетам, рухнуло вниз около полумиллиона тонн базальта…

— Позвольте, — перебил его ошеломленный Пиркс. — А как же теперь доставляют наверх грузы?

— Сами увидите, когда придем, — ответил Пнин и зашагал вперед.

Пиркс последовал за ним, пытаясь на ходу решить загадку, но ничего не придумал. Неужели они таскают на спине каждый литр воды, каждый баллон кислорода? Нет, это невозможно. Теперь они шли быстрее. Над пропастью торчала последняя алюминиевая мачта. Темнота снова окутала их, и пришлось зажечь фонарики на шлемах; белые пятна света мерцали, перескакивали с одного каменного выступа на другой. Теперь они шли по карнизу, который иногда сужался до ширины

двух ладоней. Они шли, как по канату, по совершенно плоской полке; ее шершавая поверхность служила хорошей опорой. Правда, хватило бы одного неверного шага, легкого головокружения.

«Почему бы нам не пойти в связке?» — подумал Пиркс, и в эту минуту световое пятно впереди замерло: Пнин остановился.

— Веревка, — сказал он.

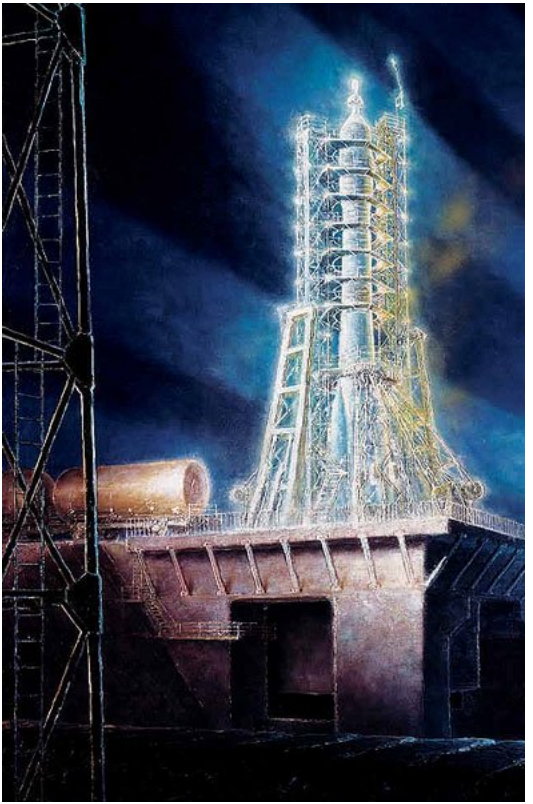
Пнин подал конец веревки Пирксу, а тот, пропустив ее через специальный карабин, бросил дальше, Лангнеру. Пока они не двигались, Пиркс мог, прислонившись спиной к скале, посмотреть вниз.

Вся воронка кратера лежала перед ним как на ладони, черные лавовые ущелья казались сеточкой трещин, приземистый центральный конус отбрасывал длинную тень.

Где была ракета? Пиркс не мог ее обнаружить. Где дорога? Эти извилины, помеченные рядами алюминиевых мачт? Они тоже исчезли. Виднелось лишь пространство каменного цирка в ослепительно ярком блеске и в полосах черной тьмы, тянущихся от одной груды камней к другой; светлая каменная пыль, присыпавшая скалы, подчеркивала рельеф местности с ее гротескными группами кратеров, все уменьшав-

шихся; только в районе хребта Менделеева были, наверное, сотни кратеров разного диаметра — от полукилометровых до еле заметных; все они были идеально круглые, с пологим наружным скатом и более крутым внутренним, в центре у них располагалась горка либо небольшой конус, на худой конец — нечто наподобие пупка; самые маленькие из них были точной копией средних, средние ничем не отличались от больших, и все это находилось внутри огромного каменного колодца диаметром тридцать километров.

Это соседство хаоса и точности раздражало человеческий разум; в этом созидании и разрушении форм по единому образцу математическое совершенство сочеталось с полнейшей анархией смерти. Пиркс посмотрел вверх, потом назад: сквозь Солнечные Ворота по-прежнему хлестали потоки белого огня.



Через несколько сотен шагов, за узкой расщелиной, скала отступила; они все еще шли в тени, но стало светлее от лучей, отражаемых верти-

кально торчащей каменной палицей, которая вырастала из мрака чуть ли не на два километра. Они перебрались через каменистую осыпь, и перед ними открылся довольно пологий, ярко освещенный склон. Пиркс начинал ощущать странное одеревенение — не мускулов, а разума, наверное оттого, что внимание было перенапряжено: ведь на него обрушилось все сразу — и Луна с ее дикими горами, и ледяная ночь вперемежку с приливами неподвижного зноя, и это великое всепоглощающее молчание, среди которого человеческий голос, время от времени звучащий в шлеме, кажется таким же неестественным и неуместным, как попытка донести на вершину Маттергорна золотую рыбку в аквариуме.

Пнин свернул за последний пик, отбрасывавший тень, и весь вспыхнул, будто облитый огнем. Тот же огонь брызнул в глаза Пирксу, прежде чем он сообразил, что это — Солнце, что они выбрались на верхний, уцелевший участок дороги.

Теперь они быстро шагали рядом, опустив на шлемах сразу по два противосолнечных фильтра.

— Сейчас придем, — сказал Пнин.

По такой дороге действительно могли ездить машины, ее проделали в скале управляемыми

взрывами; она вела под навесом Орлиного Крыла на самую вершину кратера; там было нечто вроде седловины с естественно образовавшимся каменным котлом, срезанным снизу. Этот котел и помог наладить снабжение станции после катастрофы. Грузовая ракета привозила припасы, и специальный миномет, предварительно пристрелявшись по котлу, начинал выстреливать в него контейнеры с грузом. Несколько контейнеров обычно раскалывалось, но большинство выдерживало и выстрел, и удар о скалу, потому что их бронированные корпуса отличались исключительной прочностью. Раньше, когда не было еще ни Луны Главной, ни вообще каких-либо станций, доставлять припасы экспедициям, углублявшимся в район Центрального Залива, можно было, лишь сбросив контейнер с ракеты; а поскольку парашюты были здесь совершенно бесполезны, приходилось так конструировать эти дюралевые или стальные ящики, чтобы они выдержали самый сильный удар. Их сбрасывали, словно бомбы, а участники экспедиции потом их собирали — иной раз для этого приходилось обыскивать целый квадратный километр пространства. Теперь эти контейнеры снова пригодились.

За седловиной дорога шла под самым гребнем

к северной вершине Орлиной Головы; метров на триста пониже сверкал бронированный колпак станции. Со стороны склона станцию окружало полукольцо глыб: они катились в пропасть и задержались, встретив на пути стальной купол. Несколько таких глыб лежало на бетонной площадке у входа в станцию.

— Да неужели нельзя было найти места получше? — вырвалось у Пиркса.

Пнин, который уже поставил ногу на первую ступеньку лестницы, приостановился.

— Вы говорите совсем как Анимцев, — сказал он.

Пнин ушел — один — за четыре часа до захода солнца. Но, собственно, он ушел в ночь: почти вся дорога, которую ему предстояло пройти, была уже окутана непроглядной тьмой… Лангнер, знавший Луну, сказал Пирксу, что, когда они шли, не было еще по-настоящему холодно — камни лишь начинали остывать. Мороз как следует прихватит примерно через час после наступления темноты.

С Пниным договорились, что он даст знать, когда доберется до ракеты. Действительно, через час двадцать минут они услышали его голос по радио. Разговор был короткий, нельзя было терять ни секунды, тем более что стартовать

приходилось в трудных условиях: ракета стояла не вертикально, а ее «ноги» довольно глубоко ушли в каменную осыпь и действовали, как якоря с балластом. Пиркс и Лангнер, отодвинув металлический ставень окна, видели этот старт, — конечно, не самое начало, поскольку место стоянки заслоняли выступы главного хребта. Но вдруг темноту, густую и бесформенную, прошила огненная линия, а снизу взвилось рыжее зарево — это был свет выхлопных огней, отраженный взметнувшейся пылью. Огненное копье уходило все выше и выше, ракета совсем не была видна, только эта раскаленная струна, все более тонкая, рвущаяся, распадающаяся на волокна, — нормальная пульсация двигателя, работающего на полной мощности. Пиркс и Лангнер запрокинули головы: огненная линия, отмечающая путь ракеты, проходила уже среди звезд; потом она плавно отклонилась от вертикали и красивой дугой ушла за горизонт.

Они остались вдвоем в абсолютной темноте, так как нарочно погасили все огни, чтобы лучше видеть старт. Задвинули бронированный ставень, включили свет и поглядели друг на друга. Лангнер слегка усмехнулся, ссутулившись, подошел к окну, где лежал его рюкзак,

и начал доставать из него книги. Пиркс стоял, прислонившись к вогнутой стене. В голове у него все перемешалось: холодные подземелья Луны Главной, узкие гостиничные коридоры, лифты, туристы, подпрыгивающие до потолка и обменивающиеся кусками оплавленной пемзы, полет на станцию «Циолковский», рослые русские исследователи, серебряная паутинка радиотелескопа, еще один полет и, наконец, эта дьявольская дорога сквозь каменный холод и зной, с пропастями, глядящими прямо в стекло шлема. Он не мог поверить, что так много уместилось в какие-нибудь несколько часов: время гигантски выросло, охватило все эти картины, поглотило их, а теперь они возвращались, будто борясь за первенство. Пиркс на мгновение сомкнул пылающие, сухие веки и снова открыл глаза.

Лангнер по какой-то своей системе расставлял книги на полке. Пирксу показалось, что он понял этого человека. Спокойные движения его рук, выстраивающих книги в ровный ряд, не свидетельствовали об отупении и равнодушии. Лангнера не угнетал этот мертвый мир, потому что он ему служил: прибыл он на станцию по доброй воле, по дому не грустил, дом для него — спектрограммы, результаты вычислений и то

место, где эти вычисления производились; он всюду мог чувствовать себя как дома, раз уж весь сосредоточился на ненасытной жажде знаний; он знал, зачем живет. Никогда бы Пиркс не сознался ему в своих романтических мечтах о великом подвиге! Он, наверное, даже не усмехнулся бы, как минуту назад, а выслушал бы его и вернулся к своей работе. Пиркс на мгновение позавидовал его уверенности. Но вместе с тем он чувствовал, что Лангнер чужой, что им нечего сказать друг другу, а ведь им предстояло вместе пережить надвигающуюся ночь, и день, и еще одну ночь… Пиркс обвел взглядом кабину, будто впервые увидел ее. Покрытые пластиком вогнутые стены. Закрытое бронированным клапаном окно. Потолочные, вделанные в пластик лампы. Несколько цветных репродукций между полками со специальной литературой; узенькая табличка в рамке, на ней в два столбца написаны фамилии всех, кто жил здесь. По углам порожние кислородные баллоны, консервные банки, наполненные разноцветными кусочками минералов. Легкие металлические стулья с нейлоновыми сиденьями. Небольшой рабочий стол, над ним лампа, укрепленная на шарнире. Сквозь приоткрытые двери видна аппаратура радиостанции.

Лангнер наводил порядок в шкафу, набитом негативами. Пиркс вышел в прихожую; слева была кухонька, прямо — выход в шлюзовую камеру, а справа — две крошечные комнаты. Он открыл свою. Кроме койки, складного стула, выдвижного столика и полочки, там ничего не было. Потолок с одной стороны, над койкой, был скошен, как в мансарде, но не просто, а дугообразно, соответственно кривизне наружной брони.

Пиркс вернулся в прихожую. Дверь шлюзовой камеры была скруглена на углах, края ее покрывал толстый слой герметизирующего пластика. Пиркс увидел спицевое колесо и лампочку, которая загоралась, когда наружный люк был открыт и в камере устанавливался вакуум. Сейчас лампочка не горела. Пиркс открыл дверь. Автоматически вспыхнули две лампы, осветив узкое помещение с голыми металлическими стенами и вертикальной лесенкой посередине — лесенка упиралась в выходной люк в потолке. Под нижней ступенькой лесенки виднелся слегка затертый шагами меловой контур. На этом месте нашли Сэвиджа: он лежал на боку, скорчившись, и его не сразу смогли поднять, потому что кровь, залившая ему глаза и лицо, примерзла к шероховатым плитам. Пиркс

поглядел на этот белесоватый абрис, еще напоминающий человеческий силуэт, потом попятился и, заперев герметическую дверь, поднял глаза к потолку: сверху доносились чьи-то шаги. Это Лангнер полез наверх по приставной лесенке в противоположном конце коридора и возился в обсерватории. Просунув голову в круглый люк в полу обсерватории, Пиркс увидел зачехленный телескоп, напоминавший маленькую пушку, камеры астрографов и два довольно больших аппарата: это были камера Вильсона и другая, масляная, с устройством для фотографирования следов частиц.

Станция была предназначена для исследования космических лучей, и пластинки, которые применяются для этой цели, валялись повсюду; их оранжевые пакеты лежали между книгами, под полками, в ящиках столов, у кроватей, даже в кухоньке. И это все? Собственно, все, если не считать больших резервуаров с водой и кислородом, размещенных под полом и наглухо закрепленных в лунном грунте, в массиве хребта Менделеева.

Над каждой дверью висел круглый индикатор, регистрирующий концентрацию углекислого газа в помещении. Над ним виднелось ситечко климатизатора. Установка работала бесшумно.

Она всасывала воздух, очищала его от углекислого газа, добавляла необходимое количество кислорода, увлажняла или осушала и опять нагнетала во все помещения станции. Пиркс был рад каждому звуку, долетавшему из обсерватории; когда Лангнер не шевелился, тишина так разрасталась, что можно было расслышать ток собственной крови, совсем как в экспериментальном бассейне, в «сумасшедшей ванне», но из бассейна можно было вылезти в любую минуту…

Лангнер спустился вниз и приготовил ужин бесшумно и умело; когда Пиркс вошел в кухоньку, все было уже готово. Они ели, обмениваясь дежурными фразами: «Передайте мне соль». — «Хлеб еще есть в банке?» — «Завтра придется открыть новую». — «Кофе или чаю?»

Только и всего. Пирксу сейчас эта немногословность была по душе. Что они, собственно, едят? Третий обед за день? Или четвертый? А может, это уже завтрак следующих суток? Лангнер сказал, что должен проявить отснятые пластинки. Он ушел наверх. Пирксу нечем было заняться. Он вдруг понял все. Его прислали сюда, чтобы Лангнер не был в одиночестве. Пиркс ведь не разбирается ни в астрофизике, ни в космиче-

ских лучах. Разве станет Лангнер обучать его обращению с астрографом! Вышел он на первое место, психологи заверили, что такой человек не рехнется, поручились за него. Теперь придется просидеть в этом горшке две недели ночи, а потом две недели дня, неизвестно чего ожидая, неизвестно на что глядя…

Это Задание, эта Миссия, которая несколько часов назад казалась ему невероятным счастьем, теперь предстала в своем подлинном облике — как бесформенная пустота. От чего должен он охранять Лангнера и самого себя? Каких следов искать? И где? Может, он считал, что откроет такое, чего не заметили лучшие специалисты, входившие в состав комиссии, люди, годами изучавшие Луну? Каким идиотом он был!

Пиркс сидел у стола. Надо вымыть посуду И завернуть кран, потому что утекала по капле вода, бесценная вода, которую привозили в виде замороженных глыб и забрасывали из миномета по дуге в два с половиной километра в каменный котел у подножья станции.

Но он не двигался. Даже не пошевелил рукой, безвольно лежавшей на краю стола. В голове были жар и пустота, безмолвие и тьма, со всех сторон обступившие скорлупу станции. Он про-

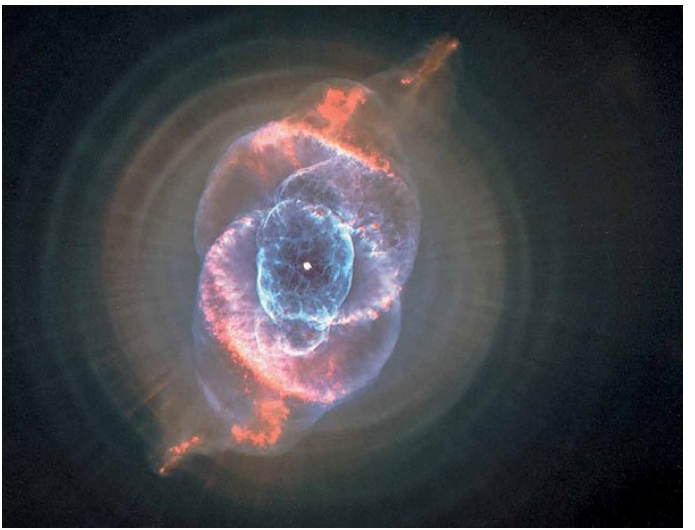
тер глаза, они горели, будто их засыпало песком. С трудом встал, словно весил вдвое больше, чем на Земле. Отнес грязную посуду к раковине, с шумом бросил ее на дно, под струйку теплой воды. И, моя тарелки, соскребая с них застывшие остатки жира, Пиркс усмехнулся, вспомнив свои мечты, которые развеялись еще где-то на дороге к хребту Менделеева и остались так далеко позади, были такими смешными и чуждыми, такими давними, что их нечего было даже стыдиться.

С Лангнером можно было прожить хоть день, хоть год — это ничего не меняло. Работал он усердно, но размеренно. Никогда не торопился. Не имел никаких дурных привычек, никаких странностей и чудачеств. Если живешь с кем-нибудь в такой тесноте, любой пустяк начинает раздражать: что твой компаньон долго торчит под душем, что отказывается открыть банку со шпинатом, потому что не любит шпината, что ему бывает весело, что он вдруг перестает бриться и обрастает жуткой колючей щетиной, либо, порезавшись при бритье, потом битый час разглядывает себя в зеркале и корчит рожи, будто он тут один. Лангнер был не такой. Он ел все, хотя и без особого удовольствия. Никогда не капризничал: нужно мыть посуду — моет. Не

распространялся подолгу о себе и своих научных трудах. Спросишь о чем-нибудь — ответит. Пиркса он не сторонился. Но и не навязывался ему. Именно эта безличность и могла бы раздражать Пиркса. Потому что первое здешнее впечатление — когда физик, расставлявший книги на полке, показался ему олицетворением скромного героизма, собственно не героизма, а достойного зависти, стоически мужественного отношения к науке, — это впечатление исчезло, и навязанный Пирксу компаньон казался ему бесцветным до тошноты. Но Лангнер все же не вызывал у Пиркса ни тоски, ни раздражения. Потому что у Пиркса оказалась — по крайней мере, поначалу — масса дел. И дела эти были захватывающие. Теперь, когда Пиркс знал и станцию, и ее окрестности, он снова принялся изучать все документы комиссии.

Катастрофа произошла через четыре месяца после ввода станции в строй. Она наступила не на рассвете и не в сумерки, как того можно было ожидать, а почти в самый лунный полдень. Три четверти нависшей плиты Орлиного Крыла рухнули — без каких-либо признаков, предвещавших катастрофу. Катастрофа произошла на глазах у четырех человек: личный состав станции

был тогда временно удвоен, и все как раз стояли, ожидая колонну транспортеров с припасами.



Расследование показало, что проникновение в глубь главной опоры Орла действительно нарушило ее кристаллическую структуру и

механическую устойчивость всей системы. Англичане сваливали ответственность на канадцев, канадцы — на англичан; лояльность партнеров по Британскому содружеству проявилась лишь в том, что они дружно умолчали о предостережениях профессора Анимцева. Но как бы ни обстояло дело, результаты были трагическими. Четверо людей, стоявших у станции, менее чем в километре по прямой линии от места катастрофы, видели, как раскалывается надвое ослепительно сверкающая скала, как разваливается на куски система противолавинных клиньев и стен, как вся эта масса мчащихся глыб сносит дорогу вместе с подпирающим ее скальным основанием и падает в долину, которая за тридцать часов превратилась в море слегка клубящейся белой пыли: разлив этой пыли, гонимой бешеным натиском лавины, через несколько минут уже достиг противоположного склона кратера. В губительной зоне обвала оказались два транспортера. Того, что замыкал колонну, вообще не удалось найти. Его обломки были погребены под десятиметровой толщей камней. Водитель второго транспортера пытался спастись. Он проскочил поток лавины и выбрался на верхний, уцелевший участок дороги, но огромная глыба, перемахнув

через сохранившийся остаток противолавинной стены, сбросила машину в трехсотметровую пропасть. Водитель успел открыть люк и упал в поток мелких камней. Он один пережил своих товарищей, впрочем лишь на несколько часов. Но эти несколько часов были сущим адом для остальных. Этот человек, канадец французского происхождения по фамилии Роже, не потерял сознания — или пришел в себя сразу после катастрофы — и из глубины белой тучи, закрывшей все дно кратера, звал на помощь. Приемник в радиоаппаратуре его скафандра был поврежден, но передатчик действовал. Найти Роже было невозможно. Запеленговать его передатчик никак не удавалось из-за многократного преломления волн, отражаемых глыбами, а глыбы были величиной с большой дом, и спасатели двигались по этому лабиринту, залитому молочной пылью, как по руинам города. Радар был бесполезен из-за обилия сернистого железа в осыпавшейся породе. Через час, когда из-под Солнечных Ворот ринулась вторая лавина, розыски пришлось прекратить. Вторая лавина была небольшой, однако она могла предвещать новые обвалы. И они ждали, а голос Роже все еще был слышен, и особенно четко наверху, на станции: каменная

воронка кратера действовала как нацеленный вверх рупор. Через три часа прибыли русские со станции «Циолковский» и двинулись в пылевое облако на гусеничных транспортерах; машины становились дыбом и того гляди могли опрокинуться на движущемся склоне: из-за слабого притяжения угол падения каменных осыпей на Луне круче, чем на Земле. Цепочки спасателей прошли туда, где и гусеничные машины не могли пройти, и трижды прочесали зыбкую поверхность осыпи. Один из спасателей упал в расщелину; только немедленная отправка на станцию «Циолковский» и быстрые действия врача помогли ему выжить. Но и тогда люди не ушли из белой тучи, потому что все они слышали постепенно слабеющий голос Роже.

Через пять часов он умолк. Но Роже был еще жив. Об этом знали все. В скафандре, помимо обычной аппаратуры для радиотелефонной связи, есть миниатюрный автоматический передатчик, соединенный с кислородным прибором. Электромагнитные волны передают каждый вдох и выдох на станцию, где он регистрируется специальным устройством вроде «магического глаза»: зеленый светящийся «мотылек» то расправляет «крылья», то складывает. Это фосфоресцирующее

мигание подтверждало, что потерявший сознание, умирающий Роже все еще дышит; пульсация эта все замедлялась; никто не мог уйти из помещения радиостанции, столпившиеся здесь люди бессильно ждали смерти Роже.

Роже дышал еще два часа. Потом зеленый огонек в «магическом глазе» замерцал, сжался и замер. Лишь через тридцать часов отыскали изуродованный, окаменевший труп канадца и похоронили его в помятом скафандре, как в металлическом гробу.

Потом проложили новую дорогу, точнее, ту горную тропу, по которой Пиркс пришел на станцию. Канадцы хотели было ликвидировать станцию, но их упрямые английские коллеги разрешили проблему доставки припасов оригинальным способом, который впервые был предложен на Земле при штурме Эвереста. Тогда его отклонили как нереальный. Реальным он оказался лишь на Луне.

Эхо катастрофы прокатилось по всей Земле в многочисленных, порой совершенно противоречивых версиях. Наконец, шум утих. Трагедия стала очередной главой в летописи борьбы с лунными пустынями. На станции посменно дежурили астрофизики. Так прошло шесть лунных

дней и ночей. А когда уже казалось, что на этой недавно так много испытавшей станции не произойдет больше ничего сенсационного, станция «Менделеев» вдруг не отозвалась на позывные, поданные на рассвете радистами станции «Циолковский». И опять туда направилась команда с «Циолковского» — спасать людей или, вернее, выяснить, чем объясняется молчание станции. Их ракета опустилась у края большой осыпи, неподалеку от вершины хребта.

До купола станции они добрались, когда почти весь кратер был еще окутан непроглядной тьмой. Только под самой вершиной искрился в горизонтальных лучах стальной колпак станции. Входной люк был открыт настежь. Под ним, у основания лесенки, лежал Сэвидж — в такой позе, будто он соскользнул со ступенек. Смерть наступила в результате удушья: бронированное стекло его шлема треснуло. Позже на внутренней стороне его рукавиц обнаружили еле заметные следы каменной пыли, будто он возвращался после восхождения в горы. Но следы эти могли иметь более давнее происхождение. Второго канадца, Шалье, нашли только после тщательного осмотра близлежащих расщелин и откосов. Спасатели, спустившись на тросах длиной триста

метров, извлекли его тело со дна пропасти под Солнечными Воротами. Труп лежал в нескольких десятках метров от того места, где погиб и был похоронен Роже.

Все попытки восстановить картину случившегося сразу показались безнадежными. Никто не мог выдвинуть правдоподобную гипотезу. К месту происшествия прибыла смешанная англо-канадская комиссия.

Часы Шалье остановились в двенадцать, но неизвестно было, в полдень они разбились или в полночь. Часы Сэвиджа остановились в два. Внимательный осмотр (а расследование велось с идеальной тщательностью) показал, что пружина часов раскрутилась до конца. Значит, часы Сэвиджа, вероятно, не остановились в момент его смерти, а шли еще некоторое время.

В помещении станции был обычный порядок. В станционном журнале, куда заносились все существенные факты, не было ничего, что могло бы пролить хоть луч света на происшедшее. Пиркс изучил этот журнал страницу за страницей. Записи были лаконичны: в таком-то часу произведены астрономические измерения, экспонировано столько-то пластинок, в такой-то обстановке проведены следующие наблюдения.

Среди этих стереотипных заметок ни одна не имела хотя бы косвенной связи с тем, что произошло в эту последнюю для Сэвиджа и Шалье лунную ночь.

Все здесь свидетельствовало о том, что смерть захватила работников станции врасплох. Нашли открытую книгу, на полях которой Шалье делал пометки; она лежала, прижатая другой книгой, чтобы страницы не закрывались, освещенная электрической лампой. Рядом была трубка, она упала набок, и выпавший уголек слегка опалил пластиковое покрытие стола. К тому же Сэвидж готовил тогда ужин. В кухоньке остались открытые банки консервов, в миске белела разведенная на молоке кашица для омлета, дверца холодильника была открыта, а на белом столике стояли две тарелки, два прибора и нарезанный зачерствевший хлеб…

Стало быть, один из них оторвался от чтения и отложил дымящуюся трубку, как это делают, когда хотят ненадолго отлучиться из комнаты. А другой бросил готовить ужин, оставив сковородку с расплавленным жиром, даже не захлопнул дверцы холодильника. Они надели скафандры и вышли в ночь. Одновременно? Или один за другим? Зачем? Куда?

Оба они пробыли на станции уже две недели. Превосходно знали окружающую местность. Да и ночь была на исходе. Через десять-пятнадцать часов должно было взойти солнце. Почему они не дождались восхода, если оба — или один из них — решили спуститься на дно кратера? О том, что таково было, по-видимому, намерение Шалье, свидетельствовало место, где нашли его труп. Он, как и Сэвидж, знал, что забираться на площадку под Солнечными Воротами, где дорога неожиданно обрывается, — это сумасшествие. Пологий спуск становился в этом месте все круче, будто приглашая спуститься вниз, но через несколько десятков шагов уже зияла пропасть, образовавшаяся в результате обвала. Новая дорога огибала это место, а потом шла вдоль линии алюминиевых вех. Это знал каждый, кто хоть раз побывал на станции. И вдруг один из постоянных ее сотрудников пошел именно туда, начал спускаться по плитам, ведущим к пропасти. С какой целью? Чтобы совершить самоубийство? Но разве бывает так, чтобы самоубийца оторвался от увлекательного чтения, оставив раскрытую книгу, отложил дымящуюся трубку и пошел навстречу смерти?

А Сэвидж? При каких обстоятельствах треснуло стекло в его шлеме? Когда он только выходил из

дома или когда возвращался? Или он собирался искать Шалье, который все не возвращался? Но почему он не пошел вместе с ним? А если пошел, то как мог позволить ему спуститься к обрыву?

На все вопросы не было ответов…

Единственным предметом, оказавшимся явно не на своем месте, была пачка пластинок, предназначенных для регистрации космических лучей. Она лежала в кухне на белом столике, рядом с пустыми чистыми тарелками.

Комиссия пришла к следующим выводам.

В тот день дежурил Шалье. Углубившись в чтение, он вдруг спохватился, что время приближается к одиннадцати. В этот час он должен был заменить экспонированные пластинки новыми. Пластинки экспонировались вне станции. На сотню шагов выше по склону горы был вырублен в скале неглубокий колодец. Стены его выложили свинцом, чтобы на фотопластинки падали только вертикальные лучи, как требовали условия тогдашних исследований. Итак, Шалье встал, отложил книгу и трубку, взял пачку новых пластинок, надел скафандр, вышел через шлюзовую камеру, направился к колодцу, спустился по ступенькам, вделанным в стену, сменил пластинки и, взяв экспонированные, направился назад.

На обратном пути он заблудился. Кислородный аппарат не был испорчен; значит, разум его помутился не от аноксии — кислородного голодания. Так, по крайней мере, можно было предположить после осмотра разбитого скафандра.

Члены комиссии пришли к убеждению, что сознание Шалье внезапно помрачилось — иначе бы он не сбился с дороги. Слишком хорошо он ее знал. Может, он неожиданно заболел, упал в обморок, может, у него закружилась голова и он потерял ориентировку? Во всяком случае, он шел, думая, что возвращается на станцию, а на самом деле двигался прямо к пропасти, которая поджидала его в каких-нибудь ста метрах.

Сэвидж, видя, что Шалье долго не возвращается, забеспокоился, бросил стряпню и попытался установить с ним радиосвязь. Передатчик был настроен на ультракороткий диапазон местной связи. Конечно, его могли включить и раньше, если б кто-нибудь из дежурных пытался, несмотря на помехи, установить связь со станцией «Циолковский». Но, во-первых, русские не слышали никаких радиосигналов, пусть даже искаженных до полной непонятности. А во-вторых, это предположение казалось малоправдоподобным еще и потому, что и Сэвидж, и Шалье прекрасно пони-

мали всю бессмысленность такой попытки как раз в период самых сильных радиопомех, перед рассветом… Когда связаться с Шалье не удалось, ибо он тогда уже погиб, Сэвидж, надев скафандр, выбежал в темноту и начал искать товарища.

Возможно, Сэвидж был так взволнован молчанием Шалье, его необъяснимым, таким внезапным исчезновением, что сбился с пути; но скорее он, пытаясь систематически прочесать окрестности станции, напрасно и чрезмерно рисковал. Одно ясно: во время этих головоломных поисков Сэвидж упал и разбил стекло шлема. У него хватило еще сил, зажав ладонью трещину, добежать до станции и взобраться к входному люку, но прежде чем он задраил люк, прежде чем впустил в камеру воздух, остаток кислорода улетучился из скафандра и Сэвидж на последней лесенке упал в обморок, который через несколько секунд перешел в смерть.

Такое истолкование трагедии не убедило Пиркса. Он тщательно ознакомился с характеристиками обоих канадцев. Особое внимание уделил Шалье, ибо тот, по-видимому, оказался невольным виновником гибели и своей, и своего товарища. Шалье было тридцать пять лет. Он был известным астрофизиком и опытным альпини-

стом. Отличался отменным здоровьем, никогда не болел; головокружений у него не было. До этого он работал на «земном» полушарии Луны, где стал одним из основателей Клуба акробатической гимнастики, этого необычного спорта; лучшие из его приверженцев могли с одного прыжка сделать десять сальто подряд и уверенно опуститься на полусогнутые ноги или выдержать на своих плечах пирамиду из двадцати пяти спортсменов! Неужели такой человек без всякой причины вдруг ослабеет или потеряет ориентировку и не сумеет пройти по отлогому склону последние сто шагов до станции, а свернет под прямым углом в ложном направлении, да еще и перелезет в темноте через груду глыб, громоздящуюся позади станции именно в этом месте?

И была еще одна деталь, которая, по мнению Пиркса (да и не только Пиркса), казалось бы, прямо противоречила версии, записанной в официальном протоколе. На станции сохранялся порядок. Но одну вещь нашли не на своем месте — пачку фотопластинок на кухонном столе. Похоже было на то, что Шалье действительно вышел, чтобы сменить пластинки. Что он сменил их. Что вовсе не пошел прямо к пропасти, не карабкался через каменный вал, а преспокойно вернулся на

станцию. Об этом свидетельствовали пластинки. Шалье положил их на кухонный стол. Почему именно туда? И где был в это время Сэвидж? Комиссия решила, что экспонированные пластинки, обнаруженные в кухне, принадлежат к предыдущей, утренней партии и что один из ученых случайно положил их на стол. Однако возле трупа Шалье не нашли никаких пластинок. Комиссия решила, что пачка пластинок могла выпасть из кармана скафандра или из рук Шалье при падении в пропасть и исчезнуть в одном из бесчисленных щелей среди каменной осыпи.

Пирксу казалось, что тут явно подгоняют факты под заранее принятую гипотезу.

Он спрятал протоколы в ящик. Ему больше незачем было заглядывать в них. Он знал их наизусть. Он сказал себе — даже не выразил этой мысли словесно, ибо был непоколебимо в этом уверен, — что разгадка тайны скрыта не в психике обоих канадцев. Не было никакого обморока, заболевания, помрачения сознания — причина трагедии была иная. Ее нужно было искать либо на самой станции, либо в ее окрестностях.

Пиркс начал с исследования станции. Он не искал никаких следов, но хотел подробно изучить детали оборудования. Спешить ему не приходи-

лось, времени было достаточно.

Прежде всего, он исследовал шлюзовую камеру. Меловой контур все еще виднелся у основания лесенки. Пиркс начал с внутренней двери. Как обычно в малых камерах подобного типа, устройство позволяло открывать либо внутреннюю дверь, либо крышку верхнего люка. При открытом люке дверь нельзя было открыть. Это исключало несчастные случаи, например, если один открывает крышку, а другой в это время откроет дверь. Правда, дверь открывалась внутрь, и давление воздуха все равно захлопнуло бы ее с силой почти в восемнадцать тонн, но между краем двери и фрамугой могла попасть рука, какой-нибудь твердый предмет или инструмент — тогда произошла бы молниеносная утечка воздуха в пустоту.

С крышкой входного люка дело обстояло еще сложнее, тем более что за ее положением следил центральный распределительный аппарат в помещении радиостанции. Когда крышку открывали, на пульте этого прибора загорался красный сигнал. В тоже мгновение автоматически включался приемник зеленого сигнала. Он представлял собой стеклянный глазок в никелированной оправе, расположенный в центре тоже

застекленного экрана локатора. Когда «мотылек» в глазке мерно помахивал «крыльями», это значило, что находящийся вне станции человек дышит нормально; кроме того, по расчерченному на сегменты экрану локатора двигалась светящаяся полоска, показывая, где этот человек находится. Эта светящаяся полоска вращалась по экрану соразмерно с оборотами радарной антенны на куполе и позволяла наблюдать окрестности станции в виде фосфорически мерцающих очертаний. Вслед за лучиком, бегущим по кругу, как стрелка часов, на экране появлялось специфическое свечение, возникающее в результате отражения радиоволн от всех материальных объектов; человек, облаченный в металлический скафандр, вызывал на экране особенно яркое свечение. Наблюдая за этим изумрудным продолговатым пятнышком, можно было уловить его движение, так как перемещалось оно на более слабо светящемся фоне, и таким образом определить, куда и с какой скоростью идет человек. В верхней части экрана видна была местность у северной вершины, где находился колодец для экспонирования пластинок, а в нижней части, обозначающей юг, то есть зону, в период ночи запретную, — дорога к пропасти.

Механизмы «дышащего мотылька» и радиолокатора действовали независимо друг от друга. Глазок питался от датчика, соединенного с кислородными клапанами скафандра и работавшего на частотах, близких к инфракрасным, а луч локатора работал на радиоволнах длиной полсантиметра.

Аппаратура располагала только одним локатором и только одним глазком, ибо по инструкции лишь один человек мог находиться вне станции, а другой внутри станции наблюдал за его состоянием; в случае необходимости он, конечно, должен был поспешить на помощь товарищу.

На практике при такой краткой и безопасной отлучке, как для смены фотопластинок в колодце, оставшийся на станции мог открыть настежь двери кухни и радиостанции и поглядывать на приборы, не прерывая стряпни. Можно было также поддержать радиотелефонную связь, за исключением предрассветных часов, потому что приближение терминатора, граница света и тени, сопровождалось такой бурей трескoв, что разговаривать было практически невозможно.

Пиркс добросовестно изучил действие сигналов. Когда поднимали крышку люка, вспыхивала красная лампочка на пульте. Зеленый «моты-

лек» светлел, но оставался неподвижным, а его «крылышки» были намертво сжаты до толщины нити, так как отсутствовали внешние сигналы, которые их расправляли. Лучик локатора мерно кружил по экрану, и неподвижные очертания скалистой окрестности возникали там, словно окаменевшие призраки. Он нигде не усиливал и тем самым подтверждал показания «мотылька», что в радиусе его действия вне станции нет ни одного скафандра.

Разумеется, Пиркс наблюдал за поведением аппаратуры и когда Лангнер выходил сменять пластинки.

Красная лампочка вспыхивала и почти немедленно гасла, потому что Лангнер закрывал крышку люка снаружи. Зеленый «мотылек» начинал мерно пульсировать. Через несколько минут пульсация немного ускорялась: Лангнер довольно быстро поднимался по склону, и его дыхание, естественно, учащалось. Яркий отблеск скафандра сохранялся на экране значительно дольше, чем контуры скал, гаснувшие, как только удалялся луч. Потом «мотылек» внезапно сжимался и замирал, а экран пустел, и свечение скафандра гасло. Это происходило, когда Лангнер спускался в колодец, свинцовые стены которого

вставали на пути потока сигналов. Одновременно на главном пульте вспыхивала пурпурная надпись Alarm![6], а картина на экране локатора менялась. Радарная антенна локатора, продолжая вращаться, уменьшала угол наклона, поочередно прощупывая все более дальние сегменты местности. Приборы ведь «не знали», что произошло: человек вдруг исчезал из поля их электромагнитной власти. Через три-четыре минуты «мотылек» снова расправлял «крылья», локатор обнаруживал исчезнувшего, и оба не связанных между собой прибора отмечали появление человека. Лангнер, выбравшись из колодца, возвращался на станцию. Сигнал Alarm продолжал, однако, гореть — его нужно было выключить. Впрочем, через сто двадцать минут это сделал бы выключатель с часовым механизмом, поставленный для того, чтобы зря не расходовалась электроэнергия. Ночью она поступала только из аккумуляторов, а днем их снова заряжало солнце.

Изучив действие этих приборов, Пиркс решил, что они не отличаются особой сложностью. Лангнер в его эксперименты не вмешивался. Он считал, что канадцы погибли именно при таких

---

[6] Примечания: 6
Alarm — сигнал тревоги.

обстоятельствах, какие изложила комиссия в своих протоколах; кроме того, он считал, что несчастные случаи вообще неизбежны.

— Пластинки? — ответил он на доводы Пиркса. — Никакого значения эти пластинки не имеют! Когда расстроишься, еще и не такое делаешь. Логика покидает нас гораздо раньше, чем жизнь. И человек начинает совершать бессмысленные поступки…

Пиркс решил больше не спорить.

Кончалась вторая неделя лунной ночи. Пиркс после всех исследований знал не больше, чем в самом начале. Может, вправду этой трагедии суждено навсегда остаться неразгаданной? Может, это одно из происшествий, встречающихся раз на миллион, когда невозможно восстановить картину случившегося?

Пиркс постепенно втянулся в сотрудничество с Лангнером. Надо же было, в конце концов, что-то делать, заполнить чем-нибудь долгие часы. Он научился обращаться с большим астрографом (значит, все же это была обычная предвыпускная практика…), потом стал по очереди с Лангнером ходить к колодцу, чтобы оставить там на несколько часов очередную партию фотопластинок.

Долгожданный рассвет приближался. Истос-

ковавшись по новостям, Пиркс долго возился с радиоаппаратурой, но извлек лишь ураган треска и свиста, предвещающий близкий восход солнца. Потом был завтрак; после завтрака они проявляли пластинки. Над одной из них астрофизик долго корпел, так как обнаружил на ней великолепный след какого-то мезонного распада; он даже подозвал Пиркса к микроскопу, но тот был равнодушен к красотам ядерных превращений. Потом был обед, потом Лангнер провозился часок с астрографами и провел визуальные наблюдения звездного неба. Время приближалось к ужину, Лангнер был уже на кухне, когда Пиркс (в этот день была его очередь менять пластинки) сказал, что выходит наружу. Лангнер, погруженный в изучение сложного рецепта на коробке с яичным порошком, пробурчал, чтобы он поторопился: омлет будет готов через десять минут.

Пиркс, уже в скафандре, держа в руке пачку пластинок, проверил, хорошо ли прилегает шлем к вороту, распахнул настежь двери кухни и радиостанции, вошел в камеру, захлопнул за собой герметическую дверь, откинул верхнюю крышку и выбрался наружу.

Его окутала та же тьма, что и в межзвездном пространстве. Земному мраку с ней не сравнить-

ся, потому что атмосфера всегда немного светится от слабого возбужденного излучения кислорода. Пиркс видел звезды, и лишь по тому, как прерывались то тут, то там узоры знакомых ему созвездий, он понимал, что вокруг громоздятся скалы. Пиркс включил рефлектор на шлеме и, шагая за бледным, мерно подрагивавшим кружком света, добрался до колодца. Перебросил ноги в тяжелых башмаках через борт колодца (к здешней легкости привыкают быстро, куда труднее опять привыкнуть к нормальному притяжению на Земле), нащупал первую ступеньку, спустился вниз и занялся пластинками. Когда он присел на корточки и наклонился над подставками, рефлектор замигал и погас. Пиркс шевельнулся, хлопнул по шлему рукой — свет появился снова. Значит, лампочка цела, только контакт не в порядке. Он начал собирать экспонированные пластинки — рефлектор мигнул раз, другой и опять погас. Пиркс сидел несколько секунд в кромешной тьме, не зная, что предпринять. Обратная дорога не страшила его — он знал ее наизусть, к тому же на куполе станции светились два огонька, зеленый и голубой. Но, идя на ощупь, можно было разбить пластинки. Он еще раз хватил кулаком по шлему — лампочка загорелась. Пиркс быстро

записал температуру, вложил экспонированные пластинки в кассеты; когда он начал укладывать кассеты в футляр, проклятый рефлектор снова погас. Пришлось отложить пластинки, чтобы еще несколько раз стукнуть по шлему и включить свет. Пиркс заметил, что, пока он стоит выпрямившись, лампочка горит, а стоит ему нагнуться, как она гаснет. Пришлось продолжать работу в неестественной позе. Наконец свет погас уже окончательно, и никакие удары не помогали. Но сейчас не могло быть и речи о возвращении на станцию, потому что вокруг лежали пластинки. Пиркс прислонился к нижней ступеньке, отвинтил крышку рефлектора, всадил ртутную лампочку поглубже в патрон и снова надел крышку. Теперь свет горел, но, как назло, заело винт. Пиркс пробовал и так и сяк, наконец, разозлившись, сунул стеклянную крышку в карман, быстро собрал пластинки, разложил новые и полез вверх. До края колодца оставалось всего с полметра, когда Пирксу показалось, что к белому свету его рефлектора примешался какой-то другой, колеблющийся и угасающий; он посмотрел вверх, но увидел лишь звезды над краем колодца.

«Почудилось мне», — решил Пиркс.

Он выбрался наверх, но его охватило какое-то непонятное беспокойство. Он не шел, а бежал большими скачками, хотя лунные прыжки, вопреки мнению многих, ничуть не ускоряют движения — прыжки длинные, но зато летишь в шесть раз медленнее, чем на Земле. Он был уже у станции и положил руку на перила, когда снова увидел, как что-то блеснуло, будто на юге выстрелили из ракетницы. Он не увидел самой ракеты — все заслонял купол станции, — только призрачный отблеск нависших скал: они вынырнули на секунду из черноты и снова исчезли. Пиркс молниеносно, как обезьяна, взобрался на купол. Кругом была тьма. Будь у него ракетница, он выстрелил бы. Он включил свое радио. Треск. Ужасный треск.

Вдруг он подумал, что валяет дурака. Какая ракета? Это наверняка был метеор. Метеоры не светятся в атмосфере, потому что ее нет на Луне, но вспыхивают, когда с космической скоростью врезаются в скалы.

Пиркс быстро спустился в камеру, дождался, пока стрелки показали необходимое давление — 0,8 килограмма на квадратный сантиметр, открыл дверь и, стаскивая на ходу шлем, вбежал в прихожую.

— Лангнер! — крикнул он.

Молчание. Не снимая скафандра, Пиркс вбежал в кухню. Обвел ее взглядом. Кухня была пуста! На столе — тарелки, приготовленные к ужину, в кастрюльке — размешанная для омлета кашица, сковородка стоит рядом с уже включенной горелкой.

— Лангнер! — заорал Пиркс и, швырнув пластинки, бросился в помещение радиостанции. Там тоже было пусто. Неизвестно откуда появилась у него уверенность, что не стоит подниматься в обсерваторию, что Лангнера на станции нет. Значит, эти вспышки все же были ракеты? Лангнер стрелял? Он вышел наружу? Зачем? И идет по направлению к пропасти!

Вдруг он увидел Лангнера. Зеленый глазок мигал: Лангнер дышит. А бегавший по окружности лучик радара выхватывал из мглы маленький яркий огонек — в самой нижней части экрана! Лангнер шел к обрыву…

— Лангнер! Стой! Стой! Слышишь? Стой! — кричал Пиркс в микрофон, не отрывая глаз от экрана.

Репродуктор тарахтел. Треск помех — больше ничего. Зеленые «крылышки» махали, но не так, как при нормальном дыхании: они двигались

медленно, неуверенно, порой надолго замирали, будто кислородный аппарат Лангнера перестал работать. А резкий блеск в радаре был очень далеко: на координатной сетке, прочерчивающей стекло, он сверкал в самом низу экрана, за полтора километра по прямой линии, значит, уже где-то среди огромных вздыбившихся скал под Солнечными Воротами. И больше он не двигался. При каждом обороте водящего луча он вспыхивал в том же самом месте. Лангнер упал? Лежит там — без сознания?

Пиркс выскочил в коридор. Надо в шлюзовую камеру наружу! Он кинулся к герметической двери. Но, когда он пробегал мимо кухни, что-то бросилось ему в глаза, черное, на белой скатерти. Фотопластинки, которые он принес и машинально бросил здесь, испуганный отсутствием Лангнера… Это словно парализовало Пиркса. Он стоял у дверей камеры, держа в руках шлем, и не двигался с места.

«Все так же, как тогда. Все также, — думал он. — Он готовил ужин и вдруг вышел. Сейчас я выйду за ним и… и оба мы не вернемся. Через несколько часов „Циолковский“ начнет вызывать нас по радио. Ответа не будет…»

«Сумасшедший, иди! — кричало что-то в

нем. — Чего ты ждешь? Он лежит там! Может, его захватила лавина, она сорвалась с вершины, ты не слышал, ведь здесь ничего не слышно, он еще жив, он не движется, но жив, он дышит, торопись...»

Однако Пиркс не двигался. Вдруг он круто повернулся, бросился в помещение радиостанции и внимательно присмотрелся к индикаторам. Никаких перемен не было. Через каждые четыре-пять секунд — медленный взмах крылышек «мотылька», подрагивающий, неуверенный. И блеск в радаре — на краю пропасти...

Пиркс проверил угол наклона антенны: он был минимальным. Антенна уже не охватывала территории, прилегающей к станции, — она посылала импульсы на максимальное расстояние. Пиркс вплотную приблизил лицо к глазку. И тогда он заметил нечто странное. Зеленый «мотылек» не только складывал и расправлял «крылышки», но в то же время мерно подрагивал, будто на слабый дыхательный ритм накладывался другой, гораздо более быстрый. Судорога агонии? Конвульсии? Там умирал человек, а он с полуоткрытым ртом жадно всматривался в движения катодного огонька, все те же — и замедленные, и отмеченные иным ритмом. Вдруг,

сам толком не понимая, почему он это делает, Пиркс схватил кабель антенны и вырвал его из гнезда. Случилось нечто поразительное: индикатор с отключенной антенной, оторванный от внешних импульсов, не замер: «крылышки» все продолжали трепетать…

Все в том же непонятном оцепенении Пиркс бросился к пульту и увеличил угол наклона радарной антенны. Далекая искорка, застывшая под Солнечными Воротами, начала двигаться к рамке экрана. Радар выхватывал из мрака все более близкие участки местности — и вдруг на экране появилась новая вспышка, гораздо ярче и сильнее. Второй скафандр!

Это наверняка был человек. И он двигался. Медленно, мерно спускался вниз, потом сворачивал то влево, то вправо, видимо обходя какие-то препятствия, и направлялся к Солнечным Воротам, к той, другой, далекой искорке — к другому человеку?

У Пиркса глаза на лоб полезли. На экране действительно светились две искры: близкая — движущаяся и далекая — неподвижная. На станции было только два человека — Лангнер и он, Пиркс. Аппаратура показывала, что их трое. Третьего быть не могло. Значит, аппаратура

лгала.

Он еще не успел до конца продумать все это, как был уже в камере — с ракетницей и патронами. Еще через минуту он стоял на куполе и палил сигнальными ракетами, целясь в одном направлении — прямо вниз, в сторону Солнечных Ворот. Пиркс едва успевал выбрасывать горячие гильзы. Тяжелая рукоятка ракетницы прыгала у него в руке. Он не слышал, только ощущал легкую отдачу после нажатия спускового крючка, потом расцветали полосы света, алмазная зелень и пурпурное пламя, брызжущее красными каплями, и фонтаны сапфировых звезд… Он все стрелял и стрелял. Наконец внизу, в нескончаемом мраке, вспыхнул ответный огонек, и оранжевая звезда, взорвавшись над головой у Пиркса, осветила его и осыпала, словно в награду, дождем пламенных страусовых перьев. И вторая — дождем шафранного золота…

Он стрелял. И тот стрелял, возвращаясь: вспышки выстрелов все сближались. Наконец в свете одной из вспышек Пиркс увидел призрачный

силуэт Лангнера. Он внезапно ослабел. Все его тело покрылось испариной. Даже голова. Он весь взмок, будто из воды вылез. Не выпуская ракетницы, Пиркс уселся, потому что ноги стали ватными. Он свесил их в открытый люк и, тяжело дыша, ждал Лангнера, который был уже рядом.

Это случилось так. Когда Пиркс ушел, Лангнер, хлопоча в кухне, не следил за приборами. Он посмотрел на них лишь через несколько минут. Точно неизвестно, через сколько именно. Во всяком случае, это, по-видимому, было тогда, когда Пиркс возился с гаснущим фонариком. Когда он исчез из поля зрения радара, автомат начал уменьшать угол наклона антенны, и это продолжалось до тех пор, пока кружащийся лучик не коснулся подножия Солнечных Ворот. Лангнер увидел там сверкающую искру и принял ее за отражение скафандра, тем более что ее неподвижность объясняли показания «магического глаза»; этот человек (Лангнер, конечно, подумал, что это Пиркс) дышал так, будто потерял сознание и задыхался. Лангнер тотчас надел скафандр и бросился на помощь.

В действительности искорка в радаре фиксировала ближайшую из шеренги алюминиевых мачт — ту, что стоит над пропастью. Лангнер, может, и

разобрался бы в своей ошибке, но ведь были еще показания глазка, которые, казалось, дополняли и подтверждали то, что показывал радар.

Газеты потом писали, что глазком и радаром ведала электронная аппаратура вроде электронного мозга, а в нем во время гибели Роже зафиксировался дыхательный ритм умирающего канадца, и, когда возникла «аналогичная ситуация», электронный мозг воспроизвел этот ритм. И что это — нечто вроде условного рефлекса, вызванного определенной последовательностью электрических импульсов. На самом деле все обстояло гораздо проще. На станции не было никакого электронного мозга, а только автоматическое управление, не имевшее никакой «памяти». «Неправильный ритм дыхания» возникал потому, что был пробит маленький конденсатор; неисправность эта давала о себе знать, лишь когда был открыт или не завинчен верхний входной люк. Напряжение тогда перескакивало с одного контура на другой, и на сетке «магического глаза» возникало «биение». Оно лишь на первый взгляд напоминало «агональное дыхание», ибо, присмотревшись получше, можно было без труда заметить неестественное дрожание зеленых «крылышек».

Лангнер уже шел к пропасти, где, как он думал, находится Пиркс, и освещал себе путь рефлектором, а в особенно темных местах — ракетами. Два ракетных выстрела и заметил Пиркс, возвращаясь на станцию. Через четыре-пять минут Пиркс в свою очередь стал призывать Лангнера выстрелами из ракетницы — и на этом приключение окончилось.

С Шалье и Сэвиджем было иначе. Сэвидж тоже, возможно, сказал Шалье: «Возвращайся поскорей», как это сказал Пирксу Лангнер. А может, Шалье спешил потому, что зачитался и вышел позже обычного? Во всяком случае, он не завинтил люк. Этого было недостаточно, чтобы погрешность аппаратуры привела к пагубным последствиям; потребовалось еще одно, случайное сочетание факторов: что-то, по-видимому, задержало Шалье в колодце до тех пор, пока антенна, поднимаясь при каждом обороте на несколько градусов, не нашла наконец алюминиевую мачту над пропастью.

Что задержало Шалье? Неизвестно. Почти наверняка не поломка рефлектора: такое случается слишком редко. Но из-за чего-то он запоздал с возвращением, а тем временем появилась на экране роковая искорка, которую Сэвидж, как

впоследствии и Лангнер, принял за свечение скафандра. Опоздание должно было составить не менее тринадцати минут: позднее это подтвердилось контрольными опытами.

Сэвидж, видимо, пошел к пропасти, чтобы искать Шалье. Шалье, вернувшись, застал станцию пустой, увидел то же, что и Пиркс, и в свою очередь пошел разыскивать Сэвиджа. Возможно, Сэвидж, добравшись до Солнечных Ворот, с опозданием понял, что на экране отражалась только металлическая трубка, вбитая в каменную осыпь, но на обратном пути оступился и разбил стекло на шлеме. Может, он и не разобрался в механизме этого явления, а просто после тщетных поисков, не найдя Шалье, забрел на какую-то скалу и упал. Всех этих подробностей выяснить не удалось. Так или иначе, оба канадца погибли.

Катастрофа могла произойти только перед рассветом. Потому что, если б не было помех в радиоаппаратуре, тот, кто оставался внутри станции, мог разговаривать с вышедшим наружу, даже находясь в кухне. Так могло произойти лишь в том случае, если выходивший очень торопился. Тогда он не завинчивал крышку люка. Лишь в этом случае сказывалась погрешность аппаратуры. Да и вообще, если человек торо-

пится, он может опоздать именно потому, что хочет поскорее вернуться. Он может уронить пластинки, разбить что-нибудь — мало ли что случается в спешке. Радарное отражение не отличается особой четкостью: на расстоянии тысячи девятисот метров металлическую веху легко принять за скафандр. При стечении всех этих обстоятельств катастрофа была возможна и даже вполне вероятна. Для полноты картины добавим, что оставшийся внутри должен был находиться в кухне либо где угодно, но только не в помещении радиостанции, иначе он видел бы, что его товарищ пошел по правильному пути, и не принял бы потом искорку на южной части экрана за скафандр.

Труп Шалье, разумеется, не случайно нашли так близко от того места, где погиб Роже. Он упал в пропасть, на краю которой стояла алюминиевая веха. Веху поставили там, чтобы предостеречь людей. А Шалье шел к ней, думая, что приближается к Сэвиджу.

Физический механизм явления был банально прост. Нужна была лишь определенная последовательность случаев и наличие таких факторов, как радиопомехи и незавинченная крышка люка в шлюзовой камере.

Возможно, более достоин внимания был механизм психологический. Когда аппаратура, лишенная внешних импульсов, колебанием внутренних напряжений пускала в ход «мотылька», а на экране появлялось ложное изображение скафандра, человек, подходивший к прибору, воспринимал эту картину как реальную. Сначала Сэвидж думал, что видит у пропасти Шалье, потом Шалье не сомневался, что там находится Сэвидж. То же самое произошло впоследствии с Пирксом и Лангнером.

Такой вывод было особенно легко сделать потому, что каждый из них прекрасно знал подробности катастрофы, в которой погиб Роже, и как особенно трагическую деталь помнил его долгую агонию, которую «магический глаз» до конца аккуратно передавал на станцию.

Так что если, как заметил кто-то, и можно было вообще говорить об «условном рефлексе», то он проявился не у приборов, а у самих людей. Они полусознательно приходили к убеждению, что трагедия Роже каким-то непонятным образом повторилась, избрав на этот раз жертвой одного из них.

— Теперь, когда мы все уже знаем, — сказал Тауров, кибернетик с «Циолковского», — объясните

нам, коллега Пиркс, как вы сумели разобраться в обстановке? Несмотря на то что, как вы сами говорите, не понимали механизма этого явления…

— Не знаю, — ответил Пиркс. В глаза ему била белизна залитых солнцем вершин. Их зубья торчали в густой черноте неба, как кости, вываренные добела. — Пожалуй, дело в пластинках. Я посмотрел на них и понял, что швырнул их точно так же, как Шалье. Может, я все-таки ушел бы, да вот еще одно… С пластинками — это, в конце концов, могло быть случайное стечение обстоятельств… Но у нас на ужин был омлет, так же как у них в тот последний вечер. Я подумал, что слишком уж много этих совпадений и что дело тут не в чистой случайности. Так что… омлет… думаю, это он нас спас…

— Люк остался открытым действительно из-за того, что жарился омлет, ради которого вы так торопились: значит, рассуждали вы совершенно правильно, но это вас не спасло бы, если б вы полностью доверяли аппаратуре, — сказал Тауров. — С одной стороны, мы должны ей доверять. Без электронных устройств мы и шагу не ступили бы на Луне. Но… за такое доверие иногда приходится расплачиваться.

— Это правда, — отозвался Лангнер, вставая. —

Я хочу сказать вам, коллеги, что больше всего понравилось мне в поведении моего товарища. Что касается меня, то с этой головокружительной прогулки я вернулся, не нагуляв аппетита. Но он, — Лангнер положил руку на плечо Пиркса, — после всего, что случилось, поджарил омлет и съел до последнего кусочка. Вот этим он меня и удивил! Хоть я и раньше знал, что это человек сообразительный, честный, можно сказать, добропорядочный…

— Какой, какой?! — переспросил Пиркс.

Патруль

На дне коробочки стоял домик с красной крышей — черепички делали ее похожей на малину, прямо лизнуть хотелось. Если встряхнуть коробочку из кустов вблизи домика выкатятся три поросенка, словно розовые жемчужинки. И сразу же из норы под лесом — лес был только нарисован на внутренней стороне коробочки, но выглядел совсем как настоящий — выскакивал черный волк и, щелкая при каждом движении зубастой, красной изнутри пастью, бросался к поросятам, чтобы их проглотить: наверно, внутри у него был магнитик. Требовалась большая ловкость, чтобы помешать волку. Нужно было, постукивая ногтем мизинца по донышку коробочки, успеть ввести всех поросят в домик через дверцу, которая к тому же не всегда широко открывалась. Вся игрушка не больше пудреницы, а можно на нее убить полжизни. Теперь, к сожалению, ничего нельзя было сделать: в невесомости игрушка не действовала. Пилот Пиркс тоскливо поглядывал на рукоятки ускорителей. Одно незначительное движение — и тяга двигателей, даже самая слабая, уничтожит невесомость; тогда можно будет, вместо того

чтобы вглядываться в черную пустоту, заняться судьбой поросят.

К сожалению, регламентом не предусматривалось пускать вход атомный двигатель для спасения этих трех розовых поросят от волка. Более того, категорически запрещалось проводить лишние маневры в пространстве. Словно это был лишний маневр!

Пиркс медленно спрятал коробочку в свой карман. Пилоты брали с собой и куда более странные вещи, особенно если уходили в патруль на более долгий срок, как сейчас. Раньше руководство Базы смотрело сквозь пальцы на то, как расходуют уран, выбрасывая в небо разные непредусмотренные предметы, вроде заводных птичек, которые умеют клевать рассыпанный хлеб, механических шершней, гоняющихся за механическими осами, китайских головоломок из никеля и слоновой кости, и никто уже не помнил, что впервые распространил эту заразу маленький Аарменс, который, отправляясь в патрульный полет, попросту отбирал игрушки у своего шестилетнего сынишки.

Такая идиллия продолжалась довольно долго — почти год, до тех пор, пока ракеты не перестали возвращаться из полетов.

В те спокойные времена многие даже ворчали по поводу патрульных полетов, а назначение в группу, «прочесывающую» пустоту, воспринималось как симптом личной неприязни шефа. Пиркса это назначение совсем не удивило — патруль был чем-то вроде кори: рано или поздно каждый должен через это пройти.

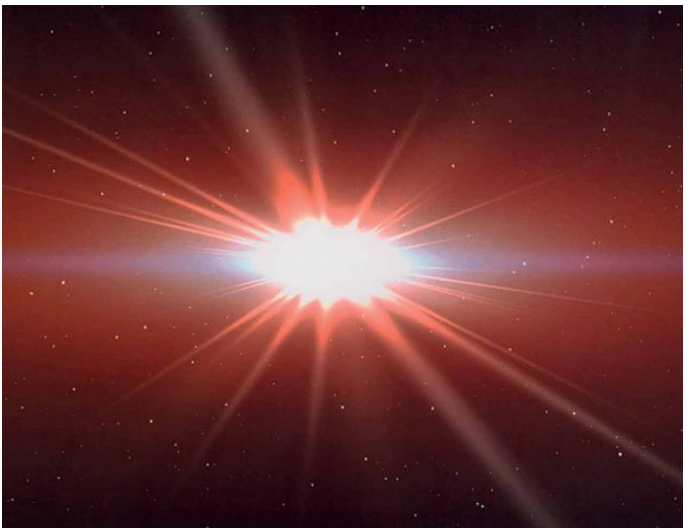
Но вот однажды не вернулся Томас, большой толстый Томас, который носил сапоги сорок пятого размера, любил устраивать розыгрыши и воспитывал пуделя, конечно самого умного пуделя в мире. Даже в карманах его комбинезона можно было найти колбасную кожицу и кусочки сахару. Шеф подозревал, что Томас иногда ухитряется протащить пуделя в ракету, хотя тот клялся, что ничего подобного ему и в голову никогда не приходило. Возможно. Никто этого уже не проверит, потому что однажды июльским утром Томас стартовал, взяв с собой два термоса кофе — он всегда очень много пил — и на всякий случай оставив для себя третий термос в кают-компании пилотов, чтобы по возвращении выпить такой кофе, какой он любил: смешанный с гущей и прокипяченный с сахаром. Кофе стоял очень долго. На третий день в семь часов истек срок «допустимого опоздания», и на доске

в навигационной было выписано мелом имя Томаса. Его одного. Такого не случалось — только самые старые пилоты помнили времена, когда на ракетах происходили аварии, и даже любили рассказывать молодежи страшные истории тех дней: как предупреждение о метеоритной опасности приходило за пятнадцать секунд до удара и времени оставалось ровно столько, чтобы успеть попрощаться с семьей, — конечно, по радио. Но это были действительно старые истории. Доска в навигационной всегда пустовала, и фактически ее не снимали со стены лишь по инерции.

В девять было еще довольно светло; все дежурные пилоты вышли из радиорубки и стояли, уставившись в небо, на газоне, окаймляющем огромную бетонированную посадочную площадку. В навигационную никого не пускали. Шеф приехал из города вечером, снял с катушек все регистрирующие ленты с записями сигналов автоматического передатчика Томаса и пошел наверх — в остекленную башню обсерватории, которая вращалась как обезумевшая, зыркая во все стороны черными раковинами радаров.

Томас летал на маленьком АМУ; атомного топлива ему хватило бы, чтоб облететь половину Млечного Пути, как успокоительно говорил пи-

лотам младший офицер из танкерной группы, но все сочли этого младшего офицера последним идиотом, а кто-то даже нехорошо высказался по его адресу: ведь кислорода на АМУ было всего-то ничего — пяти суточная порция с восьмичасовым ИЗ. Четыре дня напролет восемьдесят пилотов станции, не считая множества иных — всего чуть ли не пять тысяч ракет, — обшаривали сектор, в котором исчез Томас, но не нашли ничего, будто он растаял в пустоте.



Вторым исчез Вилмер. Этого, по правде говоря, мало кто любил. Для неприязни, собственно, не было ни одного серьезного повода, но зато множество мелких. Он всех перебивал — вечно старался вставить словечко. Глуповато посмеивался в самых неподходящих обстоятельствах,

и чем больше этим кому-нибудь досаждал, тем громче смеялся. Когда ему не хотелось утруждать себя прицельной посадкой, он преспокойно садился на траву около посадочной площадки и выжигал ее вместе с корнями и землей на метр в глубину. Зато если кто-нибудь забирался хоть на четверть миллипарсека в район его патрулирования, он немедленно писал рапорт, даже если это был его товарищ по Базе. Были и другие, совсем уж незначительные причины, о которых даже и говорить-то неудобно: он, например, вытирался чужими полотенцами, чтобы его собственное подольше оставалось чистым. Но когда Вилмер не вернулся из патрулирования, все вдруг обнаружили, что он превосходнейший парень и товарищ. Снова безумствовал радар, пилоты летали бессменно, радисты вообще не возвращались с Базы домой, спали по очереди на скамейке — им даже обед носили наверх. Шеф, который уже выехал было в отпуск, вернулся специальным самолетом. Пилоты прочесывали сектор четыре дня. Настроение у всех было такое, что за какую-нибудь недовернутую гайку они готовы были голову свернуть механику. Приехали две комиссии экспертов. Один из АМУ-116, словно близнец похожий на ракету Вилмера, был

буквально разобран по винтикам, как часы, — и все безрезультатно.

Правда, в секторе было 1600 биллионов кубических километров, но он всегда считался спокойным — ни случайных метеоритных угроз, ни постоянных метеоритных потоков; даже пути старых, сотни лет уже не наблюдавшихся комет не пересекали его, а известно, что такие кометы могут иной раз распасться на мельчайшие куски где-нибудь вблизи Юпитера, в его «пертурбационной мельнице», и потом время от времени выбрасывать на прежнюю орбиту осколки своего раздробленного ядра. Но в этом секторе вообще ничего не было — ни один спутник через него не проходил, ни один астероид, не говоря уже о Поясе, и именно из-за того, что пространство здесь было таким чистым, никто не любил тут патрулировать.

Тем не менее, Вилмер исчез именно здесь, вторым по счету, а его регистрационная лента, разумеется, десятки раз прослушанная, сфотографированная, размноженная и пересланная в Институт, объяснила ровно столько же, сколько лента Томаса, то есть ничего. Какое-то время сигналы поступали, потом перестали поступать. Автоматический передатчик высылал

их довольно редко — каждый час. Томас подал одиннадцать, а Вилмер — четырнадцать таких сигналов. Вот и все.

После второго происшествия руководство развернуло бурную деятельность. Для начала проверили все ракеты — атомные реакторы, управление, каждую гайку. За царапину на стекле прибора грозили лишить отпуска. Потом заменили часовые механизмы всех передатчиков — словно они были виноваты! Теперь сигналы подавались с ракеты каждые восемнадцать минут. В этом еще не было ничего плохого; хуже, что у стартовой площадки стояли два старших офицера, которые безжалостно отбирали у пилотов все: поющих и клюющих птичек, мотыльков, пчелок, всякие игрушки. Целая гора конфискованных вещей вскоре скопилась в кабинете шефа. Злые языки говорили даже: двери там потому вечно заперты, что шеф сам забавляется этими игрушками.

Лишь в свете этих событий можно по-настоящему оценить высокое искусство пилота Пиркса, который, несмотря ни на что, ухитрился протащить на борт своего АМУ домик с поросятами. Другое дело, что он не извлек из этого ни малейшей пользы, кроме морального удовлетворения.

Патрульный полет тянулся уже девятый час. Тянулся — это самое подходящее слово. Пилот Пиркс сидел в своем кресле, обвязанный и обмотанный поясами, как мумия, — только руки и ноги у него были свободны — и апатично поглядывал на экраны. Шесть недель летали парами — на расстоянии трехсот километров друг от друга, но потом База вернулась к прежней тактике: сектор был пуст, абсолютно пуст, даже одной патрульной ракеты для него было многовато, но не годится ведь иметь «дыру» на звездных картах, поэтому полеты продолжались, но уже в одиночку. Пиркс стартовал восемнадцатым, считая с момента ликвидации парных полетов.

От нечего делать он размышлял о том, что могло произойти с Томасом и Вилмером. На Базе почти никто о них уже и не вспоминал, но во время такого полета человек достаточно одинок, чтобы разрешить себе даже самые бесплодные мысли. Пиркс летал почти три года (два года и четыре месяца, если говорить совершенно точно) и считал себя старым профессионалом. Астроскука попросту разъедала его, хоть он вовсе не был позером.

Патрульные полеты сравнивали — не без оснований — с ожиданием в приемной у зубного

врача, и единственная разница состояла в том, что врач не приходил. Звезды, понятное дело, не двигались, Земли вообще не было видно — те, кому особенно везло, видели краешек ее, похожий на посиневший ноготь — и то лишь в первые два часа полета, а потом она становилась звездой, похожей на остальные, но в отличие от них медленно передвигавшейся. На Солнце, как известно, смотреть вообще нельзя. В такой ситуации игры и китайские головоломки становились поистине необходимыми. Однако обязанностью пилота было висеть в коконе поясов, контролировать экраны, обычные и радарные, время от времени сообщать на Базу, что ничего не произошло, проверять показания холостого хода реактора, а иногда — но это уж очень редко — из сектора долетал сигнал, зовущий на помощь, или даже SOS, и тогда нужно было лететь сломя голову, но это была «удача», которая случалась не чаще чем раз или два в год.

Если все это учесть, тогда только поймешь, что самые бредовые мысли, приходившие в голову пилотам, прямо-таки преступные с точки зрения обычных смертных, были как нельзя более человеческими. Когда тебя окружает полтора триллиона кубических километров пустоты, в

которой не найдешь и щепотки пепла от выкуренной папиросы, тогда желание, чтобы произошло хоть что-нибудь — пусть даже самая ужасная катастрофа, — становится подлинной манией.

За свои сто восемьдесят два полета в патруле пилот Пиркс прошел все фазы психических изменений: бывал сонным, делался пессимистом, чувствовал себя стариком, становился чудаковатым, был близок к некоему, отнюдь не тихому помешательству и в конце концов, как во времена учебы, начал сочинять разные истории, иной раз такие запутанные, что до конца полета не успевал их закончить. Однако скучал он по-прежнему.

Пускаясь в лабиринт одиноких раздумий о Томасе и Вилмере, Пиркс хорошо понимал, что наверняка он ничего не придумает и что тайна исчезновения двух его товарищей останется неразгаданной. Разве не ломали над ней головы лучшие эксперты Базы и Института в течение многих месяцев? Поэтому он охотнее занялся бы поросятами и волком, ибо это занятие, может не менее бесплодное, было, по крайней мере, более невинным. Но двигатели молчали, не было ни малейшего повода для того, чтобы пустить их в ход, ракета мчалась по отрезку сильно вы-

тянутого эллипса, в одном из фокусов которого находилось Солнце, и поросятам приходилось ждать лучших времен.

Итак: что произошло с Томасом и Вилмером?

Прозаически настроенный невежда начал бы с предположения, что их ракеты столкнулись с чем-нибудь, например с метеоритом или с облаком космической пыли, с остатками ядра кометы или хотя бы с обломком какой-нибудь погибшей ракеты. Однако вероятность такого столкновения столь же мала, как возможность найти большой бриллиант посреди городской шумной улицы. Расчеты показывают, впрочем, что такой бриллиант найти намного легче.

Со скуки — исключительно со скуки — Пиркс начал подбрасывать своему вычислителю цифры, составлять уравнения, подсчитывать вероятность столкновения, но вышла такая цифра, что вычислителю пришлось срезать восемнадцать нулей, чтобы она поместилась в его окошках.

Да и вообще пространство было действительно пустым. Никаких старых комет, никаких облаков космической пыли — ничего. Остов старой ракеты мог здесь оказаться — с теоретической точки зрения, также как и в любой другой точке космоса, — после невообразимо огромного количества

лет. Но Томас и Вилмер увидели бы его издалека, по меньшей мере с расстояния 250 километров, а если б он вышел прямо со стороны Солнца, то метеорадар все равно поднял бы тревогу за добрых тридцать секунд до столкновения; даже при условии, что пилот прозевал бы сигнал тревоги, скажем задремал, автоматическое устройство само выполнило бы маневр расхождения. А если б автомат испортился, то такое чудо из чудес могло бы случиться однажды, но не два раза подряд на протяжении нескольких дней. Вот что примерно смог бы придумать невежда, который не знает, что в ракете во время полета могут произойти куда более опасные вещи, чем встреча с метеоритом или с ядром кометы. Ракета, даже такая маленькая, как АМУ, состоит чуть ли не из ста четырнадцати тысяч важных частей: важных — это значит таких, поломка которых влечет за собой катастрофу. Потому что менее важных частей насчитывается более миллиона. Но если и случится что-нибудь совсем ужасное, то ракета даже после смерти пилота не рассыплется на кусочки и никуда не исчезнет, потому что, как говорит старая пословица пилотов, в пространстве ничего не пропадает; если ты оставишь в нем портсигар, так достаточно рассчитать элементы его траек-

тории, прибыть на то же место в надлежащее время, и портсигар, следуя по своей орбите, с астрономической точностью попадет тебе в руки в заранее вычисленную секунду. Каждое тело бесконечно долго вращается по своей орбите, поэтому остовы потерпевших аварию ракет почти всегда можно рано или поздно отыскать. Большие вычислители Института вычертили более сорока миллионов возможных орбит, по которым могли бы двигаться ракеты погибших пилотов, и все эти орбиты были проверены, то есть, прозондированы концентрированными пучками самых сильных радарных излучателей, какими располагает Земля. С известным уже результатом.

Конечно, нельзя утверждать, что при этом зондировании было проверено все пространство системы. Ракеты в нем — это нечто невообразимо маленькое, намного меньше, чем атом по отношению к земному шару. Однако искали везде, где ракеты могли находиться, предполагая, что их пилоты не покинули с максимальной скоростью пространство патрулируемого сектора. Ну с чего бы им вдруг бежать из своего сектора? Ведь они не получили никакого радиосигнала, никакого призыва на помощь, ничего подобного с ними не

случилось — это было проверено.

Похоже было на то, что Томас и Вилмер вместе со своими ракетами испарились, как капли воды, упавшие на раскаленную плиту, или же…

Невежда с воображением в противоположность невежде прозаическому посчитал бы уж, конечно, виновниками таинственного исчезновения ракет загадочных, таящихся в пространстве существ с других звезд, наделенных разумом, столь же высоко развитым, сколь и злобным.

Но астронавтика существует с давних пор, и кто же верит в таких существ, раз их нигде не обнаружили в исследованной части космоса? Количество анекдотов о «существах» превышало уже, пожалуй, количество кубических километров в пространстве системы. Кроме зеленых юнцов, которые пока что летали только в кресле, подвешенном к потолку лаборатории, никто не дал бы за их существование и ломаного гроша. Возможно, есть такие существа на далеких звездах, но лишь на очень далеких. Несколько примитивных моллюскообразных, немного лишайников, бактерий, инфузорий, не известных на Земле, — вот, собственно, и все плоды многолетних экспедиций. Да в конце концов, неужели таким созданиям — если даже допустить, что они

существуют, — и вправду нечего делать, кроме как подстерегать в одном из самых чертовски пустынных уголков пространства маленькие ракеты Патруля? И как они могли приблизиться к ракетам незаметно?

Таких вопросов, превращающих всю гипотезу в абсолютную гигантскую бессмыслицу, было много — так много, что игра и вправду теряла всякий смысл. Хоть Пиркс на девятом часу полета и склонен был к каким угодно мысленным построениям, но и ему перед лицом всех этих беспощадно трезвых истин стоило большого труда даже на минуту уместить в своем воображении этаких демонических звездных существ.

Время от времени, несмотря на отсутствие тяжести, Пирксу надоедала одна и та же поза, и он менял наклон кресла, к которому был прикреплен, потом глядел по очереди то вправо, то влево; он вовсе не видел трехсот одиннадцати указателей, контрольных лампочек, пульсирующих дисков и циферблатов: для него все это было словно черты так хорошо и так давно известного лица, что совсем не нужно изучать линию губ, изгиб бровей или искать морщинки на лбу, чтобы понять, что оно выражает. Экраны и контрольные лампочки сливались в глазах Пиркса

в одно целое, которое говорило ему, что все в порядке. Глядя же прямо перед собой, он видел оба передних звездных экрана, а между ними — свое собственное лицо в окаймлении вздутого, закрывающего частично лоб и подбородок желтого шлема.

Между двумя звездными экранами находилось зеркало, не очень большое, но помещенное так, что пилот видел в нем только себя — и ничего больше. Никто не знал, зачем, собственно, здесь это зеркало и для чего оно нужно. То есть все знали, но мудрые доводы в пользу этого зеркала мало кого убеждали. Придумали это все психологи. Человек, утверждали они, хоть это и странно звучит, часто, особенно в условиях длительного одиночества, перестает надлежащим образом контролировать состояние своих мыслей и эмоций, и может оказаться, что он ни с того ни с сего впадет в какое-то гипнотическое оцепенение, даже в сон без сновидений, с открытыми глазами, от которого не всегда успеет очнуться вовремя. Иногда люди становятся жертвами неизвестно откуда возникающих галлюцинаций или состояния страха, внезапного возбуждения, и против всех подобных неожиданностей будто бы великолепно помогает контроль за собственным лицом.

Правда, видеть перед собой в течение многих часов собственное лицо и поневоле следить за его выражением не очень-то приятно. Но об этом тоже мало кто знал, кроме пилотов патрульных ракет. Начинается это вполне невинно: человек состроит какую-нибудь рожу, скривится слегка или усмехнется собственному отражению, а потом уж пошли одна за другой все более отвратительные гримасы; так оно получается, если ситуация, до такой степени противная человеческой натуре, затягивается дольше, чем обычно можно выдержать.

К счастью, Пиркс не очень-то интересовался собственным лицом — в отличие от некоторых других пилотов. Этого, конечно, никто не проверял, да и проверить это невозможно, но рассказывают, что некоторые со скуки или от какого-то безграничного отупения начинали делать вещи,

о которых трудно рассказать, например плевали в собственное отражение, а потом, устыдившись, вынуждены были, естественно, делать то, что запрещено строжайшим образом, — отстегивать пояса, вставать и в лишенной тяжести ракете идти, вернее плыть, к зеркалу, чтобы как-нибудь очистить его перед посадкой. Некоторые даже упорно твердили, что Вюртц, который врезался на тридцать три метра в глубь бетона посадочной площадки, слишком поздно вспомнил, что нужно вытереть зеркало, и занялся этим в тот момент, когда ракета входила в атмосферу.

Пилот Пиркс никогда таких штук не проделывал и, что еще более важно, не испытывал ни малейшего искушения плюнуть в зеркало, а борьба с этим искушением, говорят, доводила некоторых до тяжелого расстройства; смеяться над этим мог бы лишь тот, кто никогда не был в одиночном патруле. Пиркс всегда, даже во время жесточайшей скуки, умел в конце концов изобрести для себя что-нибудь и вокруг этого накручивал все остальные, перепутанные и неясные мысли и чувства, как очень длинную и запутанную нитку вокруг твердого стержня.

Циферблат — обычный, измеряющий время, — показывал одиннадцать ночи. Через тринадцать

минут АМУ Пиркса должен был оказаться на самом отдаленном от Солнца отрезке своей орбиты: Пиркс кашлянул раза два, чтобы проверить микрофон, наугад предложил вычислителю извлечь корень четвертой степени из 8 769 983 410 567 396, даже не посмотрел на результат, который вычислитель сообщил с величайшей поспешностью, перемалывая в своих окошках цифры и нервно перетряхивая их, будто от этого результата бог знает что зависело. Пиркс подумал, что когда он приземлится, то первым долгом выбросит из ракеты через шлюз рукавицу — просто так, потом закурит папиросу и пойдет в столовую, где попросит немедленно подать что-нибудь жареное, острое, с красным перцем и к этому — большую кружку пива: он любил пиво. И тут он увидел светящуюся точку.

Он смотрел в левый передний экран как будто невидящим взглядом и мысленно был уже в столовой, даже ощущал запах хорошо поджаренной картошки — ее готовили специально для него, — но едва только светящаяся точка возникла в глубине экрана, он весь напрягся так, что, если б не пояса, наверняка взлетел бы вверх.

Экран имел около метра в диаметре и напоминал черный колодец, почти в центре светилась

Ро Змееносца, а Млечный Путь дважды рассекало тянущееся до самого края экрана зияние пустоты; по обеим сторонам его было полным-полно светящихся звездных пылинок. В эту неподвижную картину вплыла, мерно двигаясь, маленькая светящаяся точка, маленькая, но гораздо более отчетливая, чем любая из звезд. Не то чтоб она светилась особенно ярко — нет, Пиркс немедленно заметил ее потому, что она двигалась.

В пространстве встречаются светящиеся точки. Это позиционные огни ракет. Обычно ракеты не зажигают своих огней и делают это только по радиовызову для опознания. Ракеты имеют различные огни: у пассажирских одни, у товарных другие, свои у быстрых баллистических, у патрульных, космических, служебных, грузовых и всех прочих. Огни эти бывают размещены поразному и имеют любой цвет, за исключением одного — белого. Ракеты не имеют белых огней, чтобы их всегда можно было отличить от звезд.

Огонек, который лениво плыл по экрану, был, однако, совершенно белым — Пиркс почувствовал, что глаза у него лезут на лоб. Он даже не моргал — так боялся, что потеряет из виду огонек. Наконец, когда глаза начало жечь, он моргнул, но ничто не изменилось. Белая точка спокойно

двигалась вперед — уже лишь несколько сантиметров отделяло ее от противоположного края экрана. Еще минута — и она исчезнет из поля зрения.

Руки пилота Пиркса автоматически схватились за нужные рычаги. Реактор, работавший до сих пор на холостом ходу, внезапно пробужденный, молниеносно дал выхлоп. Ускорение вдавило Пиркса в губчатое кресло, звезды на экранах задвигались, Млечный Путь стекал наискось вниз, словно и впрямь был молочной рекой, зато двигавшийся огонек перестал двигаться — нос ракеты шел теперь прямо за ним, был нацелен на него, как нос гончей на прячущуюся в кустах куропатку. Что значит все-таки сноровка! Весь маневр продолжался меньше десяти секунд.

До сих пор Пирксу вообще некогда было думать, теперь ему впервые пришло в голову, что все это, наверное, галлюцинация, ибо таких вещей не бывает. Эта мысль делала ему честь. Обычно люди чересчур полагаются на свои чувства и, если видят на улице умершего знакомого, скорей готовы допустить, что он воскрес, чем подумать, что они сошли с ума.

Пилот Пиркс сунул руку во внутренний карман в обшивке кресла, достал оттуда маленький

флакончик, ввел себе в нос две маленькие стеклянные трубки, выходившие из горлышка, и глаза у него заслезились. Психран, как говорили, мог прервать даже каталептическое состояние йогов и созерцание ангелов господних. Огонек, однако, продолжал двигаться в центре левого экрана. Поскольку Пиркс сделал, что полагалось, он сунул флакончик на прежнее место, поманеврировал слегка рулями и, удостоверившись, что идет следом за огоньком на сближение, посмотрел на радар, чтобы оценить расстояние до этого светящегося предмета.

И тут он испытал второе потрясение: экран метеорадара был пуст, зеленоватый следящий луч, блестевший, как сильно насвеченная полоска фосфора, вращался на экране по кругу, все время по кругу, и не отмечал никакого свечения — ничего, ну абсолютно ничего.

Пилот Пиркс, конечно, не подумал, что перед ним дух в светящемся ореоле. Он вообще не верил в духов, хоть в определенных обстоятельствах и говорил о духах с женщинами, но в таких случаях речь шла совсем не о спиритизме.

Пиркс попросту решил, что тело, за которым он летит, не является мертвым космическим телом, потому что такие тела всегда отражают пучок

радарных лучей. Только предметы, изготовленные искусственно и покрытые специальным веществом, которое поглощает, гасит и рассеивает сантиметровые волны, не дают никакого оптического эха.

Пилот Пиркс откашлялся и сказал размеренно, ощущая, как его движущийся кадык мягко нажимает на прикрепленный к шее ларингофон:

— АМУ сто одиннадцать патрульный к объекту, летящему в секторе тысяча сто два запятая два, приблизительным курсом на сектор тысяча четыреста четыре, с одним белым позиционным огнем. Прошу дать свои позывные. Прошу дать свои позывные. Прием.

И ждал, что будет дальше.

Проходили секунды, минуты — никакого ответа не было. Пилот Пиркс заметил зато, что огонек бледнеет, значит, удаляется от ракеты. Радарный дальномер не мог ему ничего сказать, но в запасе имелся еще на худой конец оптический дальномер. Пиркс выдвинул ноги далеко вперед и нажал на педаль. Дальномер спустился сверху, он был похож на бинокль. Пиркс притянул его левой рукой к глазам и начал фокусировать.

Он поймал огонек в объективы почти сразу же и уловил еще нечто. Огонек вырос в поле

зрения, стал величиной с горошину видимую с расстояния пяти метров, то есть с точки зрения соотношений в пространстве он был прямо-таки гигантским. Вдобавок по его круглой, но будто чуть приплюснутой поверхности медленно проплывали справа налево мельчайшие затемнения, словно кто-то проводил толстым черным волосом прямо перед объективом дальномера. Эти затемнения были именно вот такими мглистыми, неясными, но движение их оставалось неизменным: они все время перемещались справа налево.

Пиркс начал крутить регулятор фокусировки, но оказалось, что светящееся пятнышко вообще не желает становиться четким; тогда он второй призмой, специально для этого предназначенной, разделил изображение пополам, начал совмещать обе разведенные половинки, а когда ему это удалось, глянул на шкалу — и остолбенел в третий раз.

Светящийся объект летел на расстоянии четырех километров от ракеты!

Это все равно, как если бы кто-то, мчась на гоночном автомобиле, оказался вдруг на расстоянии пяти миллиметров от другой машины: четыре километра считаются в пространстве та-

ким же опасным и недозволенным расстоянием. Пиркс уже мало что мог сделать. Он направил указатель наружной термопары на огонек, рычагом дистанционного управления передвигая прицел до тех пор, пока не накрыл молочно светящееся пятно, и краем глаза уловил результат: 24 градуса по Кельвину.

А это означало, что огонек имеет температуру окружающего пространства всего лишь на 24 градуса выше абсолютного нуля.

Теперь он был уже, собственно, вполне уверен, что этот огонек не может существовать, светиться, а тем более двигаться, однако, поскольку огонек плавал у него под носом, Пиркс продолжал гнаться за ним.

Огонек слабел все заметнее — и все быстрее. Через минуту Пиркс убедился, что пятно удалилось на сто километров, и увеличил скорость.

И тогда произошло нечто еще более удивительное.

Огонек сначала позволял себя догонять. Он был в 80, 70, 50,30 километрах от носа ракеты. Потом снова рванулся вперед. Пиркс увеличил скорость до 75 километров в секунду. Огонек делал 76. Пиркс снова прибавил ходу, но уже как следует: он сразу дал половину мощности в дюзы, и ракету

словно выстрелило вперед. Тройная перегрузка вдавила Пиркса в подушки кресла. АМУ имел малую массу покоя, поэтому брал разгон в темпе гоночного автомобиля. Через минуту он делал уже 140 километров в секунду.

Пятнышко выжало 140,5.

Пилот Пиркс почувствовал, что ему становится жарко. Он дал полную тягу. АМУ-111 весь запел, как задетая струна. Указатель скорости, производивший отсчет по отношению к неподвижным звездам, быстро полз вверх: 155… 168… 177… 190… 200.

При двухстах Пиркс посмотрел на дальномер, что было настоящим подвигом, достойным легкоатлета-десятиборца, ибо ускорение составляло 4 g.

Огонек заметно приближался, рос: сначала он был в нескольких десятках, потом в десяти, потом в шести километрах, мгновение — и он оказался в трех. Он был теперь больше, чем горошина, видимая на расстоянии вытянутой руки. Туманные затемнения продолжали перемещаться по его диску. Блеск его был сравним с блеском звезд второй величины, но это был диск, а не точка, как звезды.

АМУ-111 выкладывался полностью. Пиркс гор-

дился им. В маленькой рулевой кабине ничто не дрогнуло даже при скачке на полную тягу — ни следа вибрации! Реакция шла точно по оси, полировка дюз была великолепной, реактор тянул как черт.

Огонек все приближался — теперь крайне медленно. До него оставалось два километра, когда Пиркс начал лихорадочно соображать. Вся эта история была весьма странной. Огонек не принадлежал никакому земному кораблю. Космические пираты? Смешно. Нет никаких космических пиратов, да и что им делать в этом секторе, пустом, как старая бочка? Огонек перемещался с большой скоростью в широких пределах, ускорение у него было такое же резкое, как и торможение. Когда ему хотелось, он убегал от ракеты, а теперь позволял себя понемногу догонять. И это больше всего не понравилось Пирксу. Он подумал, что так ведет себя… приманка. Например, червяк на крючке под самым носом у рыбы.

И конечно, он немедленно подумал о крючке.

— Ну, погоди, голубчик! — сказал сам себе Пиркс и внезапно дал такое торможение, будто перед ним выпрыгнул, по меньшей мере, астероид, хотя луч радара по-прежнему бегал впустую, а экраны не показывали ничего. Несмотря на то,

что Пиркс инстинктивно пригнул шею и изо всей силы прижал подбородок к груди, чувствуя, как автомат молниеносно наполняет его комбинезон дополнительной порцией сжатого воздуха, чтобы противодействовать шоку торможения, он на некоторое время потерял сознание.

Стрелка гравиметра прыгнула на минус 7 g, задрожала и медленно сползла на минус 4. АМУ-111 потерял почти треть скорости — теперь он делал только 145 километров в секунду.

Где огонек? На мгновение Пиркс забеспокоился, что вообще его потерял. Нет, вот он. Но далеко. Оптический прицел показывал дальность — 240 километров. За две секунды он мог пролететь большее расстояние. Значит, немедленно вслед за маневром Пиркса огонек мгновенно уменьшил скорость!

Тогда — позже он сам удивлялся, что лишь тогда, — Пирксу пришло в голову, что это, наверное, и есть загадочное нечто, которое встретили в своих патрульных полетах Томас и Вилмер.

До этой минуты он вообще не думал об опасности. Теперь его внезапно охватил страх. Это продолжалось очень недолго. Конечно, такого не может случиться — ну а если это все же огонь чужой, неземной ракеты? Огонек явно прибли-

жался, уменьшал скорость, был уже в 60… 30… 20 километрах. Пиркс и сам слегка приблизился и даже удивился, как мгновенно вырос огонек: теперь он висел в двух километрах перед носом ракеты, снова был рядом!

По другую сторону кресла в кармане находился бинокль, ночной, двадцатичетырехкратный, обычно им пользовались только в исключительных случаях, если, например, выходил из строя радар, а нужно было подойти к какому-нибудь спутнику с теневой стороны. Теперь этот бинокль очень пригодился. Увеличение он дал такое, что огонек будто приблизился на расстояние менее сотни метров. Это был небольшой диск, белый, как молоко, но молоко разбавленное, меньше по размерам, чем Луна, видимая с Земли. По этому диску проплывали вертикальные полоски затемнений. А звезды, когда диск их закрывал, исчезали не сразу, а лишь через некоторое время, будто самый краешек белого диска был несколько более разреженным и прозрачным, чем его середина.

Но, кроме молочного пятна, ничто не заслоняло звезд. На расстоянии 100 метров в бинокль можно увидеть ракету величиной с ящик письменного стола. Не было там ничего. Никакой ракеты.

Огонек не был ни позиционным, ни выхлопным огнем какого-либо корабля. Наверняка нет.

Попросту — самостоятельно летящий белый огонек.

С ума можно сойти!

Пиркс почувствовал огромное желание выстрелить в молочный диск. Это было нелегко, поскольку на АМУ-111 не было никакого оружия. Правила патрулирования не предусматривают его применения. Пиркс мог катапультировать из кабины только самого себя вместе с креслом и шар-зонд. Патрульные ракеты сконструированы так, что пилот может катапультироваться в герметической оболочке на тормозном парашюте. Делается это лишь в случае крайней необходимости, и, конечно, выбросившись из ракеты, вернуться в нее уже нельзя.

Следовательно, оставался шар-зонд. Это очень простое устройство — тонкостенный резиновый баллон, пустой, свернутый так плотно, что напоминает копье с алюминиевым покрытием — для лучшей видимости. Зачастую трудно полагаться на показания аэродинамометра — не понятно, входишь ты уже в атмосферу планеты или еще нет. Да и, наконец, пилот хочет знать — это самое важное, — не находится ли прямо перед ним

разреженный газ. Тогда он выбрасывает шар, который автоматически надувается и летит со скоростью несколько большей, чем скорость ракеты. Он виден как светлое пятнышко даже за пять-шесть километров. Если он попадает в разреженный газ, пусть очень разреженный, он нагревается от трения и лопается. Тогда пилот знает, что пора начать торможение. Пиркс старался нацелить нос на туманный диск. По радару он целиться не мог, поэтому воспользовался оптическим прицелом. Попасть в такой маленький предмет на расстоянии почти двух километров невероятно трудно. Все же Пиркс старался выстрелить, но диск не хотел устанавливаться на прицеле. Как только Пиркс начинал, осторожно маневрируя отклоняющими дюзами, передвигать нос АМУ, диск преспокойно сдвигался в сторону и снова мчался перед ним в центре левого звездного экрана. Этот маневр повторялся четыре раза подряд, и с каждым разом все быстрее, будто диск все лучше ориентировался в намерениях пилота. Он явно не желал, чтобы нос АМУ был направлен точно на него, — летел с незначительным боковым отклонением.

Это было фантастично. Чтобы на расстоянии двух километров обнаружить еле заметное отклонение ракеты, диск должен был обладать

каким-то гигантским телескопом, которого Пиркс абсолютно не видел. И все же диск совершал маневр ухода с опозданием максимум на полсекунды.

Беспокойство Пиркса росло. Он сделал уже все возможное, чтобы опознать этот дьявольский летающий объект, и не подвинулся ни на шаг. И тогда — сидя неподвижно, с руками, постепенно цепенеющими на рычагах, — он вдруг подумал, что с теми двумя, наверно, произошло то же самое. Увидели огонек, старались получить его позывные, думая, что это какая-то странная ракета; когда им не ответили, помчались за ним все быстрее; наверное, тоже разглядывали огонек в бинокль и заметили пересекающие его полосы затемнений, может быть, стреляли в него шарами-зондами, а потом… сделали что-то такое, отчего больше не вернулись.

Поняв, до чего он близок к тому же концу, Пиркс почувствовал даже не страх, а отчаяние. Это было совсем как в кошмарном сне: с минуту он не понимал, кто он — Пиркс, или Томас, или Вилмер. Потому что тогда все происходило точно так же, как сейчас, — в этом не было никаких сомнений. Он сидел, как парализованный, совершенно уверившись, что спасения нет. Особенно ужасало

Пиркса то, что никак не удавалось сообразить, где кроется опасность, — пространство было пусто…

Пусто?

Да, сектор был пуст, но ведь он гнался за огоньком больше часа со скоростью до 230 километров в секунду! Вполне возможно, — нет, даже наверняка — он находился на самой границе своего сектора или уже миновал ее. Что дальше — следующий сектор, 1009, следующие полтора триллиона километров пустоты? Пустота, со всех сторон на миллионы километров — ничего, только пустота, а на расстоянии двух километров от носа ракеты танцевал белый огонек.

Пиркс начал лихорадочно думать, что сделали бы в этот момент — именно в этот — Вилмер или Томас. Вилмер и Томас. Потому что он — он должен сделать нечто совершенно иное. Иначе он не вернется.

Он еще раз нажал тормоз. Стрелка дрогнула. Он летел все медленнее. Уже только 30… 22… 13… 5 километров в секунду. Вот уже 0,9. Уже лишь несколько сот метров в секунду — стрелка едва заметно подрагивала над самым нулем. С точки зрения устава он остановился. В пространстве всегда имеешь какую-нибудь скорость относительно чего-нибудь. Стоять как кол, вбитый в

землю, невозможно.

Огонек уменьшался. Уходил все дальше и дальше… был все бледнее, потом перестал уменьшаться. Начал расти… снова увеличивался, пока не остановился. На расстоянии двух километров от носа ракеты.

Чего не сделали бы Томас и Вилмер? Чего они наверняка не сделали бы? Они не стали бы удирать от такого маленького, паршивого, идиотского огонька, от дурацкого туманного пятнышка!

Пиркс не хотел поворачивать: сделав поворот, он потерял бы пятнышко из виду, оно осталось бы за кормой, а то, что делается за кормой, труднее наблюдать — приходится поворачивать голову к боковому экрану. Да и вообще не хотел он иметь этот огонек за кормой: хотел видеть его отчетливо и непрерывно. Поэтому Пиркс дал задний ход, применяя тормозные дюзы как ускорительные. Такие вещи полагается уметь делать, это элементарный пилотаж. Сначала было минус 1 g, потом минус 1,6, минус 2. Задним ходом ракета шла не так идеально, как на обычной тяге. Нос чуточку качался — все-таки тормоза приспособлены для торможения, а не для ускорения ракеты.

Огонек будто заколебался. За несколько секунд

он уменьшился в пространстве, на мгновение закрыл Альфу Эридана, сошел с нее, потанцевал между маленькими безымянными звездами — и потянулся за ракетой.

Не хотел отвязываться.

«Только спокойно, — подумал Пиркс, — что он может, в конце концов, мне сделать? Такое маленькое светящееся дерьмо. И что мне до всего этого? Мое дело — патрулировать сектор. Черт бы его побрал, этот огонек!»

Так он думал, но, понятное дело, ни на минуту не спускал глаз с огонька. С момента встречи прошло уже почти два часа. Временами глаза жгло и застилало слезами. Пиркс таращился изо всех сил и продолжал пятиться. Пятясь, нельзя лететь слишком быстро, тормоза не рассчитаны на непрерывное действие. Так что он давал восемь километров в секунду — и потел вовсю.

Уже некоторое время он чувствовал: что-то творится с его шеей; будто оттянули щипчиками кожу с горла вниз, к груди, и во рту слегка пересохло. Пиркс не обращал на это внимания, у него были дела поважнее, чем то, что сохнут губы и щиплет кожу на шее. Потом он почувствовал себя как-то странно — перестал ощущать положение собственных рук. Ноги он ощущал. Правая нажи-

мала педаль тормозных двигателей.

Пиркс попробовал шевельнуть руками, потому что не хотел спускать глаз с огонька: тот как будто подходил ближе — не то 1,9 километра от носа, не то 1,8. Догоняет он его, что ли?

Пиркс хотел было поднять руку — не смог. Другую — и подавно…

Он не чувствовал своих рук, будто они вообще не существовали. Хотел взглянуть на них — шея даже не дрогнула, она была напряжена, тверда, как дерево.

Его сразу охватила паника. Почему же он до сих пор не сделал того, что было его прямым долгом? Почему, встретив огонек, не вызвал немедленно по радио Базу и не сообщил о происшествии?

Потому что устыдился. Томас и Вилмер тоже, наверно, устыдились. Он представил себе хохот, который раздался бы в радиорубке Базы. Огонек! Белый огонек, который сначала убегает от ракеты, а потом преследует ее! Действительно! Ему бы сказали, наверно, чтоб он ущипнул себя и проснулся.

Теперь ему было все равно — он еще раз взглянул на экран и сказал:

— АМУ-111 патрульный к Базе…

Точнее говоря — хотел сказать. Но не смог. Из

горла исходило лишь какое-то нечленораздельное бормотание. Он напряг все силы — изо рта его вырвался рев. Тогда — впервые — глаза его оторвались от звездного экрана и метнулись к зеркалу. Перед ним, в кресле пилота, в круглом желтом шлеме сидело чудовище.

У него были огромные, набрякшие, выкатившиеся глаза, полные адского ужаса, широко разинутый рот, лягушачьи губы — между ними болтался темный язык. На шее дрожали какие-то натянутые жилы, дергавшиеся непрерывно, так что нижняя челюсть тонула в них. И это страшилище с серым, стремительно опухавшим лицом орало.

Он силился закрыть глаза — не мог. Хотел опять посмотреть на экран — не мог. Чудовище, привязанное к креслу, дергалось все яростнее, будто хотело разорвать пояса. Пиркс смотрел на него — ничего иного он не мог сделать. Сам он не ощущал никаких судорог — ничего. Чувствовал только, что начинает задыхаться, что не может вдохнуть воздух.

Он слышал где-то рядом отвратительный скрежет зубов. Он перестал уже вообще быть Пирксом — у него не было ни рук, ни тела, оставалась только нога, которая нажимала на тормоз. Он

чувствовал, что взгляд его становится все более мутным, что перед глазами начинают плавать маленькие белые пятнышки. Он шевельнул ногой. Она начала дергаться. Он поднял ногу. Опустил. Чудовище в зеркале было серым как пепел, на губах его выступила пена. Глаза совершенно вылезли из орбит. Оно дергалось.

Тогда он сделал то единственное, что еще мог. Рванул ногу вверх и изо всей силы ударил себя коленом в лицо. Он почувствовал страшную, пронизывающую боль в разбитых губах, кровь хлынула на подбородок, он ослеп.

— А-а-а-а… — захрипел он. — А-а-а-а…

Это был его голос.

Боль куда-то исчезла, он снова ничего не чувствовал. Что происходит? Где он? Его не было нигде. Не было ничего…

Он колотил, разбивал коленом собственное лицо, дергаясь, как сумасшедший, но рычание прекратилось. Он услышал свой собственный, рыдающий, давящийся кровью крик.

Он снова обрел руки. Они были точно деревянные и так ужасно болели при каждом движении, словно все мышцы в них лопнули, но он уже мог ими двигать. На ощупь онемевшими пальцами он начал отстегивать пояса. Схватился за

поручни. Встал. Ноги у него дрожали, все тело болело, будто молотом разбитое. Он ухватился за трос, наискось протянутый через рулевую рубку, и подошел к зеркалу. Обеими руками оперся о его раму.

В зеркале стоял пилот Пиркс.

Он уже не был серым — лицо его было все в крови, с разбитым, опухшим носом. Кровь текла из рассеченных губ. Щеки были еще синие, набрякшие, под глазами черные мешки, на шее что-то еще дергалось под кожей, но все слабее, слабее — и это был он, Пиркс. Он долго вытирал кровь с подбородка, отплевывался, кашлял, глубоко дышал, слабый, как ребенок.

Потом отступил на шаг. Взглянул на экран. Ракета летела все так же, пятясь, уже без тяги, лишь по инерции. Белый диск летел за ракетой, за ее носом, на расстоянии двух километров.

Держась за трос, он подошел к креслу. Думать он вообще не мог. Руки у него начали трястись лишь теперь, но это был обычный эффект, наступающий после шока, — это он знал, этого не боялся. Что-то изменилось возле самого кресла…

Верх кассеты автоматического передатчика был вдавлен. Пиркс толкнул крышку — она упала. Внутри полным-полно разбитых деталей.

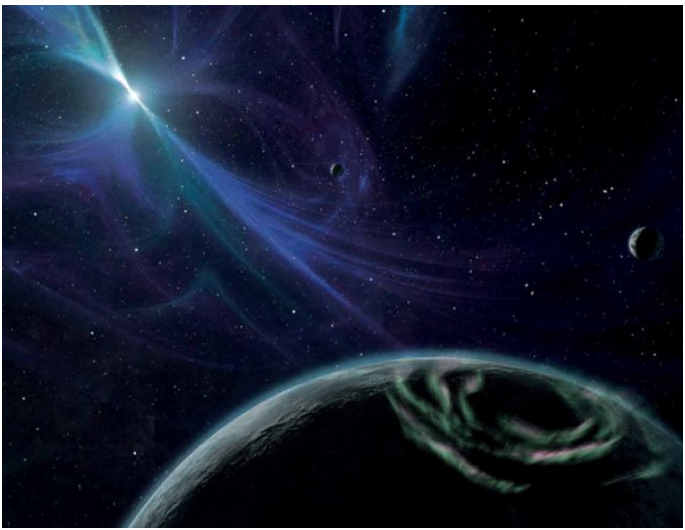
Как это случилось? Очевидно, он сам ударил по передатчику? Когда?

Сел в кресло, включил отклоняющие дюзы, начал разворот.

Белый диск заколебался, поплыл через экран, дошел до его края и, вместо того чтоб исчезнуть, отскочил от края, как мячик! Вернулся в центр.

— Ты, тварь! — крикнул он с ненавистью и отвращением.

И из-за этой дряни он чуть не перешел на «вечную орбиту»! Если огонек при повороте не уходил за экран, это означало, ясное дело, что его вообще нет, что он возникает на самом экране. Ведь экран — это же не окно, в ракете нет никаких окон. В ней имеется телевизионное устройство — снаружи, в обшивке, находятся объективы, а внутри — аппаратура, которая преобразует их электрические импульсы в изображение на катодном экране. Устройство испортилось? Таким странным образом? А у Вилмера и Томаса — тоже? Как это возможно? И что с ними произошло потом?



Сейчас ему было, однако, не до того. Он включил аварийный передатчик.

— АМУ-111 патрульный к Базе, — сказал он — АМУ-111 патрульный к Базе. Нахожусь на границе секторов 1009 и 1010, экваториальная зона, возвращаюсь, обнаружив аварию…

Когда шесть часов спустя Пиркс приземлился, начались доскональные исследования, продолжавшиеся целый месяц. Прежде всего, специалисты взялись за телевизионную аппаратуру. Это была новая, усовершенствованная аппаратура — ее вмонтировали год назад на всех АМУ патрульной службы, и работала она великолепно. В ней ни разу не обнаружили ни малейшего дефекта.

После долгих мук электронщики докопались наконец до причин возникновения огонька. Через несколько тысяч часов работы вакуум в катодных трубках экрана нарушался и на внутренней поверхности экрана возникал блуждающий заряд, который создавал на экране видимость молочного пятнышка. Этот заряд двигался, подчиняясь довольно сложным закономерностям. Когда ракета внезапно ускоряла движение, заряд расползался по поверхности, словно распластывался на внутреннем покрытии экрана, и тогда казалось, будто пятнышко приближается к ракете. Когда давалась обратная тяга, заряд отплывал внутрь трубки, а когда ускорение устанавливалось и оставалось неизменным, блуждающий заряд медленно возвращался к центру экрана. Он мог также двигаться по экрану во всех направ-

лениях, но чаще всего сосредоточивался в самом центре — если ракета шла по стационарной орбите, без тяги. И так далее, и так далее — исследования заряда продолжались, а динамику его движения описывали шестиэтажные формулы. Выяснилось также, что более сильные источники света рассеивают заряд. Он концентрировался лишь тогда, когда интенсивность импульсов, принимаемых катодной трубкой, была очень слабой, какой она бывает в космическом пространстве вдали от Солнца. Стоило солнечному лучу хоть раз упасть на экран — и заряд исчезал на несколько часов.

Вот примерно что обнаружили электронщики. Об этом написали даже целую книгу битком набитую математическими формулами. Затем за дело взялись врачи, психологи, специалисты в области астроневрозов и астропсихозов. Через несколько недель обнаружилось, что блуждающий заряд пульсировал — невооруженный глаз воспринимал это как мелкие затемнения, ползущие по светлому диску; частота же возникающих миганий, настолько кратковременных, что для глаза они сливались в единое целое, налагалась на так называемый тэта-ритм коры головного мозга и увеличивала колебания потенциалов

коры, пока не наступал внезапный припадок, сходный с эпилептическим. Обстоятельствами, которые дополнительно способствовали возникновению этого припадка, были полный покой, отсутствие каких-либо возбудителей, кроме световых, и длительное непрерывное наблюдение за мигающим огоньком.

Специалисты, которые все это открыли, конечно же, стали знаменитыми. Во всем мире электронщики знают теперь этот эффект Ледью-Харпера — возникновение блуждающих зарядов в высоком вакууме катодной трубки; астробиологи же изучают арктически-кататонически-клонический синдром Нуггельхеймера.

Личность Пиркса осталась неизвестной ученому миру, и только очень внимательные читатели газет могли узнать из заметок, набранных петитом в некоторых вечерних изданиях, что это благодаря Пирксу судьба Вилмера и Томаса — увеличив до предела скорость своих ракет и потеряв сознание в погоне за блуждающим огоньком, они погибли в безднах космоса — больше не грозит ни одному пилоту.

Итак, слава миновала Пиркса, но он вовсе не расстраивался по этому поводу. Даже искусственный зуб, который пришлось вставить взамен

выбитого коленом, он оплатил из собственного кармана.

Альбатрос

Обед состоял из шести блюд, не считая дополнительных. Тележки с вином бесшумно катились по стеклянным дорожкам. Высоко вверху над каждым столом горела точечная лампа. Черепаховый суп подавали при лимонном свете. Рыбу — при белом, с голубоватым отливом. Цыплят залил румянец с шелковисто-серым теплым огоньком. За черным кофе, к счастью, не наступил мрак — Пиркс уже был готов к самому худшему. Его очень утомил этот обед. Он пообещал себе, что отныне будет есть только на нижней палубе, в баре. Зал этот был определенно не по нем. Все время приходилось думать о локтях. Вдобавок — туалеты! Зал был вогнутый — края выше, центр опущен чуть ли не на пол-яруса. Он походил на некую гигантскую золотисто-кремовую тарелку, наполненную самыми яркими тартинками на свете. Жесткие полупрозрачные платья дам шуршали за спиной Пиркса. Время здесь проводили великолепно. Наигрывала музыка. Сновали кельнеры — настоящие кельнеры, каждого можно было принять за дирижера филармонии. «Трансгалактик» гарантирует: никаких автоматов, интимность,

деликатность, искренняя человеческая благожелательность, весь обслуживающий персонал живой. Сплошные виртуозы своего дела.

Пиркс пил черный кофе, курил сигарету и старался найти в зале такой уголок, за которым можно было бы остановить взгляд. Спокойный уголок для отдыха. Женщина, сидевшая с ним за одним столом, ему нравилась. На ее декольтированной груди чернел шершавый камешек. Не какой-нибудь хризопраз или халцедон. Ничего земного — наверное, с Марса. Камешек этот, надо полагать, стоил целое состояние — походил на осколок булыжника. Женщинам нельзя иметь столько денег.

Пиркс не возмущался. Не удивлялся. Он наблюдал. Постепенно у него возникло желание размяться. Не пойти ли на прогулочную палубу?

Он встал, слегка поклонился и вышел. Проходя между гранеными колоннами, облицованными какой-то зеркальной массой, Пиркс увидел собственное отражение. Из-под узла галстука виднелась пуговица. А впрочем, кто еще носит эти самые галстуки?

Он поправил воротничок уже в коридоре. Вошел в лифт. Поднялся на самый верх — на обзорную палубу. Лифт бесшумно открылся. Здесь

не было ни души. Пиркс обрадовался этому Часть вогнутого потолка над палубой, уставленной шезлонгами, казалась гигантским черным окном, распахнутым навстречу звездам. Шезлонги с грудами пледов пустовали. Только в одном из них лежал кто-то, укрывшись с головой, — чудаковатый старикан, который приходил обедать часом позже и ел один в пустом зале, закрывая лицо салфеткой, когда чувствовал на себе чей-нибудь взгляд.

Пиркс лег. Невидимые зевы климатизаторов направляли на галерею палубы порывистые потоки ветра; казалось, дует прямо из черных глубин неба. Конструкторы, услугами которых пользовался «Трансгалактик», разбирались в деле. Шезлонги были удобные — пожалуй, удобней, чем кресло пилота, хоть оно и было сконструировано на основе тончайших математических расчетов. Пиркс начал зябнуть. Для этого и нужны пледы. Он завернулся в них, словно нырнул в пух.

Кто-то подымался сюда. По лестнице, не в лифте. Соседка по столику. Сколько ей лет? На ней было уже другое платье. Может, это вообще другая женщина? Она легла через два шезлонга от него. Раскрыла книгу. Ветер шелестел страни-

цами. Пиркс смотрел теперь прямо перед собой. Отлично был виден Южный Крест. Отрезанный оконной рамой светился клочок Малого Магелланова Облака — светлое пятнышко на черном фоне. Он подумал, что полет будет продолжаться семь дней. За это время многое может случиться. Он нарочно пошевелился. Толстая, сложенная вчетверо бумага зашуршала во внутреннем нагрудном кармане. Ему хорошо жилось на свете — место второго навигатора уже ожидало его, он знал точный маршрут: с Северной Земли самолетом до Евразии и далее в Индию. Из билетов составилась целая книжечка — ее можно было читать, каждый бланк другого цвета, двойной, отрезные талоны, золотые каемочки — все, что «Трансгалактик» давал пассажирам в руки, прямо истекало серебром или золотом. Пассажирка в третьем шезлонге очень хороша собой. Пожалуй, все же та самая. Сказать ей что-то — или лучше не надо? Ведь он уже как будто представился ей. Это чистое несчастье иметь такую короткую фамилию — не успеешь начать, а она уже кончилась. «Пиркс» звучит совсем как «икс». Хуже всего бывает во время телефонных разговоров. Сказать что-нибудь? Что?

Он снова начал терзаться. На Марсе он пред-

ставлял себе это путешествие совсем иначе. Арматоры с Земли оплатили ему перелет — у них, кажется, были какие-то дела с «Трансгалактиком», и с их стороны это не было красивым жестом. А он, хоть и налетал уже почти три миллиарда, никогда еще не бывал на чем-либо, напоминающем «Титан». Грузовые корабли выглядят совсем иначе! Сто восемьдесят тысяч тонн массы покоя, четыре реактора основного хода, скорость движения 65 километров в секунду, тысяча двести пассажиров только в одноместных и двухместных каютах с ваннами, номера люкс, гарантированная постоянная гравитация, исключая старт и посадку, высший комфорт, высшая безаварийность, сорок два человека экипажа и двести шестьдесят обслуживающего персонала. Керамика, сталь, золото, палладий, хром, никель, иридий, пластики, каррарский мрамор, дуб, красное дерево, серебро, хрусталь. Два бассейна. Четыре кинозала. Восемнадцать станций прямой связи с Землей — только для пассажиров. Концертный зал. Шесть главных палуб, четыре — обзорных; автоматические лифты; заказ билетов на все ракеты в пределах Солнечной системы на год вперед. Бары. Залы для игр. Универсальный магазин. Уличка ремесленников — точная

копия какого-то земного переулка в старой части города, с винным погребком, газовыми фонарями, луной, глухой стеной и кошками, которые прогуливаются по ней. Оранжерея. И черт знает что еще. Надо лететь целый месяц, чтобы успеть обойти все это хоть один раз.

Соседка продолжала читать. Стоит ли женщинам красить волосы в такой цвет? У нормального человека он вызывает… Но ей — ей такой цвет почти к лицу. Пиркс подумал, что, если б он держал в руке горящую сигарету, нужные слова сразу нашлись бы. Полез в карман.

Портсигар — никогда раньше у него не было портсигара, этот он получил в подарок от Горака, на память, и носил в знак дружбы — будто стал чуть тяжелее. Самую малость. Но он это уловил. Ускорение увеличилось? Пиркс прислушался. Вон оно что.

Двигатели работали на большей мощности. Обычный пассажир совсем бы этого не ощутил: машинный зал «Титана» был отделен от пассажирской части корпуса четырьмя изоляционными переборками.

Пиркс выбрал бледную звездочку в самом углу окна и не сводил с нее глаз. Если они просто увеличивают скорость, звездочка не двигается с

места. Но если она дрогнет…

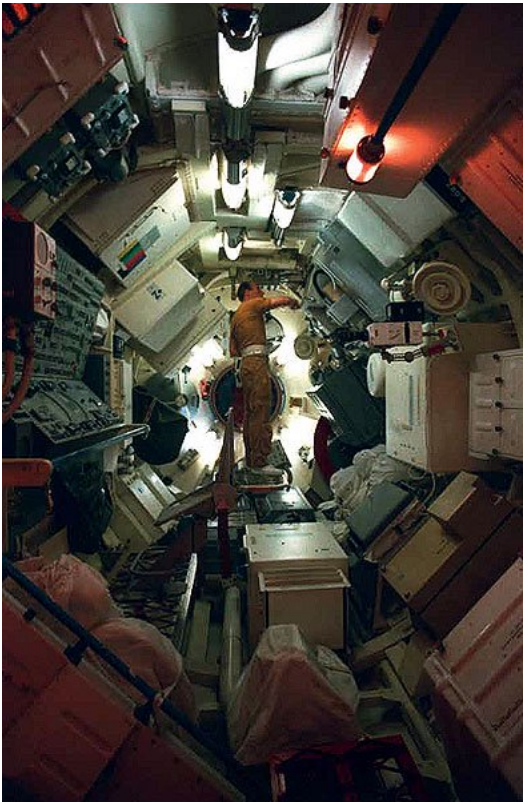
Звездочка дрогнула. Медленно — очень медленно — поплыла в сторону.

«Поворот вокруг большой оси», — подумал он.

«Титан» летел по «космическому туннелю», где на пути не было ничего — ни пыли, ни метеоритов, — ничего, кроме пустоты. Впереди, на расстоянии тысячи девятисот километров от него, мчался лоцман «Титана», задачей которого было обеспечить свободный путь для гиганта. Зачем? На всякий пожарный случай, хотя путь и так был свободен. Ракеты точно придерживались расписания, «Трансгалактику» был гарантирован полет без помех по указанному отрезку гиперболы на основе соглашения, заключенного Объединением астронавигационных компаний. Никто не мог занять его трассу. Метеоритные сводки поступали теперь за шесть часов; с тех пор как тысячи автоматических зондов стали патрулировать секторы за орбитой Урана, ракетам практически перестала грозить какая-нибудь опасность извне. Пояс, на орбитах которого между Землей и Марсом носились миллиарды метеоритов, имел собственную патрульную службу, к тому же ракетные трассы проходили вне плоскости эклиптики, в которой вращается

вокруг Солнца грохочущий метеоритный пояс. Прогресс — даже с того времени, когда Пиркс летал на патрульной ракете, — был огромный.

Словом, у «Титана» не было ни малейшей необходимости лавировать — препятствий не существовало. И все же корабль делал разворот. Теперь Пирксу даже не надо было смотреть на звездное небо — он чувствовал это всем телом. Зная скорость корабля, его массу и быстроту перемещения звезд, он мог при желании высчитать кривизну траектории.



«Что-то случилось, — подумал Пиркс. — Но что?»

Пассажирам ничего не сообщили. Скрывают

что-нибудь? Почему? Пиркс очень плохо разбирался в порядках на пассажирских кораблях люкс. Зато он знал, что может случиться в машинном отделении, в рулевой рубке… это не такое уж большое хозяйство. В случае аварии корабль сохранил бы прежнюю скорость или уменьшил бы ее. А «Титан»…

Это продолжалось уже четыре минуты. Следовательно, ракета повернула почти на 45 градусов. Любопытно.

Звезды остановились.

Корабль шел прямым курсом. Тяжесть портсигара, который Пиркс все еще держал в руке, возросла.

Они шли прямым курсом и увеличивали скорость. Сразу все стало ясно. Еще секунду Пиркс сидел неподвижно, потом встал. Теперь он весил больше. Сероглазая пассажирка взглянула на него.

— Случилось что-нибудь?

— Ничего особенного.

— Но что-то изменилось. Вы не чувствуете?

— Пустяки. Немного увеличиваем скорость, — сказал он.

Сейчас самое время было вступить с нею в разговор. Он взглянул на нее. Цвет волос ничуть не

мешал. Она была очень красива.

Он пошел вперед. Ускорил шаги. Женщина, наверное, подумала, что он спятил. На стенах палубы пестрели разноцветные фрески. Через дверь с надписью «Конец палубы — посторонним вход воспрещен» он прошел в длинный, пустой коридор, отливающий металлом в свете ламп. Замелькали ряды дверей с номерами. Он направился дальше, ориентируясь по слуху. Поднялся по ступенькам на пол-этажа и остановился у других дверей. Стальных. «Вход только для звездного персонала», — было написано на табличке. Ого! Какие красивые названия придумал этот «Трансгалактик»!

Двери были без ручек, они открывались специальным ключом, которого у него не было. Он поднес палец к носу Поразмыслил секунду. И отстукал морзянкой:

— Тап — тап — та-та-тап — тап-тап.

Он ждал с минуту. Дверь отворилась. Хмурое, покрасневшее лицо показалось в щели.

— Чего вы хотите?

— Я пилот патрульной службы, — сказал он.

Двери открылись шире.

Он вышел. Здесь помещался резервный пульт управления — вдоль одной из стен располагалась

дублирующая система управления ракетными двигателями, изменяющими направление. Напротив — экраны оптического контроля. У аппаратов находилось несколько кресел, все они сейчас пустовали. Приземистый автомат контролировал мерцание ламп на пульте. На узком столике у стены стояли в кольцевых зажимах полупустые стаканы. В воздухе чувствовался аромат свежесваренного кофе и своеобразный запах нагретого пластика с еле уловимой примесью озона.

Вторая дверь была приоткрыта. Из-за нее доносился слабый писк умформера.

— SOS? — спросил Пиркс человека, который ему открыл дверь. Это был довольно полный мужчина со слегка припухшей, словно при флюсе, щекой. На волосах — след от дуги наушников. Он был в серой на молниях полурасстегнутой униформе «Трансгалактика». Рубашка у него вылезла из брюк.

— Да.

Мужчина как будто колебался.

— Вы из Патруля? — сказал он.

— С Базы. Летал два года на трансурановых орбитах. Я навигатор. Моя фамилия Пиркс.

Мужчина подал ему руку.

— Минделл. Ядерщик.

Не сказав больше ни слова, они прошли в другое помещение. Это была радиорубка прямой связи. Очень просторная. Человек десять окружали главный передатчик. Два радиотелеграфиста в наушниках что-то непрерывно писали, аппараты стучали, под полом попискивало. Контрольные лампы горели на всех стенах. Все это было похоже на междугородную телефонную станцию. Телеграфисты почти лежали на своих конторках. На них были только рубашки и брюки. Лица лоснились от пота, один был бледен, другой, постарше, со шрамом на голове, выглядел так, будто ничего не случилось. Дуга наушников разделяла волосы, и шрам был хорошо виден. Два человека сидели чуть поодаль; Пиркс взглянул на них и узнал в одном командора.

Они были немного знакомы. Командор «Титана» был невысокий, седоватый, с маленьким, невыразительным лицом. Положив ногу на ногу, он, казалось, рассматривал носок собственного ботинка.

Пиркс бесшумно приблизился к людям, стоявшим около телеграфистов, наклонился и стал читать через плечо того, со шрамом: «…шесть восемнадцать запятая три, иду полным ходом,

дойду восемь ноль двенадцать конец».

Телеграфист придвинул левой рукой бланк и продолжал запись.

«Луна Главная Альбатросу четыре Марс тире Луна точка Имеет ли повреждения точка Отвечайте Морзе запятая радиофон не доходит точка Сколько часов можете держаться на аварийной тяге точка Пеленгованный дрейф ноль шесть запятая двадцать один точка Прием».

«Порыв Марс тире Луна Луне Главной точка Иду полным ходом к Альбатросу сектор 64 точка У меня перегрет реактор точка Несмотря на это иду дальше точка Нахожусь шесть нанопарсеков от пункта запятая запеленгованного SOS точка Конец».

Вдруг второй радиотелеграфист, тот, бледный, издал какой-то нечленораздельный звук — все стоявшие склонились над ним. Человек, который впустил Пиркса, подал командору заполненные бланки. Второй телеграфист писал:

«Альбатрос четыре всем точка Лежу в дрейфе эллипс Т-341 сектор 65 точка Обшивка корпуса лопается дальше точка Кормовые переборки не выдерживают точка Аварийная тяга реактора ноль три жэ точка Реактор выходит из-под контроля точка Главная перегородка повреждена во

многих местах точка Повреждение на третьей палубе возрастает под действием аварийной тяги точка Утечка теплоносителя продолжается точка Пытаюсь цементировать точка Перевожу экипаж в носовой отсек точка Конец».

У радиотелеграфиста тряслись руки, когда он это писал. Один из стоявших взял его за ворот рубашки, поднял, вытолкал за дверь, вышел сам, но через минуту возвратился и сел на его место.

— У него там брат, — пояснил он, ни к кому не обращаясь. Пиркс наклонился теперь над старшим радиотелеграфистом, который вдруг начал писать:

«Луна Главная Альбатросу четыре Марс тире Луна точка Идут к вам Порыв из сектора 64 Титан из сектора 67 Баллистический восемь из сектора 44 Кобольд семь ноль два из сектора 94 Цементируйте перегородки в скафандрах за щитами при избыточном давлении точка Сообщите аварийный дрейф на данное время точка Конец».

Человек, заменивший молодого телеграфиста, громко произнес: «Альбатрос!», и все склонились над ним. Он писал: «Альбатрос четыре ко всем точка Аварийный дрейф не установлен точка Шпангоуты корпуса плавятся точка Теряю воздух точка Экипаж в скафандрах точка Машинное

отделение залито теплоносителем точка Щиты пробиты точка Первая пробоина в рубке зацементирована точка Заливает главный передатчик точка Теперь буду держать связь только по радио фону точка Ждем вас точка Конец».

Пиркс хотел закурить — курили почти все, и видно было, как дым синими лентами уносится вверх, всасываемый вентиляционными отверстиями. Он искал по всем карманам сигареты и не мог найти. Кто-то — он даже не видел кто — сунул ему в руку открытую пачку. Он закурил. Командор сказал:

— Коллега Минделл, — на мгновение он закусил нижнюю губу, — полный ход.

Минделл сначала, по-видимому, был озадачен, но ничего не сказал.

— Дать предупреждение? — спросил человек, сидящий рядом с командором.

— Да. Я сам.

Он подтянул к себе микрофон и начал говорить:

— «Титан» Марс-Земля «Альбатросу-4». Идем к вам полным ходом. Находимся на границе вашего сектора. Будем через час. Пробуйте выйти через аварийный люк. Будем около вас через час. Идем полным ходом. Держитесь. Конец.

Он оттолкнул микрофон и встал. Минделл говорил по внутреннему телефону у противоположной стены:

— Ребята, через пять минут полный ход. Да, да, — отвечал он тому, кто находился у другого конца провода. Командир вышел. Слышен был его голос в другой комнате:

— Внимание! Внимание! Пассажиры! Внимание! Внимание! Пассажиры! Передаем важное сообщение. Через четыре минуты наш корабль увеличивает скорость. Мы получили сигнал SOS и спешим…

Кто-то закрыл дверь. Минделл коснулся плеча Пиркса.

— Держись за что-нибудь. Сейчас будет больше двух.

Пиркс кивнул головой, 2 g для него ровным счетом ничего не значило, но он понимал, что теперь не время хвалиться своей выносливостью. Послушно взявшись за подлокотник кресла, в котором сидел пожилой телеграфист, он читал через его плечо:

«Альбатрос четыре Титану точка В течение часа не продержусь на палубе точка Аварийный люк зажат лопающимися шпангоутами точка Температура в рулевой рубке 81 точка Пар посту-

пает в рубку точка Попытаюсь разрезать носовую броню и выйти точка Конец».

Минделл выхватил у него из рук исписанный бланк и побежал в другую комнату Когда он открывал двери, пол слегка дрогнул, и все почувствовали, что тела наливаются тяжестью.

Вошел командор, он ступал с видимым усилием. Сел в свое кресло. Кто-то подал ему подвесной микрофон. В руках он держал скомканный листок — последнюю радиограмму с «Альбатроса». Командор расправил листок и долго смотрел на него.

— «Титан» Марс-Земля «Альбатросу-4», — произнес наконец командор. — Будем около вас через пятьдесят минут. Подойдем курсом восемьдесят четыре запятая пятнадцать. Восемьдесят один запятая два. Покидайте корабль. Мы найдем вас. Найдем наверняка. Держитесь. Конец.

Человек в расстегнутом кителе, заменивший молодого связиста, вдруг вскочил и посмотрел на командора — тот подошел к нему. Телеграфист снял с головы наушники, отдал их командору, а сам принялся регулировать надсадно хрипящий репродуктор. Вдруг все оцепенели.

В кабине стояли люди, летавшие долгие годы, но такого никто из них еще не слыхивал. Тот, чей

голос доносился из репродуктора, смешанный с протяжным шумом, словно отгороженный стеной огня, кричал:

— Альбатрос — всем — теплоноситель — рулевая рубка — температура — невозможно — экипаж до конца — прощайте — проводка…

Голос оборвался, и слышен был только шум.

Из репродуктора послышался какой-то скрип. Было трудно держаться на ногах, однако все стояли, сгорбившись, тяжело опираясь о металлические стены.

— «Баллистический восемь» Луне Главной, — отозвался сильный голос. — Иду к «Альбатросу-4». Откройте мне путь через сектор 67, иду полным ходом, маневрировать при обходах не могу. Прием.

Несколько секунд длилось молчание.

— Луна Главная ко всем в секторах 66, 67, 68, 46, 47, 48 и 96. Объявляю секторы закрытыми. Все корабли, которые не идут полным ходом к «Альбатросу-4», должны немедленно застопорить, поставить реакторы на холостой ход и зажечь позиционные огни. Внимание, «Порыв»! Внимание, «Титан» Марс — Земля! Внимание, «Баллистический восемь»! Внимание, «Кобольд семь ноль два»! К вам обращается Луна Главная! Открываю вам свободную дорогу к «Альбатросу-4». Всякое движение в секторах ведущего радиуса пункта SOS приостанавливается. Начинайте торможение в нанопарсеке от пункта SOS. Следите за тем, чтобы тормозные огни в оптическом радиусе «Альбатроса» были погашены, поскольку его экипаж уже мог покинуть палубу. Удачи. Удачи.

Конец.

Теперь отозвался «Порыв» — морзянкой. Пиркс вслушивался в звуки поступающих сигналов.

«„Порыв“ Марс — Луна ко всем идущим на помощь Альбатросу точка Я вошел в сектор Альбатроса точка Через 18 минут буду около него точка У меня перегрет реактор запятая охлаждение повреждено точка После спасательных работ буду нуждаться во врачебной помощи точка Начинаю тормозить полным задним ходом точка Конец».

— Сумасшедший, — проговорил кто-то, и тогда все стоявшие до тех пор как статуи начали искать глазами того, кто это сказал. Раздалось короткое, гневное бормотание.

— «Порыв» будет первым, — заметил Минделл и взглянул на командора.

— Он скоро и сам будет нуждаться в помощи. Через сорок минут…

Он умолк. Репродуктор все хрипел и хрипел. Вдруг сквозь треск послышалось:

— «Порыв» Марс-Луна ко всем идущим на помощь «Альбатросу-4». Нахожусь в оптическом радиусе «Альбатроса». «Альбатрос» дрейфует приблизительно по эллипсу Т-348. Корма раскалена до вишневого цвета. Сигнальные огни отсут-

ствуют. «Альбатрос» не отвечает на позывные. Останавливаюсь и приступаю к спасательным операциям. Конец.

В другой комнате отозвались зуммеры. Минделл и еще один мужчина вышли. У Пиркса от напряжения одеревенели все мышцы. Боже! Как ему хотелось оказаться там! Минделл возвратился.

— Что там? — спросил командор.

— Пассажиры спрашивают, когда можно будет танцевать, — ответил Минделл. Пиркс даже не расслышал этих слов. Он смотрел в репродуктор.

— Скоро, — спокойно сказал командир. — Включите мне оптическую связь. Мы подходим. Через несколько минут должны их увидеть. Коллега Минделл, дайте второе предупреждение — мы будем тормозить на форсаже.

— Есть, — ответил Минделл и вышел.

Репродуктор загудел, и раздался голос:

— Луна Главная «Титану» Марс-Земля, «Кобольду семь ноль два»! Внимание! Внимание! Внимание! «Баллистический восемь» заметил в центре сектора 65 объект светимостью минус четыре. «Порыв» и «Альбатрос» не отвечают на позывные. Возможен взрыв реактора на «Альбатросе». Для обеспечения безопасности

пассажиров «Титан» Марс-Земля должен застопорить и немедленно отозваться. «Баллистический восемь» и «Кобольд семь ноль два» действуют дальше по собственному усмотрению. Повторяю: «Титан» Марс-Земля должен…

Все смотрели на командора.

— Коллега Минделл, — сказал он. — Застопорим в нанопарсеке?

Минделл смотрел на циферблат своих часов.

— Нет, командор. Мы входим в оптическую зону. Потребовалось бы 6 *g*.

— Тогда изменим курс.

— Все равно будет, по меньшей мере, три, — сказал в ответ Минделл.

— Ничего не поделаешь.

Командор встал, подошел к микрофону и заговорил:

— «Титан» Марс-Земля Луне Главной. Не могу застопорить, у меня слишком большая скорость. Меняю курс обходным маневром на половинной мощности двигателей и выхожу курсом двести два из сектора 65 в сектор 66. Прошу открыть мне путь. Прием.

Примите подтверждение, — обратился он к мужчине, который раньше сидел рядом с ним. Минделл кричал что-то по внутреннему телефо-

ну. Неустанно гудели зуммеры. На стенных табло вспыхивали огоньки. Вдруг вроде бы потемнело — это кровь отхлынула от глаз. Пиркс широко расставил ноги. «Титан» тормозил на повороте. Корабль едва заметно вибрировал, слышалось протяжное, на высокой ноте гудение двигателей.

— Садитесь! — крикнул командор. — Мне не нужны здесь герои! Сейчас три!

Все сели на пол, вернее повалились на него. Он был покрыт толстым слоем пенопласта.

— Ну и ну! Теперь там все перебьется! — пробурчал человек, сидевший рядом с Пирксом. Командир услышал это.

— Страховое общество заплатит, — ответил он из своего кресла.

Кажется, было больше 3 g — Пиркс не мог поднять руку к лицу Пассажиры, наверное, все лежали в каютах, но что делалось в кухнях, в столовых! Он представил себе оранжерею. Ведь этого ни одно дерево не выдержит. А внизу? Целые вагоны битого фарфора! Недурное зрелище!

Репродуктор отозвался:

— «Баллистический восемь» ко всем. Нахожусь в оптической зоне «Альбатроса». Он — в туче. Корма раскалилась. Прекращаю торможение и высылаю в пространство отряды для поисков

экипажа «Альбатроса». «Порыв» не отвечает на позывные. Конец.

Ускорение уменьшилось. Кто-то показался в дверях, что-то крикнул. Уже можно было встать. Все двинулись к дверям, ведущим в главную рулевую рубку. Пиркс вышел последним. Экран размером восемь на шестнадцать метров занимал всю переднюю стену — вогнутый, огромный, словно в кинотеатре для гигантов. Все огни в рубке были погашены. В пространстве, на черном, усыпанном звездами фоне, ниже главной оси «Титан», в левом квадранте, тлела тонкая черточка, оканчивающаяся раскаленным вишневым угольком, похожим на огонек папиросы. Она была ядром бледного, слегка приплюснутого пузыря, от которого во все стороны расходились утончающиеся остроконечные отростки. Сквозь это шаровидное облако все отчетливее пробивался свет наиболее ярких звезд. Вдруг все подались вперед, словно желая войти в экран. Совсем низко, в правом нижнем углу, сверкнула среди звезд белая точечка и принялась быстро мигать. Это был «Порыв».

«В реакторе Альбатроса началась неуправляемая цепная реакция точка Имею потери в людях точка Есть обожженные точка Прошу врачей точ-

ка Передатчик поврежден взрывом точка Течь реактора точка Готов катапультировать реактор запятая если не остановлю течь точка», — расшифровал Пиркс по мигающей точечке.

«Альбатроса» уже не было видно. Среди звезд висело тяжелое янтарно-бело-бурое облако дыма, увенчанное взбитой гривой. Оно оседало, передвигалось в нижний левый угол экрана. «Титан» прошел над ним, прокладывая новый курс из сектора катастрофы.

В темную комнату из дверей радиорубки упала длинная полоса света. Слышался голос «Баллистического»:

— «Баллистический восемь» Луне Главной. Застопорил в центральной части сектора 65. «Порыв» в нанопарсеке подо мной оптически сигнализирует о потерях в людях и о течи реактора, готов катапультировать реактор, запрашивает врачебную помощь, которую ему окажу. Поиски экипажа «Альбатроса» затруднены заражением вакуума радиоактивной тучей с температурой на поверхности свыше 1200 градусов. Нахожусь в оптической зоне «Титана» Марс-Земля, который движется около меня полным ходом, выходя в сектор 66. Ожидаю прибытия «Кобольда семь ноль два» для проведения совместных спасатель-

ных действий. Прием.

— Все по местам! — раздался громкий возглас. Одновременно вспыхнули сигнальные огни в рулевой рубке. Началось движение, люди разошлись вдоль стен в трех направлениях, Минделл отдавал приказания, стоя у распределительного пульта; одновременно гудело несколько зуммеров. Наконец зал опустел, и, кроме командора, Минделла и Пиркса, остался лишь молодой телеграфист, который стоял в углу перед экраном и глядел на постепенно рассеивающееся, все больше расплывающееся и меркнущее облако дыма.

— А, это вы, — сказал командор «Титана», словно только сейчас увидел Пиркса, и подал ему руку. — «Кобольд» отзывается? — спросил он человека, появившегося в дверях радиорубки.

— Да, командор, идет обратным.

— Хорошо.

Они постояли минуту, гладя на экран. Последний клок грязно-серой тучи исчез. Экран вновь заполнился чистой, искрящейся звездами тьмой.

— Кто-нибудь спасся? — спросил Пиркс, точно командор «Титана» мог знать больше его самого. Но тот был командором, а командор должен знать все.

— Вероятно, у них заело дроссели, — ответил

командор. Он был на голову ниже Пиркса. Волосы как из олова — то ли поседел, то ли всегда были такие.

— Минделл, — бросил командор проходящему инженеру, — будьте любезны, дайте отбой. Пускай танцуют. Вы знали «Альбатрос»? — спросил он, обращаясь к Пирксу.

— Нет.

— Западная компания. Двадцать три тысячи тонн. Что там еще?

Радиотелеграфист приблизился и подал ему исписанный бланк. Пиркс прочел первое слово «Баллистический…» и отступил на шаг. Однако теперь он мешал людям, которые ежеминутно проходили через рулевую рубку, и поэтому стал у самой стены в углу. Прибежал Минделл.

— Как «Порыв»? — спросил у него Пиркс. Минделл вытирал платком вспотевший лоб. Пирксу казалось, что они знакомы целую вечность.

— Не так уж скверно, — засопел Минделл. — Система охлаждения реактора от сотрясения при взрыве вышла из строя — эта дрянь всегда отказывает в первую очередь. Имеются ожоги первой и второй степени. Врачи уже там.

— С «Баллистического»?

— Да.

— Командор! Луна Главная! — позвал кто-то из радиорубки, и командор вышел. Пиркс стоял против Минделла, который машинально прикоснулся к свой опухшей щеке и спрятал платок в карман.

Пирксу хотелось расспросить его подробнее, но Минделл ничего не сказал, только кивнул ему и пошел в радиорубку. Репродуктор говорил десятью голосами, корабли из пяти секторов спрашивали об «Альбатросе», о «Порыве». Луна Главная потребовала наконец, чтобы все замолчали, и пыталась восстановить график движения ракет, который был нарушен в 65 секторе. Командор сидел рядом с телеграфистом и что-то писал. Неожиданно телеграфист снял наушники и отложил их. Будто они стали ему не нужны. По крайней мере, так показалось Пирксу. Он подошел к нему сзади, хотел спросить, что с людьми «Альбатроса» — удалось ли им выбраться. Тот почувствовал его присутствие, поднял голову и взглянул Пирксу в глаза. Пиркс ни о чем не спросил его. Он вышел из зала, отворив дверь с надписью: «Вход только для звездного персонала».

Терминус

1

От остановки до ракетодрома путь был неблизкий, особенно если тащить чемодан. Над призрачно белеющими полями стояла предрассветная мгла, по шоссе, посвистывая шинами, проносились грузовики, опережаемые серебристыми клубами тумана; на поворотах их стоп-сигналы вспыхивали красным светом. Перекладывая чемодан из одной руки в другую, Пиркс посмотрел вверх. Туман, должно быть, оседал — просвечивали звезды. Пиркс невольно поискал курсовую для Марса. Серая мгла вдруг заколебалась. Неправдоподобно зеленый огонь насквозь прошил темноту. Пиркс машинально открыл рот: уже приближался гром, а за ним — горячий вихрь. Земля задрожала. В одно мгновение над равниной взошло зеленое солнце. Снег до самого горизонта засверкал ядовитым блеском, тени от придорожных столбов побежали вперед, а все, что не было ярко-зеленым, стало черным, словно обуглилось. Растирая позеленевшие ладони, Пиркс видел, как один из призрачно освещенных

стрельчатых минаретов, которые, казалось, по странному капризу зодчего сгрудились здесь, в центре окаймленной холмами котловины, отрывается от земли и, стоя на огненном столбе, начинает величественно подниматься в небо. А когда грохот стал материальной силой, заполнившей все вокруг, Пиркс, закрыв лицо ладонями, увидел сквозь пальцы далекие башни, строения, цистерны, окруженные алмазным ореолом. Окна Управления порта пылали, словно за ними бушевал пожар; все очертания начали колебаться и изгибаться в раскаленном воздухе, а виновница всего этого с торжествующим ревом уже исчезала в высоте, оставив на земле огромный черный дымящийся круг. Спустя минуту с усеянного звездами неба хлынул теплый крупный дождь. Это сработал эффект конденсации.

Пиркс поднял свою ношу и пошел дальше. Взлет ракеты будто сломил ночь: с каждой минутой становилось светлее, и уже было видно, как оседает во рвах тающий снег, а вся равнина выплывает из облаков тумана.

За сетчатым забором, сверкающим от влаги, тянулась защитная стенка для людей из ракетодромной команды, со скатами, покрытыми дерном. Ноги скользили по мертвой, набухшей

влагой прошлогодней траве, но Пиркс слишком спешил и не стал искать ступенек ближайшего перехода, а просто с разгона взбежал наверх и увидел ее издалека.

Она стояла особняком, высоченная, как башня, выше других ракет. Таких не строят уже давно. Он обходил разлившиеся на бетоне мелкие лужицы; дальше их почти уже не было: вода мгновенно испарилась от теплового удара, четырехугольные плиты сухо и резко, как летом, звенели под каблуками. Чем ближе он подходил, тем выше приходилось задирать голову. Обшивка выглядела так, словно ее попеременно то покрывали клеем, то обмазывали глиной и обертывали каким-то тряпьем. Раньше к тунгстену оболочки пробовали добавлять асбестовый карбоволокнит. Стоило такому кораблю два-три раза обгореть при торможении в атмосфере, и он оказывался весь в лохмотьях, словно с него сдирали кожу. Срывать их не было смысла, сейчас же появлялись новые — ведь сопротивление при старте колоссальное. А устойчивость, управляемость — хоть сразу в Космический Трибунал: состав преступления налицо.

Он шел не спеша, хотя чемодан уже порядком оттянул ему руки: хотел как следует осмотреть

корабль снаружи. Ажурная конструкция трапа вырисовывалась на фоне неба — совсем как лестница Иакова. Обшивка ракеты была серая, цвета камня; впрочем, все было еще серым: раскиданные по бетону пустые ящики, баллоны, обломки ржавого железа, бухты металлических тросов. Беспорядочно разбросанные, они свидетельствовали о спешке, с которой производилась погрузка. Не доходя шагов двадцати до трапа, Пиркс поставил чемодан и огляделся. Похоже, груз уже на месте; огромная, на гусеничном ходу погрузочная платформа была отодвинута, и ее крюки висели в воздухе метрах в двух от корпуса. Он обошел стальную лапу, которой черневший на фоне утреннего неба корабль упирался в бетон, и оказался возле кормы. Железобетон осел под колоссальным грузом лапы, и от нее во все стороны разбегались стрелы трещин.

«Заплатят и за это», — подумал Пиркс о владельцах корабля, вступая в тень, отбрасываемую кормой.

Запрокинув голову, он остановился под воронкой первой дюзы. Ее край, слишком высокий, чтобы до него можно было дотянуться, покрывали толстые наслоения копоти. Пиркс потянул носом воздух. Хотя двигатели молчали уже давно,

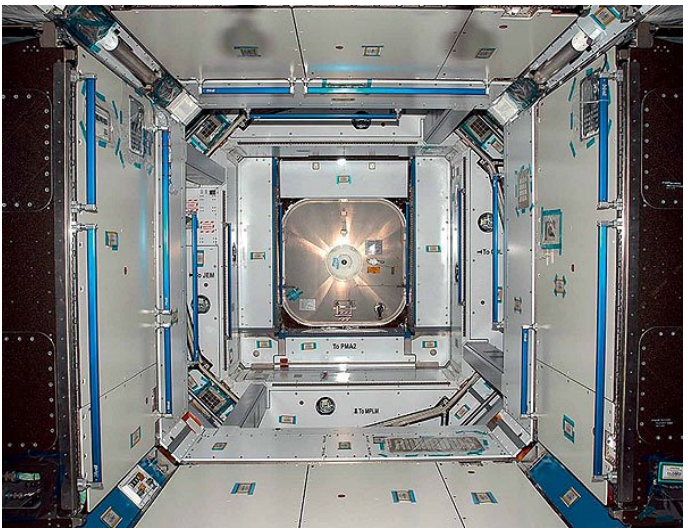
он все же различил резкий, характерный запах ионизации.

— Иди-ка сюда, — проговорил кто-то у него за спиной.

Он обернулся, но никого не увидел, только снова услышал тот же голос — будто всего в трех шагах.

— Эй, есть тут кто? — крикнул Пиркс.

Его голос глухо прозвучал под черным, ощерившимся десятками дюз куполом кормы. Ему ответила тишина. Он перешел на другую сторону и увидел копошащихся вдали, метрах в трехстах, людей. Стоя в ряд, они тянули по земле тяжелый шланг для подачи топлива. Больше не было никого. Он с минуту еще прислушивался, наконец снова, на этот раз сверху, до него долетело неясное бормотание. Видимо, это был эффект воронкообразных отверстий: они действовали как рефлекторы, концентрируя звуки. Он вернулся за чемоданом и направился к трапу.



Занятый своими мыслями — что это были за мысли, он не смог бы ответить, — Пиркс и не заметил, как одолел всю шестиэтажную лестницу. Наверху, на платформе, окруженной алюминиевыми поручнями, он даже не обернулся, чтобы взглядом проститься с Землей. Это просто не

пришло ему в голову. Прежде чем толкнуть дверь люка, провел пальцем по обшивке. Терка, да и только! Поверхность напоминала изъеденный кислотами камень.

— Ничего не поделаешь… сам того хотел, — пробормотал он.

Дверца люка подалась с трудом, словно была камнями привалена. Шлюзовая камера выглядела, как внутренность бочки. Он провел пальцами по трубам, растер сухую пыль. Ржавчина.

Протискиваясь через внутренний люк, Пиркс успел заметить, что уплотняющая прокладка подремонтирована. Вверх и вниз шли вертикальные колодцы коридоров, освещенные ночными лампами, свет их вдали сливался в голубую полоску. Где-то шумели вентиляторы, гнусаво чмокал невидимый насос. Пиркс выпрямился. Всю эту окружающую его громаду с броневой обшивкой и палубами он ощутил как продолжение собственного тела. 19 тысяч тонн, черт побери!

По дороге в рубку Пиркс никого не встретил. Коридор заполняла такая абсолютная тишина, точно корабль был уже в космическом пространстве. Пневматическая обивка стен была в пятнах; изношенные тросы, служившие опорой при невесомости, свисали вниз. Десятки раз перере-

занные и сращенные соединения трубопроводов походили на обгоревшие клубни, вынутые из затухающего костра.

По пандусам он дошел до шестиугольного помещения с овальными металлическими дверями в каждой стене. Вместо пневматиков — медные ручки, обмотанные веревками.

Окошки нумераторов таращились стеклянными бельмами. Пиркс нажал кнопку информатора. Щелкнуло реле, в металлической коробке что-то зашелестело, но экран остался темным.

«Ну, что теперь? — подумал Пиркс. — Бежать жаловаться в СТП?»

Он открыл дверь. Рубка походила на тронный зал. В стеклах мертвых экранов, словно в зеркалах, Пиркс увидел себя: в шляпе, которая от дождя совсем потеряла форму, с чемоданом, в осеннем пальто он казался случайно забредшим сюда горожанином. На возвышении стояли вызывающие уважение своими размерами кресла пилотов, раскидистые, с широкими сиденьями, принимающими форму человеческого тела, — в них погружаешься по грудь. Он поставил чемодан на пол и подошел к первому. Его заполняла тень, словно призрак последнего штурмана. Пиркс ударил ладонью по спинке — поднялась пыль, в

носу засвербило, он начал яростно чихать и вдруг рассмеялся. Пенопластовая прокладка поручней истлела от старости. Вычислители — таких Пиркс еще не видывал. Их создатель, наверно, души не чаял в кафедральных органах. Циферблатов на пульте было полным-полно: нужна была сотня глаз, чтобы наблюдать за всеми сразу. Он медленно повернулся. Переводя взгляд со стены на стену, он видел мешанину латаных кабелей, изъеденные коррозией изоляционные плиты, железные штурвалы для ручного задраивания герметических переборок, отполированные прикосновениями рук, поблекшую краску на приборах противопожарной защиты. Все было такое запыленное, такое старое…

Пиркс пнул амортизаторы кресла. Из гидравликов сразу потекло.

«Другие летали — ну и я смогу», — подумал он, вернулся в коридор и через противоположную дверь попал в бортовой проход.

Рядом с дверью подъемника Пиркс заметил на стене более темный бугорок. Приложил ладонь — точно; пломба на пробоине. Поискал рядом другие следы, но, по-видимому, здесь заменили целую секцию — потолок и стены были гладкими. Он снова взглянул на пломбу. Цемент застыл

комками. Ему почудилось, что он различает неясные отпечатки рук, работавших в страшной спешке. Пиркс вошел в подъемник и съехал вниз, к реактору. В окошечке неторопливо проползали светящиеся цифры: пять… шесть… семь… Счет палуб шел сверху.

Внизу было холодно. Коридор изгибался дугой, разветвлялся; в конце продолговатого низкого тамбура Пиркс уже видел двери камеры реактора. Тут было еще холоднее: пар от дыхания белел в свете запыленных ламп. Пиркс встряхнул головой. Холодильники? Они, наверно, где-то здесь. Он прислушался. Плиты обшивки дрожали, слегка позвякивая. Он прошел под низко нависшими сводами, глухо вторившими его шагам; ему все время казалось, что он где-то глубоко, в подземелье. Рукоятка герметических дверей никак не хотела поддаваться. Он нажал сильнее — рукоятка не дрогнула. Пиркс хотел уж стать на нее ногой, но разобрался в механизме замка: сначала надо было вытащить предохранительный шплинт.

За этими дверями были следующие, двустворчатые, на вертикальной оси, толстые, как в сокровищнице. Лак на стали потрескался. На уровне глаз можно было различить оставшиеся

красные буквы:

ОП…СНО…ТЬ.

Пиркс оказался в тесном, почти совершенно темном проходе. Когда он ступил ногой на порог, что-то щелкнуло, прямо в лицо ему ударил белый свет, и тотчас вспыхнуло табло с черепом над скрещенными костями.

«Ну и боялись же они тогда», — подумал Пиркс.

Когда он начал спускаться в камеру металлические ступени глухо загудели. Он оказался будто на дне высохшего рва: прямо перед ним высилась выпуклая, как стена крепости, в два этажа вышиной серая защитная стена реактора, рябившая от небольших зеленовато-желтых бугорков. Это были пломбы на местах прежних утечек. Пиркс попытался их пересчитать, но, когда взобрался на помост и увидел всю стену сверху донизу, отказался от своей затеи: в некоторых местах из-под пломб уже не было видно бетона.

Помост, поддерживаемый железными столбиками, был отделен от остальной части камеры стеклянными стенами, будто на него насадили стеклянный ящик. Пиркс догадался, что это свинцовое стекло, которое должно предохранять от жесткого излучения; но все равно этот памятник

атомной архитектуры показался Пирксу бессмыслицей.

Под чем-то вроде небольшого козырька торчали лучеобразно растопыренные счетчики Гейгера, нацеленные в чрево котла. В особой нише Пиркс обнаружил циферблаты — все мертвые, кроме одного. Реактор был на холостом ходу.

Пиркс спустился вниз и, став на колени, заглянул в контрольный колодец. Зеркала перископа почернели от старости. Многовато радиоактивного шлака, ну, да Марс — не Юпитер, можно обернуться за десять дней. Похоже, что топлива хватит на несколько таких рейсов. Он привел в действие кадмиевые бленды. Стрелка дрогнула и нехотя передвинулась в другой конец шкалы. Проверил опоздание — сойдет! Лишь бы контролер СТП смотрел сквозь пальцы.

В углу что-то шевельнулось. Два зеленых огонька. Пиркс уставился на них и вздрогнул: они медленно двигались. Пиркс подошел ближе. Это был кот. Черный, худой. Он тихо мяукнул и прижался к ноге Пиркса. Пиркс улыбнулся и огляделся. Высоко на железной полке увидел ряд клеток. В них медленно копошилось что-то белое. Время от времени между проволочными прутьями поблескивали черные бусинки глаз.

Белые мыши. Их еще возили иногда на старых кораблях как живых индикаторов радиоактивной утечки. Пиркс наклонился, хотел погладить кота, но тот ускользнул у него из-под руки, повернулся к самой темной, суженной части камеры, тихо мяукнул, выгнул спину и, напружинив лапы, подобрался к бетонному скату, за которым чернело нечто вроде прямоугольного прохода. Кончик напряженно поднятого хвоста задрожал, кот пополз дальше, он уже был еле виден в полумраке. Пиркс, заинтересованный, пригнув голову, заглянул туда. В покатой стене виднелись полуоткрытые квадратные дверцы, за ними что-то слабо поблескивало. Сначала Пирксу показалось, что это бухта металлического троса. Кот настороженно всматривался в это светлое пятнышко, напрягшийся хвост его слегка подрагивал.

— Ну, что еще? Нет там ничего, — пробурчал Пиркс и, присев на корточки, заглянул в темноту. Там кто-то сидел. Матовые блики лежали на скорчившейся фигуре. Кот, тихонько мяукая, направился к дверцам. Глаза Пиркса привыкали к темноте: он все отчетливее различал острые, поблескивающие, высоко поднятые колени, тускло блестящие металлические наколенники и охватившие их сегментированные металличе-

ские руки. Только голова скрывалась в тени.

Кот мяукнул.

Одна рука со скрипом шевельнулась, высунулась наружу и, опершись железными пальцами о пол, образовала наклонный помост, по которому кот молниеносно шмыгнул вверх и устроился на плече сидящего.

— Эй ты, — сказал Пиркс, обращаясь то ли к коту, то ли к тому созданию, которое медленно, будто преодолевая огромное сопротивление, начало убирать руку. Слова Пиркса оказали свое воздействие. Железные пальцы стукнулись о бетон.

— Кто там? — послышался голос, искаженный, словно он шел из железной трубы. — Терминус говорит — кто?

— Что ты тут делаешь? — спросил Пиркс.

— Терминус… я, холодно… плохо… вижу… плохо… — гудел голос.

— Присматриваешь за реактором? — спросил Пиркс. Он уже терял надежду узнать что-нибудь от автомата, обветшавшего, как и весь корабль, но зеленые кошачьи глаза как-то мешали ему оборвать фразу на половине.

— Терминус… реактором, — загудело в бетонном убежище. — Я… реактором… реакто-

ром, — повторял автомат с каким-то глуповатым удовлетворением.

— Встань! — крикнул Пиркс, ибо ничего другого не пришло ему в голову.

Внутри заскрежетало. Пиркс отступил на шаг, видя, как из тьмы выдвигаются две железные перчатки с растопыренными пальцами, выворачиваются наружу, как они хватаются за края ниши и начинают вытягивать туловище, в котором что-то протяжно затрещало. Металлическое туловище согнулось, автомат вылез наружу и начал распрямляться, скрежеща и скрипя всеми суставами. На запыленных сочленениях пластин панциря выступили капли масла. Похожий больше на рыцаря в латах, чем на автомат, робот медленно раскачивался из стороны в сторону.

— Здесь твое место? — спросил Пиркс.

Стеклянные глаза автомата, медленно оглядывая все вокруг, разошлись в разные стороны, и косоглазие придало его плоскому металлическому лицу выражение какой-то совершенной тупости.

— Пломбы… приготовлены… два… шесть… восемь… фунтов… плохо… видно… холодно…

Голос исходил не из головы, а из широкой грудной клетки автомата.

Кот, свернувшись в клубок, смотрел на Пиркса с высоты железного плеча.

— Пломбы… готовы, — скрипел Терминус, а руки его непрестанно двигались, и эти движения были элементами хорошо знакомой Пирксу операции: расставленными лопаткой ладонями Терминус захватывал что-то из воздуха и бросал куда-то вперед. Так переменными движениями пломбируют радиоактивную течь. Оксидированное туловище закачалось сильнее, черный кот царапнул когтями по железу, но не удержался и с сердитым фырканьем черной полосой ринулся вниз, скользнув по ноге Пиркса. Автомат словно и не заметил этого. Он умолк, только руки его все еще судорожно подергивались, остаточные, гаснущие движения казались затухающим, немеющим эхом его слов. Наконец он замер.

Пиркс взглянул на стену реактора, всю в подтеках, покрытую темными пятнами цементных пластырей, окаменевшую от старости, и повернулся к Терминусу. Тот был, вероятно, очень стар — кто знает, может, даже старше корабля. Правое плечо, видимо, было сменено, на бедрах и голенях виднелись явные следы сварки, около железных швов металл, раскаленный, а потом остывший на воздухе, стал почти темно-синим.

— Терминус! — крикнул Пиркс роботу совсем так, будто обращался к глухому. — Иди на свое место!

— Слушаю. Терминус.

Автомат попятился как рак к открытому убежищу и, скрежеща, стал протискиваться внутрь. Пиркс оглянулся, ища кота, но того нигде не было. Пиркс вернулся наверх, задраил герметические двери и поднялся лифтом на четвертую палубу, в навигаторскую кабину.

Широкая и низкая, с почерневшими дубовыми панелями и балочным потолком, она напоминала корабельную каюту. Здесь были судовые иллюминаторы в медных кольцевых рамах. Сквозь стекла проникал дневной свет. Такая уж была мода лет сорок назад — даже пластиковые покрытия стен имитировали деревянные панели. Пиркс распахнул иллюминатор и чуть не стукнулся головой о глухую стену. Иллюзию дневного освещения создавали скрытые лампы. Он захлопнул окно и отвернулся. Со столов свисали карты неба, бледно-голубые, как моря в географическом атласе; по углам валялись рулоны использованной кальки, испещренные курсовыми кривыми; чертежная доска под точечным рефлектором вся была исклевана уколами циркулей. В углу стоял

письменный стол, перед ним — дубовое кресло, укрепленное на шаровом шарнире, дающем возможность устанавливать его в любой плоскости. Сбоку тянулись вделанные в панель рассохшиеся библиотечные шкафы.

Настоящий Ноев ковчег.

Не потому ли агент уже после того, как договор был подписан, сказал: «Вам достался исторический корабль».

Старый — это еще не исторический.

Пиркс принялся один за другим выдвигать ящики стола и наконец нашел судовой журнал — большой, в залоснившемся кожаном переплете со стершимся тиснением и потускневшими металлическими застежками. Пиркс все еще стоял, словно не решался занять это огромное просиженное кресло. Он открыл журнал. На первой странице стояла дата пробного рейса и фотограмма технического акта верфи. Пиркс заморгал: тогда его еще не было на свете. Он поискал последнюю запись — сейчас она была самой важной. Все совпадало с тем, что Пиркс услышал от агента: корабль вот уже неделю загружался машинами и всякой мелочью для Марса. Старт, намеченный на двадцать восьмое, отложен, три дня идут начисления за простой. Вот почему

они так спешили! Ведь начисления за простой в земном порту могут разорить и миллионера.

Он медленно перелистывал страницы, не читая поблекших записей, замечал только отдельные стереотипные обороты речи, курсовые данные, результаты вычислений — не задерживался ни на чем, будто искал в журнале что-то другое. Из потока страниц вынырнула одна запись — вверху:

«Корабль отправлен на верфи Амперс-Харт для ремонта I категории».

Дата была трехлетней давности.

Ну, и что же они там улучшили? Он не отличался чрезмерным любопытством, но все же проглядел опись работ, удивляясь все больше и больше: сменили носовую броню, шестнадцать палубных секций, шпангоуты крепления реактора, герметические переборки.

Новые переборки и шпангоуты?

Правда, агент что-то говорил о какой-то давней аварии. Но это была не обычная авария, а скорее катастрофа.

Пиркс начал листать страницы в обратном порядке, — может, удастся узнать что-нибудь из записей, сделанных перед ремонтом. Прежде всего нашел порт назначения — Марс. Груз — мелкие

товары. Экипаж: первый офицер — инженер Пратт, второй — Байн, пилоты — Поттер и Нолан, механик — Симон.

А командир?

Еще страница — и здесь Пиркс вздрогнул. Дата приемки корабля — девятнадцать лет назад. И подпись: первый навигатор — Момссен.

Момссен!

Пиркса бросило в жар.

Как это Момссен? Ведь не *тот* же это Момссен? Ведь… ведь там… то был другой корабль!

Но дата совпадала: с тех пор прошло девятнадцать лет.

Минутку. Только не спешить. Не спешить.

Он снова взялся за бортовой журнал. Размашистый, четкий почерк. Выцветшие чернила. Первый день полета. Второй, третий. Умеренная течь реактора: 0,4 рентгена в час. Наложили пломбу. Вычисления курса. Ориентация по звездам.

Дальше, дальше!

Пиркс как бы не читал — глаза его стремительно бегали по строчкам.

Есть!

Знакомая дата, которую он заучивал в школе еще мальчишкой, и под ней:

«В 16.40 по корабельному времени принято ме-

теоритное предостережение Деймоса об идущем с юпитеровой пертурбации Леонид облаке, движущемся встречным курсом со скоростью сорок километров в секунду через наш сектор. Прием метеоритного предостережения подтвержден. Объявлена тревога. При постоянной течи реактора 0,4 рентгена в час начат обходной маневр полной тягой с ориентировочным выходом на Дельту Ориона».

Ниже, с новой строки:

«В 16.51 по корабельному времени на…»

Больше на странице ничего не было. Ничего — никаких знаков, каракулей, пятен, ничего, кроме непонятно почему удлиненной, а не закругляющейся, как положено, вертикальной черточки последней буквы «а». В ее чуть извилистом продолжении длиной несколько миллиметров, которым обрывалась очередная запись, сползая со строки на белую равнину листа, было все: грохот попаданий, воющий свист вырывающегося из корабля воздуха, крик людей, у которых лопались глазные яблоки…

Но ведь тот корабль назывался иначе. Иначе! Как?

Все это было похоже на сон: Пиркс никак не мог вспомнить его название, столь же хорошо

известное, как название корабля Колумба!

Господи, как же назывался этот корабль — последний корабль Момссена?!

И он бросился в библиотеку. Толстый том справочника Ллойда сам попался под руку Название,

кажется, начиналось на «К». «Космонавт»? Нет. «Кондор»? Нет. Что-то более длинное, какая-то драма, герой или рыцарь…

Бросил том на письменный стол и, прищурившись, начал внимательно осматривать стены. Между библиотекой и шкафом с картами висели на панели приборы: гигрометр, индикатор излучения, регистратор количества углекислого газа…

Он по очереди перевернул их. Никаких надписей. Впрочем, они были вроде новые.

Там, в углу!

Привинченное к дубовой плите, светилось табло радиографа. Таких теперь уже не делают: смешные, отлитые из латуни украшения окружали диск… Пиркс быстро вывинтил шурупы, осторожно вытащил их кончиками пальцев, дернул рамку — она оказалась у него в руке — и перевернул металлическую коробочку. Сзади, на золотистой латуни, было выгравировано лишь одно слово: «КОРИОЛАН».

Это был тот самый корабль.

Он оглядел кабину. Значит, здесь, в этом кресле, тогда, в тот последний миг, сидел Момссен?

Пиркс открыл справочник Ллойда на букве «К». «Корсар»… «Кориолан»… Корабль Компании…

19 тысяч тонн массы покоя… выпущен с верфи… реактор ураново-водяной, система охлаждения… тяга… выведен на линию Терра-Марс. Потерян после столкновения с потоком Леонид. Спустя шестнадцать лет найден патрульным кораблем в афелии орбиты… После ремонта первой категории, проведенного в Амперс-Харт, выведен Южной компанией на линию Терра-Марс… Груз — мелкие товары… страховой тариф… Не то… Есть!

…под названием «Голубая звезда».

Пиркс закрыл глаза. Как тут тихо. Изменили название. Наверно, чтобы избежать трудностей с вербовкой команды. Так вот почему агент…

Он стал припоминать, что об этом говорили на Базе. Это их патрульный корабль отыскал остов «Кориолана». Метеоритные предупреждения в те времена всегда приходили слишком поздно. Опубликованное комиссией заключение было кратким: «Несчастный случай. Виновных нет». А экипаж? Было доказано, что не все погибли сразу; среди уцелевших был сам командир, и он сделал все, чтобы люди, отрезанные друг от друга секциями искореженных палуб, понимавшие, что надежды на спасение нет, не пали духом и держались до последнего баллона кислорода

— до конца. Было там еще что-то, какая-то жуткая подробность, о которой несколько недель твердила пресса, пока новая сенсация не заставила обо всем забыть. Что это было?

Вдруг он увидел огромный лекционный зал, доску, исчерченную формулами, у которой, весь измазанный мелом, терзался Смита, а он, Пиркс, склонив голову над выдвинутым ящиком стола, украдкой читал распластанную на дне газету. «Кто может пережить смерть? Только мертвый». Нуда! Это было так! Лишь один уцелел в этой катастрофе, потому что не нуждался ни в кислороде, ни в пище, и пролежал, придавленный обломками, шестнадцать лет — автомат!

Пиркс встал. Терминус! Наверняка, наверняка Терминус! Он тут, на корабле. Стоит только захотеть, решиться…

Чепуха! Это механический идиот, машина для пломбирования пробоин, глухая и слепая от старости. Только пресса в извечном стремлении выжать максимум сенсации из любого происшествия своими кричащими заголовками превратила его в таинственного свидетеля трагедии, которого комиссия якобы слушала при закрытых дверях. Пиркс припомнил тупой скрежет автомата. Чепуха, явная чепуха!

Пиркс захлопнул судовой журнал, бросил его в ящик и взглянул на часы. Восемь. Надо торопиться. Он отыскал документацию груза. Трюмы были уже задраены, портовый и санитарный контроль произведены, таможенные декларации подписаны, все готово. Он просмотрел товарный сертификат, удивился, что нет полной спецификации. Машины — ладно, но какие машины? Какая тара? Почему нет диаграммы загрузки с вычисленным центром тяжести? Ничего, кроме общего веса и схематического эскиза размещения груза в трюмах. В кормовом отсеке было всего 300 тонн — почему? Может, корабль шел на уменьшенной тяге? И о таких вещах он узнает случайно, чуть ли не в последний момент?! Пиркс все торопливее рылся в папках, в скоросшивателях, разбрасывал бумаги, все не мог найти ту, которую искал, и история Момссена постепенно улетучивалась из памяти, так что, случайно взглянув на вынутый из оправы радиограф, он даже вздрогнул от удивления. В этот момент ему на глаза попался какой-то список, из которого он узнал, что в последнем трюме, прилегающем дном к защитной плите реактора, уложено сорок восемь ящиков продовольствия. И опять в спецификации оказалось лишь общее определение:

«скоропортящиеся пищевые продукты». Почему же тогда их поместили там, где вентиляция хуже всего, а температура во время работы двигателей наиболее высокая? Нарочно, чтобы испортились, так что ли?

Послышался стук.

— Войдите! — сказал он, как попало рассовывая в папки разбросанные по всему столу бумаги.

Вошли двое. С порога отрапортовали:

— Боман, инженер-атомник.

— Симс, инженер-электрик.

Пиркс встал. Симс — молодой, щуплый человечек с бегающими глазками на беличьем лице — то и дело покашливал. В Бомане Пиркс с первого взгляда признал ветерана. Его лицо покрывал загар с характерным оранжевым оттенком, какой придает коже длительное воздействие небольших, наслаивающихся доз космического облучения. Он едва доходил Пирксу до плеча: в те времена, когда Боман только начинал летать, еще принимался во внимание каждый килограмм веса на борту. Он был худой, но лицо будто распухло, вокруг глаз темнели мешки отеков, как у всех, кто уже не первый год подвергается многократным перегрузкам. Нижняя губа не закрывала зубов.

«Вот и я когда-нибудь буду так выглядеть», — подумал Пиркс, идя к ним навстречу и протягивая руку.

2

Ад начался в девять. На ракетодроме все было как обычно: очередь на старт, каждые шесть минут бормотание мегафонов, сигнальные ракеты; потом гул, рев, грохот двигателей на пробе полной тяги. После каждого старта каскадами опадала высоко взбитая пыль. Она еще не успевала осесть, а с командной вышки сообщали, что путь открыт. Все спешили, стараясь урвать хотя бы несколько минут, как это всегда бывает в грузовом порту в часы пик; почти все корабли шли на Марс, отчаянно требовавший машин и зелени, — люди там месяцами не видели овощей, гидропонические солярии еще только строились.

К очередным ракетам тем временем тянулись краны, бетономешалки, части конструкций, кипы стекловаты, цистерны с цементом, нефтью, тюки с лекарствами. По сигналу люди укрывались кто где мог — в противолучевых рвах, в бронированных тягачах — и, не успевал еще бетон как следует остыть, возвращались к рабо-

те. В десять, когда солнце, все в дыму, красное, словно опухшее, поднялось над горизонтом, защитные бетонные стенки между стартовыми площадками были уже изрыты, закопчены, разъедены огнем. Глубокие трещины наспех заделывали быстро застывающим цементом, который грязными фонтанами бил из шлангов; тем временем антирадиационные команды в большеголовых скафандрах выскакивали из транспортеров, чтобы струями сжатого песка счистить радиационные загрязнения; повсюду под рев сирен метались разрисованные красно-черными шашечками вездеходы контроля. На башне командного пункта кто-то драл глотку в мегафон, на вершинах острых шпилей крутились огромные бумеранги радаров — одним словом, все было так, как и должно быть.

Пиркс разрывался на части. Надо было еще принять на палубу доставленное в последний момент свежее мясо, загрузить питьевую воду, проверить температуру холодильников (минимальная составляла минус пять, контролер СТП покачивал головой, но в конце концов смилостивился и подписал); компрессоры, только что вышедшие из капитального ремонта, при первой же пробе потекли. Голос Пиркса постепенно уподоблялся

иерихонской трубе. Вдруг выяснилось, что вода размещена плохо: какой-то кретин закрыл вентили, прежде чем заполнились нижние баки. Пиркс подписывал бумаги — ему подсовывали по пять штук сразу, — не зная, что он подписывает.

На часах было уже одиннадцать, до старта час — и тут новости!

Командный пункт не разрешит взлета, потому что старая система дюз дает слишком опасные радиоактивные осадки, у корабля должен быть вспомогательный боро-водородный привод, как у «Гиганта» — той грузовой ракеты, которая стартовала в шесть. Пиркс, уже охрипший от крика, вдруг успокоился. Диспетчер отдает себе отчет в том, что говорит? Он что, только сейчас заметил «Голубую звезду»? Тут могут быть большие, очень большие неприятности. О чем идет речь? Дополнительная защита? Из чего? Мешки с песком? Сколько? Пустячок — три тысячи штук! Пожалуйста! Он все равно стартует в назначенное время. Компания будет оштрафована? Пожалуйста, штрафуйте!

Пиркс потел. Все как будто сговорились: электрик ругал механика, который не проверил аварийную систему; второй пилот выбежал куда-то на пять минут, и нет его на корабле —

прощается с невестой; фельдшер вообще исчез; сорок бронированных мамонтов подъехали к кораблю, окружили его, и люди в черных комбинезонах бегом таскают мешки с песком, семафор на командной вышке только и знает, что подгонять их; пришла какая-то радиограмма, вместо пилота ее принял электрик, забыл записать в радиожурнал, да это и не его дело. У Пиркса уже голова шла кругом, он только притворялся, будто знает, что делается. За двадцать минут до старта Пиркс принял драматическое решение: приказал перекачать всю воду из носовых резервуаров на корму. Будь что будет, самое худшее — вода закипит; зато устойчивость лучше.

В одиннадцать сорок проверка двигателей. Теперь отступать уже некуда. Оказалось, что есть стоящие люди, особенно ему пришелся по вкусу инженер Боман — его не было ни видно, ни слышно, а все шло как часы: продувка дюз, малая тяга, полная. За шесть минут до взлета, когда командная вышка выкинула сигнал «К старту», они были готовы. Все уже лежали в креслах, когда объявился фельдшер. Второй пилот, мулат, возвратился от невесты в унылом настроении. Динамик ревел, хрипел, бормотал; наконец стрелка автомата стала на нуле — путь открыт. Старт!

Пиркс, разумеется, знал, что 19 тысяч тонн — это не патрульная скорлупка, где как раз места хватает только на то, чтобы широко улыбнуться; корабль не блоха, сам не подскочит, надо давать тягу, но ничего подобного он не ожидал. На циферблате уже половина мощности, весь корпус дрожит, словно собирается разлететься на куски, а индикатор нагрузки показывает, что они еще не оторвались от бетона. У Пиркса уже мелькнула мысль, что «Звезда», может, зацепилась за что-то, — говорят, такие вещи случаются раз в сто лет, — но в этот момент стрелка сдвинулась. Огненный столб поднял «Звезду», она дрожала, стрелка гравиметра как сумасшедшая плясала по шкале. Пиркс, вздохнув, опустился в кресло, расслабил мускулы. Теперь он при всем желании уже ничего сделать не мог. Ракета шла вверх. Тут же они получили по радио предупреждение за старт на полной мощности — это увеличивает радиоактивное заражение. Компания будет дополнительно оштрафована. Компания? Очень хорошо, пусть платит, черт ее побери! Пиркс только поморщился, он даже и не пытался спорить с командным пунктом, доказывать, что стартовал он на половинной тяге. Что ж ему теперь — садиться обратно, вызывать комиссию и

требовать протокольного распечатывания записи в уранографах?

Впрочем, сейчас Пиркса занимало совсем другое — прохождение через атмосферу. В жизни он еще не сидел на корабле, который бы так трясся. Так, наверно, могли бы чувствовать себя люди в головке средневекового тарана, пробивающего стену. Все кругом прямо прыгало, их так мотало в ремнях, что душа вон, гравиметр никак не мог решиться: показывал то 3,8, то 4,9, бесстыдно подбирался к пятерке и, словно испугавшись, тут же слетал на тройку. Словно у них дюзы были набиты клецками. Они шли уже на полной мощности, и Пиркс обеими руками прижимал шлем к голове, иначе не было слышно голоса пилота в шлемофоне — так ревела «Звезда»! Это не был победный баллистический грохот. Ее борьба с земным притяжением напоминала агонию, полную отчаяния. Добрых две минуты казалось, что они не стартуют с Земли, а висят неподвижно, всей силой отдачи отталкивая от себя планету, — так ощутимы были полные муки усилия «Звезды»! Все будто расплылось от вибрации, и Пирксу показалось, что он слышит треск лопающихся швов, но это уже была чушь: в таком аду не услышать даже гласа труб, призывающих

на Страшный суд.

Температура оболочки носа… о, это был единственный индикатор, который не колебался, не отступал, не прыгал и не задерживался, а спокойно лез вверх, словно перед ним был еще целый метр места на шкале, а не самые последние, красные цифры — 2500, 2800. Когда Пиркс взглянул туда, в запасе оставались всего две черточки. А «Звезда» не достигла даже орбитальной скорости; все, чего они добились к четырнадцатой минуте полета, — это 6,6 километра в секунду! Его вдруг ошеломила жуткая мысль, как в кошмаре, которые порой бывают у пилотов, — что «Звезда» вообще не оторвалась от Земли, а мелькающие на экранах облака — попросту пар, бьющий из лопнувших охладительных труб! Но дело все же обстояло не так плохо: они летели. Фельдшер лежал белый как мел и страдал. Пиркс подумал, что от медицинской помощи, которую он должен им оказывать, пользы будет мало. Инженеры держались хорошо, а Боман даже не вспотел — лежал себе с закрытыми глазами, седой, спокойный, худенький, как мальчишка. Из-под кресел, из амортизаторов во все стороны летели брызги — поршни дошли почти до упора. Пиркса интересовало только, что будет, если они и вправду

дойдут.

Он привык к совершенно другому, современному расположению циферблатов, и потому взгляд его все время попадал не туда, когда он хотел проконтролировать тягу, охлаждение, скорость, состояние оболочки, ну и прежде всего, вышли ли они на синергическую.

Пилот, с которым они перекрикивались по интеркому, как будто немного растерялся: то выходил на курс, то сходил с него; колебания, разумеется, небольшие, дробные, но при пробивании атмосферы хватит, чтобы один борт начал нагреваться сильнее другого, а тогда в обшивке возникают колоссальные термические напряжения, и последствия могут быть ужасными. Пиркс только тем себя утешал, что, если уж эта косматая скорлупина выдержала столько стартов, она выдержит и этот.

Стрелка термопары действительно дошла до конца шкалы: 3500 градусов, тютелька в тютельку столько у них было снаружи, и, если так продержится еще десять минут, оболочка начнет расползаться — карбиды тоже не вечны. Какова толщина обшивки? Никаких показателей на этот счет не было; во всяком случае, она порядком обгорела. Пирксу становилось жарко, но только

от переживаний, потому что внутренний термометр, как и при старте, показывал двадцать семь градусов. Они были уже на шестидесятом километре, атмосфера практически осталась внизу, скорость — 7,4 километра в секунду. Шли немного ровнее, но все еще почти на тройном ускорении. Эта «Звезда» двигалась, как свинцовая болванка. Никакими средствами ее нельзя было разогнать как следует — даже в пустоте. Почему? Пиркс понятия не имел.

Спустя полчаса они уже лежали на курсе «Арбитра» — только за этим последним из пеленгирующих спутников им предстояло выйти на трассу Земля-Марс. Все выпрямились в креслах. Боман массировал лицо. Пиркс чувствовал, что и у него немного набрякли губы, особенно нижняя. У других глаза налились кровью, опухли, их мучил сухой кашель, хрипота, но это были нормальные явления, они обычно исчезают спустя часок. Реактор работал так себе. Правда, тяга не уменьшилась, но и не возросла, в пустоте она, собственно, должна бы увеличиться, но этого почему-то не происходило. Даже законы физики, казалось, для «Звезды» были не так уж обязательны. Ускорение было почти нормальным, земным, скорость — 11 километров в секунду.

Им еще предстоял разгон до нормальной крейсерской скорости, иначе пришлось бы тащиться до Марса целые месяцы. Пока они шли прямо на «Арбитр».

Пиркс, как всякий навигатор, ждал от «Арбитра» одних только неприятностей: или заметят, что у корабля слишком длинный, недозволенный инструкцией выхлопной огонь, или что ионизационные разряды в дюзах мешают радиоприему, или потребуют, чтобы Пиркс переждал, пока пропустят какой-то более важный корабль. Но на этот раз ничего не случилось. «Арбитр» пропустил их сразу и еще послал вдогонку радиограмму: «Глубокого вакуума». Пиркс ответил, и на этом обмен космическими любезностями окончился.

Они легли на курс. Пиркс приказал увеличить тягу, ускорение возросло, можно было двигаться, размяться, встать. Радиотехник, который был одновременно и коком, пошел в камбуз. Всем хотелось есть, особенно Пирксу, который с утра ничего не ел, а при старте попотел изрядно. В рубке лишь теперь начала повышаться температура — жар раскаленной обшивки с запозданием проникал внутрь. Пахло жидким маслом, которое вытекло из гидравликов и разлилось лужицами

вокруг кресел.

Боман спустился к реактору проверить, нет ли нейтронной течи. Пиркс тем временем, наблюдая за звездами, разговаривал с электриком. Оказалось, что у них есть общие знакомые. У Пиркса впервые с того момента, как он ступил на палубу, немного полегчало на душе. Какая уж она ни на есть, эта «Звезда», а 19 тысяч тонн — это не фунт изюму. Да и вести такой гроб гораздо труднее, чем обычную грузовую ракету, а стало быть, и чести больше, и опыт накапливается.

В полутора миллионах километров за «Арбитром» на них обрушился первый удар: пообедать не удалось. Кок-радиотехник бессовестно подвел. Больше всех скандалил фельдшер; оказалось, что у него больной желудок, перед самым стартом он купил несколько кур и одну отдал радиотехнику, а теперь в бульоне полно перьев. Остальным достались бифштексы — с ними можно было провозиться до второго пришествия.

— Закаленные они, что ли? — сказал второй пилот и так ткнул вилкой в свой бифштекс, что он выпрыгнул из тарелки.

Радиотехник был нечувствителен к насмешкам. Он посоветовал фельдшеру процедить бульон. Пиркс чувствовал, что должен выступить

посредником, но не знал, как это сделать. Ему было смешно.

Пообедав консервами, Пиркс вернулся в рубку. Приказал пилоту провести контрольное фиксирование звезд, вписал в судовой журнал показания гравиметров, взглянул на циферблаты реактора и аж присвистнул. Это не реактор, а вулкан: кожух разогрелся до восьмисот градусов — и это через четыре-то часа полета! Криоген циркулировал под максимальным давлением — двадцать атмосфер. Пиркс задумался. Самое худшее как будто уже позади. Посадка на Марсе не проблема — притяжение наполовину меньше, атмосфера разреженная. Как-нибудь сядем. А вот с реактором надо что-то делать. Он подошел к вычислителю и подсчитал, сколько еще надо идти на той же тяге, чтобы набрать крейсерскую скорость. При скорости меньше 80 километров получится громадное опоздание.

— Еще семьдесят восемь часов, — ответил вычислитель.

За семьдесят восемь таких часов реактор взорвется. Лопнет как яйцо. В этом Пиркс не сомневался. Он решил, что надо набирать скорость рывками, понемногу. Правда, это несколько усложнит курс, к тому же временами придется

лететь без тяги, значит, без гравитации, а это не так уж приятно. Другого выхода, однако, не было. Он приказал пилоту не сводить глаз с астрокомпаса, а сам съехал на лифте вниз, к реактору. Идя полутемным коридором через грузовые трюмы, он услышал приглушенный грохот, будто по железным плитам двигался целый отряд. Пиркс ускорил шаги. Вдруг под ногами у него черной полосой метнулся кот, и тут же где-то рядом хлопнула дверь. Когда он добрался до освещенного грязными лампами главного коридора, все уже утихло. Перед ним была пустота почерневших стен, и только в глубине какая-то лампочка еще вздрагивала от недавнего сотрясения.

— Терминус! — крикнул Пиркс наугад.

Ответило только эхо. Он вернулся и по бортовому переходу добрался до тамбура реактора. Бомана, который спустился сюда раньше, уже не было. Иссушенный воздух жег глаза. В воронках вентиляторов бушевал горячий ветер, шумело и гудело, как в паровой котельной. Реактор, как и любой реактор, работал беззвучно — выли работавшие с предельной нагрузкой агрегаты охлаждения. Километры замурованных в бетон труб, по которым бежала ледяная жидкость, издавали странные бормочущие стоны, будто

жаловались на что-то. Стрелки помп за чечевицами стекол дружно склонились вправо. Среди циферблатов светился, как месяц, самый важный — отмечающий плотность потока нейтронов. Стрелка почти касалась красной черты — картина, которая любого инспектора СТП могла бы довести до инфаркта.

Шероховатая от цементных латок, похожая на скалу бетонная стена полыхала мертвенным жаром, плиты помоста слегка вибрировали, передавая всему телу неприятную дрожь, свет ламп маслянисто расплывался в мигающих дисках вентиляторов; одна из белых сигнальных ламп заморгала, потом погасла, и на ее месте вспыхнул красный сигнал. Пиркс пошел под помост, где находились выключатели, но Боман уже опередил его: часовой автомат был установлен на разрыв цепной реакции через четыре часа. Пиркс не тронул его, только проверил счетчики Гейгера. Они спокойно тикали. Индикатор показывал небольшую утечку — 0,3 рентгена в час. Пиркс заглянул в темный угол камеры. Там было пусто.

— Терминус! — крикнул он. — Эй! Терминус!

Ответа не было. В клетках беспокойно метались белые пятнышки — мыши: видно, они плохо себя чувствовали в этой поистине тропической жаре.

Пиркс вернулся наверх, запер за собой дверь. В холодном коридоре его начало знобить — рубашка была мокрой от пота. Сам не зная зачем, Пиркс брел по темным, сужающимся в конце коридорам кормы, пока путь ему не преградила глухая стена. Он прикоснулся к ней ладонью. Стена была теплая. Пиркс вздохнул, пошел обратно, поднялся на четвертую палубу в навигаторскую и принялся вычерчивать курс. Когда он о этим управился, часы показывали девять. Пиркс удивился: он и не заметил, как пролетело время. Потушил свет и вышел. Садясь в лифт, он почувствовал, что пол мягко уходит из-под ног: автомат в соответствии с программой выключил реактор.

В слабо освещенном ночными лампами коридоре средней части корабля мерно шумели вентиляторы. Искры далеких лампочек дрожали в перекрещивающихся потоках воздуха. Пиркс слегка оттолкнулся от двери лифта и поплыл вперед. В боковом отсеке коридора было еще темнее. В голубоватом сумраке он проплывал мимо дверей кают, в которые до сих пор так и не удосужился заглянуть. Выходы резервных люков, обозначенные рубиновыми лампочками, открывали свои черные воронки. Плавно, будто во сне, двигался он под выгнутыми сводами,

распластавшись над своей огромной тенью, все дальше, пока не вплыл через приоткрытые двери в большую, необжитую кают-компанию. Под ним в полосе света ряды кресел обступали длинный стол. Пиркс висел над столом, словно водолаз, исследующий трюмы затонувшего корабля. В слабо поблескивающих стеклах у стены затанцевали отражения ламп, рассыпались голубыми огоньками и погасли. За кают-компанией открывалось другое, еще более темное помещение. Тут даже привыкшие к темноте глаза Пиркса отказали. Он на ощупь, кончиками пальцев коснулся эластичной поверхности, не зная, потолок это или пол. Слегка оттолкнулся, развернулся, как пловец, и бесшумно двинулся дальше. В бархатной черноте мерцали, светясь собственным светом, продолговатые, расставленные в ряд предметы. Он почувствовал холод гладкой поверхности — умывальники. Ближайший был весь в черных пятнах. Кровь? Пиркс осторожно протянул руку. Тавот.

Еще одна дверь. Пиркс, наискось вися в воздухе, открыл ее. В сером полумраке перед его лицом проплыли призрачным хороводом какие-то бумаги, книги и, слабо прошелестев, исчезли. Он снова оттолкнулся, на этот раз ногами, и, окру-

женный клубами пыли, которая не оседала, а тянулась за ним рыжим шлейфом, вынырнул через открытую дверь в коридор.

Цепочка ночных огней горела не мигая. Словно голубая вода залила палубы. Он подплыл к висящему под потолком тросу. Петли, когда он выпускал их из рук, начинали медленно извиваться, словно разбуженные прикосновением.

Пиркс насторожился. Где-то неподалеку послышался стук. Кто-то бил молотком по металлу. Пиркс поплыл на этот звук, то нараставший, то гаснувший, и наконец увидел вделанные в пол ржавые рельсы, по которым когда-то двигались в главные трюмы грузовые платформы. Теперь он летел быстро, чувствуя, как воздух обтекает лицо. Звук становился все громче. Тут Пиркс заметил под потолком трубу, выходящую из поперечного коридора. Старый дюймовый канал трубопровода. Пиркс дотронулся до него. Труба задрожала. Удары соединялись в группы, по два, по три. Вдруг он понял. Морзянка!

— Внимание…

Три удара.

— Внимание…

Три удара.

— Я з-а п-е-р-е-б-о-р-к-о-й, — грохотала труба.

Буквы лепились одна к другой.

— Л-е-д в-е-з-д-е…

Лед? Он сначала не понял. Какой лед? Что это значит? Кто…

— Контейнер — лопнул, — отозвалась труба.

Пиркс держал на ней ладонь. Кто передает? Откуда? Он попытался сообразить, как идет трубопровод. Это был аварийный канал, он шел с кормы, ответвляясь на всех горизонтах. Кто это там упражняется! Что за идея! Пилот?

— Пратт — отзовись — Пратт…

Пауза.

У Пиркса перехватило дух. Это имя поразило его как удар. Какое-то мгновение Пиркс расширенными глазами всматривался в трубу, потом бросился вперед. «Это тот, второй пилот», — подумал он, быстро добрался до поворота, оттолкнулся и, набирая скорость, полетел в рубку, а труба все звенела над ним:

— Вайн — это — Симон…

Звуки удалялись. Он потерял трубу из виду — она сворачивала в поперечный коридор. Пиркс стремительно оттолкнулся от стены и сквозь облако пыли всмотрелся в согнутый обрубок трубы, завернутый ржавой заглушкой. Труба кончалась тут. В рубку она не ведет. Значит… значит, это с

кормы? Но… там… никого нет…

— Пратт — в — шестом — в — последнем… — звенела труба.

Пиркс, словно летучая мышь, висел под потолком, вцепившись согнутыми пальцами в трубу. Кровь стучала в висках. После короткой паузы снова послышались удары:

— …баллоне — осталось — тридцать — до — нуля…

Три удара.

— Момссен — отзовись — Момссен…

Пиркс огляделся. Было совершенно тихо, только заслонка вентилятора за поворотом хлопала в порывах ветра, и выдуваемый оттуда мусор, лениво кружась, тянулся вверх, отбрасывая над лампами тени на потолок, словно там целыми роями носились большие нескладные ночные бабочки. Вдруг посыпались стремительные удары:

— Пратт — Пратт — Пратт — Момссен — не — отвечает — в — седьмом — есть — кислород — можешь — ли — пройти — прием…

Пауза. Свет ламп был все тот же, мусор и пыль медленно кружились. Пиркс хотел отпустить трубу, но не мог. Ждал. Она отозвалась:

— Симон — Момссену — Пратт — в — шестом — за — переборкой — с — последним — баллоном

— Момссен — отзовись — Момссен…

Последний тяжелый удар. Труба долго вибрировала. Пауза. Потом несколько непонятных ударов и быстрая дробь:

— Слабо — доходит — слабо — доходит…

Тишина.

— Пратт — отзовись — Пратт — прием…

Труба дрогнула. Словно совсем издалека доходили отрывистые удары.

Три точки, три тире, три точки. SOS. Каждый следующий удар был слабее. Еще два тире. И еще одно. И протяжный замирающий звук, словно кто-то скреб или царапал трубу. Это можно было услышать лишь в такой абсолютной тишине.

Пиркс оттолкнулся и головой вперед полетел вдоль трубы; он сворачивал, когда сворачивала она, поднимался, опускался, рассекая головой воздух. Открытая шахта. Наклонный спуск. Сужающиеся коридоры. Одни, вторые, третьи ворота грузовых отсеков. Стало темнее. Он вел пальцами по трубе, чтобы не потерять ее. Черная запекшаяся пыль обдирала ладони: палубы уже остались позади, он находился в помещении без полов и потолков, отделяющем внешнюю оболочку от трюмов; между траверсами темнели распухшие тела резервных баков, сверху кое-где пробива-

лись пыльные полосы света. Он посмотрел вверх и увидел в черной шахте две цепочки ламп, рыжих от пыли, тянувшейся за ним длинным облаком, как дым невидимого пожара. Воздух тут был затхлый, душный, пахло нагретым железом. Пиркс парил среди еле заметных металлических конструкций, а труба протяжно звенела:

— Пратт — отзовись — Пратт…

Трубопровод разветвлялся. Пиркс зажал руками оба отростка, чтобы определить, откуда идет звук, но так и не разобрал. Наугад свернул влево. Какой-то люк. Сужающийся, черный как уголь туннель. В конце — круг света. Пиркс выскочил из туннеля. Он был в тамбуре реакторной.

— Это — Вайн — Пратт — не — отвечает… — звенела труба, когда он открывал первые двери. В лицо ударил горячий воздух. Пиркс поднялся на помост. Выли компрессоры. Теплый ветер растрепал ему волосы. Отсюда он видел в ракурсе бетонную стену реактора; светились циферблаты, красными каплями дрожали огоньки сигналов.

— Симон — Вайну — слышу — Момссена — подо — мной, — грохотала труба тут, рядом с ним. Она выходила из стены и дугой спускалась вниз, соединяясь там с главным трубопроводом.

Перед развилкой, раскорячившись, стоял

Терминус. Он словно боролся с невидимым противником — так молниеносны были его выпады. Полными горстями он швырял цементное тесто, расплющивал его хлопками, поправлял, придавал форму и переходил к следующему отрезку — тогда наступала пауза. Пиркс вслушался в ритм его работы. Ходящие, как шатуны, руки выстукивали:

— Момссен — брось — шланг — Пратт — теряет — кислород…

Терминус застыл с поднятыми руками, вися в воздухе на против собственной, почти человеческой тени. Его квадратная голова двигалась вправо и влево: он проверял следующее соединение. Наклонился. Сложив ладонь совком, набрал цемент. Замахнулся. Руки входили в ритм. Труба задрожала от ударов:

— Не — отвечает — не — отвечает…

Пиркс перевесил ноги через перила и плавно спустился вниз.

— Терминус! — крикнул он, еще не успев коснуться пола.

— Слушаю, — тотчас ответил автомат. Его левый глаз повернулся к человеку, правый продолжал ходить в орбите, следя за руками, которые облепляли трубу цементом, выбивая:

— Пратт — отзовись — Пратт — прием…

— Терминус! Что ты стучишь?! — крикнул Пиркс.

— Утечка. Четыре десятых рентгена в час. Заделываю пробоины, — глухим басом ответил автомат, а его руки одновременно отбивали:

— Это — Вайн — Момссен — отзовись — Момссен…

— Терминус! — снова крикнул Пиркс, глядя то на металлическое лицо со скошенным на него левым глазом, то на мелькание железных ладоней.

— Слушаю, — также монотонно повторил автомат.

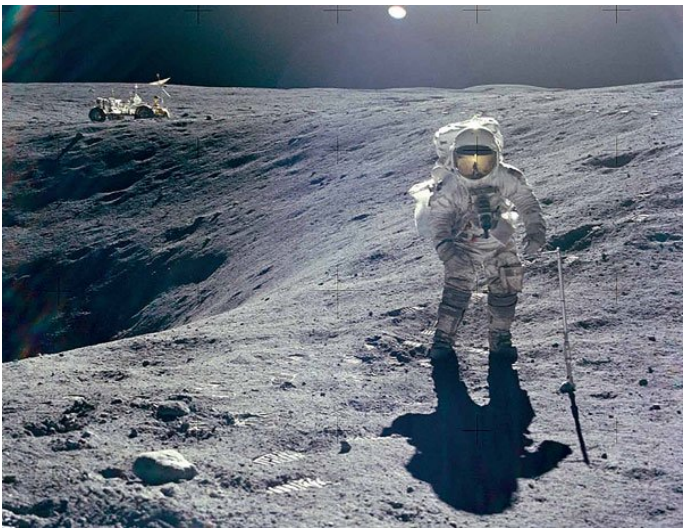
— Что ты… передаешь морзянкой?

— Заделываю пробоины, — ответил низкий голос.

— Симон — Вайну — и — Поттеру — Пратта — ноль — Момссен — не — отвечает… — гремело железо под его мелькающими руками. Тяжелое цементное тесто расплющивалось, стекало, руки подхватывали его, пришлепывали, прижимали к закругленной поверхности. На какой-то момент его поднятые вверх руки застыли, потом автомат наклонился, набрал новую порцию цемента, посыпалась лавина стремительных ударов:

— Момссен — Момссен — Момссен — отзовись

— Момссен — Момссен — Момссен — Момссен…



Ритм бешено ускорялся, весь трубопровод дрожал и стонал под градом ударов, это было похоже на бесконечный крик.

— Терминус! Перестань! — Пиркс бросился

вперед и схватил автомат за мокрые от масла локти — они выскользнули у него из рук. Терминус замер, напрягшись. Было слышно только протяжное чавканье помп за бетонной стеной.

Прямо перед Пирксом был корпус автомата, залитый маслом, которое стекало по его столбообразным ногам. Пиркс отступил.

— Терминус… — проговорил он тихо, — что ты… — И осекся.

Железные ладони с громким лязгом сомкнулись. Они терлись друг о друга, сдирая остатки присохшего цемента, которые, вместо того чтобы упасть, затанцевали в воздухе, расплываясь, как круги дыма.

— Что ты… делал? — спросил Пиркс.

— Заделываю пробоины. Четыре десятых рентгена в час. Можно продолжать?

— Ты выстукивал морзянкой. Что ты передавал?

— Морзянкой, — точно тем же тоном повторил автомат и добавил: — Не понимаю. Можно мне заделывать дальше?

— Можно, — буркнул Пиркс, глядя на огромные, медленно распрямляющиеся руки. — Да, можно…

Пиркс ждал. Терминус его уже не видел. Он

набрал левой рукой цемент и молниеносным движением бросил на стену. Укрепил, расплющил, разгладил — три удара. Теперь правая рука поспешила к левой, и труба забубнила:

— Пратт — лежит — в — шестом…

— Момссен…

— Отзовись — Момссен…

— Где Пратт?! — дико крикнул Пиркс.

Терминус, железные руки которого мелькали в свете ламп, как блестящие полосы, тотчас ответил:

— Не знаю.

Одновременно он выстукивал с такой скоростью, что Пиркс едва успел разобрать:

— Пратт — не — отвечает…

И тут случилось что-то странное. На серию, отбиваемую правой рукой, наложилась другая, гораздо более слабая, ее выстукивали пальцы левой. Сигналы перемешались, и в течение нескольких секунд трубопровод дрожал от грома двойных ударов, из которых вынырнула замирающая серия:

— Мрзнутруки — немгу — уж…

— Терминус… — одними губами прошептал Пиркс, отступая к металлическим ступеням. Автомат не слышал. Его туловище, лоснящееся от

масла, подрагивало в такт движениям рук. Даже не слушая, по одним отблескам маслянистого металла Пиркс мог прочесть:

— Момссен — отзовись…

3

Пиркс лежал на спине. Тьма роилась блестками, мелькавшими в его глазах.

Пратт шел в глубь корабля. Так? У него кончился кислород. Те двое не могли ничем помочь. А Момссен? Почему он не отвечал? Может, был уже мертв? Нет, Симон его слышал. Он был где-то близко, за стеной. За стеной? Это значит, что в помещении Момссена был воздух. Иначе Симон ничего бы не слышал. Что он слышал? Шаги? Почему они его вызывали? Почему он не отвечал?

Разбитые на точки и тире голоса агонии. Терминус. Как это случилось? Его нашли под грудой обломков на дне камеры. Наверно, в том месте, где трубопровод выходил наружу. Заваленный обломками, он мог слышать стук — долго ли? Запасы кислорода большие. Могло хватить на месяцы. Пищи тоже. Значит, он лежал там, под обломками. Как же так, ведь тяжести не было? Что мешало ему двигаться? Пожалуй, холод. Автоматы не могут двигаться при очень низкой

температуре. Масло застывает в суставах. Гидравлическая жидкость замерзает и разрывает маслопроводы. Остается только один металлический мозг — только мозг. Он мог слышать и фиксировать сигналы; все более слабые, они сохранились в электронных витках его памяти, словно это было вчера. А сам он об этом не знает? Как это может быть? Не знает, что они, эти сигналы, накладывают отпечаток на ритм его работы? Может, он лжет? Нет, автоматы не лгут.

Усталость заливала Пиркса, как черная вода. Может, не полагалось это слушать? Было в этом что-то мерзкое — так приглядываться к агонии, запечатленной во всех подробностях, следить за ее развитием, чтобы потом анализировать каждый сигнал, мольбу о кислороде, крик. Этого нельзя делать, если не можешь помочь. Сознание у него уже так помутилось, что он не знал, о чем думает, но все еще беззвучно повторял одними губами, словно возражая кому-то:

— Нет. Нет. Нет.

Потом не было уже ничего.

Очнулся он в полной темноте. Хотел сесть, но пристегнутое ремнями одеяло не пустило его. Он на ощупь кое-как управился с ремнями, зажег свет. Двигатели работали. Пиркс набросил на се-

бя халат. Несколько раз согнул колени, оценивая ускорение. Тело весило побольше ста килограммов. Полтора g примерно? Ракета меняла курс, он явственно ощущал вибрацию; встроенные шкафы протяжно, предостерегающе скрипели, дверцы одного из них открылись, гневно каркая; все незакрепленные предметы, одежда, ботинки понемногу перемещались в сторону кормы, словно объединенные каким-то тайным, неожиданно вдохнувшим в них жизнь намерением.

Пиркс подошел к шкафчику интеркома, открыл дверцу. Внутри стоял аппарат, похожий на старинный телефон.

— Рубка! — крикнул Пиркс в микрофон и даже поморщился от звука собственного голоса — так болела голова. — Говорит первый. Что там?

— Поправка курса, капитан, — ответил далекий голос пилота, — нас чуточку снесло.

— Сколько?

— Ше… семь секунд.

— Как реактор? — нетерпеливо спросил он.

— Шестьсот двадцать в кожухе.

— А в трюмах?

— Бортовые по пятьдесят два, килевые — сорок семь, кормовые — двадцать девять и пятьдесят пять.

— Какое там было отклонение, Мунро?

— Семь секунд.

— Допустим, — ответил Пиркс и бросил трубку.

Пилот, разумеется, соврал. Для семисекундной поправки не требовалось таких ускорений. Отклонение от курса он оценивал в несколько градусов.

Дьявольски греются эти трюмы. Что в кормовом? Продукты? Он сел за письменный стол.

«„Голубая звезда“ Земля-Марс. Владельцу корабля. Реактор нагревает груз. Нет спецификации угрожаемого груза на корме. Прошу указаний. Навигатор Пиркс».

Пиркс еще писал, когда двигатели смолкли, сила тяжести исчезла, — нажав на карандаш, он вдруг взлетел в воздух. Нетерпеливо оттолкнулся от потолка, опять уселся в кресло и еще раз перечитал радиограмму. Подумав, разорвал листок и сунул клочки в ящик.

Сонливость прошла совершенно, осталась только головная боль. Одеваться не хотелось: в невесомости это было сложной процедурой, состоящей из серии неуверенных скачков и возни с отдельными частями туалета, так что Пиркс, как был, в халате поверх пижамы, выплыл из каюты.

Голубизна ночного освещения скрадывала плачевное состояние внутренней обшивки. В четырех ближайших нишах зияли чернотой выходы мерно дышащих вентиляционных каналов, валявшийся повсюду мусор стягивался к ним, словно ил, увлекаемый подводным течением.

Бесконечная тишина заполняла весь корабль. Вслушиваясь в нее, почти не двигаясь, повиснув перед своей огромной тенью, которая наискось лежала на стене, Пиркс прикрыл глаза. Случалось, что люди засыпали в таком положении, а это было небезопасно: любой импульс двигателей для маневра мог швырнуть беззащитное тело на пол или потолок. Он уже не слышал ни вентиляторов, ни ударов своего пульса. Ему казалось, что эту ночную тишину корабля он мог бы отличить от любой другой. На Земле ощущаются какие-то границы тишины, ее недолговечность, краткость; среди лунных гор человек несет с собой собственное маленькое молчание, запертое в скафандре, который усиливает каждый скрип ремней, каждый хруст суставов, пульс, даже дыхание. Только корабль ночью растворяется в черном ледяном безмолвии.

Пиркс поднес часы к глазам. Скоро три. «Если так пойдет и дальше — мне конец». Он оттолк-

нулся от выпуклой переборки и, словно гасящая скорость птица, раскинув руки, спланировал на порог каюты. Издалека, будто из железного подземелья, до него долетел еле слышный звук:

— Банг-банг-банг…

Три удара.

Чертыхнувшись, он захлопнул дверь, снял халат и, не глядя, швырнул его в воздух; халат медленно вздулся и, словно гротескный призрак, поплыл вверх. Пиркс погасил свет, лег, накрыл голову подушкой.

— Идиот! Проклятый железный идиот! — повторял он, зажмурившись и дрожа от непонятной ярости. Но усталость быстро взяла верх: он и не заметил, как снова уснул.

Пиркс открыл глаза около семи. Еще в полусне поднял руку. Она не упала. Тяжести не было. Пиркс оделся. Направляясь в рубку, невольно прислушался. Было тихо.

Перед дверями он задержался. На матовых стеклах лежали зеленоватые, будто подводные, отблески радарных экранов. Внутри царил полумрак. Пилот, полулежа в кресле, курил сигарету. Плоские полосы дыма плавали перед экранами. Слышалось слабое позвякивание — какая-то земная музыка, ее перебивали космические помехи.

Пиркс сел позади пилота, ему не хотелось даже проверять гравиметрические записи.

— Когда включите тягу?

Пилот был догадлив.

— В восемь. Но, если хотите вымыться, капитан, могу дать сейчас. Разницы никакой.

— Э, нет. Пусть уж будет порядок, — буркнул Пиркс.

Наступило молчание, только в динамике жужжала однообразная механическая мелодия. Пиркса опять стало клонить в сон. Он несколько раз спохватывался, потом снова погружался в дремоту, из тьмы выползали большие зеленые глаза котов. Пиркс моргал, кошачьи глаза превращались в светящиеся циферблаты; так он балансировал на грани яви и сна, когда динамик вдруг захрипел и произнес:

— Говорит Деймос. Семь тридцать. Передаем еженедельную метеоритную сводку для внутренней зоны. Под влиянием гравитационного поля Марса в потоке Драконид, уже покинувшем сферу Пояса, возникло краевое завихрение. Сегодня оно будет проходить через секторы 83, 84 и 87. Метеоритная станция Марса оценивает размеры облака в четыреста тысяч кубических километров. В связи с этим секторы 83, 84 и 87 объ-

являются закрытыми для навигации до особого сообщения. Передаем состав облака, полученный нами непосредственно с баллистических зондов Фобоса. По последним данным облако состоит из микрометеоритов класса X, XY, Z…

— Хорошо, что это нас не касается, — заметил пилот, — я только что позавтракал, представляете, каково сейчас было бы давать полный ход!

— Сколько мы делаем? — спросил, вставая, Пиркс.

— Больше пятидесяти.

— Да? Неплохо, — буркнул Пиркс.

Он проверил курс, записи уранографов, величину утечки — она держалась на одном уровне — и пошел в кают-компанию. Там уже сидели оба офицера. Пиркс ждал, не заговорит ли кто-нибудь о ночных стуках, но разговор все время вертелся вокруг тиража лотереи, которого с нетерпением дожидался Симс. Он рассказывал о коллегах и знакомых, которым посчастливилось выиграть.

Позавтракав, Пиркс направился в навигаторскую, чтобы вычертить пройденный отрезок пути. Но вскоре он воткнул циркуль в доску, вытащил из ящика судовой журнал и отыскал состав последнего экипажа «Кориолана».

«Офицеры: Ваш и Пратт, пилоты: Нолан и Пот-

тер, механик: Симон...» Пиркс сосредоточенно вглядывался в размашистый почерк командира. Потом бросил журнал в ящик, закончил чертеж и, захватив рулон, отправился в рубку. Через полчаса он точно рассчитал время прибытия на Марс. На обратном пути заглянул через дверное стекло в кают-компанию. Офицеры играли в шахматы, фельдшер сидел у телевизора с электрогрелкой на животе. Пиркс заперся в каюте и просмотрел радиограммы, взятые у пилота. Он и не заметил, как его сморил сон. Несколько раз ему казалось сквозь дремоту, будто двигатели начинают тянуть, и он силился проснуться, но не просыпался, а лишь видел во сне, как встает, идет в рубку, находит ее пустой и в поисках кого-нибудь из команды начинает плутать по лабиринту черных, как уголь, кормовых коридоров. Очнулся Пиркс за столом, весь в поту, злой, потому что понимал, какая ему предстоит ночь после стольких часов дневного сна. Когда под вечер пилот включил двигатели, он воспользовался этим и принял горячую ванну. Освежившись, пошел в кают-компанию, выпил приготовленный радиотехником кофе и по телефону спросил вахтенного о температуре реактора. Она приближалась к тысяче градусов, но все не могла перевалить за

критическую. Около десяти его вызвала рубка: они пролетали мимо какого-то корабля, который спрашивал, нет ли у них врача. Пиркс, узнав, что речь идет об остром приступе аппендицита, счел за благо не предлагать своего медика, тем более что за ними в каких-нибудь трех миллионах километров шел большой пассажирский корабль, выразивший готовность застопорить ход и выслать врача.

Так вяло, без происшествий, прошел весь день. В одиннадцать белый свет на всех палубах, за исключением рубки и камеры реактора, сменился тлением голубоватых ночных ламп. В кают-компании чуть ли не до полуночи горела лампочка над шахматной доской. Там сидел Симс и играл сам с собой. Пиркс пошел еще проверить температуру в донных трюмах и по дороге наткнулся на возвращавшегося от реактора Бомана. Инженер был настроен в общем неплохо: утечка не возрастала, а охлаждение работало вполне исправно.

Инженер попрощался и оставил Пиркса в пустом холодном коридоре. Слабая струя воздуха тянулась вверх, остатки пропыленной паутины, окружавшей вентиляционные окна, беззвучно трепетали. Пиркс долго ходил по высокому, как церковные своды, коридору между главными

трюмами.

Двигатели смолкли за несколько минут до полуночи. С разных концов корабля до него долетали резкие и приглушенные, все удаляющиеся и слабеющие звуки. Это незакрепленные предметы, продолжая двигаться с ускорением, ударялись о стены, потолки, полы. Эхо этих ударов, которые наполнили словно вдруг оживший корабль, еще мгновение дрожало в воздухе, потом угасло, и снова наступила тишина, подчеркнутая мерным шумом вентиляторов.

Пиркс вспомнил, что ящик стола в навигаторской покоробился, и в поисках стамески спустился по длинному, узкому, как кишка, коридору между трюмом левого борта и кабельным туннелем на склад — пожалуй, самое пыльное место на корабле. Вдобавок пыль, в которой он

утонул с головой, не оседала, и он, полузадохшийся, ощупью едва добрался до выхода. Пиркс был уже почти в самом центре корабля, когда в коридоре раздались шаги. Тяжести не было, так что идти мог только автомат. Действительно, звонким шагам сопутствовало хлопанье прилипающих к полу магнитных присосок. Пиркс подождал, пока в проходе не появился черный на фоне далеких ламп силуэт. Терминус шел, неуверенно раскачиваясь и широко размахивая руками.

— Эй, Терминус! — крикнул Пиркс, выходя из тени.

— Слушаю.

Тяжелая фигура остановилась, корпус по инерции наклонился вперед, качнулся и медленно вернулся в вертикальное положение.

— Что ты тут делаешь?

— Мыши, — ответил голос из-за грудного щита, и казалось, что из кольчатого панциря говорит охрипший карлик. — Мыши спят неспокойно. Просыпаются. Бегают. Хотят пить. Если хотят пить, им надо дать воды. Мыши много пьют, когда высокая температура.

— А ты что делаешь? — спросил Пиркс.

— Высокая температура. Хожу. Всегда хожу,

если высокая температура. Воду мышам. Если выпьют и уснут — хорошо. Часто случались ошибки из-за высокой температуры. Наблюдаю. Выхожу возвращаюсь к реактору. Воду мышам…

— Ты несешь воду мышам? — спросил Пиркс.

— Да. Терминус.

— А где вода?

Автомат еще дважды повторил «высокая температура», и все казалось, что в нем спрятан человек, потому что Терминус в недоумении стал быстро и как-то беспомощно подносить руки к глазам, объективы которых задвигались в глазницах, уставившись на железные ладони. Потом он проговорил:

— Нет воды. Терминус.

— Ну а где же она? — настаивал Пиркс.

Прищурившись, он наблюдал за возвышающимся над ним роботом, который издал несколько нечленораздельных звуков и неожиданно изрек басом:

— За… Забыл.

Пиркс растерялся — так беспомощно это прозвучало. С минуту, наверно, он глядел на слегка покачивающийся железный корпус.

— Забыл, да? Иди к реактору. Возвращайся. Слышишь?

— Слушаю.

Терминус заскрежетал, сделал разворот на месте и стал удаляться тем же слишком твердым, одеревенелым, будто старческим шагом. На повороте он споткнулся, тяжело взмахнул руками, восстановил равновесие и исчез в боковом проходе. Еще какое-то время слышалось эхо его шагов. Пиркс хотел было вернуться к себе, потом раздумал и, бесшумно плывя над полом, добрался до шестого вентиляционного. Передвижение по колодцам было запрещено даже при выключенных двигателях, но он пренебрег запретом. Сильно оттолкнулся от ограждения и за десять секунд пролетел семь этажей, которые отделяли середину корабля от кормы. В камеру реактора он не вошел. В стене, примерно посередине, виднелся длинный засов. Пиркс подплыл к нему, открыл узкие дверцы. За дверцами было вделанное в сталь прямоугольное оконце из свинцового стекла, образующее заднюю стенку клеток с мышами. Благодаря этому можно было наблюдать за ними, не входя в камеру.

За стеклом он увидел грязные пустые донца клеток. Дальше за проволочными сетками, в глубине камеры, поблескивал в свете высоко укрепленной лампы облитый водой корпус

робота. Автомат почти горизонтально висел в воздухе, лениво двигая руками. Весь его панцирь был покрыт белыми мышами; они рысцой бегали по наплечьям, по грудному щиту, скапливались там, где в углублениях членистого живота большими каплями собралась вода, мыши слизывали ее, подскакивали, взлетали в воздух. Терминус ловил их, они скользили между его железными пальцами, их хвостики причудливо закручивались. Картина была такая странная, такая комичная, что Пирксу стало смешно. Терминус тем временем совал пойманных мышей в клетку, его металлическое лицо совсем приблизилось к глазам Пиркса, но робот, по-видимому, не заметил его. Еще две-три мышки летали по воздуху; Терминус поймал и их, запер клетку и исчез из поля зрения Пиркса, только его гигантская тень, словно зацепившись за муфту главного трубопровода, размазанным крестом легла на бетон реактора.

Пиркс тихо закрыл дверцы, вернулся в каюту, разделся и лег, но не мог уснуть. Он принялся за записки астронавигатора Ирвинга, но глаза горели, словно в них попал песок, голова отяжелела, а спать ему все же не хотелось. Он с тоской подумал, что до утра еще далеко, и, накинув ха-

лат, вышел.

На пересечении главного коридора с бортовым из вентиляционного отверстия до него донеслись звуки шагов. Он приложил ухо к решетке. Звук, искаженный эхом железного колодца, шел снизу. Пиркс оттолкнулся от решетки, с минуту плыл ногами вперед, а потом по ближайшему вертикальному проходу попал на уровень кормы. Шаги зазвучали громче, замерли, потом отозвались с новой силой. Автомат возвращался. Пиркс поджидал его под самым потолком высокого в этом месте коридора. В глубине коридора скрежетали волочащиеся шаги. Звук исчез. Пиркс уже начинал терять терпение, когда шаги возобновились, из прохода вынырнула длинная тень, и вслед за ней показался Терминус. Он прошел под Пирксом так близко, что было слышно биение его гидравлического сердца. Терминус сделал еще несколько шагов, остановился и издал протяжное шипение. Потом он качнулся вправо и влево, будто кланяясь железным стенам, и двинулся дальше. У темного входа в боковой коридор робот снова остановился. Заглянул туда. Протяжное шипение повторилось. Пиркс поплыл вслед за громадной фигурой.

— Ксс, ксс… — слышал он все отчетливее.

Терминус опять остановился перед очередным вентиляционным колодцем и попытался просунуть голову через решетку. Это ему не удалось. Он зашипел, медленно распрямился и заковылял дальше. Пирксу это надоело.

— Терминус! — крикнул он.

Автомат, как раз в это время наклонявшийся, застыл, не окончив движения.

— Слушаю, — сказал он.

— Что ты опять тут делаешь?

Пиркс всматривался в приплюснутую металлическую маску, хотя она и не была лицом и на ней нельзя было ничего прочесть.

— Ищу… — ответил Терминус. — Ищу… кота.

— Что?!

Терминус начал выпрямляться. Он вытягивался вверх; руки его безвольно свисали, словно он забыл о них, и из-за того, что он делал это так медленно, чуть поскрипывая суставами, в его движениях чудилось нечто угрожающее.

— Ищу кота, — повторил он.

— Зачем?!

Терминус с минуту молчал, застыв как железная статуя.

— Не знаю, — ответил он тихо, и Пиркс смутился.

Мертвая тишина, тусклый свет ламп, заржавевшие рельсы грузового пути и закрытые ворота делали коридор похожим на штольню заброшенной шахты.

— Хватит, — сказал наконец Пиркс. — Возвращайся к реактору и не выходи оттуда. Слышишь?!

— Слушаю.

Терминус повернулся и ушел. Пиркс остался один. Поток воздуха сносил его, висящего между полом и потолком, миллиметр за миллиметром к открытой пасти вентилятора. Он оттолкнулся ногой от стены, свернул к подъемнику и помчался вверх, минуя по дороге черные зевы колодцев, из которых, словно тиканье огромных часов, доносились все более слабые, удаляющиеся шаги автомата.

4

Пять следующих дней Пиркс был поглощен математикой. При каждом новом включении реактор грелся все больше, а отдача его уменьшалась. Боман предполагал, что нейтронные отражатели доживают свой век. Это подтверждала и медленно, но неуклонно возраставшая утечка. Пиркс проделывал сложнейшие расчеты,

старяясь правильно дозировать время тяги и охлаждения. Когда реактор простаивал, Пиркс перебрасывал криоген с бортовых трюмов в кормовые, где стояла настоящая тропическая жара. Это бесконечное лавирование требовало терпения — Пиркс часами просиживал у вычислителя и методом проб и ошибок искал наилучшего решения. В результате они прошли сорок три миллиона километров с ничтожным опозданием. На пятый день полета наперекор пессимистическим предсказаниям Бомана они развили требуемую скорость. Выключая реактор, который мог теперь остывать до самой посадки, Пиркс вздохнул с облегчением. Пилотируя эту старую грузовую ракету, он видел звезды гораздо реже, чем на Земле. Впрочем, он ими и не интересовался, даже красным, как медяк, диском Марса — он был по горло сыт курсовыми кривыми.

Поздним вечером последних суток пути, когда темнота, едва разреженная голубыми огнями, будто увеличила корабль, он вспомнил о трюмах. До сих пор он даже и не заглянул туда.

Пиркс вышел из кают-компании, где Симс, как всегда, играл в шахматы с Боманом, и спустился лифтом на корму. После той встречи он не видел и не слышал Терминуса. Он только заметил, что

кот куда-то бесследно исчез, словно его вообще не было на корабле.

В слабо освещенных центральных помещениях корабля с тихим шелестом циркулировали воздушные потоки. Когда Пиркс открыл дверь, в зале зажглись лампочки, покрытые толстым слоем пыли. Он обошел весь трюм из конца в конец. Среди ящиков, заполнявших трюм почти до самого потолка, оставался узкий проход. Пиркс проверил натяжение закрепленных в полу стальных лент, которыми была стянута каждая пирамида груза; он забыл закрыть за собой дверь, и оживший сквозняк высасывал из темных углов кучи опилок, мусора, пакли, которые еле заметно покачивались в воздухе, как ряска на воде.

Пиркс был уже в коридоре, когда услышал медленные, мерные удары:

— Внимание…

Три удара.

С минуту он дрейфовал в потоке воздуха, который поднимал его все выше и выше. Хочешь не хочешь — приходилось слушать.

Переговаривались двое. Сигналы были слабые, будто люди берегли силы. Один часто сбивался, словно забывал азбуку Морзе. Иногда они подолгу молчали, иногда начинали выстукивать

одновременно. Черный коридор с редко разбросанными лампами, казалось, был бесконечен, и шумящий в нем ветер будто исходил из бездонной пустоты.

— Симон — слышишь — его, — медленно, неровно стучало в трубе.

— Не — слышу — не — слышу…

Пиркс яростно оттолкнулся от стены и, сжавшись, подогнув ноги, камнем полетел вниз по коридорам, гораздо слабее освещенным. Тонкая рыжеватая пыль вокруг ламп все сгущалась, и Пиркс понял, что корма уже недалеко. Тяжелые двери реакторной были приоткрыты. Пиркс заглянул туда.

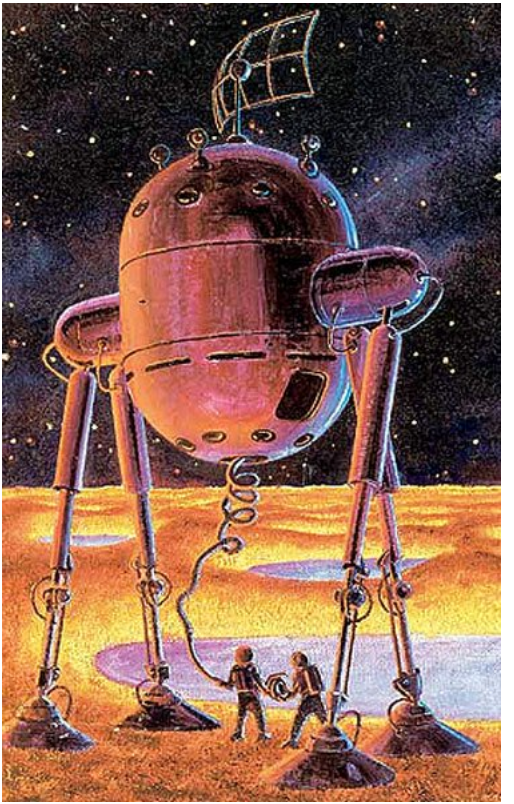
В камере было холодно. Компрессоры, остановленные на ночь, молчали, и только странным, почти человеческим голосом бормотал скрытый в бетонной стене трубопровод, когда пузыри воздуха пробивали себе дорогу сквозь густеющую жидкость.

Терминус, забрызганный цементом, работал. Над его качающейся, словно маятник, головой ожесточенно жужжал вентилятор. Пиркс, не прикасаясь к ступеням лестницы, спустился вниз.

Железные руки автомата слабо позвякивали, свежий слой цемента приглушал их удары.

— Не — слышу — прием…

То ли случайно, то ли потому, что приказ о замедлении ударов исходил из того же источника, который посылал знаки азбуки Морзе, труба звенела все слабее. Пиркс стоял рядом с автоматом. Членистые сегменты его живота, заходившие один за другой, когда он наклонялся, напоминали брюшко насекомого. В стеклянных глазах дрожали миниатюрные отражения ламп. Уставившись в эти глаза, Пиркс вдруг почувствовал, что он совсем один в этой пустой камере с отвесными стенами. Терминус не знал, что делает, он был машиной, передающей закрепленные в памяти серии звуков, ничем больше. Удары все слабели.



— Симон — отзовись, — с трудом разбирал Пиркс.

Ритм распадался. Пиркс притронулся к трубе в

каком-нибудь полуметре от согнувшегося робота. Костяшки его пальцев стукнули по металлу, и передававшаяся в это время серия ударов на миг оборвалась. Повинуясь внезапному импульсу, Пиркс, не успев осознать, насколько дико его желание вмешаться в разговор давно ушедших лет, начал быстро выстукивать:

— Почему — Момссен — не — отвечает — прием…

Почти одновременно с первым его ударом по трубе стукнул и Терминус. Звуки слились. Рука автомата замерла, словно услышав его, а когда он кончил, принялась забивать цемент в щель соединения. Труба зазвенела:

— У — него — конча…

Пауза. Терминус нагнулся, чтобы еще зачерпнуть цементного теста. Что это было: начало ответа? Пиркс, затаив дыхание, ждал. Автомат, выпрямившись, стремительно бросал и трамбовал цемент, и в трубе послышались ускоряющиеся удары:

— Симон — это — ты…

— Говорит — Симон — не — я — кто — говорил — кто — говорил…

Пиркс втянул голову в плечи. Удары сыпались, как град:

— Кто — говорил — отзовись — кто — говорил — кто — говорил — я — Симон — я — Байн — кто — говорил — кто — говорил — отзовись…

— Терминус! — громко крикнул Пиркс. — Перестань! Перестань!

Треск прекратился. Терминус выпрямился, но его плечи и руки подергивались, весь его корпус била железная лихорадка, и по этим спазматическим толчкам Пиркс продолжал читать:

— Кто — говорил — кто — кто…

— Перестань!!! — крикнул он еще раз.

Он смотрел на автомат сбоку — тяжелые плечи вздрагивали, и блики света, отражаясь от панциря, повторяли:

— Кто — кто…

Словно опустошенный бурей, прошедшей сквозь него, автомат деревенел. Поднимаясь над полом, он с грохотом стукнулся о горизонтальное ответвление трубопровода и повис, будто зацепившись за трубу, совершенно недвижно; но, вглядевшись, Пиркс уловил еле заметное подергивание металлической руки:

— Кто…

Пиркс и сам не знал, как оказался в коридоре. Вентиляторы шумели. Пиркс плыл навстречу идущему с верхних палуб холодному сухому вет-

ру. Огни ламп светлыми кругами передвигались по его лицу.

Двери каюты были приоткрыты. На столе горела лампа, отбрасывая на пол узкие полоски света. Потолок тонул во мраке.

Кто это был? Кто так звал его? Симон? Вайи? Но ведь их не было! Они погибли девятнадцать лет назад!

Так кто же это был? Терминус? Но ведь он только чинил трубопровод. Пиркс хорошо знал, что услышит, если попытается расспрашивать его: какую-то болтовню о рентгенах, утечках и цементных пломбах. Терминус даже не подозревает, что звуки его работы складываются в какой-то призрачный ритм.

Одно ясно: эта запись — если это запись — не мертва. Кем бы ни были эти люди — эти голоса, эти удары, — с ними можно говорить. Если только хватит мужества…

Он оттолкнулся от потолка и неуверенно подплыл к противоположной стене. К черту! Ему хотелось ходить, ходить быстрыми шагами, чувствовать свой вес, ударять изо всей силы кулаком по столу! Это, казалось бы, такое удобное состояние, при котором предметы и собственное тело превращаются в нематериальные тени,

было похоже на кошмар. Все, к чему он прикасался, отодвигалось, отплывало, неустойчивое, лишенное опоры, становилось надутой пустотой, видимостью, сном…

Сном?

Погоди. Если мне кто-то снится и я задаю ему вопрос, то я не знаю ответа, пока он не слетит с его губ. А ведь этот приснившийся мне человек не существует за пределами моего мозга, он лишь временно обособленная его часть. Каждый раздваивается так почти ежедневно, вернее, еженощно, давая начало мимолетным, возникающим в мозгу одного человека псевдоиндивидуальностям. Это могут быть существа вымышленные или взятые из жизни. Разве не снятся нам зачастую мертвые? Разве не разговариваем мы с ними?

Мертвые…

Неужели Терминус?..

Полубессознательно кружа по каюте, проплывая от одной стены к другой, Пиркс добрался до дверей и ухватился за них. Ему был виден темный отрезок коридора с падающей во тьму полосой света.

Вернуться туда?

Вернуться — и спрашивать?

Это какое-то физическое явление, более сложное, чем обычная запись: автомат — это ведь не прибор для фиксирования звуков. В нем возникла запись, наделенная некоторой самостоятельностью, изменчивостью. Запись, которой — как это ни странно звучит — можно задавать вопросы и узнать… все! Узнать о судьбе Симона, Нолана, Поттера и об этом непонятном, пугающем молчании командира…

Можно ли представить себе какое-нибудь другое объяснение этому?

Пожалуй, нет.

Пиркс был уверен в этом и все же не двинулся с места, словно ждал чего-то. В конце концов, нет тут ничего, кроме движения токов внутри железного ящика. Никого живого, ни одного существа, гибнущего во тьме разбитого корабля. Наверняка ничего!

Выстукивать вопросы под стеклянным взглядом Терминуса? Но ведь они, вместо того чтобы по порядку рассказывать свою историю, начнут звать его, просить кислорода, молить о спасении! Что ответить? Что они не существуют? Что они только «псевдоиндивидуальности», изолированные островки электронного мозга, его бред? Что их страх — только имитация страха, а их агония,

повторяющаяся каждую ночь, стоит не больше, чем заигранная пластинка? Он еще помнил вызванный своим вопросом стремительный взрыв ударов, тот крик, которым, полные изумления и внезапно проснувшейся надежды, они призывали его, — эту бесконечно повторяющуюся настойчивую, торопливую мольбу: «Отзовись! Кто говорит? Отзовись!!» Он еще чувствовал на кончиках пальцев отчаяние и неистовство этих ударов.

Они не существуют? А кто же тогда его звал, кто молил о помощи? И что изменится, если специалисты скажут, что за этими криками нет ничего, кроме циркуляции зарядов и колебаний, возбужденных резонансом пластин?

Пиркс сел за стол. Выдвинул ящик. Яростно придавил с шелестом вздыбившиеся бумаги, достал ту, которую искал, разложил перед собой и старательно разгладил, чтобы она не взлетела от дыхания. Одну за другой он стал заполнять печатные рубрики:

Модель: *AST-PM-10 5/0044.*

Тип: *Универсальный, ремонтный.*

Название: *Терминус.*

Род повреждения: *Распад функций.*

Выводы:

Пиркс задумался. Он приближал перо к бумаге и опять отводил. Он размышлял о невиновности машин, которых человек наделил способностью мыслить и тем самым сделал их соучастниками своих сумасбродств. О том, что легенда о Големе, машине, взбунтовавшейся и восставшей против человека, — ложь, придуманная, чтобы те, кто несет за все ответственность, могли эту ответственность с себя сбросить.

Выводы: *Сдать на слом.*

И внизу страницы, не дрогнув ни одним мускулом лица, подписался:

Первый пилот Пиркс.

Охота на Сэтавра

Злой как черт, Пиркс вышел из Управления космопорта. И надо же, чтобы это случилось именно с ним! Арматор не поставил груза — не поставил, и все тут. В Управлении ничего не знали. Разумеется, пришла телеграмма: «Опоздание семьдесят два часа, договорную неустойку перевожу ваш счет — Энстранд». Больше — ни словечка. В торговом представительстве он тоже ничего не добился. В порту становилось тесно, и Управление не удовлетворяла договорная неустойка. Простой простоем, но лучше бы навигатор стартовал и вышел на круговую. Двигатели можно выключить, никакого расхода горючего, переждете эти три дня и вернетесь. Почему бы вам этого не сделать?

Три дня болтаться вокруг Луны только из-за того, что подвел арматор! Пиркс просто не знал, что и возразить, но вовремя вспомнил про коллективный договор. Ну а когда он козырнул нормами пребывания в космосе, установленными профсоюзами, в Управлении все же пошли на уступки. Конечно, сейчас не Год Спокойного Солнца. Дозы радиации далеко небезвредны. Придется манев-

рировать, укрываться от Солнца за Луну, играть в пятнашки, расходуя горючее, а платить за это кто будет? Ясное дело, не арматор. Может, Управление космопорта? А вам известно, во что обходятся десять минут полной тяги реактора мощностью семьдесят миллионов киловатт?

В конце концов, он получил разрешение на стоянку но только на ближайшие семьдесят два часа плюс четыре часа на погрузку всей этой проклятой мелочи, и — ни минуты больше! Можно подумать, что они делают ему одолжение. Словно это его вина. А ведь он прибыл с точностью до минуты, хотя шел с Марса не прямиком, ну а если арматор…

Из-за всего этого Пиркс совершенно забыл, где он находится, и с такой силой нажал на ручку двери, что подпрыгнул к потолку. Ему стало неловко, он оглянулся, но поблизости никого не было. Луна-сити, казалось, весь вымер. Правда, километрах в двухстах к северу, между Ипатией и Торричелли, начались большие работы. Инженеры и техники, которые месяц назад тут все заполонили, уже выехали на Строительство. Большой проект ООН, Луна-II притягивал все новых людей с Земли. «На сей раз не будет хотя бы хлопот с гостиницей», — подумал Пиркс,

спускаясь по эскалатору на самый нижний этаж этого подземного города. Плафоны, зажженные через один, излучали холодный дневной свет. Экономят! Толкнув стеклянную дверь, он вошел в небольшой зал. Свободные номера имелись, как же иначе. Сколько угодно. Оставив свой чемоданчик, скорее несессер, у портье, Пиркс забеспокоился: проследит ли Тиндалл за тем, как механики отшлифуют центральную дюзу? Ведь еще на Марсе она плевала огнем, как средневековая митральеза! Лучше бы самому присмотреть, хозяйский глаз все же… Однако Пирксу не хотелось снова подниматься на двенадцатый этаж, тем более что все наверняка уже разошлись. Должно быть, сидят в торговом салоне космодрома и слушают новые пластинки. Пиркс все шел, сам не зная куда; гостиничный ресторан был совсем пуст, словно не работал, только за стойкой сидела рыжеволосая девушка и читала книгу. А может, заснула над ней? Ее сигарета превратилась в длинный столбик пепла на мраморной плите…

Усевшись, Пиркс перевел часы на местное время, и сразу сделалось поздно, десятый час. А только что, пару минут назад, на борту был полдень. Вечная карусель с внезапными пере-

скоками времени была столь же мучительна, как и вначале, когда он только учился летать. Пиркс съел обед, ставший ужином, и запил его минеральной водой, которая была, пожалуй, теплее супа. Официант, грустный и сонный, как настоящий лунатик, ошибся при расчете, однако не в свою пользу, что было уже опасным симптомом. Пиркс посоветовал ему провести отпуск на Земле, вышел потихоньку, стараясь не разбудить девушку, спавшую за стойкой, взял у портье ключ и поехал в свой номер. Он не сразу взглянул на бляшку и испытал какое-то странное ощущение, увидев цифры 173: в этом самом номере он уже останавливался, когда впервые летел на «ту сторону». Открыв дверь, он убедился все же, что либо это другая комната, либо ее совсем перестроили. Нет, должно быть, ошибся — та была побольше; он повернул все выключатели — темнота ему надоела, — заглянул в шкаф, выдвинул ящик маленького письменного стола, однако не стал разбирать чемодан, только бросил пижаму на кровать, а тюбик пасты и зубную щетку положил на умывальник. Вымыл руки — вода, как полагается, была адски холодной, удивительно, как это она не замерзала. Повернул кран теплой — вылилось несколько капель. Подошел к

телефону, чтобы позвонить администратору, но опять передумал. Конечно, это скандал. Луну освоили, а горячей воды в номере не допроситься! Включил радио. Как раз передавали вечерний выпуск — лунные известия. Пиркс почти не слушал, раздумывая, не послать ли телеграмму арматору. Разумеется, за его счет. Впрочем, и это ничего не даст. Романтические времена космонавтики давно миновали, теперь ты просто возница, зависишь от тех, кто грузит товар на телегу! Фрахт, страховка, плата за простой… Радио что-то неразборчиво бормотало. Стоп, что это оно говорит?.. Через кровать дотянулся к аппарату и повернул ручку. «…по-видимому, остатки потока Леонид[7], — наполнил комнату мягкий баритон диктора. — Только один жилой сектор был поврежден прямым попаданием и утратил герметичность. Люди, живущие в нем, находились по счастливому стечению обстоятельств на работе. Остальные метеориты не нанесли особых повреждений, за исключением одного, который пробил защитное перекрытие складов. Как сообщает наш корреспондент, шесть универсальных

[7] Примечания: 7

Леониды — метеоритный поток, орбиту которого Земля пересекает 13–14 ноября. Обильные метеоритные дожди, связанные с этим потоком, наблюдаются каждые 33 года.

автоматов, предназначенных для работ на территории Строительства, подверглись полному уничтожению. Была повреждена также линия высокого напряжения и прервана телефонная связь, однако через три часа ее удалось восстановить. Повторяем важнейшие сообщения. Сегодня утром состоялось открытие Панафриканского конгресса…»

Пиркс выключил радио и сел. Метеориты? Какой-то поток? Конечно, сейчас время Леонид, но ведь прогнозисты всегда накликают беду, точь-в-точь как на Земле синоптики… Строительство — должно быть, то, к северу от города. Но атмосфера есть атмосфера: ее отсутствие сильно дает о себе знать. Шесть автоматов… вот вам, пожалуйста! Хорошо хоть люди целы. Дурацкая история, однако, — пробило защитные покрытия! Да, этому проектировщику…

Пиркс почувствовал себя вконец измотанным. Время играло с ним в чехарду. Между Марсом и Землей у них, должно быть, выпал вторник, после понедельника сразу же наступила среда; в результате не досчитались также одной ночи. «Надо выспаться, и притом про запас», — подумал он, встал и машинально шагнул в сторону крохотной ванной, но, вспомнив о ледяной воде,

вздрогнул, круто повернулся и через минуту лежал в постели. Куда ей до космолетной койки! Рука автоматически поискала ремни для пристегивания одеяла; не найдя их, Пиркс слегка усмехнулся — он и забыл, что в гостинице внезапное исчезновение тяжести не угрожает…

Это была его последняя мысль; открыв глаза, он не сразу понял, где находится. Царила тьма египетская. «Тиндалл!» — захотелось ему позвать помощника, и неожиданно, совершенно непонятно почему, он вспомнил, как помощник, охваченный ужасом, выскочил однажды в пижамных штанах из каюты и отчаянно крикнул вахтенному: «Друг! Умоляю, скажи, как меня зовут?!» Бедняга ошалел, потому что, выдумав себе какую-то желудочную болезнь, уничтожил целую бутылку рому. Этим кружным путем мысль Пиркса тотчас вернулась к действительности. Он встал, включил лампу, залез под душ, вспомнил о воде и пустил сначала тоненькую струйку — вода была тепловатой; он вздохнул, потому что мечтал о горячей ванне, но через минуту под струями, бьющими в лицо, начал даже напевать.

Он надевал чистую рубашку, когда динамик — Пиркс и понятия не имел, что этот предмет находится в номере, — проговорил басом:

«Внимание! Внимание! Передаем важное сообщение. Всех мужчин, способных носить оружие, просят немедленно явиться в Управление космопорта, комната номер 318, к инженер-капитану Аганяну. Повторяю. Внимание, внимание…»

Пиркс так удивился, что целую минуту неподвижно стоял в одной рубашке и носках. Что это? Первоапрельские шуточки? Способных носить оружие? Может, он еще спит? Взмахнув руками, чтобы быстрее надеть рубашку, он ушибся о край стола, да так, что его бросило в жар. Нет, это не сон. Тогда что же? Вторжение? Марсиане захватывают Луну? Что за вздор! Во всяком случае, надо идти…

Он надевал брюки, а какой-то голос нашептывал ему, что все так и должно было произойти… раз уж он здесь. Такая уж у него судьба — притягивать приключения…

Когда Пиркс выходил из комнаты, стрелки показывали восьмой час. Он хотел узнать у первого встречного, что же произошло, но в коридоре никого не было, на эскалаторе тоже, словно только что прошла всеобщая мобилизация, словно все уже где-то, черт знает где, дрались на передовой… Он бежал вверх по эскалатору, который и без того двигался быстро. Спешил, словно и в самом деле боялся, что упустит случай совершить героический подвиг. Наверху он заметил ярко освещенный стеклянный киоск с газетами, подбежал к окошку, чтобы задать наконец вопрос, но ларек был пуст. Газеты продавал автомат.

Пиркс купил пачку сигарет и газету, которую просмотрел, не сбавляя шага, однако не нашел в ней ничего, кроме описания метеоритной катастрофы. Может, дело в ней? А тогда при чем тут оружие?.. Нет, конечно. По длинному коридору он подошел к Управлению и увидел, наконец, людей. Кто-то как раз входил в комнату номер 318, кто-то приближался к ней с противоположного конца коридора.

«Теперь уж я ничего не узнаю, не успею», — подумал Пиркс, оправил китель и вошел. Это была небольшая комната с тремя окнами, за которыми пылал искусственный лунный пейзаж неприятного цвета раскаленной ртути. В более узкой части трапециевидной комнаты стояли два письменных стола, а все пространство перед ними было уставлено стульями, принесенными, видимо, второпях: почти все они были разными. В комнате находилось человек четырнадцать-пятнадцать, в основном мужчины среднего возраста и несколько юношей с нашивками курсантов космической навигации. Отдельно сидел какой-то немолодой командор, другие стулья пока пустовали. Пиркс уселся возле курсанта, который тут же рассказал ему, что накануне они прилетели вшестером, чтобы пройти практику на «той

стороне» Луны, но в их распоряжении был только маленький аппарат, так называемая «блоха», который взял лишь троих, остальным пришлось ждать своей очереди, а тут внезапно случилась эта история. Не знает ли чего-нибудь навигатор?.. Но навигатор сам ничего не знал. По выражению лиц можно было определить, что и остальные застигнуты врасплох необычным вызовом, — пожалуй, все они пришли из гостиницы. Курсант, вспомнив, что обязан представиться, выполнил несколько гимнастических упражнений, едва не опрокинув при этом стул. Пиркс подхватил стул за спинку, но тут дверь отворилась, и вошел невысокий черноволосый человек с тронутыми сединой висками; у него были выбритые до синевы щеки, мохнатые брови и маленькие проницательные глаза. Он молча прошел между стульями к письменному столу, раскрутил подвешенный к потолку рулон с картой «той стороны» в масштабе 1:1 000 000 и, потерев ребром ладони мясистый нос, сказал безо всякого вступления:

— Здравствуйте, я Аганян. Объединенное руководство Луны-I и Луны-II временно уполномочило меня руководить операциями по обезвреживанию Сэтавра.

Присутствующие зашевелились, но Пиркс по-

прежнему ничего не понимал, не знал даже, что такое Сэтавр.

— Те из вас, кто слушал радио, знают, что здесь, — Аганян указал линейкой на окрестности кратера Ипатии и Альфрагануса, — вчера выпал рой метеоритов. Не буду говорить об ущербе, нанесенном остальными метеоритами; но вот один из них, пожалуй самый большой, пробил перекрытия складов B7 и R7, причем в последнем находилась партия Сэтавров, доставленных с Земли всего четыре дня назад. В сообщениях передавалось, что все они уничтожены, однако это не соответствует действительности.

Курсант, сидевший возле Пиркса, слушал с пунцовыми ушами, даже рот приоткрыл, точно боялся упустить хотя бы одно слово. Аганян же продолжал рассказывать:

— Обвалившийся свод раздавил пять роботов. Шестой уцелел. Точнее, был поврежден — мы так считаем, поскольку он выбрался из-под развалин и с этого момента начал вести себя, как, как… — Аганян не нашел подходящего слова и, не закончив фразы, продолжал: — Склады находятся у боковой ветки узкоколейной дороги, в восьми километрах от временной посадочной площадки. Сразу же после катастрофы начались

спасательные работы. В первую очередь провели перекличку, чтобы выяснить, не погребен ли под развалинами кто-нибудь из личного состава. Эта операция заняла примерно час; тем временем обнаружилось, что сектор центрального управления работ потерял герметичность, и операция затянулась до полуночи. Около часа ночи выяснилось, что авария высоковольтной линии, питающей всю территорию Строительства, а также нарушение телефонной связи были вызваны не метеоритами — кабель был рассечен… лучом лазера.

Пиркс зажмурился. Ему упорно казалось, что он участвует в каком-то спектакле, ибо такие события не могли происходить наяву. Фиолетовый лазер. Да неужели?! Может, его провез марсианский шпион? Но инженер-капитан не походил на человека, который поутру собирает постояльцев гостиницы, чтобы сыграть с ними глупую шутку.

— Телефонную связь восстановили в первую очередь, — рассказывал Аганян, — а тем временем малый вездеход аварийной службы, который добрался до места, где был рассечен кабель, утратил радиотелеграфную связь с управлением Луна-сити; в три часа утра стало известно, что вездеход был обстрелян из лазера и после

нескольких попаданий загорелся. Водитель и его помощник погибли, а два члена экипажа, которые, к счастью, уже надели скафандры, потому что готовились выйти на ремонт линии, успели выпрыгнуть и укрыться в пустыне, то есть в Mare Tranquilitatis, приблизительно здесь, — Аганян указал линейкой на район Моря Спокойствия, удаленный километров на четыреста от небольшого кратера Араго.

— Никто из них, насколько мне известно, не видел нападавшего. Просто в определенный момент времени они почувствовали очень уж сильный тепловой удар, и вездеход загорелся. Они выпрыгнули, прежде чем взорвались баллоны со сжатым газом, их спасло отсутствие атмосферы, потому что взорвалась только часть горючего, которая могла соединиться с кислородом внутри вездехода. Один из этих людей погиб — при не установленных пока обстоятельствах, — а другому удалось вернуться на территорию Строительства. Он пробежал в скафандре около ста сорока километров и израсходовал весь свой запас воздуха; наступила аноксия — кислородное голодание; к счастью, его подобрали, и сейчас он в госпитале. О том, что с ним произошло, мы узнали из его рассказа, и эти сведения нуждаются

поэтому в дальнейшей проверке.

Наступила мертвая тишина. Пиркс начал понимать, что все это значит, однако еще не верил, не хотел верить…

— Вы, безусловно, догадываетесь, — продолжал ровным голосом черноволосый человек, который угольно-черным силуэтом выделялся на фоне лунного пейзажа, пылающего ртутью, — что тем, кто перерезал телефонный кабель и линию высокого напряжения, а также напал на вездеход, был уцелевший Сэтавр. Это пока мало изученная модель, в серийное производство запущена лишь в прошлом месяце. Вместе со мной сюда должен был прийти инженер Кларнер, один из конструкторов Сэтавра, чтобы подробно разъяснить вам как возможности этой модели, так и средства, которыми следует теперь воспользоваться, чтобы обезвредить ее или уничтожить…

Курсант, сидевший рядом с Пирксом, тихонько взвыл от восторга. Это был наивысший восторг, даже не пытающийся надеть личину ужаса. Юноша не заметил укоризненного взгляда навигатора. Впрочем, никто сейчас не замечал и не слышал ничего, кроме голоса инженер-капитана.

— Я не интеллектроник и не могу рассказать

о Сэтавре. Но среди присутствующих должен находиться доктор Маккорк. Он здесь?

Впереди поднялся высокий, худой человек в очках.

— Я здесь. Я не принимал участия в проектировании Сэтавров, знаю только нашу, английскую модель, близкую к американской, но не идентичную ей. Все же различия не очень велики. Могу быть полезным…

— Великолепно. Прошу вас, доктор, подойдите сюда… Я только обрисую вкратце обстановку: Сэтавр находится где-то здесь, — концом линейки Аганян указал на «берег» Моря Спокойствия, — то есть на расстоянии тридцать-восемьдесят километров от территории Строительства. Как и все Сэтавры, он предназначался для горных работ в очень тяжелых условиях, при высокой температуре, при повышенной опасности обвалов, поэтому модель имеет массивный корпус и покрыта толстой броней… Но об этом подробнее скажет доктор Маккорк. Какими средствами мы располагаем, чтобы обезвредить Сэтавра? Руководители всех лунных баз выделили нам некоторое количество взрывчатки — динамита и

оксиликвита[8], а также ручные лазеры ближнего действиям горные лазеры, причем ни эти взрывчатые вещества, ни лазеры не носят, конечно, характера боевых средств. Группам, посланным на уничтожение Сэтавра, будут даны вездеходы ближнего и среднего радиуса действия, в том числе две машины, покрытые легкой противометеоритной броней. Только такие машины выдерживают удар лазерного луча с расстояния около километра. Правда, данные эти относятся к Земле, где атмосфера сильно поглощает энергию излучения. Здесь атмосферы нет, и, значит, эти вездеходы по сравнению с остальными будут подвергаться лишь немногим меньшей опасности. Мы получим также много скафандров и кислорода; боюсь, что это все. Около полудня из советского сектора прилетит «блоха» с экипажем из трех человек; она может принять на борт до четырех человек и перебросить их на короткую дистанцию в глубь района, где находится Сэтавр. Пока на этом закончу. Прошу вас разборчиво написать фамилию и специальность на этом листе бумаги. Тем временем, быть может, доктор Маккорк пожелает сказать несколько слов

[8] Примечания: 8

Оксиликвит — взрывчатое вещество, состоящее из пористого углеродистого материала, пропитанного жидким кислородом.

о Сэтавре. Самое важное, как я полагаю, найти ахиллесову пяту…

Маккорк стоял рядом с Аганяном. Он был еще более худым, чем показалось Пирксу сначала, — торчащие уши, слегка треугольный череп, едва заметные брови, неопределенного цвета шевелюра — и при этом Маккорк вызывал удивительную симпатию.

Сначала он снял очки в стальной оправе, словно они мешали ему, положил их на край стола перед собой и лишь после этого начал говорить:

— Я солгу, если стану утверждать, будто мы предвидели подобные случаи. Но, помимо формул, в голове у кибернетика должно иметься хотя бы подобие интуиции. Вот почему до сих пор мы не решались передать нашу модель в серийное производство. Лабораторные испытания показали высокую эффективность Мефисто — так называется наша модель. Сэтавр отличается от него лучшей балансировкой возбуждения и торможения. По крайней мере, так я считал до сих пор, опираясь на литературные источники, — теперь я в этом не столь уверен. В названии есть привкус мифологии, но это просто сокращение слов Самопрограммирующийся электронный троичный автомат с рацемической памятью, по-

скольку в конструкции его мозга использованы как право-, так и левовращающие псевдокристаллические мономеры. В данный момент это, по-видимому, не играет роли. Автомат снабжен фиолетовым лазером для горных работ, энергию для световых импульсов дает микрокотел, действие которого основано на принципе холодной цепной реакции, благодаря чему Сэтавр, насколько я помню, может развивать в импульсе мощность порядка 45 000 киловатт.

— Какой у него срок службы? — спросил кто-то.

— С нашей точки зрения — вечный, — мгновенно ответил худощавый доктор. — Во всяком случае многолетний. Что, собственно, могло случиться с этим Сэтавром? Попросту говоря, я думаю, что он получил удар по голове. И этот удар оказался необычайно сильным: ведь в конце-то концов даже здесь, на Луне, обвал здания может повредить хромо-никелевый череп. Что же произошло? Подобных экспериментов мы никогда не проводили: они стоят слишком дорого, — Маккорк неожиданно усмехнулся, показав ровные мелкие зубы, — однако в целом известно, что четко локализованное повреждение небольшого, то есть сравнительно простого, мозга, иными

словами обычной цифровой машины, приводит к полному распаду функций. Но чем ближе мы подходим к имитации процессов, происходящих в человеческом мозге, тем в большей степени такой сложный мозг оказывается способным функционировать, несмотря на частичные повреждения. Мозг животного, например кошачий, имеет определенные центры, возбуждение которых вызывает реакцию, внешне напоминающую взрыв агрессивной ярости. Мозг Сэтавра устроен иначе: он обладает неким приводом, мотором активности, которую можно направлять по разным каналам. Так вот, произошло какое-то прямое подключение этого центра активности к блоку с программой разрушения. Я излагаю вопрос, разумеется, с предельными упрощениями.

— А откуда взялась эта программа разрушения? — спросил тот же голос, что и раньше.

— Это ведь автомат, предназначенный для горных работ, — пояснил доктор Маккорк. — Его задача — проходить штольни, штреки, бурить скальные породы, дробить особо твердые минералы, вообще разрушать плотные сгустки вещества, разумеется, не всюду и не всякие; но в результате травмы в мозгу Сэтавра возникло известное обобщение программы. Впрочем, моя

гипотеза может оказаться совершенно ложной. Эта проблема, чисто теоретическая, приобретет существенный интерес позже, когда мы сделаем из его шкуры ковер. Пока важнее всего уяснить, на что способен Сэтавр. Он может передвигаться со скоростью пятьдесят километров в час, причем по любой местности. Он совершенно не нуждается в смазке — все трущиеся поверхности в суставах работают на тефлоне. Он снабжен магнитной экранировкой, броню его не пробивает ни пистолетная, ни винтовочная пуля; подобные испытания не проводились, но думаю, что только бронебойный снаряд… у нас ведь нет таких орудий, не правда ли?

Аганян отрицательно покачал головой. Он взял список, который успел к нему вернуться, и принялся читать, ставя против фамилий маленькие значки.

— Разумеется, взрыв достаточно большого заряда разрушит Сэтавра, — продолжал доктор

Маккорк спокойно, словно говорил о самых обыденных вещах. — Но ведь такой заряд нужно сначала подвести к нему, а я опасаюсь, что это будет нелегкой задачей.

— Где именно помещается у него лазер? В голове? — спросил кто-то из аудитории.

— У него нет головы, только выступ, некое вздутие между плечами. Это повышает его сопротивляемость при обвалах. Рост Сэтавра 220 сантиметров, и, значит, стреляет он с высоты двух с чем-то метров; глазок лазера защищен металлическим веком; при неподвижном корпусе зона обстрела у Сэтавра равна тридцати градусам, большая зона обстрела достигается поворотами всего корпуса. Мощность лазера составляет 45 000 киловатт; каждый специалист поймет, что это очень большая мощность — луч легко пробивает стальную плиту толщиной в несколько сантиметров…

— С какой дистанции?

— Это фиолетовый лазер с очень малым углом расхождения светового пучка… поэтому дистанция практически ограничена лишь полем зрения; на равнине горизонт отстоит здесь на два километра, и, по меньшей мере, таким же будет радиус поражения.

— Мы получим специальные горнопроходческие лазеры в шесть раз большей мощности, — вставил Аганян.

— Но ведь это попросту то, что американцы называют overkill — сверхуничтожение, — возразил Маккорк, слегка усмехаясь, — это превосходящая мощность лазера не дает в поединке с Сэтавром никакого преимущества.

Кто-то спросил, нельзя ли уничтожить автомат с борта космического корабля. Маккорк признал себя некомпетентным. Аганян, заглянув в список, сказал:

— Здесь присутствует навигатор первого ранга Пиркс… Быть может, он ответит нам на этот вопрос?

Пиркс встал.

— Теоретически корабль среднего тоннажа, как мой «Кювье», с массой покоя 16 000 тонн мог бы, безусловно, уничтожить такого Сэтавра, если б накрыл его своей реактивной струей… Температура выхлопной плазмы превышает шесть тысяч градусов на расстоянии девятисот метров — этого, видимо, хватило бы?..

Маккорк кивнул.

— Но это чисто спекулятивное рассуждение, — вновь заговорил Пиркс. — Ведь надо было бы

прицелиться кораблем, а столь малая мишень, как Сэтавр, ростом всего с человека, сумеет ускользнуть, если не закреплена неподвижно, потому что боковая скорость корабля, маневрирующего у поверхности планеты, в поле ее тяготения, очень мала и не может быть даже речи о высшем пилотаже. Таким образом, остается использовать только малые корабли, скажем каботажный флот Луны. Однако у них слабый выхлоп со сравнительно небольшой температурой, значит, если использовать такое суденышко в качестве бомбардировщика, то, вероятно… ведь для точной бомбардировки нужны специальные приборы, прицелы, которыми Луна не располагает. Я не усматриваю такой возможности. Разумеется, можно и даже нужно использовать эти машины, но только с целью разведки, то есть обнаружения автомата.

Он хотел уже сесть, но внезапно в голову ему пришла новая мысль.

— Верно, — сказал он, — реактивные ранцы. Их можно использовать. Точнее, их могут использовать люди, умеющие с ними обращаться.

— Это те маленькие индивидуальные ракеты, которые крепятся к спине? — спросил Маккорк.

— Да. С их помощью можно делать прыжки

в высоту и даже повисать неподвижно; в зависимости от модели и типа длительность такого полета составляет от одной до нескольких минут, а достигаемая высота — от пятидесяти до четырехсот метров…

Аганян встал.

— Это, пожалуй, существенно. Кто из присутствующих прошел тренировку с этими аппаратами?

Поднялись две руки. Потом еще одна.

— Только трое?.. — протянул Аганян. — А, и вы также? — добавил он, увидев, что Пиркс, сориентировавшись, лишь теперь поднял руку. — Всего, значит, четверо. Пожалуй, маловато… Поищем еще среди персонала космодрома. Речь идет, конечно, о добровольном участии. Именно с этого мне следовало начать. Кто из вас хочет принять участие в операции?

Стало шумно, потому что все присутствующие поднялись со своих мест.

— Благодарю от имени руководства, — сказал Аганян. — Это хорошо… Итак, мы имеем семнадцать добровольцев. Нам обеспечена поддержка трех подразделений лунного флота, и, кроме того, мы располагаем десятью водителями и радистами для обслуживания вездеходов. Прошу

оставаться всех на месте, а вас, — он обратился к Маккорку и Пирксу, — прошу пройти со мной к начальству...

Около четырех часов пополудни Пиркс сидел в башенке большого гусеничного вездехода, подскакивая от резких толчков; на нем был скафандр, на коленях лежал шлем, который можно было надеть по первому сигналу тревоги, а на шее висел тяжеленный лазер, рукоятка которого немилосердно колотила Пиркса по груди; в левой руке он держал микрофон, а в правой поворачивал перископ, наблюдая за растянувшимся в длинную цепь отрядом вездеходов; словно яхты, качались они на волнистых равнинах Моря Спокойствия. Это пустынное «море» полыхало солнечным блеском от одного черного горизонта до другого. Пиркс принимал и передавал донесения, разговаривал с Луной-1, с командирами других машин, с пилотами разведывательных кораблей — крохотный огонек их выхлопа возникал иногда среди звезд черного неба, и все же временами не мог отделаться от впечатления, что это какой-то запутанный и нелепый сон.

События принимали все более бурный оборот. Не одному Пирксу казалось, что руководство Строительства поддалось чему-то вроде паники;

что в конце-то концов мог сделать один автомат, недоумок, даже вооруженный лучеметом? Поэтому, когда на втором совещании «на высшем уровне», состоявшемся в полдень, кто-то предложил обратиться в ООН или хотя бы попросить у Совета Безопасности «специальной санкции» на ввоз артиллерийского оружия (лучше всего боевых ракет) или, быть может, даже атомных снарядов, Пиркс вместе с другими запротестовал: после такой просьбы они станут посмешищем для всей Земли.

Впрочем, было ясно, что подобного решения международного органа надо ждать много дней, если не недель; тем временем «сумасшедший» робот может забрести бог знает куда, а до того, кто спрятался в недоступных трещинах лунной коры, не доберутся уже никакие орудия; надлежало поэтому действовать быстро и решительно. Тут выяснилось, что наибольшую трудность составит проблема связи — больной вопрос всех лунных мероприятий. Имелось около трех тысяч патентов на различные изобретения, которые пытались улучшить эту связь, от сейсмического телеграфа (с использованием микровзрывов в качестве сигналов) до «троянских» стационарных спутников. Такие спутники были выведены на

орбиту еще в прошлом году, что, однако, никак не улучшило существующего положения.

Практически задачу решали с помощью системы ультракоротковолновых передатчиков, вынесенных на мачты; это очень походило на прежние земные ретрансляционные линии доспутникового телевидения. Такая система была надежнее спутниковой связи, поскольку инженеры все еще ломали головы, как сделать орбитальные передатчики не чувствительными к «солнечному ветру». Любой скачок активности Солнца и вызванный им «ураган» электрически заряженных частиц высокой энергии, которые пронизывали космос, тут же создавал помехи, затруднявшие связь зачастую на несколько дней. В настоящее время как раз бушевал один из таких «солнечных тайфунов», поэтому сообщение между Луной-1 и Строительством шло по наземным линиям и успех «Операции Сэтавр» в значительной мере зависел от того, не вздумает ли «мятежник» уничтожить фермы мачт, сорок пять штук которых находилось в пустыне, отделяющей Луна-сити с космодромом от территории Строительства. При условии, конечно, что автомат по-прежнему будет рыскать в их окрестностях.

Сэтавр обладал полной свободой маневрирования, не нуждался ни в горючем, ни в кислороде, ни в сне или отдыхе; он был столь автономен, что многие инженеры лишь теперь по-настоящему осознали, какую совершенную машину создали они собственными руками — дальнейших ее поступков никто не мог предугадать. Меж тем, разумеется, продолжались начатые еще ранним утром прямые переговоры Луна — Земля между командованием операцией и фирмой «Кибертроникс» — штабом конструкторов Сэтавра, но от конструкторов не удалось узнать ничего такого, чего ранее не сказал бы доктор Маккорк. Только профаны пытались еще уговорить специалистов предсказать при помощи большой вычислительной машины, какую тактику изберет автомат.

Был ли Сэтавр разумен? Конечно, но по-своему! Эта «излишняя», приносящая сейчас вред «разумность» машины вызывала гнев участников операции: они не могли понять, чего ради инженеры наделили машину, предназначенную только для горных работ, такой свободой и самостоятельностью действий. Маккорк спокойно растолковывал, что «интеллектронное завышение» представляет собой — на нынешнем этапе развития техники — то же самое, что

и избыточный запас прочности, которым, как правило, обладают традиционные машины и двигатели. Это аварийный резерв, повышающий безопасность и надежность функционирования, ибо невозможно заранее предвидеть, в каких ситуациях окажется машина, энергетическая или информационная.

Таким образом, никто, по существу, не мог предугадать, что же предпримет Сэтавр. Конечно, отовсюду, а в частности и с Земли, специалисты слали по телеграфу свои рекомендации; беда была только в том, что они оказывались диаметрально противоположными. Одни предполагали, что Сэтавр попытается уничтожить «искусственные» объекты, вроде мачт высокого напряжения или ретрансляционных вышек, другие, напротив, считали, что он растратит свою энергию на непродуктивное уничтожение всего, что попадется ему на пути, будь то лунная скала или вездеход с людьми. Первые склонялись к мысли о немедленной атаке с целью уничтожить Сэтавра, вторые советовали избрать тактику выжидания.

Мнения сходились только в том, что надо неотступно следить за передвижениями Сэтавра. Вот почему двенадцать малых кораблей лунной флотилии уже с утра патрулировали Море Спо-

койствия и непрерывно посылали донесения группе, обороняющей территорию Строительства и находящейся в постоянном контакте с Управлением космодрома. Было нелегко найти Сэтавра, этот кусок металла, среди огромной скалистой пустыни, покрытой полями осыпей, трещинами, полузасыпанными расщелинами и к тому же усеянной оспинами миниатюрных кратеров.

Если б в этих донесениях говорилось, что Сэтавр не найден! Но ведь патрулирующие экипажи уже неоднократно поднимали тревогу, обнаружив «сумасшедшего», который оказывался потом скалой какой-то особенной формы или куском лавы, искрившимся в лучах солнца. Даже применение ферро-индукционных искателей наряду с локаторами не очень-то помогало: ведь от исследовательских экспедиций времен первоначального покорения Луны на скалистых пустынях осталось огромное множество металлических баков, обгорелых гильз от ракетных патронов и всевозможного жестяного мусора, который то и дело становился причиной новых тревог. Так что командование операцией все сильней и сильней желало, чтобы Сэтавр атаковал наконец какой-нибудь объект, чтобы он появился; однако в последний раз он дал о себе

знать девять часов назад атакой на маленький вездеход аварийной технической помощи электриков и с той поры словно провалился сквозь лунную поверхность.

Поскольку никто не считал возможным ждать — электроэнергия была нужна Строительству немедленно, — операция, которая разворачивалась на девяти тысячах квадратных километров, была основана на том, что две встречные волны вездеходов прочесывали эту территорию, направляясь друг к другу с противоположных сторон: с севера и с юга. Со стороны Строительства шла одна цепь под командованием главного технолога Стрибра, а от космодрома Луна-сити — другая, и в ней-то при командующем, которым был капитан-навигатор Плейдар, роль координатора действий обеих сторон выполнял Пиркс. Он хорошо понимал, что в любую минуту они рискуют пропустить Сэтавра, укрывшегося, скажем, в глубокой тектонической трещине; они не заметят его, даже если он будет просто обсыпан светлым лунным песком; Маккорк, который как «советник-интеллектроник» ехал вместе с Пирксом, придерживался того же мнения.

Вездеход швыряло из стороны в сторону с чудовищной силой; они шли на скорости, от которой,

как их безмятежно предупредил водитель, «рано или поздно вытекут глаза». Они находились в восточной зоне Моря Спокойствия, и меньше часа езды отделяло их от района, где с наибольшей вероятностью мог находиться автомат. После пересечения этой условной границы весь экипаж должен был надеть шлемы, чтобы тотчас покинуть вездеход при внезапном поражении и пожаре или утрате герметичности.

Вездеход переделали в боевую машину: механики смонтировали на его шарообразной башенке мощный горный лазер, однако с точностью боя дело обстояло плохо. Пиркс считал ее совершенно иллюзорной, особенно в сравнении с меткостью Сэтавра, который был оборудован автоматическим прицелом; его фотоэлектрические глаза сопрягались с лазером, и он мог мгновенно поразить объект, находящийся в центре поля зрения. На вездеходе же установили какой-то странный прицел, переделанный, наверно, из старого космического дальномера, и опробовали его при выходе из Луна-сити, постреляв по скалам на горизонте. Скалы были довольно большими, расстояние не превышало километра, и все же удалось попасть в них лишь с четвертого выстрела. Тут еще раз дали себя знать лунные

условия, ибо луч лазера виден как ослепительная нить только в рассеивающей среде, например в земной атмосфере; в вакууме пучок света любой интенсивности невидим, пока он не наткнется на какое-либо препятствие. Поэтому на Земле можно стрелять из лазера, как стреляют трассирующими пулями, корректируя огонь по видимой линии их полета. На Луне лучемет без прицела был лишен практической ценности. Пиркс сказал об этом Маккорку, когда лишь несколько минут езды отделяли их от предполагаемой опасной зоны…

— Я не подумал об этом, — ответил ему инженер и добавил с усмешкой: — Зачем, собственно, вы мне это говорите?

— Чтобы избавить вас от иллюзий, — ответил Пиркс, не отрывая глаз от окуляра перископа. Хотя оправу окуляра и прикрывала подушечка

из пенорезины, Пиркс сознавал, что очень долго будет ходить с подбитым глазом (разумеется, если выйдет живым из этой истории). — А также чтобы объяснить вам, для чего мы тащим за собой всю эту лавочку.

— Эти баллоны? — спросил Маккорк. — Я видел, как вы брали со склада. Что в них такое?

— Аммиак, хлор и какие-то углеводороды, — ответил Пиркс. — Думаю, что они нам пригодятся…

— Газо-дымовая завеса?.. — попытался угадать инженер.

— Нет, я сейчас думал скорее о каком-то способе корректировать огонь: если нет атмосферы, надо ее создать, хотя бы ненадолго…

— Боюсь, что нам не хватит времени…

— Может быть; я взял их на всякий случай. Против безумца лучше всего применять безумную тактику…

Они замолчали, потому что вездеход начало швырять, как мячик, амортизаторы бились и скрежетали, в любое мгновение в них могло закипеть масло. Вездеход мчался по скату, усеянному остроконечными обломками скал. Противоположный склон сверкал пемзовой белизной.

— Вы знаете, чего я больше всего опасаюсь? — начал Пиркс, когда рывки вездехода немного

ослабли (он стал удивительно разговорчивым). — Не Сэтавра — совсем не его… Этих вездеходов со Строительства: вот будет весело, если один из них вдруг примет тебя за Сэтавра и начнет вспарывать лазером.

— Я вижу, вы все предусмотрели, — буркнул инженер.

Курсант, сидевший рядом с радистом, перегнулся через спинку своего кресла и подал Пирксу кое-как нацарапанную радиограмму.

Вошли опасную зону района двадцатой ретрансляционной мачты пока ничего точка Стрибр точка, — громко прочитал Пиркс. — Скоро и нам придется надевать шлемы…

Вползая на склон, машина сбавила скорость. Пиркс заметил, что не видит левого соседа — только правый вездеход темным пятнышком полз вверх по откосу. Он приказал вызвать левую машину по радио, однако ответа не последовало.

— Начинаем разбредаться, — спокойно сказал Пиркс. — Этого я и ожидал. Нельзя ли поднять антенну повыше? Нет? Плохо.

Они взобрались уже на самую вершину пологого холма. Из-за горизонта высунул свой зубчатый хребет кратер Торричелли, находящийся примерно в двухстах километрах отсюда; залитый

солнцем, он резко вырисовывался на черном фоне небосклона. Равнина Моря Спокойствия почти вся осталась позади. Появились глубокие тектонические трещины, из-под крупного песка кое-где выступали базальтовые плиты, через которые вездеход переползал с трудом, высоко задирая нос, словно яхта на волне, а потом тяжело валился вниз, будто собираясь лететь кувырком в бездонную пропасть. Пиркс заметил очередную ретрансляционную мачту, бросил быстрый взгляд на прижатый к колену планшет с целлулоидным верхом и приказал всем надеть шлемы. Теперь они могли разговаривать только по внутреннему телефону; оказалось, что пустыня может швырять вездеход еще сильнее, чем до сих пор, — голова болталась в шлеме, словно ядрышко ореха в пустой скорлупе.

Когда, наконец, они спустились ниже по склону, зубчатый кратер Торричелли исчез, закрытый ближними холмами, — и почти одновременно исчез из виду правый сосед. Еще минуты две они слышали его позывные, потом волны, отраженные от скал, исказились, и наступил так называемый «мертвый радио-штиль». Смотреть в перископ, когда на голове шлем, очень неудобно; Пирксу казалось, что либо он выбьет

иллюминатор, либо разобьет окуляр. Он делал что мог, стараясь не повторять обзор; равнина, усеянная обломками скал, колыхалась в такт с толчками машинами. Перед глазами в хаотическом смещении мелькали черные как уголь тени и ослепительные поверхности скал. Внезапно крохотное оранжевое пламя прыгнуло во мрак далекого неба, замерцало, сжалось и исчезло. И снова блеск, немного поярче. Пиркс крикнул: «Внимание! Вижу какой-то взрыв!» — и принялся яростно крутить ручку перископа, отсчитывая азимут по прозрачной гравировке стеклянной шкалы.

— Изменить курс! — рявкнул он. — 47 запятая 8, полный вперед!

Водитель понял его, хотя так командуют, собственно, на космическом корабле; обшивка и все узлы вездехода спазматически вздрогнули, и, развернувшись почти на месте, машина рванулась вперед. Пиркс поднялся с кресла, потому что, когда он сидел, толчки отрывали его от окуляра. Новая вспышка — на это раз малинового перистого пламени. Однако источник вспышек или взрывов находился вне поля зрения, скрытый хребтом, на который они взбирались.

— Внимание! — сказал Пиркс. — Подготовить

личные лазеры! Доктор Маккорк, подойдите к люку, по моей команде или в случае попадания откройте его. Водитель, сбавьте скорость…

Холм, на который карабкалась машина, вздымался над пустыней, как голень какого-то лунного чудовища, наполовину погруженная в крупный песок; гладкостью эта скала и в самом деле напоминала отполированный скелет или гигантский череп; Пиркс приказал водителю въехать на вершину. Гусеницы заскрежетали, словно сталь царапала по стеклу. «Стоп!» — крикнул Пиркс: вездеход, резко затормозив, клюнул носом скалу, закачался, амортизаторы застонали от напряжения и замерли в неподвижности.

Пиркс вглядывался в неглубокую котловину, охваченную с двух сторон вытянутыми в виде лучей каменными осыпями древних магматических потоков; две трети обширной впадины лежали под ярким солнцем, последнюю треть окутывал саван абсолютного мрака. На фоне этой бархатной тьмы, как сатанинская драгоценность, угасал в красном свечении наполовину распоротый остов какой-то машины. Кроме Пиркса, его видел только водитель, потому что броневые заслонки иллюминаторов были опущены.

Пиркс, по правде говоря, не знал, что надо

делать. «Это какой-то вездеход, — раздумывал он. — Куда он шел? На юг? Видимо, из группы Строительства, но кто же подбил его? Сэтавр? В таком случае мы стоим здесь на виду как кретины, надо укрыться. Но где же все остальные вездеходы, северные и южные?»

— Готов! — крикнул радист. Он переключил рацию вездехода на внутреннюю сеть так, чтобы все могли слышать в шлемах принимаемые сигналы.

— Осе-портативный обвал. Стена осумкобелена — повторение повторное излишне — доступ по азимуту — поликристаллическая метаморфизация… — загудел в наушниках Пиркса голос, выговаривающий слова отчетливо, монотонно и без малейшей интонации…

— Это он! — взревел Пиркс. — Сэтавр! Алло, радист! Пеленгуй, быстро пеленгуй! Давай пеленг! Черт побери! Пока он еще передает!

Он орал так, что его оглушил собственный крик, усиленный замкнутой полостью шлема; не ожидая, пока радист очнется, он прыгнул, согнувшись, под купол, схватил двойную рукоять тяжелого лазера и стал поворачивать его вместе с башенкой, прильнув глазами к окуляру прицела. Тем временем в шлеме гудел этот низкий, как бы

немного грустный, размеренный голос:

— Труднодвукислое вискозное недоокрашивание, а не раскрышечные сегменты без новых седлообразных включений… — бессмысленная болтовня, казалось, все более ослабевала.

— Где этот чертов пеленг?!!

Пиркс, не отрывая глаз от прицела, услышал неразборчивый шум: это Маккорк бросился вперед, оттолкнул радиста, послышалась какая-то возня, и тут же в наушниках раздался спокойный голос кибернетика:

— Азимут 39,9… 40,0-40,1-40,2…

— Передвигается, — понял Пиркс.

Башенка поворачивалась вращением рукояток, и он вращал их так, что едва не вывихнул руки. Цифры ползли лениво. Красная черточка переваливала за сорок.

Внезапно голос Сэтавра перешел в протяжный визг и умолк. В тот же момент Пиркс нажал на спуск — и в полукилометре ниже, на самой границе света и тени, скала брызнула сверхсолнечным блеском.

Из-за толстых рукавиц было чудовищно трудно удерживать рукоятку в неподвижности. Пламя, ярче солнечного, ввинтилось во тьму котловины метрах в десяти от погасающего остова, останови-

лось и, разбрызгивая окалину, пробилось дальше, выбросив две метелочки искр. В наушниках что-то бормотало. Пиркс, не обращая внимания, резал все дальше этой линией тончайшего страшного огня, пока она не разбилась искристым радиантом о какой-то каменный столб. Перед глазами вращались, все разрастаясь, багровые круги, но сквозь их танец Пиркс заметил ослепительный синий глаз, меньший, чем острие иглы, который раскрылся в самой глубине мрака, где-то сбоку, не там, куда он стрелял, и, прежде чем он успел нажать на рукоятки лазера, чтобы повернуть его вместе с турелью, скала у самой машины плюнула в них жидким солнцем.

— Полный назад! — рявкнул Пиркс, рефлекторно подогнул ноги и в результате перестал что-либо видеть, — впрочем, он ничего бы и не увидел, кроме этих багровых, медленно ползущих кругов, которые становились то черноватыми, то золотистыми.

Двигатель заревел, их швырнуло так, что Пиркс полетел на дно вездехода и покатился вперед между коленями радиста и курсанта; баллоны, крепко принайтовленные снаружи к броне, отозвались пронзительным дребезжанием. Машина мчалась задним ходом, что-то страшно хрустнуло

под гусеницей, развернуло вездеход, швырнуло его в сторону — мгновение казалось, что он начинает уже переворачиваться, но водитель, отчаянно нажимая на газ, тормоза и сцепление, преодолел это бешеное скольжение, машину пронизала как бы затяжная судорога, и они остановились.

— Как там герметичность?! — крикнул Пиркс, поднимаясь с пола.

«Счастье, что покрыт пенопластом», — подумал он.

— В порядке!

— Ну что ж, довольно близко, — совершенно иным голосом сказал Пиркс, вставая с пола и распрямляя спину. Не без сожаления он добавил вполголоса: — Каких-нибудь двести метров влево, и я бы его зацепил…

Маккорк пробирался на свое место.

— Спасибо, доктор, — сказал Пиркс, уже прильнув к перископу. — Алло, водитель, спуститесь вниз по тому самому пути, каким мы поднимались. Там такие маленькие скалы, что-то вроде арки, — вот, вот, въезжайте в тень между ними и остановитесь…

Медленно, словно с преувеличенной осторожностью, вездеход въехал в полузасыпанную

песком нишу среди обломков скал и остановился в их тени, которая сделала его невидимым.

— Великолепно! — почти весело сказал Пиркс. — Мне надо двоих, кто пошел бы со мной на небольшую разведку…

Маккорк вызвался почти одновременно с курсантом.

— Хорошо. Внимание! Вы, — обратился он к остальным, — остаетесь здесь. Не выходите из тени, даже если Сэтавр пойдет прямо на вас, — сидите тихо. Ну, разве что он полезет на вездеход, тогда обороняйтесь, у вас есть лазер, но это маловероятно…

— Помогите, — обратился он к водителю, — этому юноше снять с брони газовые баллоны, а вы, — сказал он уже телеграфисту, — вызывайте Луну-1, космодром, Строительство, патрули и первому, кто отзовется, сообщите, что Сэтавр уничтожил один вездеход, по-видимому со Строительства, и что три человека с нашей машины пошли охотиться. Пусть там никто не суется с лазерами, не стреляет вслепую и так далее… А теперь пошли.

Поскольку каждый мог унести только один баллон, они захватили с собой четыре. Пиркс повел товарищей не на вершину «черепа», а несколько

дальше, туда, где спускалась вниз неглубокая расщелина. Они прошли, сколько было можно, и поставили баллоны под большой глыбой, после чего Пиркс посоветовал водителю вернуться. Сам же он, приподнявшись над камнем, стал осматривать в бинокль котловину. Интеллектроник и курсант сидели рядом с ним на корточках; наконец Пиркс заговорил:

— Не вижу его. Доктор, то, что он говорил, имело какой-нибудь смысл?

— Нет, пожалуй. Разорванная речь — что-то вроде шизофрении…

— Обломки уже догорают, — заметил Пиркс.

— Зачем стреляли? — спросил Маккорк. — Там же могли быть люди.

— Там никого не было.

Пиркс передвигал бинокль миллиметр за миллиметром, внимательно осматривая каждый бугорок освещенного солнцем пространства.

— Они не успели выпрыгнуть.

— Почему вы так в этом уверены?

— Он разрезал машину пополам. Это видно даже сейчас. Он стрелял метров с десяти. Кроме того, оба люка остались запертыми. Нет, — добавил он через несколько секунд, — на солнце его нет. А ускользнуть он, пожалуй, не успел…

попробуем его выманить.

Пригнувшись, он втащил тяжелый баллон на верхушку камня и, толкая его перед собой, бормотал сквозь зубы:

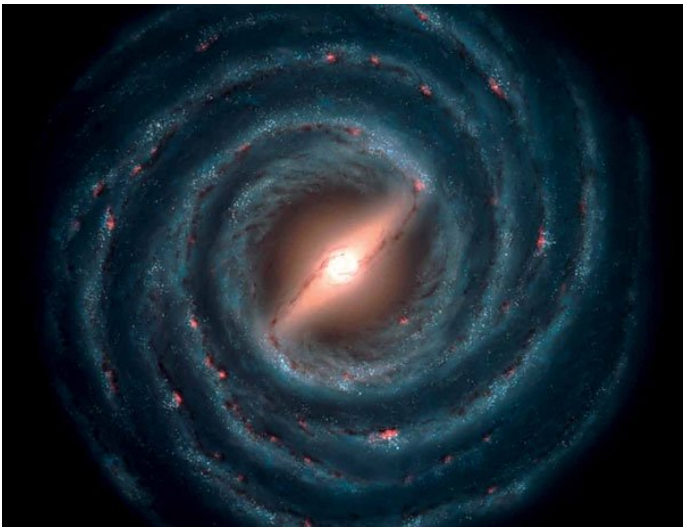
— Вот они, истории с индейцами, о которых я всегда так мечтал…

Баллон наклонился; придерживая его за вентиль, распластавшись на камне, Пиркс отрывисто бросил:

— Если увидите голубой блеск, стреляйте сразу же — в его лазерный глаз…

Изо всех сил он толкнул баллон, который сначала медленно, а потом с нарастающей скоростью покатился под откос. Все трое приготовились стрелять, баллон скатился уже метров на двести и двигался все медленнее, потому что крутизна уменьшалась. Раз или два показалось, что его остановят выступающие камни, но баллон перекатывался через них, становился все меньше и тускло поблескивающим пятнышком уже приближался ко дну впадины.

— Не вышло, — сказал разочарованно Пиркс, — либо он умнее, чем я думал, либо не обратил внимания, либо…



Пиркс не договорил. На склоне под ними что-то ослепительно сверкнуло. Пламя почти сразу превратилось в тяжелое грязно-желтое облако, сердцевина которого полыхала угрюмым огнем, а края расплывались, цепляясь за острые обломки скал.

— Хлор… — прокомментировал Пиркс. — Почему вы не стреляли? Ничего не было видно?

— Ничего, — в одно слово ответили курсант и Маккорк.

— Прохвост… укрылся за каким-нибудь бугорком… или бьет с фланга; теперь-то я вправду сомневаюсь, получится ли что-нибудь…

Он поднял второй баллон и отправил его вслед за первым. Сначала баллон покатился точно так же, но где-то на середине склона вдруг повернулся и замер в неподвижности. Пиркс и не смотрел на него — все внимание он сконцентрировал на треугольном полотнище мрака, в котором скрывался Сэтавр. Медленно текли секунды. Но внезапно склон содрогнулся от взрыва, и вдалеке, как куст, поднялось газовое облако.

Место, где укрылся автомат, Пирксу не удалось заметить, но он увидел линию выстрела, точнее, ее часть, которая материализовалась в ослепительную нить, пронзившую остатки первого газового облака. Пиркс сразу повел прицелом вдоль этой светящейся траектории, которая уже угасала, и, когда край темноты попал на пересечение паутинок, нажал на спуск. По-видимому, одновременно с Пирксом то же самое сделал Маккорк, а через мгновение к ним присоединился и

курсант. Три солнечных лемеха вспахали черное дно котловины, и тут же словно какая-то раскаленная дверца захлопнулась перед стрелявшими — их каменный заслон задрожал, с его краев посыпались мириады яростных радуг, расплавленный кварц осыпал скафандры и шлемы, моментально превратившись в микроскопические слезки; Маккорк и Пиркс лежали, распластавшись, за скалой, а над их головами раскаленным добела клинком ударили второй и третий световые разряды, выглаживая поверхность скалы, которая тут же покрывалась стеклянными пузырями.

— Все целы? — спросил Пиркс, не поднимая головы.

— Да! Я тоже! — услышал он в ответ.

— Спуститесь к машине и скажите телеграфисту, чтобы вызывал всех, что Сэтавр здесь и мы постараемся, насколько возможно, задержать его, — обратился Пиркс к курсанту; тот отполз назад и, пригнувшись, побежал к скалам, среди которых стоял вездеход.

— У нас остались два баллона, по одному на каждого. Доктор, мы переменим теперь позицию. Прошу соблюдать осторожность и хорошо укрываться, потому что он уже пристрелялся к нашему утесику…

С этими словами Пиркс поднял баллон и, используя тени, отбрасываемые большими обломками скал, как можно быстрее двинулся вперед. Пройдя шагов двести, они уселись в углублении магматической осыпи. Курсанту, который побывал возле вездехода, не сразу удалось их найти. Он тяжело дышал, словно пробежал милю.

— Спокойней, не горит, — заметил Пиркс. — Ну, что там слышно?

— Связь установлена… — захлебываясь, доложил курсант; он присел на корточки рядом с Пирксом, и тот увидел за иллюминатором шлема моргающие глаза юноши. — В машине, которая погибла, находились четыре человека со Строительства. Второй машине пришлось покинуть поле боя из-за дефекта лазера… Остальные прошли стороной и ничего не заметили.

Пиркс кивнул головой, словно говоря: «Именно так я и думал».

— Что еще? Где наша группа?

— Почти вся в тридцати километрах отсюда; там была ложная тревога: какой-то патруль сообщил, что видит Сэтавра, и всех стянули к тому месту. А три машины не отвечают на вызов.

— Когда они прибудут сюда?

— Пока есть только прием… — несмело прого-

ворил курсант.

— Только прием?.. Как это?!

— Телеграфист говорит: либо с передатчиком что-то случилось, либо там экранируются радиоволны, — он спрашивает, нельзя ли изменить место стоянки, чтобы попробовать…

— Пусть изменит место, если надо, — ответил Пиркс, — и, пожалуйста, не мчитесь так, надо смотреть под ноги…

Но курсант, наверное, ничего не услышал, потому что стремглав бросился назад.

— В лучшем случае они будут здесь через полчаса, если удастся установить связь, — сказал Пиркс.

Маккорк промолчал. Пиркс обдумывал, как лучше поступить. Выжидать или не выжидать? Конечно, если вездеходы прочешут котловину, то успех обеспечен, однако не без потерь. Вездеходы в противоположность Сэтавру были крупной мишенью, неповоротливой и должны были нападать сообща, иначе поединок окончился бы так же, как с машиной Строительства. Пиркс старался придумать какую-нибудь уловку, которая выманила бы Сэтавра на освещенное место. Если двинуть на Сэтавра как приманку пустой, телеуправляемый вездеход и поразить автомат

из другого места, скажем, сверху…

Ему пришло в голову, что вовсе не нужно никого ждать, поскольку они располагают вездеходом. Но план как-то не конкретизировался. Пускать машину вслепую не имело смысла. Сэтавр разнесет ее вдребезги, а сам и с места не сдвинется. Неужели он понимает, что именно теневая зона, в которой он держится, дает ему преимущество?.. Но ведь Сэтавр не машина, созданная для боя, со всей его тактикой… В этом безумии есть система, но какая?

Они сидели, сжавшись в комок, у подножия каменной плиты, скрытые ее густой, холодной тенью. Внезапно Пирксу показалось, что он ведет себя как последний осел. Будь он там, на месте этого Сэтавра, что бы он сделал? Пиркс сразу же ощутил беспокойство, ибо не сомневался, что Сэтавр попытается атаковать. Пассивное выжидание не могло принести никакой пользы. Так, может быть, автомат подкрадывается к ним? Именно сейчас! Ведь он может дойти до западных утесов, двигаясь все время под прикрытием темноты, а дальше так много огромных камней и потрескавшегося базальта, что в этом лабиринте можно укрываться бог знает сколько времени…

Пиркс был почти уверен, что Сэтавр именно

так и поступит, и что они могут ожидать его в любую минуту.

— Доктор, я боюсь, что он захватит нас врасплох, — проговорил Пиркс, быстро вскакивая на ноги. — А сами вы как думаете?

— Вы полагаете, что он может нас перехитрить? — спросил Маккорк и усмехнулся. — И мне это пришло в голову. Разумеется, это было бы логично, но поступает ли он логично? Вот в чем вопрос…

— Придется еще раз попробовать, — буркнул Пиркс. — Нужно сбросить эти баллоны вниз; посмотрим, что же он сделает…

— Понимаю. Прямо сейчас?..

— Да. Поосторожней!

Они втащили баллоны на вершину холма и, стараясь оставаться невидимыми со дна котловины, почти одновременно сбросили оба металлических цилиндра. К сожалению, из-за отсутствия воздуха невозможно было услышать, как они катятся и катятся ли вообще. Пиркс принял решение и, чувствуя себя странно нагим — совершенно нагим, словно голову его не прикрывала стальная оболочка, а тело — трехслойный, отнюдь не легкий скафандр, — вплотную прижавшись к скале, осторожно высунул голову.

В долине ничего не изменилось. Разве что остов машины стал невидимым — ее охладившиеся обломки слились с окружающей темнотой. Тень охватывала пространство в форме неправильного, сильно вытянутого треугольника, упирающегося основанием в обрывы самого высокого, западного, гребня скал. Один баллон остановился шагах в ста под ними, потому что наткнулся на камень, который развернул его продольно. Другой еще катился, все медленнее, пока не замер. И то, что на этом все кончилось, вовсе не понравилось Пирксу. «Он и вправду неглуп, — подумал Пиркс. — Не хочет стрелять по мишени, которую ему подсовывают». Пиркс попытался найти место, откуда каких-то десять минут назад Сэтавр дал знать о себе сверканием лучеметного глаза, однако это оказалось очень нелегким. «Что, если в теневой зоне его уже нет? — размышлял Пиркс. — Он может отступать прямо на север, может двигаться параллельно, по дну котловины или по одной из этих трещин в магматическом потоке… Если он доберется до обрывов, до этого лабиринта, то исчезнет, как камень в воде…» Медленно, на ощупь, он поднял приклад лазера и расслабил мышцы.

— Доктор Маккорк, — сказал он, — проберитесь

ко мне.

И когда доктор подполз к нему, проговорил:

— Вы видите оба баллона? Один — прямо под нами, другой — дальше…

— Вижу.

— Стреляйте сначала в ближний, а потом — в дальний, с интервалом, скажем, в сорок секунд… только не отсюда! — добавил он быстро. — Надо найти место получше. Вон там! — он показал рукой. — Кажется, неплохая позиция в том углублении. А когда выстрелите, сразу же отползайте назад. Хорошо?

Маккорк, ни о чем не спрашивая, тут же двинулся, низко пригнувшись, в указанную сторону. Пиркс с нетерпением ждал. Если Сэтавр хоть немного походит на человека, он должен обладать любопытством — всякое разумное создание обладает любопытством, — и это любопытство побудит его к действию, когда случится что-то непонятное… Пиркс уже не видел доктора. Он запретил себе смотреть на баллоны, которые должны взорваться под выстрелами Маккорка, все внимание он сосредоточил на освещенной солнцем каменистой полосе между зоной тени и обрывами. Пиркс приложил к глазам бинокль и направил его на этот участок лавовых потоков;

в стеклах медленно проплывали гротескные фигуры, будто изваянные в мастерской какого-то скульптора-абстракциониста, — истонченные, закрученные винтом обелиски, плиты, иссеченные змеящимися трещинами; хаотическая путаница ярких плоскостей и извилистых теней, казалось, щекотала глазное дно.

Краешком глаза Пиркс заметил пламя, набухающее внизу, на склоне. По прошествии долгого времени взорвался и второй баллон. Тишина. Только пульс колотился в шлеме, через который солнце пыталось ввинтить свои лучи в его череп. Пиркс водил объективом по полосе беспорядочно расколотых обломков. Какое-то движение. Пиркс застыл. Над острым как бритва краем плиты, похожей на треснувший клин гигантского каменного топора, выдвинулся полукруглый предмет, по цвету напоминающий темную скалу, однако у него были руки, которые обхватили камень с обеих сторон, и теперь Пиркс видел его уже до пояса. Он не казался безголовым, скорее походил на человека, которому надели сверхъестественную маску африканского колдуна, закрывающую лицо, шею и плечи, словно расплющенную и потому чудовищную… Локтем правой руки Пиркс ощущал приклад лазера, однако сейчас ему и в

голову не приходило стрелять. Риск был слишком велик, а шанс поразить Сэтавра из сравнительно слабого оружия на таком расстоянии — ничтожно мал.

Сэтавр, застыв, казалось, вглядывался своей едва выступающей над плечами головой в остатки газовых облаков, которые стекали по склону и бессильно рассеивались в пустоте. Это продолжалось довольно долго. Казалось, он не понимает, что произошло, колеблется, как поступить. В этом его колебании, в этой неуверенности, которую Пиркс великолепно понимал, было что-то столь близкое человеку, что комок сдавил Пирксу горло. Что я сделал бы на его месте, о чем бы подумал? Что кто-то выстрелил в точно такие же предметы, в какие перед этим стрелял я, и, стало быть, это, по-видимому, не противник, не враг, а скорее как бы союзник. Но ведь я знал бы, что у меня нет никаких союзников… А если этот кто-то — такой же, как я?

Сэтавр шевельнулся. Движения его были плавными и необычайно быстрыми. Внезапно он появился весь, выпрямившись на вертикально стоящем камне, словно все еще высматривал таинственную причину двух этих взрывов. Потом повернулся и, спрыгнув вниз, побежал, слегка

наклонившись вперед; временами Пиркс терял его из виду, но всякий раз не больше чем на несколько секунд — Сэтавр вновь выбегал на солнечный свет в каком-нибудь из ответвлений базальтового лабиринта.

Так он приближался к Пирксу, но бежал все время по дну котлована; их разделяло уже лишь пространство склона, и Пиркс раздумывал, не выстрелить ли. Но Сэтавр мелькал только в узких полосах света и снова растворялся в темноте, а поскольку он все время изменял направление, выбирая дорогу между осыпями, невозможно было заранее предвидеть, где в следующий момент вынырнут, чтобы сверкнуть металлом и снова исчезнуть, его руки бегуна, служащие для поддержания равновесия, и его безголовый торс.

Внезапно зигзаг молнии разорвал каменную мозаику, высекая метелочки искр среди обломков скал, как раз там, где бежал Сэтавр; кто выстрелил? Пиркс не видел Маккорка, но огненная линия пришла с противоположной стороны — стрелять мог только курсант, этот сопляк, этот осел! Пиркс в душе проклинал курсанта, потому что тот, очевидно, ничего не добился — металлическая спина показалась на долю секунды где-то дальше и исчезла совсем. «И к тому

же стрелял ему в спину!» — с яростью подумал Пиркс, совершенно не ощущая бессмысленности своего обвинения. А Сэтавр даже не попробовал ответить огнем; почему? Пиркс попытался снова увидеть его — тщетно. Наверно, склон закрыл его своим изгибом. Вполне возможно… в таком случае передвижение теперь безопасно.

Пиркс сполз со своего камня, поняв, что с этого места уже ничего не высмотрит, и, слегка пригнувшись, побежал по самому краю склона, миновал курсанта, который улегся, как на стрельбище, — развернув ступни и прижав их к скале, и почувствовал желание ударить его ногой в зад, выступающий смешным бугорком и увеличенный плохо подогнанным скафандром. Пиркс замедлил бег, но только для того, чтобы крикнуть: «Не смей у меня стрелять, слышишь?! Брось лазер!» И, прежде чем тот, повернувшись на бок, принялся искать его ошалелым от удивления взглядом, ибо голос, вдруг раздавшийся из наушников, не указал ни направления, ни места, где находился Пиркс, побежал дальше, опасаясь, что потеряет время; он ускорял свой бег как только мог и, наконец, очутился у широкой трещины, сквозь которую неожиданно открылся вид на дно котловины.

Это было нечто вроде тектонического ущелья, столь древнего, что края его осыпались, утратили угловатость, и оно стало похожим на расширенную эрозией горную расщелину. Пиркс заколебался. Он не видел Сэтавра; впрочем, наверное, и не мог бы отсюда его увидеть. Он углублялся в ущелье, держа лазер наготове, хорошо понимая безумство своей затеи и, однако, не в силах противиться тому, что толкало его туда. Он убеждал себя, что хочет лишь увидеть Сэтавра, что остановится сразу же, как только сможет хорошо рассмотреть нижний участок склона и весь лабиринт под ним, и, может быть, сам верил в это, пока бежал, все еще пригнувшись, а камешки градинами брызгали у него из-под башмаков. Впрочем, в эти секунды он не задумывался ни над чем.

Он находился на Луне и весил здесь только пятнадцать килограммов, но от нарастающей крутизны у него все же подгибались ноги. Он бежал теперь восьмиметровыми скачками, стараясь уменьшить скорость. Почти на середине склона расщелина перешла в неглубокий желоб;

на солнце, в каких-нибудь ста метрах под ним, лежали первые плиты лавового потока, черные с теневой и искрящиеся с освещенной стороны.

«Попался», — подумал он; до лабиринта, где бродил Сэтавр, было рукой подать. Пиркс быстро огляделся по сторонам — никого; хребет, оставшийся высоко над ним, исполинской стеной простирался к черному небу; раньше он мог заглядывать в коридорчики между камнями как бы с высоты птичьего полета, теперь ближние обломки скал заслонили от него сеть междускальных щелей. «Плохо дело, — подумал он, — надо бы вернуться». Однако, неизвестно почему, он знал, что не сделает этого.

Стоять на месте было нельзя. Несколькими шагами ниже лежала отделившаяся базальтовая глыба — скорее всего, конец того озера магмы, которая некогда изливалась раскаленным потоком с огромных террас у подножия Торричелли, и Пиркс по последнему участку коридора добрался до этой впадины. За неимением лучшего она могла послужить укрытием. Он добрался до нее одним прыжком, причем особенно неприятным было это длительное лунное планирование, замедленный, как во сне, полет, к которому он так никогда и не сумел привыкнуть. Притаив-

шись за этой угловатой скалой, Пиркс выглянул и увидел Сэтавра, который появился из-за двух остроконечных пирамидок, обогнул третью, царапнув ее металлическим плечом, и остановился. Пиркс видел его сбоку, освещенного лишь наполовину, — правая рука Сэтавра отсвечивала темным жирным блеском, как хорошо смазанная деталь машины, остальную часть корпуса покрывала тень. Пиркс уже поднимал лазер, чтобы прицелиться, когда Сэтавр, словно охваченный внезапным предчувствием, исчез, точно его сдуло ветром. Вероятно, он все еще стоял там, только спрятался в тень…

Быть может, выстрелить в эту тень? Пиркс уже поймал ее в прицел, но даже не положил пальца на спуск. Расслабил мышцы, ствол лазера опустился. Ждал. Сэтавра не было. Завалы простирались внизу, подобно адскому лабиринту, там можно было часами играть в прятки: остекленевшая лава растекалась, образовав геометрически правильные и вместе с тем причудливые фигуры. «Где же Сэтавр? — продолжал раздумывать Пиркс. — Если б хоть что-то удалось услышать, но это проклятое безвоздушное захолустье, словно в кошмаре каком-то… Если спуститься вниз, то, быть может, удастся подстрелить Сэтавра. Нет,

я не сделаю этого, я не сумасшедший… Но ведь думать-то можно обо всем — обрыв не более двенадцати метров, все равно что прыгнуть с двух метров на Земле; я оказался бы в тени под обрывом, был бы невидим и мог бы продвигаться вдоль него, все время защищенный с тыла скалой, а он рано или поздно вышел бы прямо на мушку…»

В каменном лабиринте ничто не менялось. На Земле за это время солнце переместилось бы, а здесь был долгий лунный день, и оно словно застыло на одном месте, пригасив ближайшие звезды. Его окружал черный ореол пустоты, пронизанный оранжевой рваной дымкой… Пиркс высунулся по пояс из-за своего камня. Пустота. Это начинало его раздражать. Почему вездеходов все нет? Неужели до сих пор не установлена радиосвязь?.. Быть может, они выгнали бы его наконец из этих развалин… Пиркс посмотрел на свои часы под толстым гибким стеклом на запястье и поразился: после разговора с Маккорком прошло всего тридцать минут.

Он уже готовился покинуть свою позицию, когда произошли два события, одинаково неожиданные. В скальных воротах, между двумя стенами базальта, которые закрывали котло-

вину с востока, он увидел движущиеся один за другим вездеходы. Они находились еще далеко, вероятно больше чем за километр, и шли полным ходом, вытянув за собой длинный шлейф клубящейся пыли. Одновременно две большие, словно человеческие, только одетые в перчатки руки показались на самом краю утеса, а вслед за ними, так быстро, что Пиркс не успел отступить, появился Сэтавр. Их разделяло не больше десяти метров. Над могучими плечами Пиркс увидел заменяющий голову массивный выступ, в котором мертвенно отсвечивали линзы оптических отверстий, как два черных, широко расставленных глаза, а между ними под закрытым сейчас веком находился третий — страшный зрачок лучемета. Пиркс и сам держал в руке лазер, однако реакции автомата были несравненно быстрее его собственных, поэтому он даже не сделал попытки прицелиться, а попросту замер под ярким солнцем, на еще согнутых ногах, в том положении, в котором застало его, когда он поднимался с земли, неожиданное появление этого существа, и они смотрели друг на друга — изваяние человека и изваяние машины, облаченные в металл. Вдруг страшный блеск разорвал пространство перед Пирксом, и от теплового удара он рухнул

навзничь.

Падая, он не потерял сознания и испытал в эту долю секунды только удивление, ибо мог присягнуть, что поразил его не Сэтавр, поскольку до последнего мгновения он видел его темное и слепое лазерное око.

Пиркс был цел и невредим, потому что разряд прошел стороной, хотя целились, безусловно, в него; в мгновение ока чудовищный блеск повторился и, расплескивая капли жидкого минерала, превращавшиеся на лету в ослепительную паутину, отколол часть каменной пирамидки, которая прикрывала Пиркса, но теперь его спасло то, что целились на высоту роста, а он уже лежал на земле, — это был первый вездеход, это из него били лазером. Пиркс повернулся на бок и увидел спину Сэтавра, который, стоя неподвижно, словно отлитый из бронзы, два раза брызнул лиловым солнцем. Даже с этого расстояния было видно, как у переднего вездехода отвалилась целая гусеница вместе с роликами и ведущим колесом: поднялось такое облако пыли и светящихся газов, что второй вездеход, ослепленный, не мог уже стрелять.

Двухметровый гигант спокойно взглянул на лежащего человека, который все еще сжимал

свое оружие, повернулся и, слегка согнув ноги, хотел прыгнуть назад — туда, откуда пришел, но Пиркс, лежа на боку, из неудобного положения выстрелил, желая только подсечь Сэтавру ноги, однако, когда он нажимал на спуск, его локоть дрогнул, огненный нож развалил гиганта сверху донизу, и тот грудой раскаленного металла рухнул на дно лабиринта.

Экипаж уничтоженного вездехода остался невредим — люди не получили даже ожогов, — и Пиркс узнал, правда значительно позднее, что они стреляли по нему, потому что Сэтавра, темного на темном фоне обрыва, вообще не заметили. Неопытный наводчик не обратил внимания даже на то, что силуэт, взятый им на прицел, заметно отличается светлой окраской алюминиевого скафандра. Пиркс был почти уверен, что следующий выстрел оказался бы для него роковым. Его спас Сэтавр, но отдавала ли машина себе в этом отчет? Много раз Пиркс возвращался мыслью к этим последним секундам, и с каждым разом в нем крепла уверенность, что робот находился там, откуда мог оценить, кто же на самом деле служит мишенью дальнего огня. Означало ли это, что он хотел его спасти? На этот вопрос никто теперь не мог дать ответа.

Интеллектроники считали все происшедшее «стечением обстоятельств» — ни один не брался обосновать это голословное утверждение. До сих пор они не сталкивались ни с чем подобным, такие случаи не приводились в специальной литературе. Все признавали, что Пиркс действовал так, как должен был действовать, однако это его не удовлетворяло. На долгие годы у него сохранилось воспоминание о тех долях секунды, когда он прикоснулся к смерти, но все же уцелел, с тем чтобы никогда не узнать всей правды; и горьким, как угрызение совести, было для него сознание, что ударом в спину, столь же подлым, сколь и вероломным, он убил своего спасителя.

Рассказ Пиркса

Фантастические романы? Да, я их люблю, но плохие. Вернее, не то что плохие, а выдуманные. На ракете у меня всегда есть под рукой книжки в этом духе, чтобы на досуге прочесть пару страниц, хоть даже из середины, а потом отложить. Хорошие — совсем другое дело; я их читаю лишь на Земле.

Почему? Откровенно говоря, толком не знаю. Не задумывался над этим. Хорошие книги всегда правдивы, даже если в них описываются события, которых никогда не было и не будет. Они правдивы в другом смысле — если в них говорится, к примеру, о космонавтике, то говорится так, что словно чувствуешь эту тишину, которая совсем не похожа на земную, это спокойствие, такое абсолютное, нерушимое… И что бы в них ни изображалось, а мысль всегда одна — человек там никогда не будет чувствовать себя как дома.

На Земле ведь все какое-то случайное — дерево, стена, сад, одно можно заменить другим, за горизонтом открывается другой горизонт, за горой — долина; а там все выглядит совсем иначе. На Земле людям никогда не приходит в голову, до

чего это ужасно, что звезды неподвижны: лети хоть целый год на предельной скорости — и никаких перемен не заметишь. Мы на Земле летаем и ездим, и нам кажется, что мы знаем, что такое пространство.

Этого не передашь словами. Помню, однажды возвращался я из патрульного полета, где-то у Арбитра слышал отдаленные разговоры — кто-то с кем-то ругался из-за очереди на посадку — и случайно заметил другую ракету Парень думал, что он один в космосе. Он так кидал свой бочонок, будто припадочный. Все мы знаем, как это бывает: пробудешь пару дней в космосе, и одолевает тебя нестерпимая охота что-нибудь сделать, все равно что — дать полный ход, помчаться куда-нибудь, крутануться на большом ускорении так, чтоб язык высунуть… Прежде я думал, что это вроде неприлично — человек не должен чересчур потворствовать себе. Но, по сути дела, тут лишь отчаяние, лишь охота показать этот язык космосу. Космос не меняется так, как меняется, к примеру, дерево, и поэтому, наверное, трудно с ним свыкнуться.

Ну вот, хорошие книги как раз об этом и говорят. Ведь обреченные на смерть не станут читать описание агонии — так и мы все слегка

побаиваемся звезд и не хотим слышать о них правду, когда оказываемся среди них. Это уж точно — тут самое лучшее то, что отвлекает внимание; но мне, по крайней мере, больше всего подходят именно вот такие звездные истории — ведь в них все, даже космос, становится таким добропорядочным… Это добропорядочность для взрослых, — конечно, там есть катастрофы, убийства и всякие другие ужасы, но все равно они добропорядочные, невинные, потому что с начала до конца выдуманные: тебя стараются напугать, а ты только посмеиваешься.

То, что я вам расскажу, — это и есть вот такая история. Только со мной она вправду случилась. Ну да это неважно.

Было это в Год Спокойного Солнца. Как обычно, в этот период делали генеральную уборку в Солнечной системе, подбирали и выметали массу железного лома, который кружится на уровне орбиты Меркурия; на шесть лет, пока строили большую станцию в его перигелии, там набросали в космос кучу старых поломанных ракет, потому что работы велись по системе Ле Маиса, и, вместо того чтобы сдавать эти трупы ракет на слом, ими заменяли строительные леса. Ле Маис был сильнее как экономист, чем как инженер:

станция, построенная по его системе, действительно обходилась втрое дешевле, чем обычная, но доставляла такую уйму хлопот, что после Меркурия никто уже не соблазнялся этой «экономией». Но тут Ле Маису пришла в голову идея — отправить этот ракетный морг на Землю: чего ж ему крутиться в пространстве до скончания веков, если его можно переплавить в мартенах? Но чтобы эта идея окупалась, приходилось посылать для буксирования такие ракеты, которые были немногим лучше этих трупов.

Я был тогда патрульным пилотом с вылетанными часами, а это означает — был им лишь на бумаге и по первым числам, когда получал зарплату. А летать мне до того хотелось, что я согласился бы и на железную печку, лишь бы у нее была хоть какая-нибудь тяга; поэтому нечего удивляться, что, еле успев прочитать объявление, я отправился в бразильский филиал Ле Маиса.

Не хочу утверждать, что экипажи, которые формировал Ле Маис (или, вернее, его агенты), уподоблялись кадрам иностранного легиона или разбойничьему сброду — такие типы вообще не летают. Но сейчас люди редко отправляются в космос, чтобы искать приключений: их там нет, по крайней мере, в принципе нет. Значит, на

такой вот полет решаются либо с отчаяния, либо вообще как-то случайно; и это уже самый плохой материал, потому что служба наша требует больше стойкости, чем морская, и тем, кому все безразлично, не место на ракете. Я не занимаюсь психологическими изысканиями, а просто хочу объяснить, почему я уже после первого рейса потерял половину команды. Мне пришлось уволить техников, потому что их споил телеграфист, маленький метис, который придумывал гениальнейшие способы, как контрабандой протащить алкоголь на ракету. Этот тип играл со мной в прятки. Запускал пластиковые шланги в канистры… впрочем, это неважно. Я думаю, он и в реактор запрятал бы виски, если б это было возможно. Воображаю, до чего возмутили бы такие истории пионеров астронавтики! Не пойму, почему они верили, что сам по себе выход на орбиту превращает человека в ангела. Этот метис родом из Боливии подрабатывал продажей марихуаны и делал мне все назло просто потому, что его это развлекало. Но у меня бывали парни и похуже.

Ле Маис был важной персоной, деталями не интересовался, а только установил финансовые лимиты, и мало того, что мне не удалось укомплектовать экипаж, я еще вынужден был дрожать

над каждым киловаттом энергии; никаких резких маневров, уранографы после каждого рейса проверялись, словно бухгалтерские книги, — не уплыл ли куда, упаси боже, десяток долларов, превратившись в нейтроны. Тому, что я тогда делал, меня нигде не обучали; нечто подобное, может быть, творилось лет сто назад, на старых корытах, курсировавших между Глазго и Индией. Я, впрочем, и тогда не жаловался, а теперь, как вспомню об этом, так, стыдно признаться, расчувствуюсь.

«Жемчужина ночи» — ну и имечко! Корабль потихоньку разваливался, весь рейс мы только и делали, что искали то течь, то короткое замыкание. Каждый старт и каждая посадка совершались вопреки законам — не только физики; наверное, у этого лемаисовского агента были знакомства в порту Меркурия, иначе любой контролер немедленно опечатал бы у нас все — от рулей до реактора.

Ну вот, выходили мы на охоту в перигелий, искали радаром остовы ракет, а потом подтягивали их и формировали «поезд». На меня тогда сваливалось все сразу: скандалы с техниками, вышвыривание бутылок в пространство (там и сейчас полным-полно «Лондон Драй Джин») и

дьявольская математика — ведь во время рейса я только и делал, что изыскивал приближенные решения задачи многих тел. Но больше всего, как обычно, было пустоты. В пространстве и во времени.

Я запирался в каюте и читал. Автора не помню, какой-то американец, в названии было что-то о звездной пыли — нечто в этом духе. Не знаю, как эта книга начиналась, — я стал читать примерно с середины; герой находился в камере реактора и разговаривал по телефону с пилотом, когда раздался крик: «Метеоры за кормой!» До этой минуты не было тяги, а тут он вдруг увидел, что огромная стена реактора, сверкая желтыми глазами циферблатов, наплывает на него с возрастающей быстротой: это включились двигатели, и ракета рванулась вперед, а он, вися в воздухе, по инерции сохранял прежнюю скорость. К счастью, он успел оттолкнуться ногами, но ускорение вырвало у него трубку из рук, и он повис на телефонном шнуре; когда он упал, распластавшись, эта трубка качалась над ним, а он делал нечеловеческие усилия, чтобы ее схватить, но, конечно, он весил тонну и не мог пальцем шевельнуть, потом как-то зубами поймал ее и отдал команду, которая их спасла.

Эту сцену я хорошо запомнил, а еще больше мне понравилось, как описано прохождение сквозь метеоритный рой. Облако пыли покрыло, заметьте, третью часть неба, только самые яркие звезды просвечивали сквозь пылевую завесу, но это еще ничего, а вот вскоре герой увидел — на

экранах, конечно, — что из этого желтого тайфуна исходит бледно светящаяся полоса с черной сердцевиной; уж не знаю, что это должно было означать, но только я наплакался со смеху. Как он все это прелестно себе вообразил! Эти тучи, тайфун, эта трубка — я прямо воочию видел, как парень болтается на телефонном шнуре, — ну а что в каюте его ждала необыкновенно красивая женщина, это уж само собой разумеется. Была она тайным агентом какого-то общества космической тирании или, может, боролась против этой тирании, уж не помню. Во всяком случае, она была красива, как положено.

Почему я так распространяюсь об этом? Да потому, что это чтиво меня спасало. Метеоры? Да ведь я остовы ракет по двадцать — тридцать тонн искал неделями и половину из них даже в радаре не увидел. Легче заметить летящую пулю. Мне вот однажды пришлось схватить за шиворот моего метиса, когда мы были в невесомости; это наверняка труднее, чем тот номер с телефонной трубкой, — мы ведь оба парили в воздухе, — но не так эффектно. Похоже, что я начал брюзжать. Сам вижу. Но такая уж эта история.

Двухмесячная охота кончилась, у меня на буксире было сто двадцать — сто сорок тысяч тонн

мертвого металла, и я шел в плоскости эклиптики на Землю. Не по правилам? Ну, ясно! У меня не было горючего для маневрирования, я ведь уже говорил. Приходилось тащиться без тяги больше двух месяцев.

И тут случилась катастрофа. Нет, не метеоры — это ведь не в романе происходило. Свинка. Сначала техник, обслуживавший реактор, потом оба пилота сразу, а потом и остальные: морды распухли, глаза как щелки, высокая температура, о вахтах уж и говорить не приходилось. Какой-то взбесившийся вирус притащил на палубу Нгей, негр, который на нашей «Жемчужине ночи» был коком, стюардом, экономом и еще там чем-то. Он тоже заболел, а как же! Может, в Южной Америке у детей не бывает свинки? Не знаю. В общем, у меня оказался корабль без экипажа.

Остались на ногах лишь телеграфист да второй инженер; но телеграфист с самого утра, прямо к завтраку, напивался. Собственно, не совсем напивался — то ли голова у него была такая крепкая, то ли он тянул понемножку, но, в общем, двигался он вполне прилично, даже когда не было силы тяжести (ее не было почти все время, не считая поправок курса). Алкоголь сидел у него в глазах, в мозгу и каждое свое распоряжение, каждый

приказ мне приходилось неустанно контролировать. Я мечтал о том, как я его отколочу, когда мы приземлимся; на ракете я не мог себе этого позволить, да и вообще — как будешь бить пьяного? В трезвом состоянии это был заурядейший тип, опустившийся, недомытый, и у него была милая привычка ругать самыми мерзкими словами то одного, то другого — при помощи азбуки Морзе. Нуда, сидит себе за столом в кают-компании и выстукивает пальцем; его раза два чуть не избили, все ведь понимали морзянку, а припрешь к стенке — он божится, что это у него такой тик. От нервов. Что это само собой получается. Я ему велел прижимать локти, так он вел передачу ногой или вилкой — художник был в своем роде.

Единственным вполне здоровым и нормальным человеком был инженер. Да, но оказалось, знаете ли, что он инженер-дорожник. Нет, правда. С ним подписали контракт, потому что он согласился на половинный оклад, и агенту это было вполне достаточно, а мне и в голову не пришло экзаменовать его, когда он явился на борт. Агент только спросил его, разбирается ли он в машинах. Он сказал, что да; ведь он и вправду разбирался в машинах — в дорожных. Я велел ему нести вахту. Он планету от звезды не мог отличить. Теперь вы

уже более или менее понимаете, каким образом Ле Маис делал большие дела. Правда, я тоже мог оказаться командиром подводной лодки; и, если б можно было, я, наверное, разыграл бы эту роль и заперся в своей каюте. Но я не мог этого сделать. Агент не был сумасшедшим. Он рассчитывал если не на мою лояльность, то на мой инстинкт самосохранения. Я ведь хотел вернуться на Землю; сотня тысяч тонн в пространстве ничего не весит, и если избавишься от груза, то скорость не увеличится ни на миллиметр в секунду; ну а я был не таким уж строптивым, чтобы сделать это просто так.

Вообще-то мне и такие мысли приходили в голову, когда я по утрам таскал то одному то другому вату мази, бинты, спирт, аспирин; только и было у меня удовольствия, что эта книжка о любви в пространстве, среди метеоритных тайфунов. Я некоторые абзацы перечитал по десять раз. Там были все ужасные происшествия, какие только возможно представить, — электронные мозги бунтовали, у пиратских агентов передатчики были вмонтированы в черепа, красивая женщина происходила из другой Солнечной системы; но о свинке я не нашел ни слова. Ясное дело — тем лучше для меня. Мне она и так надоела. Иногда

мне даже казалось, что космонавтика — тоже.

В свободные минуты я старался выследить, где телеграфист прячет свои запасы. Не знаю, может, я его переоцениваю, но мне кажется, что он и вправду умышленно выдавал мне некоторые места, когда спиртное там подходило к концу, — просто для того, чтобы я не пал духом и не махнул рукой на его пьянство. Потому что я и по сей день не знаю, где был его главный тайник. Может, этот тип был уж так пропитан алкоголем, что основной запас носил прямо в себе? Ну, в общем, я искал, ползая по кораблю, словно муха по потолку, плавал по корме, по центральной палубе, как бывает иногда во сне, и чувствовал, что я один как перст. Вся братия лежала с распухшими физиономиями в каютах, инженер торчал в рулевой рубке, изучая по лингафону французский язык, было тихо, как на зачумленном корабле, и лишь иногда по вентиляционным каналам доносилось рыдание или пение этого боливийского метиса. Под вечер его разбирало, он ощущал ужас бытия.

Со звездами я мало имел дела, если не считать той книжки. Некоторые куски я знал наизусть — к счастью, они уже улетучились у меня из головы. Я дождаться не мог, когда кончится эта свинка, потому что такая жизнь на манер Робинзона

уж очень мне докучала. Инженера-дорожника я избегал, хоть по-своему это был даже довольно порядочный парень и клялся мне, что, если б не ужасные финансовые передряги, в которые его втянули жена с шурином, он нипочем не подписал бы контракта. Однако был он из тех людей, каких я не переношу, — которые откровенничают без всяких ограничений и торможений. Не знаю, может, он только ко мне испытывал такое чрезвычайное доверие, но вряд ли, потому что о некоторых вещах ну просто невозможно говорить, а он способен был сказать все, я прямо корчился; к счастью, «Жемчужина ночи» была большая, двадцать восемь тысяч тонн, — было где спрятаться.

Вы, наверное, догадываетесь, что это был мой первый и последний рейс для Ле Маиса. С тех пор я уже больше не позволял так нахально себя надувать, хоть во всяких переделках побывал. Я бы и не рассказывал об этом, довольно конфузном все же куске моей биографии, если б он не был связан с другой, вроде бы не существующей стороной космонавтики. Помните, я ведь предупредил вначале, что это будет история словно из той книжки.

Метеоритное предупреждение мы получили

поблизости от орбиты Венеры, но телеграфист то ли проспал, то ли просто не принял его — в общем, я лишь на следующее утро услышал эту новость в известиях, которые передавала космолокаторная станция Луны. Честно говоря, вначале мне это показалось совершенно неправдоподобным. Дракониды давно прошли, пространство было чистым, метеоритные рои вообще ходят регулярно; правда, Юпитер любит всякие штучки с пертурбациями, но на этот раз он был не при чем — радиант был совсем другой. Предупреждение, впрочем, было лишь восьмой степени, пылевое, плотность роя очень небольшая, процент крупных осколков ничтожный; ширина фронта, правда, значительная. Когда я посмотрел на карту, то понял, что мы уже торчим в этом так называемом рое добрый час, а то и два. Экраны были пусты. Я особенно не беспокоился; непривычно прозвучало лишь второе сообщение, в полдень: радиолокаторы установили, что рой — внесистемный.

Это был второй такой рой, с тех пор как существует космолокация. Метеоры — это остаться комет, и они ходят себе по удлиненным эллипсам, привязанные гравитацией к Солнцу, словно игрушки на нейлоновых шнурках. А рой вне-

системный, то есть пришедший в Солнечную систему из Галактики, — это сенсация; правда, больше для астрофизиков, чем для пилотов. Есть, конечно, и для нас разница, хоть вообще-то небольшая — в скорости. Внутрисистемный рой не может иметь большой скорости — не больше чем параболическую либо эллиптическую. Зато рой, входящий в Солнечную систему извне, может иметь — и обычно имеет — гиперболическую скорость. Но практически различие невелико, поэтому возбуждение охватывает метеоритологов и астробаллистиков, а не нас.

Сообщение о том, что мы влезли в рой, не произвело на телеграфиста ни малейшего впечатления. Я сказал об этом, когда мы обедали, как всегда, включив двигатели на малую тягу: они давали поправку на курс, а тем временем даже слабое притяжение облегчало нам жизнь. Не надо было сосать суп через соломинку и впихивать себе в рот пасту из баранины, нажимая на тюбик. Я всегда был сторонником нормального человеческого питания.

Зато инженер очень испугался. То, что я говорил о рое, словно о летнем дождичке, он склонен был счесть признаком помешательства. Я ему коротко объяснил, что, во-первых, рой пылевой

и сильно разреженный и шансов столкнуться с осколком, который способен повредить корабль, меньше, чем шансов погибнуть от того, что тебе в театре свалится люстра на голову; во-вторых, все равно ничего нельзя сделать, потому что «Жемчужина» не может провести маневр расхождения; в-третьих, курс наш по чистой случайности почти совпадает с траекторией роя, — значит, опасность столкновения уменьшается еще в несколько сот раз.

Что-то не похоже было, чтоб я его убедил, но мне уже надоела психотерапия, и я предпочел сосредоточить внимание на телеграфисте, то есть отрезать его хоть на пару часов от запасов спиртного, потому что в конце-то концов в рое он был нужнее, чем вне его. Больше всего я боялся сигнала SOS. Кораблей здесь было порядочно, мы уже пересекли орбиту Венеры — на этой территории шло весьма оживленное движение, и не только грузовых ракет. Я сидел у рации, держа телеграфиста при себе, до шести часов палубного времени, — значит, больше четырех часов на пассивном перехвате; к счастью, обошлось без сигнала тревоги. Рой был так разрежен, что приходилось буквально часами вглядываться в радарные экраны, чтобы заметить какие-то

почти неуловимые микроскопические искорки; да и то я не мог бы поручиться, что эти зеленые привиденьица не были просто обманом зрения от усталости. Тем временем уже не только радиант, но и весь путь этого гиперболического роя, который даже имя успел получить — Канопиды (от звезды близ радианта), вычислили на Луне и на Земле, и было известно, что он не достигнет орбиты Земли, минует ее, выйдет из нашей системы вдалеке от больших планет и как появился, так и исчезнет в бездне Галактики, чтобы никогда уже к нам не вернуться.

Инженер-дорожник, продолжая тревожиться, то и дело заглядывал в радиорубку, а я выгонял его, требуя, чтобы он следил за рулями. Разумеется, это было чисто фиктивное задание — у нас не было тяги, а без тяги управлять нельзя, ну а, кроме того, он не смог бы выполнить и простейшего маневра, да я бы никогда ему этого и не доверил. Но мне хотелось его чем-нибудь занять и себя избавить от бесконечных приставаний. А то он стремился выяснить, проходил ли я уже сквозь метеоритные рои, да сколько раз, да пережил ли в связи с этим катастрофы, и серьезные ли, и есть ли шансы спастись в случае столкновения… Вместо ответа я ему дал «Основы космолоции

и космодромии» Краффта; инженер книгу взял, но, кажется, даже и не раскрывал ее — он ведь жаждал доверительных признаний, а не сухих сведений.

Все это происходило, напоминаю вам, на корабле, где сила тяжести отсутствовала. В этих условиях движения людей, даже трезвых, довольно забавно изменяются — всегда надо помнить о каком-нибудь поясе, о пристежке, иначе, нажав на карандаш при писании, рискуешь взлететь под потолок, а то и шишку себе набить. У телеграфиста была своя система: он таскал в карманах массу всяких гирек, гаек, ключей, и когда оказывался в затруднительном положении, повиснув между потолком, полом и стенами, то просто лез в карман и швырял первый попавшийся предмет, чтобы плавно отлететь в противоположную сторону. Способ это был надежный и всегда подтверждал правильность ньютоновского закона действия и противодействия, однако он доставлял мало удовольствия окружающим, потому что брошенные гирьки и гайки рикошетом отлетали от стен, и иной раз эти штучки, способные весьма чувствительно стукнуть, подолгу носились в воздухе. Я говорю об этом, чтобы придать дополнительный оттенок колориту нашего пу-

тешествия.

В пространстве тем временем шло усиленное движение; многие пассажирские корабли на всякий случай в соответствии с правилами изменяли трассы. Луне было с ними немало возни; автоматические передатчики, которые морзянкой передают орбитальные и курсовые поправки, рассчитанные на больших стационарных вычислительных машинах, без устали строчили сериями сигналов в таком темпе, что на слух не воспримешь. Да и фония была переполнена голосами — пассажиры за бешеные деньги сообщали встревоженным родственникам, что отлично себя чувствуют, и никакой опасности нет; Луна Астрофизическая передавала очередные сведения о зонах сгущения в метеоритном рое, о его предполагаемом составе — словом, программа была разнообразная и скучать у репродуктора особенно не приходилось.

Мои космонавты со свинкой, уже узнавшие, разумеется, о гиперболическом рое, то и дело звонили в радиорубку, пока я не отключил их аппараты, заявив, что опасность, а именно пробоину или потерю герметичности, они легко распознают по отсутствию воздуха.

Около одиннадцати я отправился перекусить в кают-компанию; телеграфист, который, кажется,

только этого и ждал, исчез, будто растаял, а я слишком устал, чтобы его искать и даже чтобы думать о нем. Инженер отбыл вахту; он уже немного успокоился и опять жаловался в основном на шурина, а уходя к себе (зевал он, как кит), сказал мне, что левый экран радара, должно быть, испортился: там в одном месте какая-то зеленая искра. Сообщив это, он удалился; я приканчивал холодную говядину из консервной банки — и вдруг, воткнув вилку в неаппетитно застывший жир, окаменел.

Инженер разбирался в показаниях радара, как я в асфальте. Этот «испорченный» экран…

В следующее мгновение я мчался к рулевой рубке. Это так говорится, а на деле я двигался с той скоростью, какая возможна, если ускорение получаешь, только хватаясь за что-нибудь руками либо отталкиваясь ногами от выступов стен или потолка. Рулевая, когда я наконец до нее добрался, была словно выстужена, огни на пультах погасли, контрольные сигналы реактора еле мерцали, как сонные светлячки, и только по экранам радаров неустанно вращались водящие лучи; я уже с порога смотрел на левый экран.

В верхнем правом его квадранте светилась неподвижная точка; собственно, как я увидел

вблизи, пятнышко величиной с мелкую монету, сплюснутое, как линза, идеально правильное по форме, светящееся зеленым фосфорическим светом, словно маленькая, лишь с виду неподвижная рыбка в океане пустоты. Если б это увидел нормальный вахтенный, — но не теперь, не теперь, а полчаса назад! — он включил бы автоматический позиционный передатчик, известил бы командира, запросил бы у этого корабля данные о курсе и назначении, но у меня не было вахтенных, я опоздал на полчаса, я был один, так что делал, ей-богу, все сразу — затребовал данные у корабля, зажег позиционные огни, включил передатчик, начал разогревать реактор, чтобы можно было в любой момент дать тягу (реактор был холодный, словно давным-давно окоченевший покойник), — ведь время не ждало! Я успел даже пустить в ход подручный полуавтоматический калькулятор, и оказалось, что курс того корабля почти совпадает с нашим, разница была в долях минуты, вероятность столкновения, в пустоте и без того исчезающе малая, практически равнялась нулю.

Вот только корабль этот молчал. Я пересел на другое кресло и начал сверкать на него морзянкой из палубного лазера. Он находился за нами на

расстоянии около девятисот километров, — значит, невероятно близко, и я уже, по правде говоря, видел себя в Космическом трибунале (конечно, не за «доведения до катастрофы», а просто за нарушение восьмого параграфа Кодекса космолоции, именуемого ОС — опасное сближение). Думаю, что и слепой увидал бы мои световые сигналы. Корабль этот вообще так упорно торчал у меня в радаре и все не оставлял в покое «Жемчужину», а, наоборот, даже понемногу к ней приближался, лишь потому, что мы с ним имели сходящиеся курсы. Это были почти параллельные трассы; он передвигался уже по краю квадранта, потому что шел быстрее. На глаз я оценил его скорость как гиперболическую; действительно, два замера с десятисекундным интервалом показали, что он делает девяносто километров в секунду. А мы делали от силы сорок пять!

Корабль не отвечал и приближался; он выглядел уже внушительно, даже слишком внушительно. Светящаяся зеленая линза, видимая сбоку, острое веретенце… Я глянул на радарный дальномер: уж очень что-то вырос этот корабль. Оказалось — четыреста километров. Я захлопал глазами: с такого расстояния любой корабль выглядит как запятая. «Эх, чтоб ей, этой

„Жемчужине ночи“! — подумал я. — Все здесь не как положено». Я перевел изображение на маленький вспомогательный радар с направленной антенной. Корабль выглядел все так же. Я обалдел. «Может, это, — вдруг подумал я, — тоже такой „поезд Ле Манса“, как наш? Штук этак сорок ракетных остовов, один за другим, отсюда и размеры… Но почему он так похож на веретено?»

Радароскопы работали, автоматический дальномер отстукивал да отстукивал: триста километров… двести шестьдесят… двести…

Я начал еще раз пересчитывать курсы на приборе Гаррельсбергера, потому что это уже попахивало опасным сближением. Известно, что с тех пор как на море начали применять радар, все почувствовали себя в безопасности, — а суда продолжают тонуть. И опять получилось, что он пройдет у меня под носом, на расстоянии этак тридцати-сорока километров. Я проверил оба передатчика — автомат, работающий на радиочастотах, и лазерный. Оба они были исправны, но чужой корабль молчал.

До тех пор меня все еще терзали угрызения совести: ведь некоторое время мы летели вслепую — пока инженер рассказывал мне о своем шурине и желал спокойной ночи, а я поглощал

говядину, — потому что некому было работать и я все делал сам, но теперь у меня будто пелена с глаз спала. Охваченный праведным гневом, я уже видел истинного виновника опасности в этом глухом, молчаливом корабле, который пер себе на гиперболической скорости через сектор и не изволил даже что-нибудь отвечать на прямые настойчивые обращения!

Я включил фонию и начал его вызывать. Я требовал то того, то другого: чтобы он зажег позиционные огни и пустил сигнальные ракеты, чтобы сообщил свое название, место назначения, фамилию арматора — все, конечно, в условных сокращениях; а он летел себе спокойно, тихо, ни на йоту не меняя ни скорости, ни курса, и был уже всего в восьмидесяти километрах от меня.

Пока он держался по бакборту, но все заметнее обгонял меня — ведь он шел вдвое быстрее; и я знал, что, поскольку при подсчетах на калькуляторе не принималась во внимание угловая поправка, мы при расхождении окажемся на пару километров ближе, чем вычислено. Менее чем в тридцати километрах наверняка, а чего доброго и в двадцати. Мне следовало тормозить, потому что нельзя допускать такого сближения, но я не мог. За мной ведь тянулось сто с чем-то

тысяч тонн ракетных трупов; сначала мне пришлось бы отцепить всю эту рухлядь, сам я с этим не справился бы, а экипаж занимался свинкой, так что о торможении нечего было и думать. Тут могла бы пригодиться скорее философия, чем космодромия: стоицизм, фатализм, а если калькулятор уже совсем заврался, то, пожалуй, даже начатки эсхатологии.

На расстоянии двадцати двух километров тот корабль уже явно начал обгонять «Жемчужину». Я знал, что теперь дистанция будет возрастать, так что все было вроде в порядке; до тех пор я смотрел только на дальномер, потому что его показания были самыми важными, и лишь теперь снова глянул на радароскоп.

Это был не корабль, а летающий остров, вообще неизвестно что. На расстоянии двадцати километров он был величиной больше чем с мою ладонь; идеально правильное веретено превратилось в диск — нет, в кольцо!

Ясное дело, вы уже давно подумали, что это был корабль «пришельцев», — ну, поскольку он был длинной в десять миль… Легко сказать, но кто же верит в корабли «пришельцев»? Первым моим побуждением было догнать его. Нет, правда! Я ухватился за рычаг главной тяги, но не шевель-

нул его. У меня за кормой было кладбище на буксире, ничего бы из этого не вышло. Я вскочил с кресла и через узкую шахту пробрался в маленькую астрономическую каюту, вмонтированную в броню, как раз над рулевой рубкой. Там, прямо под рукой, было все, что мне нужно, — бинокль и ракеты. Я пустил три, одну за другой, примерно по курсу этого корабля, и, как только вспыхнула первая, начал его искать. Он был большой, как остров, но я его не сразу разглядел — ракета попала в поле зрения, и блеск ее ослепил меня, — пришлось выждать, пока я смогу видеть. Вторая ракета вспыхнула далеко в стороне, и это мне ничего не дало; третья зажглась высоко над кораблем. В ее неподвижном, очень белом свете я его наконец увидел.

Смотрел я на него не больше пяти-шести секунд, — ракета вдруг, как это иной раз случается, вспыхнула ярче и погасла. Но в эти мгновения я разглядел сквозь ночной восьмидесятикратный бинокуляр очень слабо, призрачно, но все же отчетливо освещенное с высоты темное металлическое тело: я видел его будто с расстояния нескольких сот метров. Корабль еле помещался в поле зрения; в самом его центре мерцало несколько звезд, словно там он был прозрачным,

как пустой туннель из темной стали, летящий в пространстве. Но в последней яркой вспышке ракеты я успел заметить: это нечто вроде сплюснутого цилиндра, свернутого, как автомобильная шина; я мог смотреть сквозь его пустой центр, хоть он и не находился на оси зрения; этот колосс был повернут углом к линии моего зрения — словно стакан, который слегка наклонили, чтобы медленно выливать из него жидкость.

Ясное дело, я вовсе не раздумывал над тем, что увидел, а продолжал пускать ракеты; две не зажглись, третья почти сразу погасла, при свете четвертой и пятой я его увидел — в последний раз. Ведь теперь он пересек трассу «Жемчужины» и удалялся все быстрее; он находился уже в ста, в двухстах, в трехстах километрах от меня, и визуальное наблюдение стало невозможным.

Я немедленно вернулся в рулевую рубку, чтобы как следует установить элементы его орбиты; я собирался, сделав это, поднять на всех диапазонах такую тревогу, какой еще не знала космолоция; я уже представлял себе, как по начертанному мною маршруту ринутся стаи ракет, чтобы догнать этого гостя из бездны.

Собственно, я был уверен, что он входил в состав гиперболического роя. Глаз в известных

обстоятельствах уподобляется фотоаппарату, и образ, хоть на долю секунды представший в ярком свете, потом можно некоторое время не только вспоминать, но и весьма детально анализировать, будто вы все еще видите его. А я увидел в той предсмертной вспышке ракеты поверхность гиганта: она была не гладкая, а изрытая, почти как лунная почва, свет растекался по неровностям, буграм, кратеро-образным впадинам; корабль, должно быть, летел вот так уже миллионы лет, входил, темный и мертвый, в пылевые туманности, выходил из них спустя столетия, а метеоритная пыль в десятках тысяч столкновений грызла его, пожирала пустотной эрозией.

Не могу объяснить, откуда взялась у меня эта уверенность, но я знал, что на этом корабле нет ни одной живой души, что катастрофа с ним произошла миллионы лет назад и, может, не существует уже и цивилизация, выславшая его!

Думая обо всем этом, я в то же время на всякий случай, для предельной точности в четвертый, пятый, шестой раз рассчитывал элементы его орбиты и результат за результатом, нажимая на клавишу, посылал в записывающее устройство, потому что мне дорога была каждая секунда:

корабль уже выглядел на экране как зеленая фосфорическая запятая, сверкал как неподвижный светлячок в крайнем секторе правого экрана — за две, за три тысячи, за шесть тысяч километров от меня.

Когда я закончил расчеты, он уже исчез. Но мне-то что! Он был мертв, не мог маневрировать, а значит, и не мог никуда удрать, не мог спрятаться: правда, он летел на гиперболической скорости, но его легко мог догнать любой корабль с мощным реактором, а элементы его движения я рассчитал с такой точностью…

Я открыл кассету записывающего устройства, чтобы вынуть ленту и пойти с ней на радиостанцию, — и застыл, внезапно обалдевший, уничтоженный…

Металлический барабан был пуст; лента давно уже, может несколько дней назад, кончилась, новой никто не вложил, и я посылал результаты вычислений в пустоту; они все до одного пропали; не было ни корабля, ни его следа — ничего…

Я ринулся к экранам, потом, право же, хотел отцепить этот мой проклятый балласт, выбросить лемансовские сокровища и пуститься — куда? Сам толком не знал. Наверное, в направлении… ну, примерно на созвездие Водолея, но что ж

это за цель! А может, все-таки?.. Если я сообщу по радио сектор — в приближении, — а также скорость…

Это следовало сделать. Это было моей обязанностью, самой важной из всех, если вообще у меня имелись еще какие-нибудь обязанности.

Я поднялся лифтом в центральную часть корабля, на радиостанцию, и уже установил было очередность действий: надо вызвать Луну Главную и потребовать право первенства для последующих моих сообщений, поскольку речь идет об информации величайшей важности, — эти сообщения, по-видимому, будет принимать не автомат, а дежурный координатор Луны; затем я дам отчет об обнаружении чужого корабля, который пересек мой курс на гиперболической скорости и, вероятно, входил в состав метеоритного роя. Немедленно потребуют расчет элементов его движения. Мне придется ответить, что расчеты я произвел, но у меня их нет, потому что барабан записывающего устройства вследствие недосмотра был пуст. Тогда потребуют, чтобы я сообщил имя пилота, который первым заметил этот корабль. Но я и это не смогу сообщить, потому что вахту нес инженер-дорожник, а не космонавт; затем, если все это еще не покажется слишком подо-

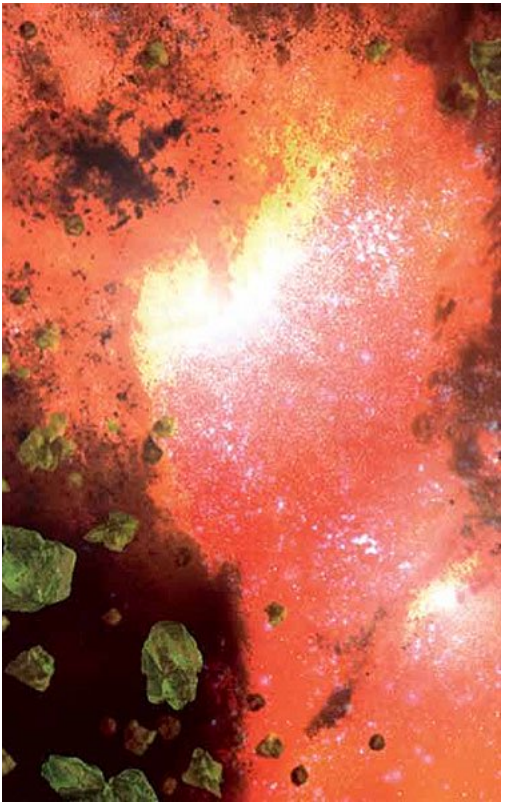
зрительным, меня спросят, почему я не поручил радисту систематически передавать данные по ходу расчетов; а я должен буду объяснить, что радист не работал, потому что был пьян. Если со мной после этого вообще захотят еще разговаривать через триста шестьдесят восемь миллионов километров, которые нас разделяют, то поинтересуются, почему кто-либо из пилотов не заменил радиста; тогда я отвечу, что весь экипаж болен свинкой. Если мой собеседник до этого еще будет иметь какие-то сомнения, тут уже он уверится, что человек, который среди ночи морочит ему голову насчет корабля «пришельцев», либо не в своем уме, либо пьян. Он спросит, зафиксировал ли я как-нибудь изображение этого корабля — фотографируя его в свете ракет либо записывая показания радара на ферроленте — или, по крайней мере, регистрировал ли я все запросы, с которыми обращался к нему по радио. Но у меня не было ничего, совсем ничего, я слишком спешил, я не думал, что снимки понадобятся, поскольку вскоре земные корабли ринутся к необычайной цели, и не включил записывающих устройств.

Тогда координатор сделает то, что я и сам сделал бы на его месте, — велит мне отключиться и

запросит все корабли в моем секторе, не заметили ли они чего-то необычного. Так вот, ни один корабль не мог увидеть гостя из Галактики, я был в этом уверен. Я с ним встретился лишь потому, что летел в плоскости эклиптики, хоть это строжайшим образом воспрещается, так как здесь всегда кружится метеоритная пыль, осколки перемолотых временем метеоров или кометных хвостов. Я нарушил это запрещение, потому что иначе мне не хватило бы горючего для маневров, долженствующих обогатить Ле Маиса сотней с лишним тысяч тонн ракетного лома. Значит, мне следовало бы сразу предупредить координатора Луны, что встреча произошла в запрещенной зоне, а это повлекло бы за собой неприятный разговор в дисциплинарной комиссии Космического трибунала.

Наверное, обнаружение этого корабля значило куда больше, чем разговор в комиссии да хоть бы и наказание, — однако при условии, что корабль действительно догонят. Но вот это-то и казалось мне совсем безнадежным делом. А именно я должен был потребовать, чтобы в плоскость эклиптики, в угрожаемую зону, к тому же еще посещенную гиперболическим роем, бросили на розыски целую флотилию кораблей. Координа-

тор Луны не имел права этого сделать, даже если б захотел; если б он стену лбом прошибал, до утра вызывал КОСНАВ, Международную комиссию по делам исследования космоса и черт знает кого там еще, начались бы заседания и совещания, и если б они проходили бы в молниеносном темпе, то через какие-нибудь три недели уже было бы вынесено решение. Но (это я рассчитал еще в лифте, у меня в ту ночь мысль работала действительно с необычайной быстротой) чужой корабль окажется к тому времени в ста девяноста миллионах километров от места нашей встречи, а значит, за Солнцем, мимо которого пройдет настолько близко, что оно изменит его траекторию, — и пространство, в котором придется его искать, будет размером более десяти миллиардов кубических километров. А то и двадцати.



Так все это выглядело, когда я добрался до радиостанции. Я уселся там и попробовал еще оценить по достоинству — каковы шансы увидеть этот

корабль при помощи большого радиотелескопа Луны, самой мощной радиоастрономической установки во всей системе. Но Земля с Луной находились как раз на противоположной стороне орбиты по отношению ко мне, а значит, и к этому кораблю. Радиотелескоп Луны был очень мощный, но все же не настолько, чтобы на расстоянии четырехсот миллионов километров разглядеть тело размером в несколько километров.

На этом вся история и кончилась. Я порвал листки с расчетами, встал и тихонько двинулся в свою каюту с чувством, что совершил преступление. К нам прибыл гость из космоса — визит, который случается раз в миллионы, да нет — в сотни миллионов лет. И из-за инженера с его шурином, из-за моей небрежности он ускользнул у нас из-под носа, чтобы растаять, как призрак, в беспредельном пространстве.

С этой ночи я жил в каком-то странном напряжении целых двенадцать недель — за это время мертвый корабль должен был войти в зону больших планет и навсегда исчезнуть для нас. Я просиживал на радиостанции все мало-мальски свободное время, питая постепенно слабеющую надежду, что кто-нибудь его заметит — кто-нибудь более сообразительный или попросту более

счастливый, чем я; но ничего такого не произошло.

Разумеется, я никому об этом не говорил. Человечеству нечасто подвертываются такие случаи. Я чувствую себя виновным не только перед человечеством, но и перед той, другой цивилизацией, и мне не суждена даже слава Герострата, потому что теперь, через столько лет, никто уж мне, к счастью, не поверит. Да я и сам-то иной раз сомневаюсь: может, ничего и не было, кроме холодной, неудобоваримой говядины.

Несчастный случай

Анел не вернулся в четыре, но этого никто словно бы и не заметил. Около пяти уже начинало темнеть, и Пиркс, не столько обеспокоенный, сколько удивленный, хотел спросить Крулля, что бы это могло значить, но сдержался — он не был руководителем группы, и подобные вопросы, вполне законные и абсолютно невинные, могли вызвать все нарастающую лавину взаимных придирок. Он прекрасно знал, как это происходит: подобное повторялось не раз, особенно когда коллектив был с бору по сосенке. Три человека абсолютно разных профессий в сердце гор, на никому не нужной планете, выполняющие задание, которое, пожалуй, все, включая его самого, считали бессмысленным. Их привезли на маленьком старом гравистате, которому предстояло остаться здесь навсегда, потому что все равно он годился только на слом; вместе с ним доставили разборный алюминиевый дом, немного приборов и радиостанцию столь преклонного возраста, что от нее было больше хлопот, чем проку, и за семь недель им предстояло завершить «общую рекогносцировку», словно это было возможно.

Пиркс никогда бы не стал этим заниматься, понимая, что речь идет лишь о расширении района исследований, производимых разведывательной группой, да еще об одной циферке в отчетах, которыми пичкали информационные машины на базе. Это, вероятно, могло иметь некоторое значение при распределении средств, людей и мощностей на следующий год. И ради того, чтобы на лентах памяти появилась эта трансформированная в дырочки цифра, они без малого пятьдесят дней сидели на пустом месте, которое при других обстоятельствах, может, и было бы привлекательным, хотя бы с точки зрения альпинизма. Однако наслаждаться альпинизмом было, разумеется, строжайше запрещено, и самое большое, что мог сделать Пиркс, это во время сейсмических и триангуляционных измерений рисовать в своем воображении первые трассы.

У планеты даже не было собственного имени, и в каталогах она числилась как Йота дробь 116, дробь 47 Проксимы Водолея. Она походила на Землю больше, чем любая из всех, какие Пиркс когда-либо видел: маленькое желтое солнце, соленый океан, свекольно-зеленый от трудолюбивых водорослей, насыщающих атмосферу кислородом, да огромный трехлапый конти-

нент, покрытый первобытной растительностью. Планета прекрасно подходила бы для колонизации, если бы не то, что ее солнце было типа G новооткрытой разновидности VII, неустойчивое, с неравномерным излучением; ну а коль скоро астрофизики наложили свое вето, то, если даже очередная вспышка Новой могла наступить лишь через сто миллионов лет, все планы освоения этой земли обетованной приходилось перечеркнуть.

Пиркс порой каялся, что поддался уговорам и принял участие в экспедиции, но это было не очень искреннее покаяние. Так или иначе, ему пришлось бы торчать на базе три месяца, потому что попасть в Солнечную систему раньше этого срока было невозможно. Его ждали подземные климатизированные сады Базы и отупляющие телевизионные передачи (развлечения, по меньшей мере, десятилетней давности), поэтому он охотно откликнулся на предложение начальника, который со своей стороны радовался, что может удружить Круллю — ни одного свободного человека не было, а посылать в экспедицию только двоих инструкция запрещала. Таким образом, Пиркс свалился космографу на голову как манна небесная. Впрочем, Крулль не проявил восторга

ни сразу, ни потом; вначале Пиркс даже думал, что тот расценивает его поступок как «барский каприз», коль он из командира корабля согласился стать рядовым разведчиком; походило на то, что Крулль чувствовал скрытую обиду. Однако это не была обида, просто, прожив полжизни (ему уже перевалило за сорок), Крулль стал желчным, словно его кормили одной полынью. А поскольку в таком изолированном от мира коллективе ничего невозможно скрыть и люди со всеми своими достоинствами и недостатками становятся прозрачными как стекло, Пиркс быстро понял, откуда в характере Крулля, вообще-то выдержанного, даже твердого человека, эта задиристость — ведь за его плечами было больше десяти лет внеземной службы. Просто Крулль стал не тем, кем хотел, а тем, кем вынужден был стать, поскольку для взлелеянной в мечтах работы не годился. А в том, что когда-то он хотел стать не космографом, а интеллектроником, Пиркс убедился, видя, как категорически высказывался Крулль в беседах с Массеной, стоило только разговору перейти на интеллектронные темы (Крулль говорил «интеллектральные» — в соответствии с профессиональным жаргоном).

Массене, к сожалению, недоставало терпимо-

сти, а может, ему просто плевать было на мотивы, которыми руководствовался Крулль; во всяком случае, если тот настаивал на каком-либо ошибочном решении, Массена не ограничивался простым отрицанием его правоты, а, взяв в руки карандаш, укладывал его на обе лопатки с помощью безукоризненных математических расчетов и добивал Крулля с таким удовольствием, словно для него важнее было доказать не собственную правоту, а то, что Крулль — самоуверенный осел. Но это было не так. Крулль был не самоуверенным, как всякий, честолюбие которого несоизмеримо со способностями.

Пиркс, бывший невольным свидетелем одного из таких разговоров, — впрочем, трудно было этого избежать, поскольку они втроем жили на сорока квадратных метрах, а звукоизоляция перегородок была сплошной фикцией, — знал, чем это кончится. И действительно, Крулль, который не смел показать Массене, как сильно подействовало на него поражение, всю свою неприязнь перенес на Пиркса, впрочем в весьма своеобразной форме: перестал с ним разговаривать, кроме тех случаев, когда это было необходимо.

Тогда он сошелся с Массеной — с этим черноволосым и светлоглазым холериком и впрямь

можно было подружиться, — но Пирксу всегда было нелегко с холериками, так как в глубине души он им не очень-то доверял. С Массеной вечно что-то случалось: он требовал заглядывать себе в горло, заявлял, что будет перемена погоды, потому что кости ломит (никаких перемен не происходило, но он все равно продолжал их предсказывать), утверждал, что страдает бессонницей, и каждый вечер демонстративно искал таблетки, которые почти никогда не глотал — просто на всякий случай клал их рядом с постелью, а утром клялся Пирксу, который, допоздна засиживаясь над книжкой, прекрасно слышал его храп, что всю ночь даже глаз не сомкнул (сдается, он и сам в это верил). Если не принимать этого во внимание, он был отличным специалистом и блестящим математиком с организаторскими способностями, которому поручали текущее программирование автоматической разведки. Одну из таких программ он взял с собой для разработки «в свободную минуту», а Крулль страдал, видя, как Массена очень быстро и хорошо делал то, что положено, так что у него действительно оставалось много времени и поэтому не было оснований для претензий, что-де он не исполняет своих обязанностей как следует.

Массена подходил им еще и потому что — как это ни парадоксально — в их планетологической микроэкспедиции не было ни одного настоящего планетолога, потому что ведь и Крулль не был планетологом. Удивительно все-таки, до чего неудачно могут сложиться взаимоотношения трех достаточно нормальных людей в такой скалистой пустыне, какую представляло собой Южное нагорье Йоты Водолея!

Был в этом коллективе и еще один член — уже упоминавшийся Анел, или Автомат Нелинейный, одна из новейших моделей с высоким уровнем самостоятельности, изготовлявшихся на Земле для исследовательской работы именно в таких условиях. Массена был придан группе в качестве кибернетика — это была лишь дань устаревшей традиции, так как правила предусматривали, что там, где есть автомат, должен быть кто-то, кто в случае необходимости мог бы его отремонтировать. Так продолжалось уже добрый десяток лет — как известно, правила меняются не слишком часто, — но Анел (об этом не раз говорил сам Массена) в случае необходимости мог «отремонтировать» его самого, и не только потому, что отличался абсолютной безотказностью, но и потому, что он обладал элементарными

сведениями из области медицины. Пиркс уже давно приметил, что человек подчас легче познается в его отношении к роботам, чем к иным людям. Его поколение жило в мире, неотъемлемую часть которого наряду с космическими кораблями составляли автоматы, но сфере автоматики был присущ какой-то особый отпечаток иррационализма. Некоторым легче было полюбить обычную машину, скажем собственный автомобиль, чем машину мыслящую. Период широкого экспериментаторства конструкторов уже подходил к концу — по крайней мере, казалось, что это так. Создавали автоматы только двух типов: универсальные и узкого назначения. Лишь небольшой группе универсальных придавали формы, похожие на человеческое тело, да и то лишь потому, что из всех опробованных конструкций — заимствованная у природы оказалась наиболее безотказной, особенно в сложных условиях планетного бездорожья.

Нельзя сказать, чтобы инженеры очень уж обрадовались, когда их детища начали проявлять такую самостоятельность, которая помимо воли наводила на мысль о духовной жизни. В принципе считалось, что автоматы мыслят, но «не имеют индивидуальности». Действительно,

никто не слышал об автомате, который бы впадал в ярость, воодушевлялся, смеялся или плакал; они были в высшей степени уравновешенными, как того и желали конструкторы. Однако, поскольку их мозги создавались не на монтажном конвейере, а путем постепенного выращивания монокристаллов, при котором всегда имеет место не поддающийся управлению статистический разброс, даже микроскопические смещения молекул вызывали такие конечные отклонения, что в принципе не существовало двух совершенно одинаковых автоматов. Итак, все-таки индивидуальности? Нет, отвечал кибернетик, результат вероятностного процесса; так же думал и Пиркс и, пожалуй, каждый, кто часто общался с роботами и целыми годами мог наблюдать за их молчаливой, всегда целенаправленной, всегда логичной деятельностью. Конечно, они были похожи друг на друга гораздо больше, чем люди, но все же у каждого был свой норов, пристрастия, а встречались и такие, которые, исполняя приказы, организовывали что-то вроде «молчаливого сопротивления», и если это длилось долго, то дело кончалось капитальным ремонтом.

У Пиркса, да наверняка и не у него одного, в отношении этих своеобразных машин, которые

так точно и подчас так творчески выполняли задания, была не очень чиста совесть. Может, это началось еще тогда, когда он командовал «Кориоланом». Во всяком случае, само по себе то, что человек создал мыслящий орган вне собственного тела и сделал его зависящим от себя, он считал не вполне нормальным. Он, конечно, не мог бы сказать, откуда берется это легкое беспокойство, какое-то ощущение невыполненного долга, что ли, смутная мысль о том, что решение принято неправильно или попросту, грубо говоря, совершена пакость. Было какое-то изощренное коварство в том холодном спокойствии, с каким человек запихивал добытые о себе знания в бездушные машины, присматривая за тем, чтобы не повысился уровень их одушевленности и чтобы они не стали конкурентами своего творца в познании прелестей мира. Максима Гете «In der Beschrankung zeigt sich erst der Meister»[9] в приложении к сметливым конструкторам приобретала неожиданный смысл похвалы, переходившей в язвительный укор, ибо ведь не себя решили они ограничить, но дело рук своих. Разумеется, Пиркс никогда не решался высказать вслух по-

[9] Примечания: 9
Лишь в ограничении познается мастер (*нем.*).

добную мысль, потому что отдавал себе отчет в том, как бы она смешно прозвучала; автоматы не были обездоленными, не были они и объектом безудержной эксплуатации, все было проще и в то же время хуже — с моральной точки зрения сложнее для критики; их возможности ограничили еще прежде, чем они появились, — на листах чертежей.

В тот день, накануне их отлета, работы, собственно, были уже окончены. Однако, когда стали пересчитывать ленты, на которых были отражены результаты экспедиции, оказалось, что одной недостает. Просмотрели машинную память, потом перерыли все тайники и ящики, причем Крулль дважды советовал Пирксу лучше следить за собственными вещами — от этого совета разило ехидством, потому что Пиркс вообще не имел никакого отношения к пропавшей ленте, да и не стал бы прятать ее в чемодан. У Пиркса даже язык зачесался — так ему захотелось ответить, тем более что до сих пор он обычно отмалчивался и старался находить любые оправдания вызывающему даже оскорбительному поведению Крулля. Но он сдержался и на этот раз и только заметил, что если необходимо повторить наблюдения, то он охотно сделает это сам,

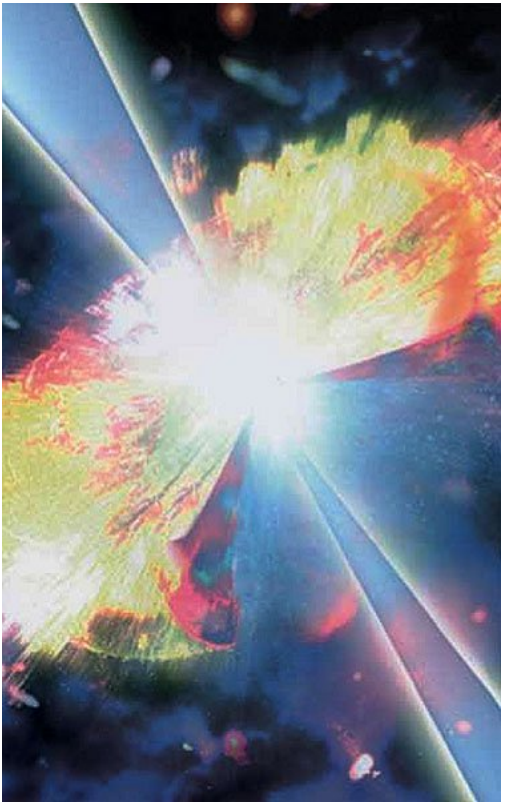
взяв Анела в помощники.

Однако Крулль решил, что Анелу помощь Пиркса будет совершенно ни к чему, поэтому они навьючили на робота аппарат, кассеты с фотопленкой и, вложив в кобуру пояса реактивные патроны, послали Анела к вершинам горного массива.

Робот вышел в восемь утра — Массена вслух высказал уверенность, что он управится с делами до обеда. Однако прошло два, три, четыре часа, наконец сгустились сумерки, но Анел не возвращался.

Пиркс сидел в углу и при свете лампы читал изрядно потрепанную книгу, которую взял еще на Базе у какого-то пилота, но почти ничего не понимал. Сидеть было не очень удобно. Рифленая алюминиевая стенка давила ему на спину, надувная подушка спустила, и он чувствовал, как сквозь прорезиненную ткань в тело врезаются острые гайки. Однако он не изменял положения, поскольку неудобная поза удивительно гармонировала с растущей в нем злостью. Ни Крулль, ни Массена до сих пор, казалось, не замечали отсутствия робота. Крулль, который отнюдь не был шутником и даже не пытался острить, непонятно почему с первого же дня упорно величал Анела

Ангелом или даже Железным Ангелом, иначе к нему не обращался, и такая, по сути, мелочь уже столько раз раздражала Пиркса, что за одно это он невзлюбил космографа. У Массены отношение к роботу было профессиональное: все интеллектроники хорошо знают или, во всяком случае, делают вид, будто знают, какие молекулярные процессы и токи вызывают те или иные реакции или ответы автомата, и поэтому отвергают любые предположения о какой-либо их разумности как абсолютную чушь. Тем не менее, к Анелу он относился так же, как хороший механик к своему дизелю: не позволял перегружать, любил за исполнительность и даже заботился о нем, как мог.



В шесть терпение у Пиркса лопнуло, потому что у него занемела нога, и он стал потягиваться так, что кости затрещали, шевелить ступней и

сгибать ногу в колене, чтобы ускорить кровообращение, а потом принялся расхаживать из угла в угол, прекрасно зная, что это лучший способ досадить Круллю, погруженному в проверку вычислений.

— Могли бы и потише! — сказал наконец Крулль, обращаясь к ним обоим, словно не видел, что ходит один Пиркс, а Массена, надев наушники и развалившись в пневматическом кресле, с увлечением слушает какую-то передачу. Пиркс открыл дверь — его обдало могучим потоком западного ветра — и, когда глаза немного привыкли к темноте, прислонился спиной к гудящей под напором ветра стене из листового алюминия и стал смотреть в ту сторону, откуда должен был появиться Анел. Он видел только редкие звезды, дрожавшие в воздухе, порывы ветра холодным потоком обрушивались ему на голову, спутывали волосы, а ноздри и легкие прямо-таки распирало от ветра — скорость была метров сорок в секунду. Он постоял, а когда ему стало холодно, вернулся в дом, где Массена, зевая, снимал с головы наушники и расчесывал пятерней волосы. Крулль же, сморщенный, сухой, терпеливо складывал бумаги в папки, постукивая по столу пачкой листов, чтобы подравнять их.

— Нет его! — сказал Пиркс и сам удивился, как это прозвучало — почти как вызов.

Крулль и Массена, по-видимому, заметили, каким тоном это было сказано, потому что Массена быстро взглянул на Пиркса и бросил:

— Это ничего, дойдет, хоть и темно; вернется на инфракрасном…

Пиркс посмотрел на него, но ничего не ответил. Проходя мимо Крулля, он поднял с кресла брошенную книжку и, усевшись в своем углу, притворился, что читает. Ветер усиливался. Звуки за окном нарастали, вздымались, переходили в вой. Что-то мягко шлепнуло о стену — или это ветка? — и опять потянулись минуты молчания. Массена, явно ожидавший, что всегда уступчивый Пиркс возьмется готовить ужин, наконец встал и начал вскрывать банки саморазогревающихся консервов, каждый раз внимательно читая надписи на этикетках, словно надеялся найти среди запасов какое-нибудь неизвестное до сих пор лакомство. Пирксу есть не хотелось. Точнее, он был голоден, но ему не хотелось двигаться с места. Постепенно его начало охватывать недоброе, холодное бешенство, он ополчился бог весть почему на обоих товарищей, которые вообще-то были не худшими из возможных.

Считал ли он, что с Анелом что-то приключилось? Что робот, скажем, подвергся нападению «таинственных жителей» планеты, в существование которых не верит никто, кроме сказочников? Если б был хоть один шанс на сто тысяч, что планету населяют какие-то существа, они наверняка не сидели бы так, погрязнув в мелких делишках, а немедленно предприняли бы все возможные шаги, предусмотренные правилами в пунктах втором, пятом, шестом и седьмом восемнадцатого параграфа, а также третьим и четвертым разделами правил специального поведения. Но такого шанса не было; и не было вообще никаких шансов. Скорее взорвется солнце Йоты. Да, это гораздо вероятнее. Так что же могло случиться с Анелом?

Пиркс ощущал, как непрочно спокойствие, царящее в доме, который содрогался под порывами ветра. Не один Пиркс делал вид, что читает и не хочет ужинать. Остальные тоже включились в игру, сначала незаметную, но все более явную, по мере того как уходило время.

По линии технического обслуживания Анел находился в подчинении у Массены как интеллектроника, Крулль же, будучи начальником группы, командовал им как членом экспедиции.

Так что виноватым мог оказаться любой из них. Может, Массена чего-то не досмотрел, а может, Крулль неточно указал трассу, по которой должен был пройти Анел? В конце концов выяснить это было не так трудно и не из-за этого росло и нагнеталось молчание.

Крулль с самого начала помыкал роботом, награждал его презрительными кличками и не раз давал поручения, от чего остальные члены группы воздерживались хотя бы потому, что универсальный робот — не лакей. И делал он это, видимо, затем, чтобы, унижая Анела, тем самым досадить Массене, прямо задирать которого не решался.

Теперь шла борьба нервов — первый, кто проявит беспокойство о судьбе Анела, тем самым как бы признает себя побежденным. Впрочем, Пиркс чувствовал, что и он оказался втянутым в это молчаливое соревнование, столь дурацкое и одновременно столь напряженное. Он подумал, с чего бы начал он сам, будь он руководителем. Наверно, с немногого — в такую ночь нельзя отправляться на поиски. Так или иначе, оставалось ждать до утра, а сейчас разве что попытаться установить радиосвязь, впрочем с минимальными шансами на успех, так как радиус связи на

ультракоротких волнах в сильно пересеченной горной местности был невелик.

До сих пор они еще никогда не посылали Анела одного, тем более что правила, не запрещая этого, обусловливали подобный шаг бесчисленными параграфами, полными оговорок. А впрочем, черт с ними, с параграфами! Пиркс считал, что Массена, вместо того чтобы раздраженно выковыривать из банки остатки пригоревшего мяса, мог бы все-таки попытаться вызвать робота по радио. Он раздумывал, что было бы, если б он сделал это сам. С Анелом наверняка что-то случилось. Может ли робот сломать ногу? Никогда ни о чем подобном ему слышать не приходилось.

Он встал, подошел к столу и, чувствуя на себе скрытые под маской равнодушия взгляды товарищей, стал внимательно изучать карту, на которой Крулль собственноручно вычертил маршрут Анела. Не выглядит ли это так, будто он контролирует руководителя? Пиркс быстро поднял голову, встретил взгляд Крулля, который явно хотел ему что-то сказать, и уже раскрыл было рот. Но, когда холодный взгляд Пиркса упал на него, он только кашлянул и, сгорбившись, продолжал сортировать бумаги. Видимо, Пиркс здорово подействовал на него своим взглядом,

впрочем сам того не сознавая, — просто в такие минуты в нем просыпалось что-то, от чего на борту ракеты его слушались и уважали, но отчасти побаивались.

Он отложил карту. Трасса доходила до большой скалистой стены с тремя, словно подмытыми потоком утесами и дальше огибала их. Мог ли робот не выполнить задания? Это было невероятно.

«Но ведь можно повредить ногу, даже попав в маленькую трещину!» — подумал Пиркс. Нет, это глупо. Робот, такой как Анел, может упасть и с сорокаметровой высоты. И не из таких положений они выходят целыми и невредимыми. Металл, из которого они сделаны, покрепче, чем хрупкие человеческие кости. Так что же случилось, черт побери?

Он выпрямился и с высоты своего роста взглянул сначала на Массену, который, оттопырив губу, дул, потягивая слишком горячий чай, потом на Крулля, наконец, демонстративно отвернувшись, пошел в крохотную спальню, где, пожалуй, с излишней резкостью выдернул из стены складную кровать и, привычно, в четыре приема скинув одежду, забрался в спальный мешок. Он знал, что ему вряд ли заснуть, но сидеть с товарищами было уже невмоготу. Впрочем, кто знает,

останься он с ними подольше, пожалуй, он бы высказался, причем наверняка зря, потому что все равно завтра им предстоит расстаться; с того момента как они войдут в корабль, оперативная группа Йоты Водолея прекратит существование.

Ему уже начало мерещиться то да се, полусеребряные ручейки стекали из-под век, пушистые светлячки манили ко сну, он перевернул подушку на другую, более прохладную сторону — и вдруг словно воочию увидел перед собой Анела, такого, каким он ему запомнился за несколько минут до ухода. Массена как раз опоясывал автомат связкой ракетных патронов, которые позволяли, словно бы наперекор гравитации, несколько минут продержаться в воздухе; впрочем, это устройство применяли все, разумеется, при обстоятельствах, учитываемых предусмотрительными инструкциями. Странная это была сцена — всегда странно смотреть, как человек помогает роботу. Обычно бывает как раз наоборот. Однако Анел не мог дотянуться рукой до кобур, укрепленных под торчащим словно горб, набитым до отказа рюкзаком. Он нес груз, достаточный для двух человек. Правда, это не приносило ему вреда — в конце концов он был просто машиной и в случае необходимости благодаря микроскопической

стронциевой батарее, заменявшей ему сердце, развивал мощность в шестнадцать лошадиных сил. Однако сейчас Пирксу в предсонном дурмане все это, вместе взятое, видимо, не очень-то понравилось; он всей душой был на стороне молчаливого Анела и склонялся к мысли, что тот, подобно ему самому, вовсе не так уж спокоен по натуре, а только прикидывается спокойным, делая вид, что все идет как положено. Перед тем как окончательно погрузиться в сон, Пиркс подумал еще кое о чем. Это были те глубоко интимные мечты, каким только может предаваться человек, наверно, потому, что после пробуждения обычно не помнит о них, и то, что завтра он не будет помнить ничего, оправдывает сегодня все. Он вообразил себе ту сказочную, мифическую ситуацию, которая — он знал это не хуже других — была совершенно немыслимой: бунт роботов. И, ощущая в глубине души уверенность, что тогда он непременно оказался бы на их стороне, быстро погрузился в сон.

Проснулся он рано, неизвестно почему, и первой его мыслью было: ветер прекратился. Потом он вспомнил об Анеле и о своих видениях перед сном; его немного смутило то, что подобное вообще могло прийти ему в голову. Еще некоторое

время он лежал, пока не пришел к успокоительному выводу, что эти сумеречные, зябкие образы посетили его не наяву, но — в противоположность сну, который снится сам, — требовали незначительной, почти без участия сознания помощи с его стороны. Подобные психологические изыскания были ему чужды, поэтому он удивился, зачем забивает себе ими голову, слегка приподнялся на локте и прислушался: абсолютная тишина. Отодвинул штору иллюминатора над головой. Сквозь мутное стекло виднелся предрассветный туман. И только тут Пиркс понял, что придется идти в горы. Вскочил с кровати, чтобы заглянуть в общую комнату. Робота не было. Те двое уже встали. За завтраком Крулль мимоходом, так, словно это было решено еще вчера, заметил, что выйти придется немедленно, так как вечером прибудет «Ампер», а сборка дома и упаковка вещей займут самое меньшее часа полтора. Он нарочно не уточнял, идут ли они из-за отсутствия данных или из-за Анела.

Пиркс молча ел за троих. Те двое еще допивали кофе, а он встал и, покопавшись в своем мешке, переложил в рюкзак моток белого нейлонового шнура, альпеншток и крючья. Подумав, добавил альпинистские ботинки — на всякий случай.

Они вышли, когда только начало рассветать. На бесцветном небе уже не было видно звезд. Тяжелая фиолетово-серая дымка на скалах, лицах, в самом воздухе была неподвижна и морозна, горы на севере черной массой застыли в темноте, а южный хребет, тот, который был ближе, стоял словно высвеченная сверху маска с искристой оранжевой полосой над вершинами. Этот отсвет, далекий и призрачный, делал видимыми клубы пара, вырывающиеся изо ртов трех человек. Хотя атмосфера была более разреженная, чем на Земле, дышалось легко. Остановились на краю равнины. Островки травы, темнея в сумраке уходящей ночи и надвигающегося из-за гор дня, остались позади. Перед ними лежала ледниковая морена, груды камней, казалось, просвечивали сквозь колеблющуюся воду. Еще несколько сотен метров вверх — и появился ветер; он налетал короткими порывами. Люди шли, легко перескакивая через небольшие камни, поднимаясь на большие; иногда каменная плита сухо стучала о другую, порой кусочек камня выскальзывал из-под ботинка и скатывался по склону под аккомпанемент разлетающихся отголосков, словно бы внизу кто-то просыпался. Порой поскрипывал наплечный ремень, звякали подковки на

ботинках; эти скупые звуки придавали походу видимость согласия и четкости, словно двигалась спаянная единым желанием альпинистская группа. Пиркс шел вторым за Массеной. Было все еще слишком темно, чтобы как следует разглядеть рельеф далеких склонов. Пиркс напряженно вглядывался вдаль. Поскользнулся на валуне раз, другой, третий — неудачно поставил ногу, — но все же продолжал вглядываться, словно хотел убежать не только от тех, кто его окружал, но и от самого себя, от своих мыслей. Он вовсе не думал об Анеле, а только механически шарил взглядом по этому нагромождению древних скал, застывшему в полном безразличии, где лишь человеческое воображение могло усмотреть угрозу и вызов.

На этой планете были отчетливо различимые времена года. Экспедиция началась в конце лета, а теперь горная осень, вся в пурпуре и желтизне, уже угасала в долинах, но, словно не замечая листьев, мчащихся в пенных горных потоках, солнце было все еще теплым, и в безоблачные дни на этом плоскогорье даже припекало. Только густеющие туманы напоминали о приближении морозов и снега. Но тогда на планете уже не должно было остаться никого; и эта побелев-

шая каменная пустыня, которую представил себе Пиркс, внезапно показалась ему особенно желанной.

Казалось бы, заметить, что тьма редеет, было невозможно, однако с каждой минутой мрак уступал, и вырисовывались новые детали. Небо уже совсем побледнело — еще не день, но уже не ночь, ничего похожего на зарю в это чистое и спокойно начинающееся утро, словно все оно было заключено в шар из охлажденного стекла. Поднявшись выше, они попали в полосу молочно-белого тумана, цепляющегося гибкими щупальцами за грунт, а когда туман остался позади, Пиркс увидел еще не освещенную солнцем, но уже различимую цель пути. Это был скалистый столб, примыкающий к основной горной цепи, а над ним, на несколько сотен метров выше, чернела двуглавая вершина, самая высокая из всех. На булавообразной вершине столба Анелу предстояло сделать последние замеры. Путь в обе стороны был легким — никаких неожиданностей, расщелин, ничего, кроме однообразной серой осыпи, кое-где пересеченной полосами плесени зеленовато-желтого цвета.

Пиркс, все еще легко перепрыгивая с одних гулких валунов на другие, вглядывался в совер-

шенно черную на фоне неба стену и, может, затем, чтобы отогнать иные мысли, вообразил себе, что совершает обычное восхождение. И тотчас он другими глазами увидел скалы — действительно, можно было подумать, что целью экспедиции является покорение вершины, коль они идут прямо к хребту, тяжело выступающему из массы гравия. Гравий подходил к стене, закрывая одну треть ее, затем шло нагромождение заклиненных плит, а уже оттуда огромная плоскость устремлялась вверх; она словно замерла, взметнувшись в небо; в каких-нибудь ста метрах над плитами стену перерезала другая горная порода — это выходил на поверхность диабаз; красноватый, светлее гранита, он неровной полосой наискось пересекал весь скат обрыва.

Некоторое время вершина приковывала взгляд Пиркса своей патетической линией, но стоило им приблизиться, как с пиком произошло то, что обычно происходит с горой: перспектива исчезла, распавшись на отдельные, заслоняющие друг друга участки, причем основание утратило прежнюю покатость, выдвинулись отроги, и взору открылись бесконечные террасы, полки, кончающиеся тупиками расщелины, хаос старых трещин, а над этим нагромождением блестела

сама вершина, позолоченная первыми лучами солнца, со странно мягким контуром; наконец и она исчезла, заслоненная более близкими пиками; Пиркс уже не мог оторвать глаз от колосса — да, даже на Земле эта стена была бы достойна внимания и усилий, особенно из-за отчетливо видного диабазового вала. От него до вершины, залитой солнечным светом, путь казался коротким и легким, однако известную сложность представляли козырьки, особенно самый большой, внизу блестевший от влаги и льда, скорее черный, чем красный, словно свернувшаяся кровь.

Пиркс дал волю фантазии. Ведь это могла быть не безымянная вершина под чужим солнцем, а гора, которую не раз штурмовали и при этом терпели поражения, гора, покоряющая альпиниста присущим только ей своеобразием, — подобное чувство возникает, когда видишь хорошо знакомое лицо, на котором каждая морщина и каждый шрам имеет свою историю. Небольшие, едва различимые змейки трещин, темные нитки полок, мелкие выщерблины — каждая из них могла стать отметиной, которую достигаешь во время очередного штурма, местом длительных остановок, молчаливых раздумий, бурных натисков и мрачных отступлений, поражений, понесенных

несмотря на то, что все тактические и технические ухищрения были использованы, — гора, настолько слившаяся с человеческими судьбами, что каждый альпинист, которого она отвергла, возвращался к ней снова и снова, с тем же неистощимым запасом надежды и веры в победу, и при новом штурме примерял к гладкой скалистой поверхности выношенный в памяти маршрут. У этой горы могла быть богатая история: окольные обходы, различные варианты ее покорения, хроника успехов и жертв, фотографии, помеченные пунктиром трассы и крестиками — самые высокие из достигнутых мест; Пиркс ухитрился представить себе это с величайшей легкостью; более того, ему казалось странным, что это не так.

Массена шел первым, слегка сутулясь. Постепенно разлившийся дневной свет не оставил больше никаких иллюзий насчет «легких мест» стены — это обманчивое ощущение легкости и безопасности было порождено голубоватой дымкой, так мирно обволакивающей каждый участок блестящей скалы. День, ясный и чистый, уже добрался до путешественников, от их ног тянулись длинные, колеблющиеся тени. От каменной стены к осыпи вели два больших стока, еще полных ночи; застывший поток гравия взды-

мался там и неожиданно исчезал, поглощенный кромешной тьмой.

Уже давно невозможно было охватить массив одним взглядом. Пропорции изменились, стена, издалека ничем не примечательная, являла неповторимую индивидуальность форм, а впереди, как бы постепенно вырастая из-под рассыпавшейся карточной колоды плоских плит, все увеличиваясь, вздымался вверх гигантский столб; он расширялся, рос, пока наконец не оттеснил и не заслонил все остальное и остался один в холодной, мрачной тени никогда не видавших солнца мест.

Они как раз ступили на пятно вечного снега, покрытое брызгами камней, слетавших с высоты, когда Массена замедлил шаг, потом остановился, словно прислушиваясь. Пиркс, который подошел к нему первым, понял — Массена ткнул пальцем в собственное ухо, где торчал шарик динамика.

— Он был здесь?

Массена кивнул, поднеся к грязной, спрессовавшейся поверхности снега металлический прутик индикатора радиоактивности. Подошвы ботинок Анела были насыщены радиоактивным изотопом, и счетчик обнаружил его след. Робот прошел здесь вчера, только неизвестно, по пути туда или

уже обратно. Во всяком случае, они отыскали его трассу. Начиная с этого места замедлили шаг.

Казалось, темный каменный столб вздымается рядом, но Пиркс знал, что в горах нельзя определять расстояние на глаз. Теперь они были выше линии снегов и валунов и шли по древней округлой грани. В полной тишине Пирксу казалось, будто он слышит попискивание в наушниках Массены, хотя это было совершенно невозможно. Время от времени Массена останавливался, водил концом металлического прута, опускал его, почти касаясь скалы, рисовал в воздухе петли и восьмерки, будто древний маг, наконец, отыскав след, снова пускался в путь. Они уже приближались к этому участку, где Анел должен был провести замеры; Пиркс внимательно разглядывал скалу, словно искал следы, оставленные пропавшим.

Но скала была пуста.

Самая легкая часть пути осталась позади — впереди из-под основания столба торчали наклонившиеся под всевозможными углами плиты, будто кто-то специально сделал гигантский разрез скальных пород и приоткрыл каменное чрево, обнажив сердцевину горы, древнейшие слои, местами потрескавшиеся под чудовищной

тяжестью всей этой стены, на целые километры взметнувшейся в небо. Еще сто, сто пятьдесят шагов — дальше пройти невозможно.

Массена, водя перед собой концом индикатора, кружил на первый взгляд бесцельно и бессмысленно, с бесстрастным выражением лица, прищурив глаза, сдвинув на лоб темные очки, потом остановился и сказал:

— Он был здесь. И довольно долго.

— Откуда ты знаешь? — спросил Пиркс.

Массена пожал плечами, вытащил из уха шарик, от которого тянулась тонкая нитка провода, и вместе с прутом индикатора протянул Пирксу. Пиркс услышал стрекотание и писк. На поверхности скалы не было ни отпечатков, ни следов — ничего, только этот звук, отдающийся в голове пронзительным звоном, свидетельствовал, что Анел, должно быть, действительно довольно долго топтался здесь. Почти каждый метр поверхности выдавал его присутствие. Постепенно в хаосе звуков Пиркс сумел что-то уловить — по-видимому, Анел пришел той же дорогой, какой и они, расставил треногу аппарата и ходил вокруг него, пока делал замеры и снимки, несколько раз передвигал треногу в поисках более удобного места для наблюдения. Да, картина получалась вполне ясная. Но что же произошло потом?

Пиркс принялся делать вокруг этого места все более широкие круги, двигался по спирали, чтобы

отыскать след, идущий от центра, след возвращения, но следа не было. Получалось, будто Анел вернулся, ступая точно по собственному следу, но это уж выглядело совершенно неправдоподобно. Ведь у него не было чувствительного к радиации индикатора и он не мог знать, где проходил раньше, да еще с точностью до сантиметра.

Крулль что-то говорил Массене, но Пиркс, не слушая, продолжал кружить, и вдруг ему показалось, что наушники пискнули — один раз, но явственно. Он замедлил шаг. Да, здесь. Он оглянулся. След был у стены, как будто робот повернул не к лагерю, а, напротив, двинулся к скальному столбу.

Это было непонятно. Что ему там понадобилось?

Пиркс искал еще хотя бы один след, но скалы молчали, и ему пришлось проверять все потрескавшиеся плиты, нагроможденные у основания колонн; трудно было предугадать, на какую из них Анел поставил ногу. Наконец Пиркс отыскал след в пяти метрах от предыдущего; неужели Анел прыгнул так далеко? Но зачем? Он опять отступил и немного погодя обнаружил потерянный след — робот перескакивал с камня на камень. Вдруг Пиркс, плавно водивший прутом по кам-

ням, вздрогнул, словно у него в голове взорвался разрывной патрон; крохотный динамик-шарик в ухе так взвыл, что Пиркс поморщился почти как от боли. Он взглянул на каменную плиту и остолбенел. Заклиненный между двумя камнями, на дне естественного колодца лежал целехонький аппарат рядом с фотографической камерой. По другую сторону плиты к камню был прислонен упакованный как полагается рюкзак Анела с расстегнутыми ремнями. Пиркс кликнул остальных. Крулль проверил кассеты — походило на то, что замеры были проделаны. Работа была сделана. Оставалось только выяснить судьбу Анела. Массена сложил ладони рупором и несколько раз громко крикнул. Далекое, протяжное эхо отозвалось от скал. Пиркс даже вздрогнул; этот призыв прозвучал для него так, словно искали человека, заблудившегося в горах. Спустя минуту интеллектроник вынул из кармана плоскую коробочку передатчика, присел на корточки и начал вызывать робота, но было видно, что делает он это скорее по обязанности, чем по убеждению. Тем временем Пиркс продолжал искать следы. Походило на то, что робот довольно долго топтался на одном месте — столько едва слышных писков издавал наушник. Чересчур большое количество

следов окончательно сбило Пиркса с толку. Наконец он грубо очертил границу района, которую робот наверняка не пересекал, и стал ходить вдоль нее, рассчитывая на то, что отыщет новый след, который укажет направление дальнейших поисков.

Описав очередной круг, он вернулся к скале. Между каменным выступом, на котором он стоял, и совершенно отвесной скалой, вздымающейся вверх, зияла полутораметровая расщелина; ее дно было усеяно мелкими остроконечными обломками гравия. Пиркс тщательно исследовал и это место, но наушники молчали. Он оказался перед совершенно непонятной загадкой: Анел словно растворился в воздухе. Массена и Крулль вполголоса совещались за его спиной, а он медленно поднял голову и впервые с такого близкого расстояния взглянул на уходящий вверх каменный столб.

Непреоборимой была сила вызова, которую он ощущал в каменном покое скалы; скорее это был даже не вызов, а что-то похожее на протянутую руку. Тут же у Пиркса появилась уверенность, что от этого нельзя отказываться, что это начало дороги, по которой он не может не пойти. Совершенно непроизвольно он представил себе первые

шаги; тут все было ясно. Одним длинным, точно рассчитанным прыжком можно перемахнуть через щель и сразу оказаться на небольшом уступе, затем надо двигаться наискосок, вдоль трещины, чуть дальше переходящей в неглубокую расщелину. Не зная, зачем он это делает, Пиркс поднял индикатор и, высунувшись насколько мог, поднес его к каменному уступу по другую сторону щели. Динамик пискнул. Для верности Пиркс еще раз повторил туже операцию, с трудом удерживая равновесие, и снова услышал короткий писк. Теперь он уже не сомневался.

— Анел пошел наверх, — вернувшись к товарищам, спокойно произнес он и указал на каменный столб.

Крулль вроде бы не понял, а Массена повторил:

— Наверх? Не понимаю. Зачем наверх?

— Не знаю. Туда ведет след, — ответил Пиркс с притворным безразличием.

Массена был склонен думать, что Пиркс ошибся, но тут же убедился сам, что это правда. Анел одним широким шагом перемахнул через щель и пошел вдоль каменного завала. Возникло замешательство. Крулль считал, что после того, как замеры были сделаны, робот вследствие ка-

кого-то дефекта распрограммировался; Массена придерживался того мнения, что это невозможно, — ведь Анел оставил все аппараты и рюкзак совсем так, будто обдуманно готовился к трудному восхождению, и, значит, что-то заставило его сделать это.

Пиркс молчал. Он уже решил, что пойдет, даже если придется идти одному; Крулль все равно не пошел бы, потому что это требовало альпинистских навыков, и немалых. От Массены он слышал, что тот ходил много и, кажется, был неплохо знаком с техникой восхождения на крючьях; и, когда наступило молчание, он просто сказал, что намерен идти — готов ли Массена сопровождать его?

Крулль тут же стал возражать: инструкция запрещает подвергать людей опасности, в полдень за ними прилетит «Ампер», им еще предстоит сложить дом и упаковать вещи, замеры сделаны, робот явно попал в аварию, — стало быть, надо открыто признать, что он исчез, то есть изложить в отчете обстоятельства его исчезновения.

— Значит ли это, что мы должны оставить его здесь и улететь? — спросил Пиркс.

Его спокойствие, казалось, раздражало Крулля, который, едва сдержавшись, ответил, что в докладе исчерпывающе изложит все события, не

забудет привести мнения членов экспедиции и даст наиболее правдоподобное объяснение случившемуся: выход из строя мнестронов памяти либо направленного мотиварного контура или же десинхронизация…

Массена заметил, что ни первое, ни второе, ни третье невозможно, поскольку у Анела вообще нет никаких мнестронов, а лишь однородная монокристаллическая система, выращенная молекулярно из переохлажденных диамагнитных растворов, обогащенных изотопными элементами…

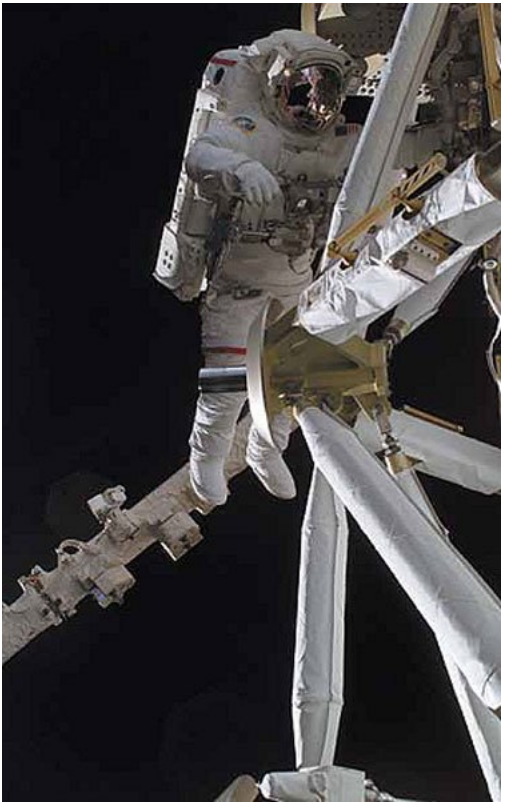
Было ясно, что он хотел уязвить Крулля, показать ему, что тот говорит о вещах, в которых вообще ничего не смыслит. Пиркс перестал прислушиваться к разговору. Отвернувшись, он снова смерил взглядом основание столба, но уже иначе, чем до этого, — воображаемое стало реальным и, хоть ему было немного не по себе, он чувствовал явное удовлетворение, что может вступить в единоборство с горой.

Массена все же решил идти с Пирксом, быть может, для того, чтобы окончательно противопоставить себя Круллю. До Пиркса долетали лишь обрывки их разговора: загадку необходимо выяснить любой ценой, а если они просто вернутся,

то, может быть, упустят что-то столь же важное, сколь и таинственное, вызвавшее такую неожиданную реакцию робота, и, если существует всего лишь пять шансов из ста, что это «что-то» произошло, то риск восхождения будет полностью оправдан.

Крулль, надо отдать ему должное, признал себя побежденным и больше не тратил слов. Воцарилось молчание. Массена начал снимать со спины аппараты, а Пиркс, который тем временем уже приготовил свою веревку, молоток, крючья и сменил тяжелые ботинки на легкие, украдкой поглядывал на него. Пиркс видел, что Массена немного расстроен. Вероятно, на него подействовала не столько стычка с Круллем — это было делом привычным, — сколько мысль, что он, видимо, сгоряча впутался в историю, из которой теперь не выпутаться. Пиркс подумал, что, предложи он Массене остаться, тот, может, и согласился бы. Впрочем, тут была задета честь! Однако Пиркс молчал, потому что, хоть вначале восхождение и обещало быть легким, нельзя было предсказать, что ждет их выше, особенно там, где большую часть каменной стены заслоняли козырьки. Ведь он даже не осмотрел стены в бинокль, потому что не собирался штурмовать ее.

А все же взял веревку и крючья — зачем? Вместо того чтобы ответить на этот вопрос, он стоял и ждал Массену. Потом они уже вдвоем медленно двинулись к подножию скалы.



— Я пойду первым, — сказал Пиркс, — сразу же на всю веревку, а там поглядим.

Массена кивнул. Пиркс еще раз обернулся —

посмотрел, что делает Крулль, с которым они расстались в полном молчании. Крулль стоял на прежнем месте около брошенных рюкзаков. Пиркс и Массена были уже так высоко, что могли видеть раскинувшееся за северными отрогами оливковое пятно далеких низин. Основание каменистой осыпи еще лежало в тени, только вершины гор ослепительно блестели, освещая выщерблины почти совершенно плоской стены, высоко вздымающейся над нами.

Пиркс сделал большой шаг, нащупал ногой выступ, оттолкнулся и легко подался вверх. Первые метры были действительно нетрудны. Он двигался размеренно, как бы лениво, перед самыми глазами проплывали шершавые слои скалы, неровные, с впадинами более темного цвета. Он упирался, подтягивался, делал бросок вверх, чувствуя неподвижное, морозное прикосновение ночи, идущее от каменного массива. Сердце забилось быстрее, он дышал свободно, из-за работы мускулов приятное тепло разлилось по телу. Массена, шедший вторым, понемногу травил веревку, и в прозрачном воздухе было отчетливо слышно, как она шуршит, касаясь скалы. Прежде чем веревка кончилась, Пиркс отыскал удобное для страховки место; может, кого-нибудь

другого он бы просто вытянул наверх, но сейчас ему хотелось проверить, чего стоит Массена. Он стоял, втиснувшись в трещину, которая шла под небольшим углом через весь столб, и, ожидая Массену, мог рассмотреть большую расщелину, которую они обходили, двигаясь параллельно ей — она как раз тут расширялась, серый камнепад образовал вогнутую нишу; снизу это место выглядело совершенно неинтересным, плоским, и только тут во всем своем великолепии стала видна поверхность скалы. Пирксу было так хорошо в одиночестве, что теперь, увидев рядом Массену, он словно возвратился к действительности. Они сразу же двинулись дальше. Так они и взбирались вверх, ритмично и спокойно, и на каждой остановке Пиркс ловил индикатором сигналы, проверяя, не выдаст ли писк в наушнике присутствия автомата. Только раз он сбился со следа, и пришлось отказаться от удобной расщелины, потому что Анел поднялся здесь наискось по стене, хотя и не был альпинистом; Пиркс легко угадывал все его последующие решения, настолько — если можно так выразиться — однозначна, логична была эта дорога в скале, дающая возможность поскорее достичь вершины. Во всяком случае, было ясно, что Анел совершил восхождение. Пиркс ни

на одну минуту не задумался, зачем робот сделал это. Он приучил себя не рассуждать напрасно. Понемногу он знакомился со скалой — своим противником. В его памяти всплыли, казалось бы, забытые способы и приемы, он безошибочно угадывал, что и когда делать; и, хотя ему довольно часто приходилось высвобождать одну руку, чтобы поискать индикатором радиоактивный след, это не доставляло ему никаких хлопот.

Один раз, держась за выступающий камень, который тем не менее крепко сидел в скале, Пиркс посмотрел вниз. Они были уже довольно высоко, хотя, казалось, двигались медленно. Крулль уже превратился в маленькое пятнышко — зеленоватый комбинезон на плоской серой осыпи, так что Пиркс не сразу отыскал его не дне воздушного колодца, который разверзся у самых ног.

На пути попалась небольшая щель; дорога становилась трудней, но с каждой минутой восстанавливались навыки, и подчас безопаснее было довериться собственному инстинкту, чем сознательно обдумывать выбор приемов; в том, что дорога стала трудней, Пиркс убедился в ту минуту, когда хотел освободить правую руку, чтобы взять свисавший с пояса индикатор, — и не смог этого сделать. У него была только одна точка

опоры для левой руки и что-то весьма непонятное под носком правого ботинка; отодвинувшись насколько возможно от скалы, он попытался отыскать опору для другой ноги и не нашел. Тогда он отказался от индикатора, потому что выше вроде бы угадывалась небольшая полочка.

Она была покрыта ледяной коркой и наклонена в сторону пропасти, но в одном месте лед был сбит с камня. Пиркс никогда бы не смог этого сделать. Ему пришло в голову, что тут поработал ботинок Анела — ведь робот весил около четверти тонны.

Массена, который до сих пор шел вовсе недурно, что-то начал отставать.

Они приближались к вершине каменного столба. Скала, по-прежнему шершавая, начинала все явственнее наклоняться в сторону пропасти, и идти дальше без солидной опоры было невозможно; в нескольких метрах выше расщелина, до сих пор достаточно широкая, кончилась, у Пиркса оставалось еще метров пять свободной веревки, но он приказал Массене выбрать ее, чтобы осмотреться. Прошел же здесь робот — без крючьев, без веревки и без страховки. «А стало быть, и я смогу», — подумал Пиркс. Он стал ощупывать скалу над головой; правую ступню, заклиненную в сузившейся расщелине, по которой он до сих

пор передвигался, кольнуло от резкого поворота. Вот кончиками пальцев он нащупал узенькую площадку. Держась за нее, пожалуй, можно было подтянуться, ну а дальше что?

Это было уже соперничеством не только со скалой, но как бы и с Анелом — ведь он здесь прошел, и к тому же один. Правда у него стальные пальцы… Пиркс начал высвобождать ступню из щели; при этом небольшой камешек выскочил из-под ноги и помчался вниз. До Пиркса отчетливо донесся свист рассекаемого воздуха, и через несколько долгих мгновений — ох, как нескоро! — четкий, резкий удар. «Ну что ж, — подумал он, — ситуация ясна». Он решил не подтягиваться и стал искать место, где можно было бы вбить костыль. Однако на скале не было и намека на трещину; Пиркс высунулся насколько мог, но ничего не нашел.

— Что там? — донесся снизу голос Массены.

— Порядок. Осматриваюсь, — сказал он.

Нога давала о себе знать, он чувствовал, что долго в таком положении ему не протянуть. Эх, если б можно было найти другой путь! Но стоит только потерять след, и его уже не отыщешь на этой высоченной стене. Он поднял глаза вверх и стал пристально вглядываться. Каменная по-

верхность стены, которая отсюда была видна под очень небольшим углом зрения, казалась покрытой многочисленными трещинами, но в действительности впадин почти не было — рассчитывать можно было только на ту полочку. Когда он подтянулся на обеих руках вверх, извлек ступню из расщелины, у него мелькнула мысль, что возврата уже нет: он висел, скала сразу же как бы оттолкнула его, носки ботинок отдалились от нее сантиметров на тридцать. Вверх! Что-то мелькнуло у него над головой. Трещина? Но до нее надо было дотянуться. Еще немного! В следующую секунду он потерял способность размышлять: надо повиснуть на кончиках четырех пальцев правой руки, отпустить левую и дотянуться ею до той царапины или же трещины неизвестно какой глубины. «Этого нельзя было делать!» — мелькнуло у него в голове, когда он вдруг оказался на два метра выше и всем телом прижался к скале; чувствуя, что еще секунда — и мускулы лопнут, он тяжело дышал и злился на себя; теперь он обеими ногами стоял на полочке и мог вбить костыль, для верности даже два, потому что первый вошел не очень глубоко. Так он и поступил, с удовольствием вслушиваясь в чистый, звенящий высокий звук. Веревка заско-

чила в карабин. Пиркс знал, что придется помочь Массене; нельзя сказать, чтобы все прошло очень гладко, но ведь это же не Альпы, по крайней мере сейчас положение у него было вполне сносное.

Над полочкой была узкая, очень подходящая трещина. Пришлось взять короткий прут индикатора в зубы, потому что Пиркс боялся ударить им о камень. Выше виднелась порода другого цвета. Черная стена с древними, коричнево-серыми подтеками осталась внизу, а над головой слабо искрился рыжеватый, покрытый коричневато-красными прожилками диабаз. Несколько метров — и эта царская дорога кончилась; над головой опять был новый козырек, его невозможно было взять с таким небольшим количеством крючьев, да к тому же и без полочки под ногами, однако ведь у Анела не было ничего. Пиркс пустил в ход индикатор: робот туда не пошел. Значит, оставалось двигаться вперед по горизонтали…

Сначала это показалось ему не очень трудным и не слишком опасным. Здесь столб как бы вновь обретал свою форму; Пиркс стоял на узкой, но вполне подходящей полочке, которая доходила до излома и там обрывалась; высунувшись, он увидел, что она продолжается за выпуклостью скалы, в каких-нибудь полутора метрах — на-

верняка меньше чем в двух. Значит, надо было обвиться телом вокруг выступа и, потеряв опору для правой ступни, оттолкнуться левой так, чтобы, описав кривую над пропастью, правой упереться в продолжение полки. Он поискал, куда можно было бы вбить костыль — с подстраховкой это не представляло бы особого труда. Но зловредная стена и здесь была совершенно монолитной. Он глянул вниз: с того места, которое мог занять Массена, страховка была полнейшей фикцией. Сорвавшись, он летел бы, по меньшей мере, метров пятнадцать, рывком могло вырвать даже хорошо вбитые костыли. И однако индикатор говорил, что робот проделал этот путь — один! «Что же это значит, черт побери?! — сказал он себе. — По другую сторону есть полка! Только один шаг! Ну, вперед, растяпа!» Но он продолжал стоять. Если бы хоть удалось натянуть веревку — где там! Он высунулся и несколько секунд смотрел на полку, дольше не мог — начали дрожать мускулы. А если нога соскользнет? У Анела были стальные подошвы. Полка светилась — тающий лед. Скользко, черт побери. Надо было взять с собой вибрамы…

— И написать завещание, — беззвучно прошептал он. Глаза у него сощурились, взгляд застыл.

Ссутулившись, раскинув руки, ища опоры в шероховатости скалы, он обвил ее телом и сделал тот шаг, который столько ему стоил. Оказавшись по другую сторону, он даже не почувствовал удовлетворения, так как увидел, что влип. Полка на той стороне была ниже — значит, на обратном пути придется прыгать вверх. Да еще с таким фортелем на изломе скалы — это уже было не восхождение или акробатика, а черт знает что! Спускаться на веревке? Ведь если не…

Он понимал, что это уже полнейший идиотизм, но продолжал идти дальше, пока мог. Он совершенно забыл об Анеле, было не до него. Под ним раскачивалась слегка натянутая веревка, она была четко видна, предательски близка и осязаема, она вырисовывалась на фоне осыпи, расплывшейся в голубоватой дымке у основания стены. Полка кончилась, и отсюда не было пути ни вверх, ни вниз; пути назад тоже не было. «Никогда в жизни не видел ничего более гладкого», — подумал он как-то особенно спокойно, однако теперь у него было другое состояние, потому что хуже ничего представить невозможно и нервничать было уже совершенно ни к чему. Он осмотрелся. Под ногами — четырехсантиметровый выступ, а дальше — конец, только нечеткое,

темное пятнышко расщелины, которая, казалось, манила его к себе; Пиркса отделяли от нее четыре метра по стене, такой плотной, такой отвесной, какую только можно себе вообразить. «И это называется гранит?!» — с досадой подумал он. Видимо, здесь временами текла вода — в этом месте каменная плита потемнела, он даже видел отдельные капли; Пиркс взял индикатор в правую руку и начал водить им, пытаясь отыскать следы робота. Послышался слабый писк. Значит, Анел тут прошел. Но как? Вдруг он заметил маленькое пятнышко — серый, как скала, мох. Сорвал его. Малюсенькая углубинка, величиной с ноготь. Костыль не желал входить больше чем на половину, но и это было спасением. Он дернул за кольцо — сидит? В общем-то сидит. Итак, теперь левой рукой за костыль и потихоньку… Отпрянув от скалы, он случайно отвел глаза от щели, которая так и манила его, словно бы созданная веками ради одного мимолетного мгновения, которое должно было наступить; тогда его взгляд камнем полетел вниз — и наконец выхватил голубоватую искру на сером фоне осыпи.

Решающий шаг так и не был сделан.

— Что там? — раздался голос Массены.

— Сейчас! Минутку! — отозвался Пиркс, пере-

брасывая веревку через карабин. Ему необходимо было все как следует рассмотреть. Он снова отпрянул, почти всей тяжестью повиснув на костыле, словно пытался вырвать его из стены. Нужно проверить…

Да, это был Анел. Что же еще могло так блестеть там, внизу? Ведь трасса уже давно отошла от вертикали, и теперь он отклонился в сторону метров на триста от того места, с которого они начали восхождение. Пиркс искал каких-нибудь более приметных ориентиров там, внизу. Веревка сдавливала грудь, было трудно дышать, кровь стучала в висках. Пиркс пытался запомнить детали: вон тот большой валун — его удастся узнать, хотя сейчас он виден под другим углом. Когда он принял вертикальное положение, его стала бить дрожь. «Придется съезжать», — сказал он себе и как-то совершенно бездумно взялся за костыль, который сразу вылез, словно сидел в масле; он почувствовал себя странно, но спрятал костыль в карман и начал обдумывать, как выбраться отсюда. Это удалось, хотя все сошло не очень гладко: Массена у себя понабивал крючьев, укоротил веревку, а Пиркс попросту пролетел метров восемь вдоль плиты и повис; ниже была другая щель, и в нее они уже съезжали попеременно. Когда Массена

спросил, почему они возвращаются, он ответил:

— Я его нашел.

— Анела?

— Да он упал. Лежит там, внизу.

Обратный путь длился меньше часа. Пиркс, не жалея, оставлял костыли в скале. Это было интересное чувство — думать, что никогда уже не поставят тут ноги ни он, ни кто-то другой, а в этой скале будут торчать кусочки железа, обработанного на Земле, и они будут торчать всегда, вечно.

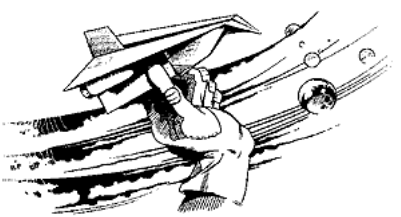
Когда, спустившись вниз, они сделали несколько неуверенных шагов, словно отвыкли от обычной ходьбы, Крулль подбежал к ним и уже издалека крикнул, что нашел брошенные неподалеку реактивные кобуры Анела. Робот, вероятно, снял их умышленно, прежде чем пошел на стену, что было уже явным доказательством его аберрации, так как в случае падения только они и могли ему помочь.

Массена, казалось, не обращал ни малейшего внимания на открытие Крулля — он и не думал скрывать, чего стоило ему это восхождение: наоборот, он демонстративно уселся на валуне, широко расставив ноги, словно наслаждался твердостью грунта, и чересчур усердно вытирал платком лицо, лоб и шею.

Пиркс сказал Круллю, что Анел упал; спустя несколько минут пошли его искать. Поиски длились недолго. Он падал с высоты метров трехсот. Панцирь разлетелся, металлический череп тоже, и монокристаллический мозг распался на маленькие стеклянные осколки, блестевшие на беловатых камнях, словно слюда. К счастью, Крулль не упрекнул их, что восхождение было совершенно бесцельным. Он только повторял без удовольствия, что Анел распрограммировался: оставленные кобуры — бесспорное доказательство этому На Массе ну восхождение повлияло, но не в лучшую сторону; он даже не пытался возражать, и вообще, казалось, он только и ждал того момента, когда группу расформируют и они расстанутся окончательно. Поэтому возвращались в молчании, тем более что Пиркс не считал для себя обязательным высказывать собственное мнение о происшествии. Он был убежден, что дело тут вовсе не в технических неполадках, и то, что произошло, не имело ничего общего с какими-то монокристаллами или мнестронами. Разве же он, Пиркс, тоже «распрограммировался», коль ему так сильно хотелось покорить эту стену? Просто Анел был более похож на своих конструкторов, чем им бы этого хотелось. Когда

он выполнил задание, у него оставалось еще много времени — он ведь был очень исполнителен и скор. Он не только видел, но и понимал окружающее; он был создан для разрешения трудных задач, то есть для игры, а тут подвернулась игра довольно редкая и с наивысшей ставкой. Пиркс не мог удержаться от улыбки, когда подумал о слепоте Крулля и Массены; сознательно отложенные Анелом реактивные патроны они сочли доказательством — уже совершенно бесспорным — того, что робот распрограммировался. Но ведь любой человек поступил бы точно так же, в противном случае все предприятие вообще не имело смысла, а превратилось бы лишь в разновидность гимнастики. О нет! Технические неполадки тут были ни при чем, и никакие выводы, уравнения, никакие кривые уже не могли переубедить Пиркса. Его удивляло только одно — что Анел не упал раньше, — ведь он шел один, без навыков, без тренировки, ведь его строили не для того, чтобы он сражался со скалами. Что произошло бы, если б он вернулся? Неизвестно почему, Пиркс был убежден, что они никогда не узнали бы об этом. Во всяком случае, от Анела. А в том месте он решился прыгнуть. Что он при этом думал? Наверно, ничего, как и сам Пиркс.

Дотронулся ли он до края расщелины? Если да, там должен остаться след, след радиоактивных атомов, которые будут постепенно распадаться, пока наконец не испарятся и не исчезнут.

Пиркс знал, что он никому об этом не скажет. На его месте всякий настойчиво придерживался бы гипотезы, сваливающей все на какие-то технические неполадки, гипотезы самой простой и самой естественной — ведь только она не изменяла картину мира.

К стоянке пришли в полдень, торопливо разобрали дом, который исчезал целыми секциями, так что, наконец на том месте, где он стоял, осталась только утоптанная четырехугольная площадка. Пиркс переносил ящики, сворачивал металлические листы, то есть делал все то, что должен был делать Анел; когда он это осознал, он немного помедлил, прежде чем подать груз протянувшему руки Массене.